

ISSN 1728-1938

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

2021 * Том 20 * № 2

**RUSSIAN SOCIOLOGICAL
REVIEW**

2021 * Volume 20 * Issue 2

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2021
Том 20. № 2

ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Веб-сайт: sociologica.hse.ru

Адрес редакции: ул. Старая Басманная, д. 21/4, к. А205, Москва 105066

Тел.: +7-(495)-772-95-90*12454

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр Фридрихович Филиппов

Зам. главного редактора

Марина Геннадиевна Пугачева

Члены редколлегии

Светлана Петровна Баньковская

Андрей Михайлович Корбут

Наиль Галимханович Фархатдинов

Редактор веб-сайта

Наиль Галимханович Фархатдинов

Литературные редакторы

Максим Сергеевич Фетисов

Перри Франц

Корректор

Инна Евгеньевна Кроль

Верстальщик

Андрей Михайлович Корбут

Международный редакционный совет

Николя Айо (Университет Фрибура, Швейцария)

Джеффри Александер (Йельский университет, США)

Яан Вальсинер (Университет Ольборга, Дания)

Виктор Семенович Вахштайн (РАНХиГС, Россия)

Гэри Дэвид (Университет Бентли, США)

Дмитрий Юрьевич Куракин (НИУ ВШЭ, Россия)

Александр Владимирович Марей (НИУ ВШЭ, Россия)

Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)

Альбер Ожьен (Высшая школа социальных наук, Франция)

Энн Уорфилд Роулз (Университет Бентли, США)

Ирина Максимовна Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)

Никита Алексеевич Харламов (Университет Ольборга, Дания)

Учредители

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Александр Фридрихович Филиппов

О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присылать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнометодология и разговорный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получить сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: farkhatdinov@gmail.com.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



2021
Volume 20. Issue 2

ISSN 1728-1938

Email: puma7@yandex.ru

Web-site: sociologica.hse.ru/en

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Room A205, Moscow, Russian Federation 105066

Phone: +7-(495)-772-95-90*12454

Editorial Board

Editor-in-Chief

Alexander F. Filippov

Deputy Editor

Marina Pugacheva

Editorial Board Members

Svetlana Bankovskaya

Nail Farkhatdinov

Andrei Korbut

Internet-Editor

Nail Farkhatdinov

Copy Editors

Maxim Fetisov

Perry Franz

Russian Proofreader

Inna Krol

Layout Designer

Andrei Korbut

International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)

Gary David (Bentley University, USA)

Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)

Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)

Dmitry Kurakin (HSE, Russian Federation)

Alexander Marey (HSE, Russian Federation)

Peter Manning (Northeastern University, USA)

Albert Ogien (EHESS, France)

Anne W. Rawls (Bentley University, USA)

Irina Savelyeva (HSE, Russian Federation)

Victor Vakhshstayn (RANEPa, Russian Federation)

Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

Establishers

National Research University Higher School of
Economics

Alexander F. Filippov

About the Journal

The Russian Sociological Review is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

The Russian Sociological Review publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

Scope and Topics

The Russian Sociological Review invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

The Russian Sociological Review covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

Our Audience

The Russian Sociological Review aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

Subscription

The Russian Sociological Review is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

Содержание

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

- Россия как плебисцитарная демократия 9
Григорий Юдин
- Политический выбор православных верующих в России: возможности
и ограничения качественных и количественных исследований 48
Юлия Карпич

СТАТЬИ И ЭССЕ

- Механизм производства контрфинальности в конститутивном порядке 70
Ильяс Латыпов
- Secret Life versus Double Life: Modes of Clandestinity of Italian Terrorist Groups. . . 104
Riccardo Camra

СОЦИОЛОГИЯ ТУРИЗМА

- Время и пространство в современных исследованиях туризма 118
Наталья Рыжова, Татьяна Журавская
- (Не)аутентичные туристические достопримечательности: как китайские
туристы воспринимают российский «фейкзор» 138
Алина Карелина
- Антрополог и турист: мобильность образа удэгейцев в этнографическом
пространстве 157
Владимир Дегтярь
- С Александром фон Гумбольдтом на Алтае — ментальное путешествие
во времени? 185
Олаф Гюнтер, Виталий Ведерников
- Экономика качеств трансграничного рынка: шоп-туризм
как перформативная практика 200
Татьяна Журавская, Наталья Рыжова

СОЦИОЛОГИЯ СПОРТА

- Ordinary, Adequate, and Crazy: Reconsidering the “Pyramid” Metaphor
for Mass-participation Sports. 224
Andrey S. Adelfinsky

- Борьба с дискриминацией или реполитизация спорта? Специфика восприятия движения Black Lives Matter в онлайн-сообществах спортивных болельщиков. 250
Евгений Сальников, Инна Сальникова

ОБЗОРЫ

- Эгалитаризм удачи: два направления критики 273
Дмитрий Серeda

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- Социология как наука о действительности: логическое основоположение системы социологии. Введение 290
Ханс Фрайер

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

- Философская травелогия как метод культурно-политических исследований . 300
Ольга Жукова

РЕЦЕНЗИИ

- «Перед революцией»: историографический ревизионизм и проблема События 322
Игорь Кобылин
- «Пост» сдал — «пост» принял 332
Эдуард Сафронов
- Как вывести человечество из зоны комфорта 340
Максим Мирошниченко

Contents

POLITICAL SOCIOLOGY

- Russia as a Plebiscitary Democracy 9
Greg Yudin
- The Political Choice of Orthodox Believers in Russia: Strengths and Limitations of
Qualitative and Quantitative Approaches to Research 48
Yulia Karpich

ARTICLES AND ESSAYS

- The Mechanism of the Production of Counter-finality in a Constitutive Order. 70
Ilyas Latypov
- Secret Life versus Double Life: Modes of Clandestinity of Italian Terrorist Groups . . 104
Riccardo Campa

SOCIOLOGY OF TOURISM

- Time and Space in Tourism Studies 118
Natalia P. Ryzhova, Tatiana N. Zhuravskaia
- (In)authentic Tourist Attractions: How Chinese Tourists Perceive Russian
“Fakelore” 138
Alina Karelina
- Anthropologist and Tourist: Mobility of the Udehe Image in Ethnographic Space . . 157
Vladimir Degtiar
- On the Trail of Alexander von Humboldt in the Altai: A Mental Time Travel? 185
Olaf Guenther, Vitaly Vedernikov
- The Economy of Qualities in a Cross-Border Market: Shopping Tourism as
a Performative Practice 200
Tatiana N. Zhuravskaia, Natalia P. Ryzhova

SOCIOLOGY OF SPORT

- Ordinary, Adequate, and Crazy: Reconsidering the “Pyramid” Metaphor
for Mass-participation Sports. 224
Andrey S. Adelfinsky

- Combating Discrimination or Repoliticizing Sports? The Specifics of the Perception of Black Lives Matter in Sports-Fans Online Communities 250
Evgeny Salnikov, Inna Salnikova

REVIEWS

- Luck Egalitarianism: Two Lines of Critique 273
Dmitry S. Sereda

SOCIOLOGICAL EDUCATION

- Sociology as a Science of Reality: A Logical Foundation for the System of Sociology. Introduction 290
Hans Freyer

REFLECTIONS ON THE BOOK

- Philosophical Travelogy as a Cultural and Political Research Method 300
Olga A. Zhukova

BOOK REVIEWS

- “Before the Revolution”: Historiographic Revisionism and the Problem of Event . . 322
Igor Kobylin
- From Postmodernism to Post-Marxism 332
Eduard Safronov
- How to Take Humanity Out of Comfort Zone 340
Maxim D. Miroshnichenko

Россия как плебисцитарная демократия*

Григорий Юдин

Кандидат философских наук, директор Центра современных политических исследований,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Профессор, Московская высшая школа социальных и экономических наук
Адрес: пр-т Вернадского, д. 82, стр.1, г. Москва, Российская Федерация 119571
E-mail: gregloko@yandex.ru

В российской политической системе ключевую роль играют электоральные процедуры (выборы, голосования, опросы). Это создает трудность для современной политической науки при попытке классифицировать Россию: как столь активное обращение к голосу народа совмещается с очевидной деполитизацией и персоналистской властью? Описание российского политического режима как промежуточного, неполноценного на шкале демократии не позволяет объяснить ни его электоральный энтузиазм, ни его устойчивость. В данной статье для описания российской системы используется теория плебисцитарной демократии. Комбинация монархической власти и всеобщего избирательного права возникает во Франции периода Второй империи, а впоследствии получает глубокую теоретическую разработку в Веймарской Германии. Плебисцитарная демократия позволяет обеспечить прямую демократическую легитимность сильного лидера и при этом предельно сократить политическую роль масс в условиях быстрого и резкого расширения избирательного права. В работе излагаются основные принципы и внутренние противоречия плебисцитарных режимов. Также показано, что плебисцитаризм сохранил сильное влияние на современную политическую науку через господствующее минималистское определение демократии, введенное Й. Шумпетером под воздействием плебисцитарных идей М. Вебера и К. Шмитта. Это определение способствует электорализации современной демократии и ее дрейфу в сторону плебисцитаризма. Россия XXI века рассматривается как пример радикальной реализации плебисцитарной демократии, обозначаются основные тенденции развития плебисцитарной системы.

Ключевые слова: плебисцитарная демократия, Макс Вебер, Карл Шмитт, Наполеон III, Йозеф Шумпетер, диктатура, минимальная демократия, легитимность, цезаризм, аккламация, Россия

Российская политическая система представляет проблему для современной политической науки, и эта проблема связана с категорией «демократии». В начале 1990-х демократия понималась преимущественно в рамке «демократизации», то есть движения («транзита») в направлении, изначально заданном внутренней логикой модернизации политических систем. Поэтому Россию было принято описывать как систему на пути демократизации — от авторитаризма к демократии

* Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

(Schmitter, Karl, 1994)¹. Однако уже менее чем через десять лет после краха социалистического блока стало ясно, что эта теоретическая рамка неудовлетворительна. В России, как и в ряде других стран, не происходило ожидаемого перехода к демократическому стандарту, а, напротив, наблюдался откат либо движение в каком-то ином направлении (Carothers, 1997, 2002).

Концептуальным ответом стало появление целой плеяды терминов, характеризующих квазистабильные состояния между демократией и авторитаризмом. Эти состояния получили названия «гибридных режимов» (Diamond, 2002), поскольку они странным образом сочетают в себе формальные черты демократических режимов (в первую очередь выборы) и реальную атмосферу авторитаризма, то есть невозможность сменить власть. Для описания гибридных режимов пришлось, в свою очередь, вводить гибридные термины, чтобы описать случаи, не поддающиеся классификации. Применительно к России используются такие гибридные термины, как «конкурентный авторитаризм» (Levitsky, Way, 2002), «электоральный авторитаризм» (Golosov, 2011; Gel'man, 2014), «нелиберальная демократия» (Zakaria, 2003) и даже «демократический авторитаризм» (Brancati, 2014)².

Камнем преткновения для этого направления исследований стали именно выборы. Хотя исследователи еще на раннем этапе «транзита» предупреждали об опасности «ошибки электорализма», то есть сведения демократии к выборам (Schmitter, Karl, 1991: 78), ощущение несовместимости выборов с полноценным авторитаризмом вызывало потребность объяснить, как авторитарное правление может сосуществовать с главным демократическим институтом. В результате появилась обширная литература на тему «функции выборов без демократии», основными выводами которой стало то, что выборы в авторитарных системах играют роль источника информации и обмена сигналами, а также позволяют «сохранять лицо» на внешней арене (Geddes, Wright, Franz, 2018: 151; Gandhi, Lust-Okar, 2009; обзор см. в: Morgenbesser, 2016: 9–33). Поскольку выборы рассматриваются как хотя и недостаточное, но необходимое условие демократии, авторитарные режимы изучаются на предмет того, как и с какими целями им приходится сохранять выборы и перестраивать их под свои цели.

С этой точки зрения российская политическая система вызывает затруднения. Вовсе не рассматривая выборы как неизбежное зло, она активно проводит выборы с множеством участников, на которых сменяются выборные лица, включая прези-

1. См. также обзор русскоязычной литературы, выполненный В. Гельманом (1997), где можно видеть, как пессимизм в отношении российской демократизации не означал отказа от линейной схемы «авторитаризм — демократия».

2. Сама эта терминология уже указывает на теоретические трудности, поскольку предполагает сочетание категорий, которые традиционно рассматривались как принципиально противостоящие друг другу (Linz, 2000: 51, 53). Если относиться к «демократии» и «авторитаризму» как к идеальным типам, то все эмпирически наблюдаемые режимы в той или иной степени гибридные. Если же это все-таки фундаментально противоположные способы организации общества, то их сочетание выглядит как «несвободная свобода» и заставляет пересмотреть теоретические основания оппозиции демократия/авторитаризм.

дента. Более того, в России использование различных электоральных форм гораздо более развито, чем во многих странах-ориентирах: легитимность президента покоится на стабильно высоких цифрах голосования и опросов общественного мнения, действует многопартийный парламент, проводятся плебисциты (в том числе в форме опросов)³, активно развиваются технологии электронного голосования. Несомненно, к честности и свободности российских выборов нередко предъявляют претензии, однако это не должно заслонять электорального энтузиазма российской системы: если выборы — ядро понимания демократии, то российскую систему можно назвать ультрадемократической⁴. Эволюция демократии в направлении более частого, более разнообразного, более доступного и технологически продвинутого голосования делает Россию одним из заслуженных лидеров демократического развития.

В то же время крайне низкий уровень гражданского участия, массовый абсентеизм, отчужденность граждан от политической системы, а также демонстративно персоналистский и иерархичный характер режима — все это заставляет усомниться в том, что Россия по существу является демократией. Почему режим, столь показательно осуществляющий принцип наделения властью через голосование, так мало напоминает демократию? Может ли быть, чтобы развитие институтов голосования не просто не означало укрепления народовластия, но находилось с ним в обратной зависимости?

Понимание института выборов как ядра демократической политики происходит из знаменитого «минимального» определения демократии, предложенного в 1942 году Йозефом Шумпетером. Сводя демократию к «политическому устройству для принятия политических решений, в котором индивиды приобретают власть принимать решения путем конкурентной борьбы за голоса избирателей», Шумпетер подчеркивал, что дает однозначный процедурный критерий для различения демократий и недемократий (Шумпетер, 2008: 667). Чтобы понять, почему последовательное воплощение шумпетерианского принципа дает очевидно недемократический результат, следует разъяснить истоки этого взгляда на демократию.

В этой статье мы покажем, что за концепцией минимальной демократии стоит интеллектуальная традиция плебисцитаризма, изначально пронизанная глубоким скептицизмом в отношении демократического правления и ушедшая в тень (но не потерявшая влияния) в середине XX века. Поэтому радикализация электоральной модели, которую мы наблюдаем в современной России, создает не противоречивое сочетание автократического режима и демократических институтов (выборов), а устойчивый плебисцитарный режим. Идея «гибридности» вводит в заблуждение

3. Самым ярким примером стал знаменитый «крымский опрос» (Юдин, 2014), однако и регулярные опросы общественного мнения выполняют плебисцитарную функцию. Подробнее об этом далее.

4. Именно эту логику развивают либеральные критики, считающие российскую систему отклонением от либеральной демократии в сторону эксцесса демократии (Zakaria, 2003).

не только потому, что содержит в себе обещание «перехода к демократии»⁵, но и потому, что за ней стоит нормативная теория демократии, которая принимается нерелексивно и незаметно отождествляет демократию с электоральными процедурами.

Между тем метафора «гибрида» интуитивно схватывает сложный, композитный характер российского политического режима. Вместо категории «гибрида» как случайной мутации мы будем использовать понятие «синтез» и продемонстрируем, что плебисцитарная демократия сознательно задумывалась как синтез монархического и демократического принципов. Логика изложения в этом тексте такова: сначала будет показано, как этот синтез возник в XIX веке в рамках бонапартистских режимов и сопутствующей дискуссии о соотношении демократии и цезаризма. Далее мы проследим генеалогию доктрины плебисцитарной демократии от бонапартистских истоков до ее расцвета в Германии и США в межвоенный период в XX веке. Затем мы продемонстрируем, каким образом плебисцитарная традиция, несмотря на ее дискредитацию вождистскими режимами, сохранила воздействие на политическую науку и повлияла на господствующие представления о демократии и способы ее измерения. После этого мы перейдем к характеристике России как плебисцитарной демократии. Наконец, в заключение мы покажем, почему взгляд с позиций плебисцитарной демократии позволяет лучше понять эволюцию политических систем в последние десятилетия, и кратко оценим перспективы плебисцитаризма.

Всеобщее избирательное право и демократическая монархия

Хотя выборы были институтом системы представительства с самого начала формирования современных политических форм, ключевое значение для нашего сегодняшнего понимания выборов имели события во Франции в 1848 году. Именно тогда впервые в одной из ведущих европейских стран выборы прошли в той форме, в которой они известны нам сегодня, — как прямое всенародное⁶ голосование по кандидатурам на пост главы исполнительной власти (Rosanvallon, 2015: 138–139). Вопрос о верховном правителе был напрямую отдан на откуп народу в условиях беспрецедентно резкого расширения избирательного права⁷.

5. Этот телеологизм не раз критиковался как наследие парадигмы демократизации (см., напр.: Levitsky, Way, 2010: 4), однако он остается не преодоленным в силу того, что сохранилась концептуальная рамка, предполагающая континуум между авторитаризмом и демократией. «Гибридные» режимы в этой перспективе предстают отдельными, но неполноценными образованиями. Они изучаются с позиций идеально-типической полноценной демократии и собственной ценностью не обладают.

6. Правом голоса обладали только совершеннолетние мужчины.

7. Первые попытки ввести всеобщее избирательное право для мужчин во Франции предпринимались еще в рамках радикальных конституционных проектов 1792–1793 гг., однако де-факто они не были реализованы. «Конституционные голосования» Наполеона I (в 1800, 1802, 1804 и 1815 гг.) предполагали право голоса для мужчин старше 21 года, однако располагали к крайне низкой явке и были в значительной степени сфальсифицированы (Crook, 2003). В эпоху Реставрации на выборах в парла-

В политической теории следствием этого стали дебаты о цезаризме. В течение многих веков фигура Цезаря последовательно демонизировалась республиканскими мыслителями как символ морального и политического краха Римской республики (Ваehr, 2008: 16). Спустя два года, еще до переворота, положившего во Франции конец Второй республике, Огюст Ромье написал сочинение «Эра Цезарей», очевидно вдохновленное фигурой французского президента Луи Бонапарта. Возвышение Бонапарта он объяснял неизлеченной раной поражения армий Наполеона, о которой помнил французский народ и совершенно забыли либеральные интеллектуалы. Победа Бонапарта на выборах символизировала для Ромье «выбор между пушками и речами», который сделали французы (Romieu, 1850: 29).

Тоску по порядку и славе как предпосылки бонапартистской диктатуры отмечали многие наблюдатели. Как выразился Карл Маркс, французов «от опасностей революции потянуло назад к египетским котлам с мясом» (Маркс, 1957: 121). Однако фигура Цезаря возникает не просто как символ диктатора, преодолевающего рознь и приносящего стабильность, но как диктатора, опирающегося непосредственно на народный суверенитет. Появление голосующих масс как фундамента для диктатуры стало новацией. Если Наполеон I еще вписывался в образ генерала-триумфатора, поддержанного массами, то после возвышения Луи Бонапарта, не слишком удачливого и отчасти даже нелепого политика⁸, до постов президента и выборного императора многим стало ясно, что электоральная диктатура — принципиально новый феномен, пришедший в европейскую политику вместе с массовой демократией.

Демократические основания цезаризма становятся предметом активного обсуждения. Ромье делает важный шаг, противопоставляя демократию республике: вопреки республиканцам он настаивает на том, что в основании Римской империи лежал «совершенно демократический принцип». Император отличался от осталь-

мент были введены жесткие цензы, лишь незначительно сниженные во время Июльской монархии. Реально всеобщее избирательное право для мужчин и женщин будет введено только в 1944 году.

В целом весь XIX век в странах Европы и Америки представлял собой борьбу за расширение избирательного права, которая поэтапно достигала успеха и завершилась почти полной победой вскоре после Первой мировой войны. Так, в Великобритании волнения рабочих, требующих права голоса, начались в 1819 году, и в 1832-м доля голосующих увеличилась с 4 до 20% населения. Движение чартистов задавало тон в период 1838–1848 гг., однако реальный успех пришел к рабочим лишь в 1867 году. К 1918 году право голоса имели мужчины старше 21 года и женщины старше 30 лет, еще через десять лет был отменен имущественный ценз. В Германии после объединения в 1871 году действовало всеобщее избирательное право для мужчин старше 25 лет, а в 1919 году к ним одновременно присоединились женщины, возраст активного участия был снижен до 20 лет. В США основная динамика была связана с включением населения в функционирование коллегии выборщиков, а также с борьбой за право голоса для черных — формально завершившейся успехом в 1870 году, но пережившей существенный откат в форме цензов (так называемые «законы Джима Кроу»), которые были отменены лишь к 1964–1965 гг. Женщины в возрасте 21 года получили право голоса в 1920 году. В России Дума в 1905 году выбиралась по сложной куриальной системе, однако в 1917-м было введено всеобщее избирательное право. Впоследствии большевистское правительство ограничило его для лиц, живущих на нетрудовые доходы, но восстановило в Конституции 1936 года.

8. Достаточно вспомнить две его авантюристические попытки организовать переворот в 1836 и 1840 годах, закончившиеся сначала изгнанием, а затем тюремным заточением на шесть лет.

ных лишь тем, что командовал армией и имел полномочия народного трибуна (Romieu, 1850: 32–33). Сам Бонапарт обращал внимание на то, что система, фундамент которой заложил его дядя, сочетает в себе два принципа — демократический (равенство) и иерархический (порядок). Причем под демократией понимается народный суверенитет: «Коротко характеризуя имперскую систему, можно сказать, что ее основание — демократическое, поскольку вся власть происходит от народа, а ее организация — иерархическая, поскольку в обществе есть разные уровни» (Bonaparte, 1859: 121).

Бонапартистское понимание авторизации правителя народом реализуется в электоральных процедурах. Важнейшим институтом Второй империи становятся плебисциты, которые Бонапарт всякий раз выигрывал так же уверенно, как выиграл выборы в 1848 году. Каждый из трех плебисцитов позволял ему заново обрести необходимую демократическую легитимность для изменения политической системы — в 1851 году полномочия Бонапарта были продлены до десяти лет, в 1852 году он стал императором, а в 1870 году были одобрены либеральные конституционные реформы. Бонапарт последовательно выступал за расширение избирательного права, и его оппозиция принятому 31 мая 1850 года закону, сокращающему число избирателей согласно критерию оседлости, в значительной степени укрепила его положение в ходе переворота 1851 года. При этом даже во время плебисцита 1870 года, результатом которого стала либерализация Конституции, сохранялась пассивная роль народа — он не был инициатором голосования и не влиял на формулировку вопросов, но только откликнулся на решение императора (Уварова, 2014: 95).

Приход масс во французскую политику был внезапным. Хотя всеобщее избирательное право для мужчин уже было реализовано в послереволюционные годы, уровень участия в плебисцитах Наполеона I был невысоким, и последующее сужение базы избирателей было во многом предсказуемым откатом. Во времена Июльской монархии сторонники восстановления всеобщего избирательного права были в меньшинстве и рассматривали это лишь как долгосрочную задачу (Rosanvallon, 1992: 201). Поэтому в 1848 году появление народа как ключевого игрока оказалось во многом неожиданным — для подавляющего большинства политиков, от либералов до социалистов и республиканцев, этот новый формат политики был незнакомым. Такая непривычная роль стала сюрпризом и для самого народа. В этих условиях цезаристская политика оказалась наиболее соответствующей новой модели демократии и обеспечила Бонапарту сенсационную победу на выборах.

Народный суверенитет, воплощенный в избирательном праве, стал философским основанием не только для общенациональных плебисцитов, но и для системы местных выборов в рамках Второй империи. Бонапарт учредил централизованную систему префектов, перехватил право назначать мэров, а также муниципальные советы в крупных городах. Тем не менее прямые выборы и голосования оставались для бонапартистского режима ключевым институтом и обе-

спечивали легитимность управленцев на местах. Префекты предлагали в центр на утверждение кандидатуры на выборные должности (обычно на должности членов муниципальных советов), после чего административный ресурс направлялся на обеспечение необходимой поддержки для согласованного кандидата. «Как только объявлялся официальный кандидат, у всех должностных лиц оставалась только одна мысль и одна цель — обеспечить этому кандидату успех. Супрефекты, мэры, мировые судьи, комиссары полиции, школьные учителя, сборщики налогов, работники государственных корпораций, церковнослужители, дорожные рабочие, участковые полицейские, почтальоны, торговцы табаком — для всех них эта кандидатура становится предметом постоянной заботы» (de la Borderie, 1867: 14, цит. по: Nazareesingh, 2004: 136). Важнейшим ресурсом для кандидатов становилась поддержка Бонапарта или хотя бы близость к его окружению — это было наилучшим аргументом при агитации.

Последствия введения электоральной демократии привели в замешательство французских республиканцев, которые лоббировали всеобщее избирательное право со времен Революции. Цезаризм оказался его непредвиденным последствием. В то же время по ту сторону Рейна бонапартистская система быстро вызывает интерес — несмотря на то что среди немецких консерваторов преобладает ее негативная оценка (в основном по причине немецкого национализма), часть из них обращает внимание на то, что принцип авторитета получил в ней новое, соответствующее обстоятельствам времени основание. Если последовательные легитимисты презирали Бонапарта за подрыв наследственной монархии, то более тонко мыслящие консерваторы увидели, что благодаря всеобщему избирательному праву появляется перспектива установления «демократической монархии», авторитарного правления на демократическом фундаменте (Gollwizer, 1987: 371–372).

Переосмысление фигуры Цезаря, происходившее в Европе середины XIX века, в немалой степени было связано именно с выходом на арену масс и распространением избирательного права. Теодор Моммзен в своей «Истории Рима» дал неожиданно хвалебный портрет Цезаря. Цезарь, хотя и завершает цикл республики фактическим восстановлением в Риме монархии, все же при этом является демократическим правителем: «Он оставался демократом даже тогда, когда сделался монархом... его монархия так мало расходилась с демократией, что казалось, будто последняя получила свое осуществление и завершение именно благодаря первой» (Моммзен, 1941: 320). Отношение влиятельного немецкого историка к Бонапарту было амбивалентным, однако он не скрывал зависти к соседней стране, которая получила в правители такого «великого преступника» (Gollwizer, 1987: 385–386). Неудивительно, что впоследствии возникают аналогии между Цезарем и Бисмарком — в них косвенным образом сопоставляются типы политического лидерства, воплотившиеся в фигурах Бисмарка и Бонапарта.

По мере того, как массовая демократия распространяется по континенту, демократическая монархия постепенно перестает рассматриваться как эксцесс французской революционной культуры и превращается в теоретическую проблему.

Один из лидеров немецкой исторической школы Вильгельм Рошер, опираясь на циклические теории режимов Аристотеля и Полибия, считает, что демократия естественным образом разрешается в цезаризм. Расширение избирательного права выступает как реализация демократического принципа равенства, и в условиях современного государства возникает тенденция к разрушению многоуровневой иерархической системы представительной демократии. В результате цезаризм оказывается радикализацией одновременно демократического равенства и монархического абсолютизма — это «двуликий Янус», в котором требующая равенства масса и не ограниченный ничем правитель усиливают друг друга (Roscher, 1888: 646).

В целом во второй половине XIX века возникает устойчивое представление о том, что массовое избирательное право принесло с собой возможность сочетания демократии и монархии, которая становится искушением для обществ, уставших от безвременья фракционной борьбы и мечтающих о возвращении порядка и былой славы. Впрочем, электоральная политика развивается постепенно, и становление цезаристских систем сдерживается: в Третьей Республике президент выбирается не всенародно, а парламентом; в США резкое расширение избирательного права для черных воспринимается как угроза и быстро ограничивается. Это торможение отражается и в теории: цезаризм интерпретируется скорее как эксцесс демократии — как реализация угрозы «демократического деспотизма», столь беспокоившей либералов середины века, Милля и Токвиля (Richter, 2004). Идея сделать цезаристское правление основой нормативной теории демократии возникает уже в XX веке.

Диктатор с поля предвыборной борьбы

В 1895 году Макс Вебер во время инаугурационной речи при получении профессуры во Фрайбурге выразил сожаление, что цезаризм Бисмарка лишил немецкую элиту политической воли, обнажил в ней «мелкие страсти политических эпигонов». «Могущественное солнце» Бисмарка «выжгло медленно растущую способность бюргерства к политическим суждениям», так что теперь часть буржуазии сложившаяся рука ожидает нового Цезаря (Вебер, 2003а: 34). Здесь Вебер обращает внимание на губительные для политики последствия цезаризма; однако пройдет двадцать с небольшим лет, и он посмотрит на дело совсем иначе.

США долгое время считались защищенными от цезаризма благодаря своей федеративной системе⁹, и обителью цезаризма выглядела централизованная Франция. Однако исследование партийной системы Америки, проведенное Моисеем Острогорским, по-новому поставило вопрос о функциях выборов в демократиче-

9. Джеймс Брайс писал, что «цезаризм — последняя опасность, которая угрожает Америке. Нет ни одной нации с более прочным гражданским порядком. Нет нации, более чуждой воинственному духу. Ни одна политическая система не могла бы оказать большего сопротивления попытке создать регулярную армию или централизовать управление» (Brace, 1995: 1244).

ской системе. Острогорский продемонстрировал, как организация американской и британской партийной политики способствует концентрации власти в руках лидеров партий, а неформально — в руках «боссов», которые обеспечивают кандидатам голоса в ходе партийных кокусов и выборов. Это привело Острогорского к достаточно резкому заключению о сущности демократии

Если говорят, что народ не способен к самоуправлению и что, следовательно, поэтому всеобщее избирательное право и парламентаризм являются абсурдом, то я готов согласиться с первым пунктом, но нахожу, что вывод, который из него делается, совершенно ошибочен: политическая функция масс в демократии не заключается в том, чтобы ею управлять; они, вероятно, никогда не будут на это способны. Если даже облечь их всеми правами народной инициативы, непосредственного законодательства и непосредственного управления, фактически управлять будет всегда небольшое меньшинство, при демократии так же, как и при самодержавии. (Острогорский, 1997: 551)

Острогорский усилил свой анализ партийной системы понятием «машины». Под электоральной машиной понимается превращение партийной организации в иерархическую систему из нескольких уровней, управляемую политическими боссами и работающую на достижение электоральных целей¹⁰. Из перспективы машины электоральная мобилизация выглядит как логистическая операция — каждый элемент аппарата несет свою ответственность за собственную часть избирателей, и привлекают их с помощью «коррупции и обольщения» (Острогорский, 1997: 433). Этот взгляд с административной точки зрения развенчивает иллюзии о демократии как самоуправлению посредством всеобщего избирательного права. Острогорский защищает демократию с иных позиций — он видит роль масс в «запугивании» правителей, а в качестве основного демократического института вместо партий предлагает профсоюзы и избирательные ассоциации. Однако в начале XX века его диагноз звучит однозначно: всеобщее избирательное право в американской (а также британской) политической системе работает не на народовластие, а на концентрацию власти в руках лидера. Этот анализ стал основой рассуждений о демократии для целого ряда политических мыслителей начала века, в том числе для Макса Вебера и Роберта Михельса.

Вебер относился к демократии куда более скептически: «волю народа» он полагал фикцией, а основанную на этой фикции демократию — утопией (Stanton, 2016: 325). Однако после Первой мировой войны, когда кайзер отрекся от престола и стало ясно, что массовое избирательное право становится ключевым фактором в немецкой политике, Вебер вернулся к идее цезаризма. Парламентская демократия,

10. В США изобретение политических машин обычно связывается с именем Мартина ван Бюрена, который создал сначала на уровне штата Нью-Йорк, а затем и на федеральном уровне первую реальную партию с аппаратом, нацеленным на мобилизацию голосов избирателей. Это позволило Эндрю Джексону выиграть выборы 1828 года, на которых резко возросла роль голосования граждан (прежде члены коллегии выборщиков определялись парламентами штатов). Еще через восемь лет эти технологии привели к президентству и самого ван Бюрена.

которая начала формироваться в Германии, вызывала у Вебера серьезные опасения своей безответственностью — она представлялась ему «господством «клики», то есть реализацией узкопартийных интересов через подконтрольные партиям части бюрократической системы. Эти два элемента — корпоративное устройство партий и наличие высокопрофессионального, но принципиально технократического чиновничества, оставляли в послевоенной немецкой политической системе гигантскую лауну: кто будет определять направление движения проигравшей войну страны? Поэтому Вебер сформулировал дилемму радикальным образом: «Выбирать можно только между вождистской демократией с „машиной“ и демократией, лишенной вождей, то есть господством „профессиональных политиков“ без призвания, без внутренних, харизматических качеств, которые и делают человека вождем» (Вебер, 1990: 688).

Именно этот выбор Вебер делал в качестве активного политика, коим он стал в 1918–1919 годах. Вебер имел шанс возглавить конституционную комиссию, готовившую проект Веймарской Конституции. Однако в итоге принял участие в ее работе по приглашению Хуго Пройса, и тем самым имел прямую возможность повлиять на дизайн новой конституции¹¹. Новая конституция должна была трезво подойти к объективным последствиям введения массовой демократии (женщины также получили право голоса). Поэтому рассуждения Острогорского, доказывавшие подчиненность массовой политики цезаристским вождям, стали для Вебера решением. Совместить массовое избирательное право и ответственное правление, в котором нуждалась страна, можно было с помощью реалистической модели демократии.

Термин «демократизация» может вводить в заблуждение. Сам демос как бесформенная масса никогда не «правит» большими ассоциациями, это им управляют. Единственное изменение состоит в том, как отбираются исполнительные вожди, а также какова мера влияния, которое демос, или даже социальные круги из его числа, способны оказывать на содержание и направление административных действий за счет «общественного мнения». «Демократизация» в этом смысле необязательно означает более широкое участие подданных в правлении. (Weber, 1976: 568)

Демонстративно антидемократическая позиция Вебера, с одной стороны, и неизбежность всеобщего избирательного права, с другой, приводят его к апологии цезаризма как шанса на институционализированное выдвижение сильного и от-

11. Официально работа над новой конституцией началась в ноябре 1918 года, когда задача подготовки первого варианта была возложена на статс-секретаря имперского ведомства внутренних дел. Временный глава исполнительной власти Фридрих Эберт рассматривал Вебера в качестве кандидата на эту должность, однако отдал предпочтение либеральному юристу Пройсу, который уже с 1917 года предлагал конкретные идеи по изменению конституции. До того, как предложить проект профильному комитету будущего Национального собрания (избрано в январе 1919 года), Пройс в декабре проводил совещания неофициальной конституционной комиссии в ведомстве внутренних дел. Вебер участвовал в ее работе наряду с официальными лицами.

ветственного правителя средствами общенародного голосования. Этот вождь, «диктатор с поля предвыборной борьбы» (Вебер 1990: 679)¹², будет обладать легитимностью, которая сразу возвысит его и над парламентом, и над бюрократией, неспособными по-настоящему указать стране направление. Для обеспечения места диктатора Вебер лоббирует введение в конституцию поста Президента с расширенными диктаторскими полномочиями в случае объявления чрезвычайного положения, имея в виду, что основные функции Президента будут связаны именно с вмешательством в случаях кризисов через право вето или через назначение правительства (Вебер, 2003б: 402)¹³. Президент заведомо мыслится как чрезвычайный (если не по форме, то по смыслу) магистрат¹⁴.

Синтетический режим, который предлагает Вебер, — плебисцитарная демократия. Она представляет собой комбинацию опирающегося на общенародную поддержку вождя, парламента, сформированного партийными машинами, и ценностно-нейтральной бюрократии. В терминах Вебера такой режим обладает двойной легитимностью — в дополнение к легально-рациональной легитимности, инвестированной в бюрократический аппарат и парламент, возникает элемент харизматической легитимности. Критикуя либеральный взгляд на представительное правление, Вебер делает акцент на необходимости в децизионистском лидере, который должен принимать решения: без них политика невозможна, и в то же время они не могут быть обоснованы формально-рационально. Легитимность плебисцитарного лидера он трактует как «неавторитарную» версию харизматической легитимности. Если в авторитарном случае харизма приводит к «подтверждаемому признанию» правителя подданными, то в демократическом случае признание (через электоральные процедуры) является не следствием легитимности, а ее основанием (Weber, 1976: 156). Плебисцитарное господство, таким образом, отходит от мистической опоры на харизму и использует более рациональный вариант: победитель плебисцита рассматривается как легитимный харизматический лидер именно вследствие своей победы, то есть благодаря народу.

Ключом к обоснованию такого типа господства для Вебера становится особый взгляд на выборы. Хотя формально наделение харизматической легитимностью происходит через процедуру выборов, смысл этого института резко отличается от распространенного либерального понимания. Участники такого голосования не

12. В этом отличие диктатора нового типа от военных диктаторов, которые традиционно приходили с поля брани.

13. Спорной является роль Вебера в принятии 48 статьи Конституции, превратившей Веймарскую республику в череду чрезвычайных положений и впоследствии открывшей Гитлеру законную дорогу к власти. В то время как Вебер, по-видимому, не проявлял особого интереса именно к этой статье, весь суперпрезидентский каркас Конституции (включая полномочия избранного всенародным голосованием Президента, закрепленные в статье 41), из которого вытекала необходимость диктатуры, полностью обоснован именно им (Mommson, 1974: 403; Baehr, 1989: 23–24; Eliaeson, 2000: 142).

14. В Древнем Риме чрезвычайное положение не объявлялось диктатором, однако сам диктатор представлял собой чрезвычайный магистрат, действовавший при необходимости купирования внутренних конфликтов (Kalyvas, 2007). Вебер, разумеется, хорошо знал, что между диктатурой и демократией в республиканском понимании нет никакого противоречия.

производят выбор между кандидатами с точки зрения лучшего представительства их интересов. Вместо этого они вовлекаются в процесс признания притязаний на власть претендента или действующего правителя. Хотя со стороны процесс может казаться сходным, субъективный смысл (как это понятие используется в веберовской социологии) действий его участников кардинально различается. В плебисцитарной демократии голосующие не «выбирают», но осуществляют аккламацию — подтверждение решения, объявленного лидером, и символическое принятие фигуры лидера (решение и персона лидера здесь неразделимы): «Естественно, ни о каких „выборах“ вообще нельзя говорить... когда голосование о наделении кого-либо властью носит плебисцитарный, то есть харизматический характер, и, следовательно, имеет место не выбор между кандидатами, а признание притязаний на власть со стороны претендента» (Weber, 1976: 667). Выборы, таким образом, оказываются инструментом производства легитимности вождя посредством аккламации в цезаристской плебисцитарно-демократической системе.

Вебер предложил первое нормативное обоснование плебисцитарной демократии, ориентируясь на американскую систему (а точнее, на то, как она была описана Острогорским). Вместе с тем и в США после Первой мировой войны и обретения женщинами права голоса появляются отчетливые попытки обоснования плебисцитаризма. Наиболее откровенно эту позицию сформулировал Уолтер Липпман, также с подозрением смотревший на руссоистские проекты демократии и также убежденный, что правление всегда осуществляют конкретные люди, стоящие на вершине политической иерархии, — вожди. Что же касается массы, то ее компетентность по естественным причинам предельно ограничена, и единственное, на что она способна — это сказать «да» или «нет», когда ей четко поставили вопрос (Липпман, 2004: 226). В этом состоит не только реальное ограничение демократии, но и условие ее возможности. Ведь единственный способ обеспечить координацию масс — это дать им объединяющий символ; без него они не составляют никакого «демоса». Именно за это ответственен лидер, который «производит» общую волю, получая от масс поддержку сформулированного им решения.

Впрочем, взгляды Вебера и Липпмана слишком явно обнаруживали свой инструментализм в отношении демократии. Между циничным отношением к массам и апелляцией к массам очевидно противоречие: какой бы подозрительной ни выглядела идея «народной воли», для функционирования плебисцитарной демократии массы должны верить в эту фикцию. Карл Шмитт придал доктрине Вебера более радикальную форму (Mommsen, 1974: 408–409), усилив оба полюса веберовской конструкции. С одной стороны, он открыто обрисовал функции президента как диктатора, преодолевающего бессилие парламента (для Вебера парламент выступал важной школой будущих вождей), а с другой — вернул народу руссоистское измерение. Шмитт также открыто отрицает возможность демократии как коллективного самоуправления: «Господство многих над самими собой означает либо господство одних над другими, либо господство некоего высшего третьего, объемлющего обоих» (Schmitt, 2014: 67). В то же время возвращается понятие

общей воли, поскольку Шмитт мыслит народ как субстанцию, по отношению к которой государственное устройство представляет собой политическую форму. Поэтому наряду с «конституционализированным» народом, то есть народом, ограниченным в своем функционале рамками учрежденной власти (народ как большинство индивидуальных избирателей), народ существует также вне формы, как чисто политическая реальность (Шмитт, 2010: 109).

Благодаря такому пониманию народа меняется и природа аккламации. В аккламации народ проявляется публичным образом как реальное политическое единство. «Аккламация — вечный феномен всякой политической общности. Нет государства без народа и народа без аккламаций» (Schmitt, 2014: 52). Это означает, что политическое значение аккламации выходит далеко за пределы описанной Вебером инструментальной легитимации лидера¹⁵; аккламация является актом политического единения, в котором только и удостоверяется существование народа. Шмитт при этом сознательно противопоставляет плебисцитарную аккламацию тайному голосованию: по своему смыслу аккламация является публичным и коллективным действием, а не приватным и индивидуальным решением (Шмитт, 2010: 99). Поэтому в тайном голосовании участвует народ «внутри конституции», в то время как учреждающий конституцию народ участвует в аккламации. Это не следует понимать таким образом, что аккламация невозможна в условиях современных выборов. Скорее, выборы становятся моментом аккламации не благодаря своей либеральной части (частный выбор в изоляре для голосования), а благодаря своей публичной стороне — соучастию граждан в политическом ритуале одновременно и в разделяемом пространстве, а также коммуникации с лидером (включая его обращения к народу, провозглашение и празднование результатов и т. д.). Любой подлинный плебисцит тяготеет к преодолению тайны голосования и вообще административных ограничений индивидуального волеизъявления.

Итак, функция демократической легитимации диктатора не исчезает, но приобретает содержательное наполнение: в момент аккламации происходит одновременно признание диктатора народом и политическая манифестация народа в этом волевым акте признания. Собственно, народ оказывается феноменально дан в самом этом акте, именно благодаря ему может поддерживаться разделяемое ощущение, что народ существует и «между аккламациями», в моменты, когда этому нет доказательств. Эта конструкция уточняет у Шмитта уже знакомый нам синтез

15. Шмитт обращал особое внимание на политико-теологическое содержание веберовской концепции харизматической легитимности: аккламация как элемент литургии отсылает к особой модели сакральной организации власти, восходящей в христианстве к апостолу Павлу. Шмитт даже утверждает по этому поводу, что «харизматическая легитимация апостола Павла в Новом Завете остается теологическим источником всего, что Макс Вебер социологически сформулировал относительно харизмы» (Schmitt, 2008: 41). При этом харизматическая легитимность как протестантская идея не была близка Шмитту. Акцент на литургической стороне аккламации уже указывает на то, что в аккламации не просто происходит признание лидера, но создается реальный опыт общности. Политико-теологический смысл доктрины плебисцитарной демократии с ее строгим отделением сакральной области, в которой пребывает вожьд, от профанного мира эмпирического народа должен стать предметом отдельного исследования.

демократического и монархического принципов¹⁶. Принцип демократии — тождество, он реализуется во время аккламации во всеобщем равенстве избирательного права. Принцип монархии — репрезентация, без нее реальная демократия невозможна (именно поэтому, по Шмитту, невозможна «прямая» демократия), так что лидер необходим для того, чтобы представлять народное единство. В этих терминах цезаристский лидер — это «диктатор на демократическом основании». Такой режим «превращает монарха в наделенного доверием народа репрезентанта политического единства, который как таковой конституируется актом конституционно-учредительной власти народа» (Шмитт, 2010: 159). Плебисцит — институциональное решение, которое скрепляет два эти принципа. Вождь, формулируя вопрос для плебисцита (это может быть любое голосование с очевидным итогом), дает возможность предъявления народа как политического единства — поэтому результаты плебисцитов предсказуемы, удостоверяют уже принятое решение и обнаруживают «подавляющее большинство» как наилучшую количественную аппроксимацию «народа».

Возникающие в межвоенный период теории плебисцитарной демократии¹⁷ делают несколько шагов вперед по сравнению с рефлексией цезаризма во второй половине XIX века. Во-первых, они описывают плебисцитаризм как целенаправленный синтез двух принципов, считавшихся в ранней традиции несовместимыми — легально-рациональное и харизматическое господство у Вебера, монархия и демократия — у Шмитта. Если исходно при обсуждении бонапартизма это сочетание рассматривалось в рамках циклической теории режимов как дегенерация демократии в военную деспотию, то теперь речь идет о стабильном типе государственного устройства. Во-вторых, они предлагают нормативное обоснование этого синтеза. В целом оно носит выражено и целенаправленно антидемократический характер, однако в теории Шмитта демократия интерпретируется как равенство (тождество), и плебисцит выступает ключевым способом актуализации тождества. Это позволяет объяснить собственно политическую функцию плебисцитов, которые не сводятся к технической легитимации лидеров, но создают интенсивный момент растворения в народном единстве. Наконец, в-третьих, воз-

16. Можно видеть, что в отличие от веберовской комбинации легально-рациональной и харизматической легитимности, оставлявшей значительную роль за парламентом как относительно автономным гарантом легальности, шмиттовский синтез демократии и монархии резко настроен против парламента и превращает его в машину для юридического оформления приказов правителя.

17. В это время развиваются также и плебисцитарные технологии. Главной из них, помимо собственно электоральных институтов, становятся опросы общественного мнения, появляющиеся в знакомой нам форме во второй половине 1930-х. Стоящая за опросами политическая философия опирается на руссоистские представления о воле народа и демократии «перманентных плебисцитов» в противовес представительной демократии, попавшей под полный контроль корыстных элит (Гэллап, Рэй, 2017). Подробнее о связи опросов с плебисцитарной традицией см.: Юдин, 2020. А. Магун существенно углубляет этот анализ и демонстрирует, что стремительное распространение плебисцитарных технологий было бы невозможным без радикального овеществления общества в XX веке, которое привело к гегемонии квантификации, к представлению «общества» в виде агрегата изолированных субъектов с измеримыми мнениями (Магун, 2020: 417–418).

никновение плебисцитарной традиции мышления о демократии связано с тем, что во многих странах по окончании Первой мировой войны избирательное право расширяется практически до привычных нам сегодня пределов. Это позволяет развернуть анализ выборов как институтов аккламации, что существенно корректирует оптимистический взгляд на выборы, развитый в теориях представительной демократии. Голосование выступает не как «демократический остаток» в авторитарных системах, но как ключевой органический элемент плебисцитарных режимов, производящий демократическую легитимность монархического президента.

Скрытая традиция

В межвоенное время плебисцитаризм стал влиятельной линией реалистического мышления о политике, в особенности в Германии. Однако образ вождистской демократии оказался сильно скомпрометирован приходом к власти нацистов — как сама веймарская система с чрезвычайными полномочиями президента, так и Гитлер с его любовью к плебисцитам сделали прямую апологию плебисцитарной демократии невозможной. Впрочем, если открытых защитников плебисцитаризма найти было сложно, то на более глубоком и более фундаментальном уровне этот укрепившийся способ мышления о демократии продолжал формировать политическую теорию.

Ключевой в этом отношении стала фигура Шумпетера. В 1942 году перебравшийся в США австриец публикует по-английски книгу «Капитализм, социализм и демократия», в которой дает знаменитое «минималистское»¹⁸ определение демократии как технического метода регулирования политики, при котором правление осуществляют элиты, а массам остается голосовать на выборах. Наиболее очевидное влияние Вебера заметно, во-первых, в презрительном отношении Шумпетера к «классической доктрине демократии», под которой понимается идея принятия решений об общем благе самим народом, а во-вторых, в роли, которая отводится массам — роли выбора лидера (Green, 2010: 171; Pakulski, Körösiényi, 2012: 39). Критика Шумпетера направлена в первую очередь против утилитаризма и руссоизма, из которых выстроилась «классическая доктрина»¹⁹. Особенно резкой атаке он подвергает руссоистские категории «общей воли» и «общего блага». Эти поня-

18. Саму формулу «минимальная демократия», по-видимому, впервые предлагает в 1982 году Уильям Райкер, который таким образом определяет либеральную демократию: «Теория социального выбора заставляет нас признать, что народ, вопреки предположениям популистов, не способен править как корпоративная организация. Вместо этого правят должностные лица, и они не представляют какую-то неопределенную народную волю. Поэтому они вполне могут оказаться тиранами — ради своего блага или ради блага какого-то мнимого, воображаемого большинства. Либеральная демократия — это просто вето, с помощью которого иногда можно ограничить тиранию должностных лиц. Это может показаться минимальной формой демократии, в особенности по сравнению с грандиозными (хотя и абсурдными в идейном отношении) притязаниями популизма» (Riker, 1988 [1982]: 244).

19. «Классическая доктрина» давно вызывает недоумение у интерпретаторов Шумпетера. Это весьма нестройный синтез разнородных идей, и сложно найти кого-то, кому ее можно было бы при-

тия представляются австрийскому экономисту рудиментами мистики — никакого общего представления об общем благе у множества индивидов, как правило, быть не может, и нет оснований считать, что оно заранее дано и руководит их предпочтениями.

При этом Шумпетер перенимает ключевой веберовский ход — вместо того, чтобы просто отрицать «общую волю», он принимает ее как факт новой политической реальности. По тем или иным причинам классическая доктрина демократии укоренилась в современных обществах, и массы склонны верить в общую волю народа²⁰. Это значит, что в реальной демократической политике действует «сфабрикованная общая воля»: «Воля народа есть продукт, а не движущая сила политического процесса» (Шумпетер, 2008: 661). В новых условиях выигрывает не тот, кто следует за существующими интерпретациями общего блага, а тот, кто в состоянии сам произвести доминирующую интерпретацию²¹. Именно такой авторитарный лидер в состоянии пресечь неразрешимые конфликты между альтернативными интерпретациями, которые поддерживают некомпетентные группы населения, и по-настоящему добиться блага для народа²².

Именно признание ключевой роли лидера в политике Шумпетер считает одним из основных преимуществ своей минималистской теории (Шумпетер, 2008: 668). Как и у других германоязычных теоретиков плебисцитаризма, фигура фюрера оказывается ключевой для современной демократической политики, и Шумпетер утверждает это открыто в 1942 году. В этой части работы австрийский экономист сводит число ссылок к минимуму — во многом потому, что опирается на плебисцитарную немецкую мысль, которая неминуемо вызвала бы агрессию у американской публики. Однако сходство аргументации Шумпетера не только с Вебером, но и со Шмиттом нельзя не заметить. Знакомые еще по работе в Университете Бонна в 1920-х, Шмитт и Шумпетер с одинаковым презрением смотрят на либеральный парламентаризм, надеющийся на разумную дискуссию в массовом обществе, и считают фюрера необходимым венцом массовой демократии. Различия между Шмиттом, который к тому времени уже имел опыт апологии вождизма Гитлера в работе «Государство, движение, народ» (Schmitt, 1933), и Шумпетером, который уехал в США еще до этого, связаны прежде всего с двумя элементами демократии. Во-первых, Шумпетер, как мы видели, отвергает остаточный руссоизм, присущий Шмитту, и ни в каком смысле не считает вождя выразителем воли наро-

писать. Сам Шумпетер не дает необходимых ссылок — очевидно, мы наблюдаем здесь риторический прием конструирования оппонента с целью его последующей критики (Medearis, 2001: 114–115).

20. Характерно, что главной из причин этого Шумпетер называет протестантские основания современного утилитаризма — так что рационально опровергать эту доктрину бесполезно, ведь за ней стоит религиозная вера (Шумпетер, 2008: 663). Сложно не узнать в этом политико-теологическом рассуждении аргументацию Шмитта против либерализма (Шмитт, 2000: 75–76).

21. Неудивительно, что примером такого лидера оказывается Наполеон (Шумпетер, 2008: 653).

22. Критики обращают внимание на то, что Шумпетер отрицает существование «общего блага», но имплицитно признает его, когда отдает автократам предпочтение с точки зрения блага, приносимого ими народом (Mackie, 2009: 133).

да — а лишь производителем этой фикции. Шумпетеровская картина отличается строгим индивидуализмом и выглядит как консервативно-либеральная реакция против наивного просвещенческого демократического либерализма. Во-вторых, в связи с этим Шумпетер отводит больше места внутриэлитной конкуренции между потенциальными вождями, благодаря чему должна происходить регулярная смена элит. В целом Шумпетер и Шмитт предлагают две разные версии плебисцитаризма, более авторитарную и более тоталитарную, между которыми возникает напряжение (ниже мы вернемся к этому различию). Более радикальное и последовательное рассуждение Шмитта показывает, что логика вождизма ведет к вытеснению шумпетеровского плюрализма вождей и господству единственного вождя, опирающегося на единый народ. Формальная ротация элит, которая становится критерием шумпетеровской демократии, в действительности вполне может осуществляться и авторитарным правителем (Scheuerman, 2020: 236).

Институт выборов у Шумпетера также имеет плебисцитарный смысл. Выступая против выборов как механизма пропорционального представительства, Шумпетер утверждает, что «признание лидерства является истинной функцией голосования избирателей» (Шумпетер, 2008: 671). Его конкурентный элитаризм предполагает, что бюллетень с несколькими кандидатами лучше бюллетеня с одним — однако не потому, что разные существующие в обществе взгляды должны быть представлены разными кандидатами, но потому, что отсутствие конкуренции в элитах может привести к их застою. Когда Шумпетер утверждает, что борьба за власть должна вестись посредством конкуренции за голоса, речь идет не о решении проблемы представительства, а о том, что вождь должен быть авторизован народом (а не получить власть в результате переворота, к примеру). Формула «голосование как признание вождя» означает интерпретацию электоральной процедуры как аккламации.

Плебисцитарные корни шумпетеровской теории минимальной демократии оказались в значительной степени скрыты от американской политической науки, в которой эта теория вскоре начала играть стержневую роль. Доктрина Шумпетера множество раз подвергалась критике за элитизм и демонстративное противоречие традициям партиципаторной и делиберативной демократии. В то же время ее плебисцитарный элемент не вызывал возражений и стал предметом интереса лишь в последние годы. Благодаря этому консенсус вокруг выборов как ключевого демократического института закрепился в политической науке, и в особенности в сравнительной политологии. Если шумпетеровский минимализм и атаковали за недооценку значимости других элементов демократии, то тезис о выборах как ядре демократических режимов практически не оспаривался. Принцип аккламации продолжал определять мышление о демократии после войны²³.

23. При этом сами плебисциты в послевоенное время поначалу вызывают опасение. В ФРГ при основании Республики Парламентским советом было принято сознательное решение максимально ограничить возможность проведения плебисцитов на федеральном уровне. Формально статья 20 Основного закона оставляет такую возможность, однако другие статьи сводят круг допустимых вопро-

Одним из наиболее влиятельных последователей Шумпетера стал Роберт Даль, чье предложенное в 1956 году различие между демократией и диктатурой опирается именно на шумпетерианскую трактовку выборов. Даль, как и многие другие, пытается несколько расширить минимализм, указывая, что задача выборов состоит в том, чтобы «контролировать» вождей. Хотя тем самым в анализ вводится важное измерение отзывчивости (*responsiveness*) лидеров в отношении «лидеров», Даль сохраняет взгляд на демократию как отношение между правящими лидерами и всеми остальными («нелидерами»), способными лишь рассчитывать на отклик со стороны лидеров. Даль подчеркивает, что выборы не способны выявлять «волю народа» или заставлять лидеров действовать в соответствии с интересами большинства — они лишь заставляют их ориентировать свои действия таким образом, чтобы получить электоральную поддержку. Поэтому выборы и политическая конкуренция — это и есть два критерия, которые отличают демократии от диктатур (Dahl, 2006: 131–132)²⁴. По словам Сэмюэла Хантингтона, к 1970-м шумпетерианский подход одержал окончательную победу в дискуссиях об определении демократии, и «справедливые, честные и периодические выборы» стали основным критерием демократии (Huntington, 1991: 6). Хантингтон справедливо замечает, что триумф минимализма был связан с вытеснением нормативной теории демократии в пользу чисто эмпирического подхода. Как и утверждал Шумпетер, главным преимуществом его подхода стала возможность операционального определения демократии: демократия есть там, где есть выборы. И хотя Хантингтон вслед за Далем добавляет к минимальному определению ряд либеральных свобод, выборы остаются смысловым ядром демократии. Воззрения самого Хантингтона, в свою очередь, оказали решающее влияние на парадигму демократизации и на сравнение между странами с точки зрения демократичности режимов²⁵. Не менее влиятельной стала и защита шумпетеровского подхода, предложенная Адамом

сов к изменению границ между землями, и в этом случае голосуют только соответствующие земли. Впрочем, после объединения Германии предложения по возвращению плебисцитов получают все больше политических и юридических обоснований (Jung, 1994). Во Франции четыре референдума, проведенные с 1958 по 1962 год при основании Пятой республики и завершившиеся возвращением прямых выборов президента, критиковались многими как возврат бонапартизма и выборной монархии (Rosanvallon, 2015: 178). В США общенациональные плебисциты никогда не были предусмотрены Конституцией, однако с начала XXI века ведется кампания за внесение в Конституцию так называемой «демократической поправки» с целью разрешить «Национальную инициативу», то есть возможность для народа выступать законодателем напрямую.

24. Демократию Даль понимает как «полиархию», режим, работающий в интересах наибольшего числа меньшинств. Квентин Скиннер уже полвека назад обратил внимание, что сама позитивная коннотация, которую термин «демократия» приобрел начиная с XIX века, автоматически переносится на те институты, которые определяют демократию (Skinner, 1973: 298–299). В результате, хотя определения Шумпетера и Даля (определения демократии через выборы) выглядят строго позитивными и лишены нормативного содержания, фактически они производят нормативное оправдание выборов как демократического (а значит, желательного) института.

25. Еще более существенным для отождествления демократии с выборами на уровне обыденного языка стало использование выборов в качестве основного критерия в индексах демократии. Несмотря на существенные различия между разными способами измерения демократии, все они опираются на минималистское определение как на смысловое ядро демократии (Munck, Verkuilen, 2002; Högström,

Пшеворским, понимающим выборы как возможность решить общественный конфликт, определив, кто имеет право на принуждение (Przeworski, 1999)²⁶.

Было бы неверным сказать, что преобладающие в политической науке взгляды на демократию разделяют плебисцитаристское понимание политики. Достаточно очевидно, что значительную часть воззрений плебисцитаристов не поддержали бы не только современные критики Шумпетера, но и сторонники минимализма²⁷. Кроме того, как мы могли видеть, в рамках плебисцитарной мысли существует определенное разнообразие. Однако формирование представлений о демократии вокруг плебисцитаристской идеи о выборах как ключевом демократическом институте оказывает наиболее сильное влияние как на академические исследования политики, так и, шире, на все современное мышление о демократии. Так, требование прямой демократии как регулярного общенародного голосования по всем политическим вопросам все чаще озвучивается как решение проблем с репрезентацией в современных либеральных демократиях²⁸. Представление о том, что проблемы демократии следует решать через усиление электоральных процедур («если мы хотим узнать волю народа, нужно просто проголосовать»), является наследием плебисцитаризма, и оно остается в центре сегодняшних определений демократии, а также практик ее измерения, формируя тем самым горизонты демократического воображения. По этой причине такие «переходные» (как говорили раньше), или «гибридные» (как говорят теперь), режимы, как российский, заставляют критически взглянуть на преобладающие представления о демократии.

Радикализация плебисцитаризма в России

Характеристика России как плебисцитарной демократии возникала несколько раз на разных исторических этапах. В конце советского периода Андриан Мигранян обратил внимание на идею плебисцитарной демократии в связи с перспективой демократической диктатуры, необходимой советскому обществу для постепенного перехода к демократии (Мигранян, 1989). Для страны, где реальное массовое избирательное право возникло не постепенно, а резко и внезапно, это решение

2013). Ср. также шумпетерианские аргументы методологов наиболее влиятельных рейтингов Freedom House и Polity IV (Gastil, 1990: 31; Jagers, Gurr, 1995: 471).

26. Пшеворский, впрочем, меньше заботится о поиске эффективного лидера, чем о возможности сменить правителя ненасильственным путем и о вытекающих из этого условия благах. Здесь он следует за Карлом Поппером и его апофатическим пониманием демократии как «правительства, от котор[ого] можно избавиться без кровопролития, например, путем всеобщих выборов». И хотя Поппер соглашается с реалистическим аргументом, что «люди никогда не осуществляют самоуправление в каком бы то ни было конкретном, практическом смысле» (Поппер, 1992: 164–165), его взгляды совмещают в себе весьма разные концепции демократии. Учитывая значение книги Поппера для стартового этапа современной российской политики, последствия этой амбивалентности достойны отдельного изучения.

27. См., однако, важные недавние попытки реабилитации плебисцитаризма (Green, 2010; Pakulski, Körösnéyi, 2012).

28. Оно становится особенно перспективным в связи с новыми технологическими возможностями организации голосования (Vale, 2020).

выглядело обоснованным такими же резонами, которые Вебер приводил для Веймарской Германии. Этот рецепт не был в полной мере реализован, однако, как справедливо замечает Пьер Розанваллон, в постсоветских странах бонапартистско-голлистская президентская модель политической организации была принята практически без обсуждений, а в странах бывшего социалистического блока ее эквивалентом стала модель с сильным премьер-министром (Rosanvallon, 2015: 7–10).

Впрочем, позднее стремительное возникновение массовой демократии все же произвело эффект. Конфликты узкопартийных интересов, выплескивавшиеся в медиаполе в конце 1990-х, стали одной из важных предпосылок российского плебисцитаризма — во многом они напоминали партийные войны в немецком парламенте времен Первой мировой. Другим важным фактором стали реваншистские настроения, тлевшие после завершения холодной войны и напоминавшие эмоциональное состояние Франции после наполеоновских войн и Германии после Версаля. Оба фактора способствовали появлению спроса на лидера, встающего над партийной политикой и обещающего возрождение имперской гордости, а суперпрезидентская конституция становилась для этого удобной стартовой площадкой²⁹.

Полноценный плебисцитарный режим возник в России при Владимире Путине. На это обратил внимание Валерий Федоров, утверждающий, что переход от парламентской демократии к плебисцитарной произошел в 2004 году после прошедших без реальной конкуренции президентских выборов (Федоров, 2010: 77). Федоров полагал, что переход к плебисцитаризму был подготовлен сохранением советской политической культуры — аргумент, который, как мы видели, был отвергнут в свое время в теории плебисцитарной демократии после того, как стало ясно, что бонапартизм невозможно объяснить французскими национальными особенностями. Позднее, впрочем, акцент на культурных факторах в рассуждениях Федорова отошел в тень, и плебисцитаризм стал описываться как общая политическая модель, для которой характерны «принцип фюрера» (все остальные политические институты вторичны), прямая связь вождя с народом, безальтернативность и передача власти по наследству (Федоров, 2013: 470–473). С точки зрения Федорова, со временем должно произойти плавное возвращение от плебисцитарной демократии к парламентской и усиление реальной электоральной конкуренции³⁰.

29. Контуры бонапартистского режима в начале правления Путина разглядел А. Медушевский (Медушевский, 2001). См. также более позднюю характеристику политико-экономической системы России как бонапартистской (Матвеев, 2017).

30. Хотя этот прогноз озвучивался Федоровым несколько раз, до сих пор он не подтвердился (Федоров, 2018: 278) — как не подтвердилось и ожидание, что Конституция 1993 года останется неизменной и станет основой для такой трансформации. Существенным недостатком подхода Федорова является то, что он рассматривает внешнеполитическую ситуацию как экзогенную по отношению к плебисцитарному режиму, и потому постоянное воспроизводство плебисцитаризма выглядит как результат действия непредсказуемых внешних факторов, которые раз за разом вмешиваются и вынуждают сохранять плебисцитарную конструкцию в условиях острой внешней угрозы. Как мы показывали выше, управление различием внешне/внутри является одной из ключевых

Существующие описания российского плебисцитаризма, как правило, исходят либо из того, что это переходный режим, либо, напротив, рассматривают его как специфичный для России с ее традициями и особенностями тип политического устройства. В обоих случаях российский кейс оказывается надежно изолирован от общей дискуссии о развитии демократии — либо потому, что это неполноценный тип (и, следовательно, не может ничего сказать о демократии в целом), либо потому, что этот тип стоит в стороне от демократических тенденций (и также непригоден для их анализа). С одной стороны, это резко сужает аппарат для анализа российской политики (она осмысливается либо как пограничный случай «стандартной демократической»/«стандартной авторитарной», либо не подлежит анализу вообще ввиду своей категорической самобытности). С другой стороны, это не дает возможности увидеть имманентные тенденции, которые российский плебисцитарный режим обнаруживает в господствующих воззрениях на демократию³¹.

Анализ плебисцитарной традиции позволяет выделить ее ключевые элементы, которые прослеживаются в российском случае. Опираясь на зафиксированные ранее ключевые особенности плебисцитарной демократии, мы продемонстрируем, как с их помощью можно описать и объяснить устройство российского политического режима. Поскольку, как было показано выше, внутри традиции существуют также и важные противоречия, мы будем обращать внимание на то, как они проявляются в российском случае, чтобы оценить перспективы его развития. Задача этого анализа состоит не в том, чтобы предложить еще один ярлык для классификации, а в обнаружении базовых принципов сложившейся в России демократической политики и их динамики. Именно в этом состоит ценность понятий, разработанных век назад теоретиками плебисцитаризма.

1. *Синтез монархических и демократических элементов в рамках единой политической системы.* Как подчеркивал Вебер, демократические элементы сводятся к тому, что обеспечивают лидеру демократическую легитимность: «„плебисцитарная демократия“ — самый важный тип лидерской демократии — по своему подлинному смыслу есть род харизматического господства, которое скрывается под формой легитимности, основанной на воле подчиненных и поддерживаемой ими одними» (Weber, 1976: 156).

Замечание Шмитта о том, что сильный президент воплощает монархический принцип, было подтверждено впоследствии эмпирическими исследованиями (Linz, 1990). Российская Конституция 1993 года неоднократно характеризовалась как институциональный «гибрид», где «сильный авторитарный президент существует наряду со слабым демократическим парламентом» (Easter, 1997: 209).

особенностей плебисцитарной демократии. Усиление противостояния с внешними противниками и подавление внутривнутриполитической конкуренции — это лишь две стороны перераспределения внешне/внутреннее, здесь невозможно отделить причину от следствия.

31. Важную попытку сделать выводы о перспективах демократии из рассмотрения ее «искажений», среди которых плебисцитаризм и российский случай, см. в работе Нади Урбинати (Урбинати, 2016).

Однако внутри этого гибрида действует дополнительная тенденция к усилению президентской власти — как показала конституционная реформа 2020 года, монархический элемент тяготеет к дальнейшему укреплению. После реформы президент впервые стал осуществлять общее руководство правительством (ч. 1 ст. 110), получил возможность назначать часть правительства единолично (ч. 1 ст. 83), а также право в случае конфликта с парламентом назначать весь состав правительства, включая премьер-министра, без оглядки на парламент и без необходимости его роспуска и последующего обращения к народу для разрешения правительственного кризиса (ч. 4 ст. 112, ч. 4 ст. 111).

Если конституционная реформа приносит дальнейшее ослабление парламентской демократии, то роль веберовской «воли подчиненных», напротив, возрастает. Конституционное устройство систематически расширяет возможности для действия с опорой на волю народа. Показательным является комментарий Конституционного Суда по важному вопросу о количестве президентских сроков. КС рассмотрел этот вопрос как случай конфликта между принципами конституционализма и народного суверенитета и счел приоритетной «возможность реализации народом права избрать на свободных выборах то лицо, которое он считает наиболее достойным должности главы государства, притом что его определение в рамках электоральной конкуренции всегда остается за избирателями» (Конституционный Суд Российской Федерации, 2020: 41–42). Фактически речь идет о том, что электоральная процедура, выявляющая волю народа, преобладает над конституционными ограничениями: узурпацией власти, с точки зрения КС, не может быть названа ситуация, «когда лицо избирается, пусть неоднократно и подряд, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права» (Там же: 43). В терминах Шмитта это решение представляет собой превосходство демократического принципа над либеральным конституционализмом, что подтверждается указанием КС на то, что воля народа видеть действующего президента у власти и после истечения сроков удостоверяется плебисцитом (Там же: 45). Таким образом, усиление монархического элемента происходит параллельно и благодаря усилению плебисцитарно-демократического.

2. *Синтез харизматического и легально-рационального господства.* Для конструкции Вебера принципиально важно, что за первый элемент отвечает лидер, чья харизма удостоверяется народной поддержкой, за второй — бюрократический аппарат государства и парламент. В современной российской плебисцитарной демократии возвышение президента над системой, его дистанцирование даже от правящей партии исключает его из либеральной системы репрезентации частных интересов. Он получает прямую авторизацию от народа на представительство государства как реального политического единства, проходящего поверх возможных внутривластных оппозиций. Плебисцитарная репрезентация осуществляется в режиме «сверху вниз» (в противоположность парламентским системам, где направление репрезентации «снизу вверх»). Лидер получает от народа авторизацию на правление без уточнения мандата — фактический карт-бланш. Его зада-

ча заключается не в том, чтобы следовать общественным предпочтениям, а в том, чтобы формировать их и предъявлять в качестве решений для аккламации (Шлэс, Gyulai, Kögsényi, 2020: 28).

При этом важно заметить, что легитимность плебисцитарного порядка имеет двойное основание: президент правит не произвольно, но в строгом соответствии с законом (хотя Конституция предоставляет широкие возможности правления с помощью декретов; в российском случае — указов). Соблюдение законов тщательно отслеживается и удостоверяется как законодателем, так и бюрократическим аппаратом, а также судами. Однако здесь возникает сложность, ставшая причиной известной атаки Шмитта на Вебера. Для Вебера легальность выглядит как самостоятельное основание для легитимного господства, и потому законность правления является самостоятельным источником легитимности, независимым от президентской харизмы. Для Шмитта же это выглядит неубедительно: как подчинение закону может быть основано только на том, что это закон? Сама идея легальности как основания легитимности представляется Шмитту отрицающей легитимность «плебисцитарной воли народа» (Schmitt, 1932: 14). При взгляде с позиции Шмитта закон в плебисцитарном порядке признается именно и только в силу того, что он исходит от президента, прямо опирающегося на народ. Таким образом, различие между президентским декретом и законом в конечном счете стирается.

Противоречие между Вебером и Шмиттом во взглядах на легальность проливает свет на двойственную функцию закона в российском случае. С одной стороны, президент выступает принципиальным защитником строгой законности, а с другой — эмпирически законодательство, включая Основной Закон, всегда подстраивается под его волю, и нет примеров, чтобы эта воля пришла в противоречие с резонами парламента или бюрократического аппарата. Парламент в малой степени выполняет задуманную Вебером функцию подготовки элиты в политических баталиях — напротив, репрессируя публичную дискуссию, он согласованно с административными органами действует как часть машины, оформляющей волю президента в законы.

3. *Электоральные процедуры (в том числе выборы) имеют смысл аккламаций, то есть символического признания лидера, его решений и его назначений.* Содержательно выбор во время таких процедур сводится к «да» или «нет», причем одна из опций представлена как *fait accompli*. Эволюция электоральных процедур в России в период с 2000 до 2020 года обнаруживает заметную тенденцию к плебисцитаризации. После 1999 года наличие административного кандидата на выборах всех уровней является обязательным условием, и административный аппарат работает на его поддержку, так что голосование за этого кандидата обретает смысл признания государственной системы в целом. С точки зрения представительной парламентской демократии это выглядит нарушением условий конкуренции, однако с позиций плебисцитаризма аппарат функционирует как электоральная машина и занимается обеспечением основы демократической системы — аккламации.

В результате участие в выборах для большинства организаторов, кандидатов и избирателей приобретает иной смысл: не результаты голосования определяют носителя власти, но носитель власти определяет результаты голосования.

Голосование по кандидатуре президента имеет в этой системе особый статус. Именно оно в качестве прямой аккламации, полученной от народа, является источником легитимности для лидера и, косвенным образом, для остальных элементов системы. Плебисцитарный характер президентских выборов удостоверяется несколькими атрибутами. Во-первых, плебисциты должны репрезентировать народ через количественное большинство, и аккламация лидеру требует подавляющего большинства, чтобы минимизировать воспринимаемую вероятность расхождения между «волей всех» и «общей волей». Поэтому плебисцитарный президент не может побеждать ни во втором туре, ни даже незначительным большинством³².

Во-вторых, шмиттовская версия плебисцитаризма предполагает, что у лидера не может быть реальных конкурентов в рамках внутренней политики, в противном случае его способность репрезентировать народную волю окажется подорвана. Поэтому соперники лидера выступают не как его оппоненты, но скорее как важные участники аккламации — они поддерживают его лидерство, но при этом обозначают разные интересы и группы, стоящие за этой поддержкой. Конкуренты лидера могут существовать только за пределами народа как политического единства: тот, кто принципиально возражает против кандидатуры лидера, автоматически перекодируется из внутривнутриполитического во внешнеполитического противника. Сама идея «оппозиции» как внутреннего противника по принципиальным вопросам устройства общества оказывается исключена. Внешнеполитический смысл имеет тенденцию доминировать в таких голосованиях, как это произошло, например, на президентских выборах 2018 года, когда электоральная кампания была построена на необходимости с помощью голосования продемонстрировать внешним противникам единство народа и государства.

Плебисцит 2020 года по конституционной реформе представляет собой лишь радикализацию существовавших прежде тенденций. Предрешенность результата (президент указывал, что в голосовании не было юридической необходимости), формат ответа «да/нет», сведение вопроса к личной поддержке лидера (в частности, его возможности продлить мандат), отсутствие общественной дискуссии и даже прямой запрет на агитацию — все эти плебисцитарные элементы в скрытой форме присутствовали в выборах и ранее, причем во все возрастающей степени.

При этом легитимность отдельных выборных лиц не может превышать легитимность плебисцитарного лидера, они избираются не благодаря прямому согласию народа, но скорее благодаря согласию лидера, за которым стоит согласие народа. Выборы низших уровней становятся, таким образом, косвенными плебисцитами, фиксирующими признание народом лидера, а не признание избираемых

32. Единственный раз результат Владимира Путина был близок к 50% поданных голосов в 2000 году.

лиц. Разумеется, эта интерпретация не может прямо вытекать из численных результатов голосования, но утверждается самими избранными лицами, описывающими собственные результаты как поддержку политики президента.

Появление косвенных плебисцитов позволяет преодолеть проблему разрывов между голосованиями, которые создают лакуны легитимности³³. Голосование неизбежно содержит в себе элемент непредсказуемости уже потому, что оно обозначает символическую пересборку политики, значение которой только возрастает в плебисцитаризме. Теоретически эту неопределенность можно было бы минимизировать, если бы плебисциты стали постоянными, то есть легитимность удостоверялась и демонстрировалась бы постоянно. В российском случае эту функцию в редуцированном виде берут на себя опросы общественного мнения, на значение которых многократно указывал Владимир Путин. Осуществляя регулярное измерение политического рейтинга, опросы представляют собой симуляцию плебисцитов, технически легко реализуемую и позволяющую воспроизводить легитимность с помощью трансляции результатов в средствах массовой информации. Центральное место, которое занимают в российской политической жизни президентские рейтинги, связано именно с ее плебисцитарным характером — благодаря данным опросов регулярно производится сверка легитимности. Быстрое развитие технологий электронного голосования также позволяет организовывать плебисциты постоянно, дешево и эффективно. Как опросы, так и электронное голосование соответствуют логике плебисцитарного взгляда на демократию, поскольку сводят процедуру к мгновенному голосованию и учету, минимизируя предвыборную кампанию, агитацию, взаимодействие на избирательных участках и возможность физического конфликта вокруг подсчета голосов.

4. *Политическая роль народа сводится к аккламации через регулярные плебисциты и иные электоральные процедуры.* В эти моменты народ являет себя как реальное единство, в остальные же периоды он представляет собой разобщенную массу с низкой политической вовлеченностью, не обладающую собственной агентностью. Для плебисцитаризма в целом характерно сильное недоверие в отношении способности народа выступать реальным и тем более ответственным политическим субъектом. Ключевым для плебисцитарной мысли является понимание народа как массы в эпоху всеобщего избирательного права. В связи с этим единственный способ интегрировать народ в современный демократический дизайн состоит не в том, чтобы наделить его правом самоуправления (это решительно невозможно), а в том, чтобы указать ему на возможность проявить себя во время голосований. Народ, таким образом, агрегируется в моменты голосования, после чего немедленно рассеивается.

33. Важным аналогом является институт национальных консультаций, получивший развитие в Венгрии при Викторе Орбане. Консультации проводятся через почтовую рассылку и также не имеют обязательной силы, но позволяют осуществить народную авторизацию решений лидера (Illés, Gyulai, Körösnéyi, 2020: 63).

Как мы видели, несмотря на эту общую базовую модель, в плебисцитарной традиции есть два взгляда на народ, которые разнятся по своим последствиям. Позиция Шумпетера, основанная на критике руссоизма, рассматривает народ исключительно как фикцию, которая в системе минимальной демократии возникает в результате голосования. Для Шмитта, напротив, демократическая легитимность плебисцитарного лидера связана с тем, что он воплощает в себе народное единство, которое производится в процессе аккламации. В отличие от первого подхода, здесь формирование единства является необходимым условием обретения легитимности, и потому функциональный плебисцит невозможен без политической мобилизации. Если Шумпетера устраивает ситуация, когда часть избирателей укачивает на лидера и немедленно возвращается в приватную сферу, то для Шмитта важен момент реального единства, когда народ дан не просто в сумме поданных голосов, но проявлен как политическая общность.

Российские плебисциты имеют тенденцию эволюционировать от первого формата ко второму, от шумпетерианского — к шмиттеанскому. Становление плебисцитарного режима сопровождалось основательной деполитизацией — формированием крайне скептического отношения масс к политике и выборам, ростом недоверия к политикам и общим отчуждением от политической жизни. Активное распространение отталкивающих политтехнологий (таких как кандидаты-двойники или откровенные подставные фигуры вроде Олега Малышкина на президентских выборах-2004) закрепило отторжение от политики. В этих условиях мобилизация небольшой части электората на голосование обеспечивала победу административным кандидатам³⁴. Однако плебисцитарная легитимность неизбежно страдает — уровень абсентеизма столь высок, что не позволяет представить лидера как представителя всего народа.

Начиная с 2018 года плебисциты в России эволюционируют в сторону шмиттеанской модели. В 2018 году на выборах Путин, по официальным данным, получил поддержку 52% от числа всех зарегистрированных избирателей (77% голосовавших), в 2020 году его проект реформы Конституции — 53% (78% голосов «за»). Сила административной мобилизации существенно возрастает: для значительных групп населения голосование перестает быть добровольным. Лидер нуждается не в относительном, а в «подавляющем» (Чечель, 2013) или «абсолютном» большинстве.

По мере того как голосование смещается от шумпетерианского формата (выбор лидера из ограниченного списка конкурентов, осуществляемый путем агрегирования ситуативных предпочтений отдельных граждан) к шмиттеанскому (громкая публичная аккламация лидеру), внешние атрибуты процедуры также

34. Так, Владимир Путин и Дмитрий Медведев до 2018 года получали на выборах менее 50% голосов от списочного числа избирателей. «Единая Россия» по итогам выборов 2016 года сформировала конституционное большинство в Государственной Думе, располагая лишь 26% голосов от всех имеющих право голоса. Мэр Москвы Сергей Собянин получил на выборах в 2013 году 16% голосов от списочного числа избирателей, в 2018 году — 21%.

могут меняться. Усиление потребности лидера в однозначной аккламации ведет не только к увеличению доли поданных за него голосов, но и к размыванию тайны голосования, которая вызывала критику Шмитта. С точки зрения формата аккламации тайный выбор является препятствием для публичного предъявления народного единства. В этой связи как административная мобилизация сотрудников предприятий (иногда — с последующими требованиями предъявить фотографии заполненных бюллетеней), так и выход голосования за пределы избирательных участков в жилые дома и дворы, где тайну голосования сохранить затруднительно, — все это является естественными направлениями эволюции плебисцита в сторону публичной аккламации.

Увеличение частоты и охвата плебисцитов указывает на важное противоречие между двумя обсуждаемыми моделями. Плебисцитарный взгляд на массу предполагает, что она незамедлительно после голосования рассеется в неполитическую повседневность, поскольку для нее не предусмотрено иной политической роли. Однако деполитизированное состояние не позволяет обеспечить подобающей плебисцитарному лидеру легитимности — оказывается, что шумпетеровский вариант голосования не вполне решает ключевую для себя проблему. Выходом становится форсированная политизация масс в ситуации плебисцита, ведь простая фальсификация итогов не дала бы необходимого результата. Но можно ли ожидать, что вовлеченные в политическую процедуру массы будут готовы вновь легко перейти в пассивное состояние? Не окажется ли, что шумпетеровские опасения в отношении избыточной активности масс имеют под собой основания? Если благодаря этому народ приобретает роль, не сводящуюся к определенной ему инструментальной массе, то разумно предположить, что изменения затронут и сам дизайн плебисцитарной демократии.

Заключение

Направление эволюции плебисцитарной системы — тема отдельного рассуждения. Однако предложенный здесь подход позволяет посмотреть на плебисцитаризм не как на поворот в тупик с торной дороги к демократии. Ключевая роль выборов и голосований для российского политического режима, активное развитие и расширение электоральных процедур показывают, что плебисцитаризм полностью совместим с теорией демократии, придающей ключевое значение процедуре выборов. С точки зрения электоральной демократии Россия представляет собой не догоняющую, а, напротив, опережающую версию демократии³⁵.

35. Следует отметить, что, несмотря на электоральный крен доминирующих определений демократии, основные индексы демократии не классифицируют современный российский режим как демократический. Индекс Polity за 2018 год классифицирует Россию как «открытую анократию» (до статуса «демократии» России не хватает 2 баллов по 21-балльной шкале), Freedom House за 2020 год — как «консолидированный авторитарный режим» (Россия набирает 5 баллов из 40 в категории «политические права»), Economist Intelligence Unit за 2019 год — как «авторитарный режим» (страна набирает только 2,17 из 10 в оценке электорального процесса). Однако все эти измерения в значительной

Российский случай не единственный пример плебисцитаризма на современном этапе трансформации демократии. Наиболее близкими аналогами являются режимы Виктора Орбана в Венгрии (Illés, Gyulai, Körösnéyi, 2020) и Реджепа Эрдогана в Турции (Özbudun, 2014). Во всех случаях активное использование электоральных процедур происходит в условиях правления сильного лидера и усиления его полномочий (в Турции появился пост всенародно избираемого президента), голосование превращается в плебисциты. Впрочем, в отличие от России, и в венгерском, и в турецком случаях внутренняя политика существует в парламенте, и лидерам приходится входить с внутренними оппонентами в открытое публичное противостояние³⁶. Сложившийся в России политический режим наиболее уверенно можно называть радикализацией логики плебисцитарной демократии.

Взгляд на плебисцитарную демократию не как на отклоняющуюся и неполноценную гибридную форму, а как на синтетическую модель позволяет иначе оценить ее перспективы. Российский случай представляет в этой связи особый интерес. Однако следует различать развитие плебисцитаризма как типа политического режима и эволюцию конкретной российской системы.

Козыри плебисцитарного взгляда на демократию, сформулированные его идеологами, остаются в игре спустя век массовой политики. Скепсис в отношении возможности широкого гражданского участия в современном обществе получает все новые основания и становится ключевым реалистическим аргументом против сторонников партиципаторной модели демократии. Если мы хотим избежать полного отчуждения граждан от политической жизни, не стоит требовать от них слишком многого, лучше удовлетвориться демократическим минимумом — их участием в выборах. В то же время надежды делиберативных демократов на разумную дискуссию рушатся в результате трансформации публичной сферы в сцену для выступления знаменитостей — наступило время аудиторной демократии, демократии для пассивных зрителей, поднимающих палец вверх (Manin, 1995; Green, 2010). Сложившиеся партийные системы терпят крах по всему миру — за партиями больше не стоят лояльные классы и устойчивые идеологии, и массы ждут силь-

мере базируются на экспертных оценках, в которых ключевую роль играет суждение о том, являются ли выборы «честными и справедливыми». Многие исследователи обращают внимание на то, что эти оценки неизбежно оказываются субъективными, подсознательно ориентируются на сравнение с нормативными образцами и в результате меньше говорят о демократии, чем о сходстве с определенными странами-ориентирами (Diamond, 2002: 22; Поляков, 2015).

36. Активное вовлечение лидера в публичную политику и политизация масс в противовес пассивности — важные отличия популистской модели от плебисцитарной (Урбинати, 2016: 324–327). В сравнительных исследованиях впервые на устойчивое отклонение обеих этих моделей от парламентской представительной демократии обратил внимание аргентинец Гильермо О’Доннелл (O’Donnell, 1994). Однако его термин «делегативная демократия» необоснованно смешивает две эти формы и не дает возможности увидеть принципиальные отличия латиноамериканского популизма, где лидер постоянно балансирует на грани народной любви и народного гнева за счет тесного контакта с массами и их политизации, от плебисцитаризма с его стремлением демобилизовать массы и тем самым обеспечить непререкаемое лидерство президента во внутренней политике.

ных лидеров, способных гибко реагировать на быстро меняющийся мир (Pakulski, Kőrösényi, 2012).

Акцент на выборах в господствующих концепциях демократии отнюдь не случаен — выборы сегодня выглядят единственной точкой контакта между далеки-ми от политики, погруженными в частную жизнь гражданами, с одной стороны, и правящими элитами — с другой. То, что «прямая демократия» по всему миру мыслится преимущественно как умножение голосований, как утопия постоянного плебисцита — логичный результат эволюции демократических систем в направлении, предсказанном теоретиками плебисцитаризма. Несмотря на осторожное отношение к практике электронного голосования в большинстве стран (Buchstein, 2004), его распространение выглядит неизбежностью не столько в силу новых технологических возможностей, сколько в силу доминирования плебисцитарного взгляда на демократию: граждане уже имеют мнение по политическим вопросам, достаточно просто «сфотографировать» это мнение, чтобы получить «общую волю», и электронное голосование позволяет сократить издержки этой измерительной процедуры.

Плебисцитарная демократия еще в большей степени, чем сто лет назад, выглядит надежным компромиссом между принципом народного суверенитета, который сводится к праву народа «выбирать себе власть», и потребностью элит и масс в сильном лидере с монархическими полномочиями, который гарантировал бы стабильность и воплощал в себе исторический выбор народа. Демократия может при этом усиливаться по линии постоянной репрезентации народной воли, ведь если нужно, народ может получить право голосовать практически постоянно. Плебисцитарная демократия может оказаться завтрашним днем демократических режимов, и именно поэтому она оказывается в значительной степени неуязвимой для критики сегодня.

Несмотря на плебисцитарные тенденции в современных демократических системах, сами плебисцитарные режимы, как показывает история, подвержены ряду угроз. Во-первых, как заметил Рошер, они склонны к военным авантюрам (Roscher, 1888: 747). Это можно объяснить именно особой подвижностью различия внутренней и внешней политики: необходимость отрицания внутренней оппозиции и интерпретация внутривнутриполитических конфликтов как индуцированных извне неизбежно приводит к тому, что опасность внешних угроз систематически переоценивается. Кроме того, внутренняя консолидация против внешних противников сокращает число международных союзников и провоцирует выстраивание внешнеполитических коалиций против плебисцитарного режима. Классическими примерами здесь выступают военные неудачи Наполеона I и Наполеона III, приведшие к смене режима.

Во-вторых, харизма напрямую не передается, так что передача лидерского статуса неизбежно становится для системы испытанием. Как отмечал Вебер, наиболее очевидный способ — назначение преемника — имплицитно подразумевает, что власть преемника основывается уже не на его харизме (Weber, 1976: 664),

и в какой степени плебисцитарная процедура может исправить эту проблему, сказать трудно. Хотя структурно позиция всенародно избранного президента сама должна наделять лидера «неавторитарной» харизмой, на деле его власть в значительной степени персонализирована и не может просто передаваться следующему избраннику. В плебисцитаризме возникает неизбежная цезура, не свойственная ни наследственным монархиям, ни «демократиям без вождя».

В-третьих, противоречие между мобилизующими и демобилизующими тенденциями в плебисцитаризме вызывает напряжение. Для того чтобы аккламация имела необходимый публичный эффект и выполняла легитимирующую функцию, требуется политизация народа как реального единства. Однако политизация — не тумблер, который легко выключить по желанию. Возвращение политизированных масс в пассивное состояние может оказаться трудной задачей, и решить ее тем сложнее, чем сильнее они политизированы. Таким образом, использование народа как источника легитимности власти и его удержание в рассеянном, обезвреженном состоянии вступают друг с другом в противоречие. При нарушении баланса это может привести либо к ослаблению лидера, либо, наоборот, к постоянной мобилизации народа и эволюции режима в тоталитарном направлении. Вебер в полемическом запале требовал, чтобы плебисцитарный диктатор «всегда видел перед глазами „виселицу и веревку“» (Вебер, 2003б: 400) — однако так и не дал понять, как это гарантировать и как можно стабилизировать цезаристский режим.

Демонстративно антидемократические интенции теоретиков плебисцитарной демократии провоцируют естественный вопрос — оправданно ли вообще называть эту синтетическую систему «демократией»? На сходные сомнения наталкивает и наблюдение за формами реализации этой идеи в прошлом и сегодня — в частности, в России. Разумеется, существует целый ряд нормативных демократических позиций, которые не признают демократии в цезаризме, и для этого есть основания. Однако плебисцитаризм не случайно созвучен господствующему в политической науке и в обыденном сознании пониманию выборов как смыслового ядра демократии. Расцвет плебисцитарных технологий и впечатляющая устойчивость плебисцитарных режимов заставляют принять плебисцитаризм всерьез в поисках ответа на вопрос о том, как в современных политических условиях возможно демократическое правление. Любой критик плебисцитарной демократии должен в первую очередь признать, что ее сегодняшнее воплощение — не странная временная aberrация на прямом пути демократизации, а логичный результат развития общепринятых воззрений, чьи мрачные истоки слишком долго были скрыты.

Литература

- Вебер М. (1990). Политика как призвание и профессия / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс. С. 644–706.
- Вебер М. (2003а). Национальное государство и народнохозяйственная политика // Вебер М. Политические работы (1895–1919) / Пер. с нем. Б. М. Скуратова. М.: Праксис. С. 7–39.

- Вебер М. (2003б). Рейхспрезидент // Вебер М. Политические работы (1895–1919) / Пер. с нем. Б. М. Скуратова. М.: Практис. С. 399–403.
- Гельман В. (1997). «Transition» по-русски: концепции переходного периода и политическая трансформация в России (1989–1996) // Общественные науки и современность. № 4. С. 64–81.
- Гэллан Дж., Рэй С. Ф. (2017). Пульс демократии: как работают опросы общественного мнения / Пер. с англ. В. Л. Силаевой. М.: ВЦИОМ.
- Конституционный Суд Российской Федерации (2020). Заключение Конституционного Суда Российской Федерации о соответствии положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом Президента Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 1-З. СПб.
- Липпман У. (2004). Общественное мнение / Пер. с англ. Т. В. Барчуновой. М.: ФОМ.
- Магун А. (2020). Зондаж богоносца // Социологическое обозрение. 2020. Т. 19. № 3. С. 409–425.
- Маркс К. (1957). 18 брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 2. М.: Политиздат. С. 115–217.
- Матвеев И. (2017). Конец «стабильности»: политическая экономия пересекающихся кризисов в России с 2009 года // Социологическое обозрение. Т. 16. № 2. С. 29–53.
- Медушевский А. (2001). Бонапартистская модель власти для России // Вестник Европы. № 1. С. 28–49.
- Мигранян А. (1989). Плебисцитарная теория демократии Макса Вебера и современный политический процесс // Вопросы философии. № 6. С. 148–158.
- Моммзен Т. (1941). История Рима. Т. 3: От смерти Суллы до битвы при Тапсе / Пер. с нем. И. М. Масюкова под ред. Н. А. Машкина. М.: Госполитиздат.
- Острогорский М. (1997). Демократия и политические партии. М.: РОССПЭН.
- Поляков Л. (2015). Электоральный авторитаризм и российский случай // Полития. № 2. С. 6–20.
- Поппер К. (1992). Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона / Пер. с англ. под ред. В. Н. Садовского. М.: Феникс.
- Уварова М. (2014). Коронованная демократия: Франция и реформы Наполеона III в 1860-е гг. М.: Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара.
- Урбинати Н. (2016). Искаженная демократия: мнение, истина и народ / Пер. с англ. Д. Кралечкина под ред. В. Софронова. М.: Изд-во Ин-та Гайдара.
- Федоров В. (2010). Русский выбор: введение в теорию электорального поведения россиян. М.: Практис.

- Федоров В. (2013). От плебисцита — к выборам? Выборный цикл 2011–2012 гг. и перспективы эволюции российской политики // Федоров В. (ред.). От плебисцита — к выборам: как и почему россияне голосовали на выборах 2011–2012 гг. М.: Праксис. С. 469–482.
- Федоров В. (2018). Плебисцитарная демократия в эпоху «посткрымского консенсуса» // Федоров В. (ред.). Выборы на фоне Крыма: электоральный цикл 2016–2018 гг. и перспективы политического транзита. М.: ВЦИОМ. С. 278–284.
- Чечель И. (2013). Время, вперед? Преамбула к дискуссии о «подавляющем большинстве» // Интернет-журнал «Гефтер». URL: <http://gefter.ru/archive/9447> (дата доступа: 16.03.2021).
- Шмитт К. (2000). Политическая теология. М.: Канон-Пресс-Ц.
- Шмитт К. (2010). Учение о конституции (фрагмент) // Шмитт К. Государство и политическая форма / Пер. с нем. О. В. Кильдюшова. М.: Издательский дом ВШЭ. С. 33–236.
- Шумпетер Й. (2008). Капитализм, социализм, демократия // Шумпетер Й. Теория экономического развития: капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2008. С. 363–824.
- Юдин Г. (2014). Эксперимент под внешним управлением: риторика и репрезентация крымского мегаопроса // Мониторинг общественного мнения. № 2. С. 53–56.
- Юдин Г. (2020). Общественное мнение, или Власть цифр. СПб.: Изд-во Европейского ун-та.
- Baehr P. (1989). Weber and Weimar: The «Reich President» Proposals // Politics. Vol. 9. № 1. P. 20–25.
- Baehr P. (2008). Caesarism, Charisma and Fate: Historical Sources and Modern Resonances in the Work of Max Weber. New Brunswick: Transaction.
- Bonaparte N.-L. (1839). Des idées napoléoniennes. Paris: Paulin.
- Brancati D. (2014). Democratic Authoritarianism: Origins and Effects // Annual Review of Political Science. Vol. 17. P. 313–326.
- Bryce J. (1995). The American Commonwealth. Vol. 2. Indianapolis: Liberty Fund.
- Buchstein H. (2004). Online Democracy, Is it Viable? Is it Desirable? Internet Voting and Normative Democratic Theory // Kersting N., Baldersheim H. (eds.). Electronic Voting and Democracy: A Comparative Analysis. London: Palgrave Macmillan. P. 39–58.
- Carothers T. (1997). Democracy without Illusions // Foreign Affairs. Vol. 76. № 1. P. 85–99.
- Carothers T. (2002). The End of Transition Paradigm // Journal of Democracy. Vol. 13. № 1. P. 5–21.
- Crook M. (2003). Confidence from Below? Collaboration and Resistance in the Napoleonic Plebiscites // Rowe M. (ed.). Collaboration and Resistance in Napoleonic Europe. London: Palgrave Macmillan. P. 19–36.
- de la Borderie A. (1867). Les élections départementales de 1867. Lettres à un électeur. Rennes.

- Diamond L.* (2002). Thinking about Hybrid Regimes // *Journal of Democracy*. Vol. 13 № 2. P. 21–35.
- Easter G.* (1997). Preference for Presidentialism: Postcommunist Regime Change in Russia and the NIS // *World Politics*. № 49. P. 184–211.
- Eliaeson S.* (2000). Constitutional Caesarism: Weber's Politics in Their German Context // *Turner S.* (ed.). *The Cambridge Companion to Weber*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 131–150.
- Gandhi J., Lust-Okar E.* (2009) Elections under Authoritarianism // *Annual Review of Political Science*. Vol. 12. P. 403–422.
- Gastil R.* (1990). The Comparative Survey of Freedom: Experiences and Suggestions // *Studies in Comparative International Development*. Vol. 25. № 1. P. 25–50.
- Gel'man V.* (2014). The Rise and Decline of Electoral Authoritarianism in Russia // *Demokratizatsiya*. Vol. 22. № 4. P. 503–522.
- Gollwitzer H.* (1987). The Caesarism of Napoleon III as Seen by Public Opinion in Germany // *Economy and Society*. Vol. 16. № 3. P. 357–404.
- Golosov G.* (2011). The Regional Roots of Electoral Authoritarianism in Russia // *Europe-Asia Studies*. Vol. 63. № 4. P. 623–639.
- Green J.* (2010). *The Eyes of the People: Democracy in an Age of Spectatorship*. Oxford: Oxford University Press.
- Hazareingh S.* (2004). Bonapartism as the Progenitor of Democracy: The Paradoxical Case of the French Second Empire // *Baehr P., Richter M.* (eds.). *Dictatorship in History and Theory: Bonapartism, Caesarism, and Totalitarianism*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 129–154.
- Högström J.* (2013). Does the Choice of Democracy Measure Matter? Comparisons between the Two Leading Democracy Indices, Freedom House and Polity IV // *Government and Opposition*. Vol. 48. № 2. P. 201–221.
- Huntignton S.* (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Illés G., Gyulai A., Körösenyi A.* (2020). *The Orbán Regime: Plebiscitary Leader Democracy in the Making*. London: Routledge.
- Jagers K., Gurr T. R.* (1995). Tracking Democracy's Third Wave with the Polity III Data // *Journal of Peace Research*. Vol. 32. № 4. P. 469–482.
- Jung O.* (1994). *Grundgesetz und Volksentscheid: Gründe und Reichweite der Entscheidungen des Parlamentarischen Rats gegen Formen direkter Demokratie*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Kalyvas A.* (2007). The Tyranny of Dictatorship: When the Greek Tyrant Met the Roman Dictator // *Political Theory*. Vol. 35. № 4. P. 412–442.
- Levitsky S., Way L.* (2002). The Rise of Competitive Authoritarianism // *Journal of Democracy*. Vol. 13. № 2. P. 51–65.
- Levitsky S., Way L.* (2010). *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Linz J.* (1990). The Perils of Presidentialism // *Journal of Democracy*. Vol. 1. № 1. P. 51–69.

- Linz J. (2000). *Totalitarian and Authoritarian Regimes*. London: Boulder.
- Mackie G. (2009). Schumpeter's Leadership Democracy // *Political Theory*. Vol. 37. № 1. P. 128–153.
- Manin B. (1995). *The Principles of Representative Government*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Medearis J. (2001). *Joseph Schumpeter's Two Theories of Democracy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Mommsen W. (1974). *Max Weber und die deutsche Politik, 1890–1920*. Tübingen: Mohr/Siebeck.
- Morgenbesser L. (2016). *Behind the Façade: Elections under Authoritarianism in Southeast Asia*. Albany: SUNY Press.
- Munck G., Verkuilen J. (2002). Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluating Alternative Indices // *Comparative Political Studies*. Vol. 35. № 1. P. 5–34.
- O'Donnell G. (1994). Delegative Democracy // *Journal of Democracy*. Vol. 5. № 1. P. 55–69.
- Özbudun E. (2014). AKP at the Crossroads: Erdoğan's Majoritarian Drift // *South European Society and Politics*. Vol. 19. № 2. P. 155–167.
- Pakulski J., Körösenyi A. (2012). *Toward Leader Democracy*. London: Anthem Press.
- Przeworski A. (1999). Minimalist Conception of Democracy: A Defense // *Shapiro I., Hacker-Cordón C. (eds.). Democracy's Value*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 23–55.
- Richter M. (2004). Tocqueville and French Nineteenth-Century Conceptualizations of the Two Bonapartes and Their Empires // *Baehr P., Richter M. (eds.). Dictatorship in History and Theory: Bonapartism, Caesarism, and Totalitarianism*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 83–102.
- Riker W. (1988). *Liberalism Against Populism: A Confrontation Between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choice*. Long Grove: Waveland Press.
- Romieu A. (1850). *L'ère des Césars*. Paris: Ledoyen.
- Rosanvallon P. (1992). *Le sacre du citoyen: histoire du suffrage universel en France*. Paris: Gallimard.
- Rosanvallon P. (2015). *Le bon gouvernement*. Paris: Seuil.
- Roscher W. (1888). *Umriss zur Naturlehre des Cäsarismus*. Leipzig: Hirzel.
- Scheuerman W. (2020). *The End of Law: Carl Schmitt in the Twenty-First Century*. London: Rowman and Littlefield.
- Schmitt C. (1932). *Legalität und Legitimität*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C. (2008). *Politische Theologie II: Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C. (2014). *Volksentscheid und Volksbegehren*. Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitter P., Karl T. (1991). What Democracy Is... and Is Not // *Journal of Democracy*. Vol. 2. № 3. P. 75–88.
- Schmitter P., Karl T. (1994). The Conceptual Travels of Transitologists and Consolidologists: How Far to the East Should They Attempt to Go? // *Slavic Review*. Vol. 53. № 1. P. 173–185.

- Skinner Q.* (1973). The Empirical Theorists of Democracy and Their Critics: A Plague on Both Their Houses // *Political Theory*. Vol. 1. № 3. P. 287–306.
- Stanton T.* (2016). Popular Sovereignty in an Age of Mass Democracy: Politics, Parliament and Parties in Weber, Kelsen, Schmitt and Beyond // *Bourke R., Skinner Q.* (eds.). *Popular Sovereignty in Historical Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 320–358.
- Vale G.* (2020). Digital Revolution, the Crisis of Representation and the Future of Democracy // *Brändli A., Vale G.* (eds.). *Going Digital? Citizen Participation and the Future of Direct Democracy*. Basel: Schwabe Verlag. P. 13–26.
- Weber M.* (1976). *Wirtschaft und Gesellschaft*. Tübingen: Mohr/Siebeck.
- Zakaria F.* (2003). *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*. New York: Norton & Company.

Russia as a Plebiscitary Democracy

Greg Yudin

Candidate of Philosophical Sciences, Director of the Center for Research in Contemporary Politics, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Professor, Moscow School of Social and Economic Sciences
E-mail: gregloko@yandex.ru
Address: Prospect Vernadskogo, 82, Moscow, Russian Federation 119571

Electoral procedures, such as elections, voting, or opinion polling, play a pivotal role in the Russian political system. A theoretical problem for contemporary political science arises; how can this proactive recourse to the popular voice coexist with the obvious depoliticization and concentration of personal power? Describing the Russian political regime as intermediary and inferior as opposed to full democracies cannot account for its electoral enthusiasm nor its robustness and endurance. This paper reverts to the plebiscitarian theory of democracy to address these issues. Combining monarchical power with universal suffrage created the political system of the Second Empire in France, and was later thoroughly theorized in Germany during the years of the Weimar Republic. Plebiscitary democracy produces direct democratic legitimacy for a strong leader while severely reducing the role of the masses under a drastic and rapid extension of suffrage. This paper identifies key principles as well as the main contradictions of plebiscitarian regimes. Additionally, it demonstrates that the plebiscitarian ideas proposed by Max Weber and Carl Schmitt have affected the minimalist definition of democracy espoused by Joseph Schumpeter, and therefore keeps enjoying a wide influence in political science. In identifying democracy with elections, the minimalist view promotes the electoralization of political regimes and favors the contemporary rise of plebiscitarianism. The paper considers present-day Russia as a radical case of plebiscitarian politics and traces some of its key developments.

Keywords: plebiscitary democracy, Max Weber, Carl Schmitt, Napoleon III, Joseph Schumpeter, dictatorship, minimal democracy, legitimacy, Caesarism, acclamation, Russia

References

- Baehr P. (1989) Weber and Weimar: The “Reich President” Proposals. *Politics*, vol. 9, no 1, pp. 20–25.

- Baehr P. (2008) *Caesarism, Charisma and Fate. Historical Sources and Modern Resonances in the Work of Max Weber*, New Brunswick: Transaction.
- Bonaparte N.-L. (1839) *Des idées napoléoniennes*, Paris: Paulin.
- Brancati D. (2014) Democratic Authoritarianism: Origins and Effects. *Annual Review of Political Science*, vol. 17, pp. 313–326.
- Bryce J. (1995) *The American Commonwealth, Vol. 2*, Indianapolis: Liberty Fund.
- Buchstein H. (2004) Online Democracy, Is it Viable? Is it Desirable? Internet Voting and Normative Democratic Theory. *Electronic Voting and Democracy: A Comparative Analysis* (eds. N. Kersting, H. Baldersheim), London: Palgrave Macmillan, pp. 39–58.
- Carothers T. (1997) Democracy without Illusions. *Foreign Affairs*, vol. 76, no 1, pp. 85–99.
- Carothers T. (2002) The End of Transition Paradigm. *Journal of Democracy*, vol. 13, no 1, pp. 5–21.
- Chechel I. (2013) Vremya, vpered? Preambula k diskussii o “podavlyayuschem bolshinstve” [Time, Ahead? Preamble to the Discussion on “Overwhelming Majority”]. *Gefter: Online Journal*. Available at: <http://gefeter.ru/archive/9447> (accessed 16 March 2021).
- Constitutional Court of the Russian Federation (2020) Zakljuchenie Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Federacii o sootvetstvii polozhenijam glav 1, 2 i 9 Konstitucii Rossijskoj Federacii ne vstupivshih v silu polozhenij Zakona Rossijskoj Federacii o popravke k Konstitucii Rossijskoj Federacii “O sovershenstvovanii regulirovanija otdel’nyh voprosov organizacii i funkcionirovanija publichnoj vlasti”, a takzhe o sootvetstvii Konstitucii Rossijskoj Federacii porjadka vstuplenija v silu stat’i 1 dannogo Zakona v svyazi s zaprosom Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 16 marta 2020 g. № 1-Z [The Decision of the Constitutional Court of the Russian Federation on the Provisions of the Statute of Russian Federation on the Amendment to the Constitution of Russian Federation “On Improvement of Regulation of Some Questions of Organization and Functioning of Public Power” In Their Compliance to the Chapters 1, 2 and 9 of the Constitution of Russian Federation, and on Compliance of the Order of Coming into Effect of Article 1 of the Aforementioned Statute to the Constitution of Russian Federation, Made on the Request of the President of Russian Federation from March 16, 2020, no 1-Z].
- Crook M. (2003) Confidence from Below? Collaboration and Resistance in the Napoleonic Plebiscites. *Collaboration and Resistance in Napoleonic Europe* (ed. M. Rowe), London: Palgrave Macmillan, pp. 19–36.
- de la Borderie A. (1867) *Les élections départementales de 1867. Lettres à un électeur*, Rennes.
- Diamond L. (2002) Thinking about Hybrid Regimes. *Journal of Democracy*, vol. 13, no 2, pp. 21–35.
- Easter G. (1997) Preference for Presidentialism: Postcommunist Regime Change in Russia and the NIS. *World Politics*, no 49, pp. 184–211.
- Eliaeson S. (2000) Constitutional Caesarism: Weber’s Politics in Their German Context. *The Cambridge Companion to Weber* (ed. S. Turner), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 131–150.
- Fedorov V. (2010) *Russkii Vybor: vvedenie v teoriyu elektoralnogo povedeniya rossijan* [Russian Choice: Introduction to the Theory of Electoral Behavior of Russians], Moscow: Praxis.
- Fedorov V. (2013) Ot plebistsita — k vyboram? Vybornyi tsikl 2011–2012 gg. i perspektivy evolyutsii rossijskoj politii [From Plebiscite to Elections? The Electoral Cycle of 2011–2012 and Prospects of Evolution of Russian Polity]. *Ot plebistsita — k vyboram: kak i pochemu rissoiyane golosovali na vyborah 2011–2012 gg.* [From Plebiscite to Elections: How and Why Russian Voted in 2011–2012 Elections] (ed. V. Fedorov), Moscow: Praxis, pp. 469–482.
- Fedorov V. (2018) Plebistsitarnaya demokratiya v epohu “postkrymskogo konsensusa” [Plebiscitary Democracy in the Age of “Post-Crimean Consensus”]. *Vybory na fone Kryma: elektoralnyi tsikl 2016–2018 gg. i perspektivy politicheskogo tranzita* [Elections on Crimean Background: The Electoral Cycle of 2016–2018 and the Prospects of Political Transition] (ed. V. Fedorov), Moscow: VCIOM, pp. 278–284.
- Gallup G., Rae S. F. (2017) *Pul’s demokratii* [The Pulse of Democracy], Moscow: VCIOM.
- Gandhi J., Lust-Okar E. (2009) Elections under Authoritarianism. *Annual Review of Political Science*, vol. 12, pp. 403–422.
- Gastil R. (1990) The Comparative Survey of Freedom: Experiences and Suggestions. *Studies in Comparative International Development*, vol. 25, no 1, pp. 25–50.

- Gel'man V. (1997) "Transition" po-russki: kontseptsii perehodnogo perioda i politicheskaya transformatsiya v Rossii (1989–1996) ["Transition" a la Russe: Conceptions of transitional stage and political transformation in Russia (1989–1996)]. *Obschestvennye nauki i sovremennost* [Social Sciences and Modernity], no 4, pp. 64–81.
- Gel'man V. (2014) The Rise and Decline of Electoral Authoritarianism in Russia. *Demokratizatsiya*, vol. 22, no 4, pp. 503–522.
- Gollwitzer H. (1987) The Caesarism of Napoleon III as Seen by Public Opinion in Germany. *Economy and Society*, vol. 16, no 3, pp. 357–404.
- Golosov G. (2011) The Regional Roots of Electoral Authoritarianism in Russia. *Europe-Asia Studies*, vol. 63, no 4, pp. 623–639.
- Green J. (2010) *The Eyes of the People: Democracy in an Age of Spectatorship*, Oxford: Oxford University Press.
- Hazareingh S. (2004) Bonapartism as the Progenitor of Democracy: The Paradoxical Case of the French Second Empire. *Dictatorship in History and Theory: Bonapartism, Caesarism, and Totalitarianism* (eds. P. Baehr, M. Richter), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 129–154.
- Högström J. (2013) Does the Choice of Democracy Measure Matter? Comparisons between the Two Leading Democracy Indices, Freedom House and Polity IV. *Government and Opposition*, vol. 48, no 2, pp. 201–221.
- Huntington S. (1991) *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*, Norman: University of Oklahoma Press.
- Illés G., Gyulai A., Körösenyi A. (2020) *The Orbán Regime: Plebiscitary Leader Democracy in the Making*, London: Routledge.
- Jagers K., Gurr T. R. (1995) Tracking Democracy's Third Wave with the Polity III Data. *Journal of Peace Research*, vol. 32, no 4, pp. 469–482.
- Jung O. (1994) *Grundgesetz und Volksentscheid: Gründe und Reichweite der Entscheidungen des Parlamentarischen Rats gegen Formen direkter Demokratie*, Opladen: Westdeutscher Verlag.
- Kalyvas A. (2007) The Tyranny of Dictatorship: When the Greek Tyrant Met the Roman Dictator. *Political Theory*, vol. 35, no 4, pp. 412–442.
- Levitsky S., Way L. (2002) The Rise of Competitive Authoritarianism. *Journal of Democracy*, vol. 13, no 2, pp. 51–65.
- Levitsky S., Way L. (2010) *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Linz J. (1990) The Perils of Presidentialism. *Journal of Democracy*, vol. 1, no 1, pp. 51–69.
- Linz J. (2000) *Totalitarian and Authoritarian Regimes*, London: Boulder.
- Lippman W. (2004) *Obschestvennoe mnenie* [Public Opinion], Moscow: FOM.
- Mackie G. (2009) Schumpeter's Leadership Democracy. *Political Theory*, vol. 37, no 1, pp. 128–153.
- Magun A. (2020) Zondazh bogonostsa [The Poll of the God-bearer]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 3, pp. 409–425.
- Manin B. (1995) *The Principles of Representative Government*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Marx K. (1957) 18 bryumera Lui Bonaparta [The 18th Brumaire of Louis Bonaparte]. Marx K., Engels F., *Sochineniya*, T. 2 [Writings, Vol. 2], Moscow: Politizdat, pp. 115–217.
- Matveev I. (2017) Konec "stabil'nosti": politicheskaja jekonomija peresekajushihhsja krizisov v Rossii s 2009 goda [The End of "Stability": Political Economy of Overlapping Crises in Russia From 2009]. *Russian Sociological Review*, vol. 16, no 2, pp. 29–53.
- Medearis J. (2001) *Joseph Schumpeter's Two Theories of Democracy*, Cambridge: Harvard University Press.
- Medushevsky A. (2001). Bonapartistkaya model vlasti dlya Rossii [Bonapartist Model of Power for Russia]. *Vestnik Evropy* [Herald of Europe], no 1, pp. 28–49.
- Migranyan A. (1989) Plebistsitarnaya teoriya demokratii Maksa Vebera I sovremennyi politicheskii protsess [Max Weber's Plebiscitary Theory Of Democracy and Contemporary Political Process]. *Voprosy Filosofii*, no 6, pp. 148–158.
- Mommsen T. (1941) *Istoriya Rima*. T. 3 [History of Rome, Vol. 3], Moscow: Gospolitizdat.
- Mommsen W. (1974) *Max Weber und die deutsche Politik, 1890–1920*, Tübingen: Mohr/Siebeck.

- Morgenbesser L. (2016) *Behind the Façade: Elections under Authoritarianism in Southeast Asia*, Albany: SUNY Press.
- Munck G., Verkuilen J. (2002) Conceptualizing and Measuring Democracy: Evaluating Alternative Indices. *Comparative Political Studies*, vol. 35, no 1, pp. 5–34.
- O'Donnell G. (1994) Delegative Democracy. *Journal of Democracy*, vol. 5, no 1, pp. 55–69.
- Ostrogorsky M. (1997) *Demokratiya i politicheskie partii* [Democracy and Political Parties], Moscow: ROSSPEN.
- Özbudun E. (2014) AKP at the Crossroads: Erdoğan's Majoritarian Drift. *South European Society and Politics*, vol. 19, no 2, pp. 155–167.
- Pakulski J., Körösiényi A. (2012) *Toward Leader Democracy*, London: Anthem Press.
- Polyakov L. (2015) Elektoralnyi avtoritarizm i rossiiskii sluchai [Electoral Authoritarianism and the Russian Case]. *Politeia*, no 2, pp. 6–20.
- Popper K. (1992) *Otkrytoe obschestvo i ego vragi. T. 1* [Open Society and Its Enemies, Vol. 1], Moscow: Feniks.
- Przeworski A. (1999) Minimalist Conception of Democracy: A Defense. *Democracy's Value* (eds. I. Shapiro, C. Hacker-Cordón), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 23–55.
- Richter M. (2004) Tocqueville and French Nineteenth-Century Conceptualizations of the Two Bonapartes and Their Empires. *Dictatorship in History and Theory: Bonapartism, Caesarism, and Totalitarianism* (eds. P. Baehr, M. Richter), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 83–102.
- Riker W. (1988) *Liberalism Against Populism: A Confrontation Between the Theory of Democracy and the Theory of Social Choice*, Long Grove: Waveland Press.
- Romieu A. (1850) *L'ère des Césars*, Paris: Ledoyen.
- Rosanvallon P. (1992) *Le sacre du citoyen: histoire du suffrage universel en France*, Paris: Gallimard.
- Rosanvallon P. (2015) *Le bon gouvernement*, Paris: Seuil.
- Roscher W. (1888) *Umriss zur Naturlehre des Cäsarismus*, Leipzig: Hirzel.
- Scheuerman W. (2020) *The End of Law: Carl Schmitt in the Twenty-First Century*, London: Rowman & Littlefield.
- Schmitt C. (1932) *Legalität und Legitimität*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C. (2000) *Politicheskaya teologiya* [Political Theology], Moscow: Kanon-Press-C.
- Schmitt C. (2008) *Politische Theologie II: Die Legende von der Erledigung jeder Politischen Theologie*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitt C. (2010) Uchenie o konstitutsii (fragment) [Constitutional Theory (A Fragment)]. *Gosudarstvo i politicheskaya forma* [The State and the Political Form], Moscow: HSE, pp. 33–236.
- Schmitt C. (2014) *Volksentscheid und Volksbegehren*, Berlin: Duncker & Humblot.
- Schmitter P., Karl T. (1991) What Democracy Is . . . and Is Not. *Journal of Democracy*, vol. 2, no 3, pp. 75–88.
- Schmitter P., Karl T. (1994) The Conceptual Travels of Transitologists and Consolidologists: How Far to the East Should They Attempt to Go? *Slavic Review*, vol. 53, no 1, pp. 173–185.
- Schumpeter J. (2008) Kapitalism, sotsializm, demokratiya [Capitalism, Socialism, Democracy]. *Teoriya ekonomicheskogo razvitiya: kapitalizm, sotsializm, demokratiya* [Theory of Economic Development: Capitalism, Socialism, Democracy], Moscow: Eksmo, pp. 363–824.
- Skinner Q. (1973) The Empirical Theorists of Democracy and Their Critics: A Plague on Both Their Houses. *Political Theory*, vol. 1, no 3, pp. 287–306.
- Stanton T. (2016) Popular Sovereignty in an Age of Mass Democracy: Politics, Parliament and Parties in Weber, Kelsen, Schmitt and Beyond. *Popular Sovereignty in Historical Perspective* (eds. R. Bourke, Q. Skinner), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 320–358.
- Urbinati N. (2016) *Iskazhennaya demokratiya: mnenie, istina i narod* [Democracy Disfigured: Opinion, Truth, and the People], Moscow: Gaidar Institute Press.
- Uvarova M. (2014) *Koronovannaya demokratiya: Frantsiya i reformy Napoleona III v 1860-e gg.* [Crowned Democracy: France and Napoleon III's Reforms in 1860s], Moscow: Gaidar Institute for Economic Policy.
- Vale G. (2020) Digital Revolution, the Crisis of Representation and the Future of Democracy. *Going Digital? Citizen Participation and the Future of Direct Democracy* (eds. A. Brändli, G. Vale), Basel: Schwabe Verlag, pp. 13–26.

- Weber M. (1976) *Wirtschaft und Gesellschaft*, Tübingen: Mohr/Siebeck.
- Weber M. (1990) Politika kak prizvanie i professiya [Politics as Vocation]. *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Writings], Moscow: Progress, pp. 644–706.
- Weber M. (2003) Natsionalnoye gosudarstvo i narodnohozyaistvennaya politika [National State and National Economic Policy]. *Politicheskie raboty* [Political Works], Moscow: Praxis, pp. 7–39.
- Weber M. (2003) Reihsprezident [Reichspräsident]. *Politicheskie raboty* [Political Works], Moscow: Praxis, pp. 399–403.
- Yudin G. (2014) Eksperiment pod vneshnim upravleniem: ritorika i reprezentatsiya krymskogo megaoprosa [An Experiment Under External Control: Rhetorics and Representation in Crimean Mega-Poll]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, no 2, pp. 53–56.
- Yudin G. (2020) *Obschestvennoe mnenie, ili Vlast tsifr* [Public Opinion; or, The Power of Numbers], Saint Petersburg: European University Press.
- Zakaria F. (2003) *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad*, New York: Norton & Company.

Политический выбор православных верующих в России: возможности и ограничения качественных и количественных исследований*

Юлия Карпич

Аспирант аспирантской школы по политическим наукам, стажер-исследователь,
Международная лаборатория региональной истории России,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: ykarpich@hse.ru

Исследователи религии и политики признают тот факт, что «религиозность» — многозначное понятие, основанное на сочетании принадлежности, практик и верований. При этом большинство работ опирается на количественную методологию, что позволяет фиксировать взаимосвязи религиозности и политического выбора верующих, но накладывает ограничение на возможность анализа взаимодействия аспектов религиозности и не позволяет достоверно объяснить обнаруженные взаимосвязи. В статье предлагается альтернативная стратегия исследования. В частности: 1) модель анализа, которая позволяет учитывать одновременное влияние как религиозных, так и не религиозных идентичностей, практик и верований; 2) использование качественных данных глубинных интервью с верующими позволит дополнить предыдущие исследования пониманием механизмов влияния религиозности на политический выбор. Предполагается, что верующему избирателю важна субъективная оценка своего положения и действий власти (вера). Оценка политической ситуации приводит к выбору в том случае, если: 1) принадлежность к социальной группе (идентичность) актуализирует политическую проблему и делает ее значимой лично для верующего; 2) набор норм и практик дает подсказки о том, как поступить в проблемной ситуации. Для апробации модели было проведено пилотное эмпирическое исследование в трех населенных пунктах Липецкой области (2019 г.). Результаты демонстрируют преимущества выбранной стратегии исследования. Объяснение разного политического выбора у респондентов, от которых по показателям количественных исследований ожидаются одинаковые политические установки, становится возможным благодаря учету мотивов и контекста, в котором совершается выбор.

Ключевые слова: православные верующие, религиозность, политическая идентичность, политические предпочтения, электоральное поведение, религия и политика

Место религии в политическом процессе России давно стало предметом внимания исследователей, которые обнаруживают связь религиозности с ценностными ориентациями (Чеснокова, 2005; Каарияйнен, Фурман, 2007; Ситников, 2011), политическим участием (Кулькова, 2015) и электоральными предпочтениями (Богачев, 2016). Сама Православная церковь вовлечена в политические события (Ухватова, 2018б), священнослужители поднимают политические вопросы перед прихожанами (Кулькова, 2015; Богачев, Сорвин, 2020). Тем не менее до сих пор не сложилось

* Исследование осуществлено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2021 году.

четкого представления о механизмах, с помощью которых религиозность влияет на политический выбор россиян.

Ответ на этот вопрос зависит от способа измерения и концептуализации религиозности (Wald, Smidt, 1993), а наиболее распространенная схема анализа (Layman, 2001; Putnam, Campbell, 2012) предполагает выделение отдельных аспектов религиозности: принадлежность вероисповеданию («belonging»), религиозные практики («behaving») и религиозные верования («believing»).

Принадлежность к вероисповеданию обеспечивает общий социальный контекст, в котором люди связывают веру с политическими вопросами (Green, 2007). Поскольку ядро религиозной традиции — давно укрепившиеся нормы и ценности, они дают общую опору для формирования политических установок. Кроме того, священнослужители в состоянии актуализировать те или иные политические проблемы и связанные с ними ценности, тем самым повлияв на выбор прихожан. Сами политики могут использовать верующих как объект электоральной стратегии, апеллируя к духовным ценностям, взаимодействуя с религиозными организациями.

Религиозные *практики* усиливают обозначенные механизмы, они формируют солидарность и укрепляют связи между верующими внутри сообщества. Чем сильнее индивид вовлечен в церковное сообщество, тем глубже он разделяет общие ценности и тем вероятнее подвержен внутреннему влиянию и внешнему воздействию (Djupe, Gilbert, 2008).

Верования — содержательная сторона религиозности, не зависящая напрямую ни от принадлежности, ни от практик. При этом верования составляют основу мировоззрения людей, и то, как конкретные религиозные убеждения переживаются людьми, предопределяет их отношение к политическим вопросам (Driskell, Embry, Lyon, 2008).

Большинство подобных исследований опирается на узкие и специфичные количественные измерения (Пруцкова, Маркин, 2017), что позволяет фиксировать закономерности политического выбора, но скрывает возможность взаимодействия между аспектами религиозности и не позволяет достоверно объяснить обнаруженные закономерности (Driskell, Embry, Lyon, 2008). Поскольку принадлежности, практики и верования присущи всем верующим, можно предположить, что на политический выбор они оказывают одновременное, множественное воздействие.

Российский случай хорошо подходит для обоснования этого теоретического предположения. Большинство избирателей принадлежат одной церкви — Православной (по разным оценкам, количество православных достигает 68–74%¹). В то же время с середины 2000-х годов «Единая Россия» доминирует на выборах, что

1. 74%, по данным «Левада-центра» 2012 г. (<https://www.levada.ru/2012/12/17/v-rossii-74-pravoslavnyh-i-7-musulman/>); 68%, по данным ФОМ 2014 г. (<https://fom.ru/TSennosti/11587>); 71%, по данным Pew Research Center 2017 г. (<https://www.pewforum.org/2017/05/10/religious-belief-and-national-belonging-in-central-and-eastern-europe/>).

сводит выбор до трех альтернатив: поддержка власти — «Единая Россия» и В. Путин; поддержка любой другой партии/лидера; и неучастие в выборах (уровень абсентеизма высок и на парламентских, и на президентских выборах; явка на выборах в Думу 2016 года — 47,88%; на выборах президента в 2018 году — 67,54%²).

Из-за особенностей российской религиозности схему «принадлежности — практики — верования» следует уточнить. В данном исследовании «принадлежность» будет переопределена на «идентичность»: принадлежность предполагает институциональную привязку к церкви, а для российского случая важно учитывать верующих без сильных связей с РПЦ, но идентифицирующих себя с православием. Альтернативы политического выбора, согласно подходу А. Хиршмана, получают названия: стратегии «лояльность», «голос» и «выход» (Hirschman, 1970).

Разработка модели анализа, которая будет направлена на работу с данными, полученными из глубинных интервью, позволит снять ограничения количественных измерений и дополнит исследования религии и политики пониманием механизмов влияния религиозности на политический выбор верующих.

Статья состоит из четырех разделов. В первом обсуждаются подходы к определению влияния религиозности на политический выбор; во втором анализируются результаты предыдущих исследований, рассматривающих влияние идентичностей на выбор православных россиян, а также — влияние практик; в третьем предлагается альтернативная стратегия исследования, обсуждается методология и демонстрируются возможности применения собственной модели анализа на эмпирическом материале; в заключении подводятся итоги исследования.

Влияние религиозности на политический выбор

Дискуссии о влиянии религиозности на политический выбор традиционно строятся вокруг двух подходов: первый подчеркивает социально-коллективную природу религиозности; второй делает упор на индивидуальные убеждения (веру).

В логике социально-коллективного подхода выбор определяется принадлежностью к религиозному сообществу и религиозными практиками (Djupe, Gilbert, 2008). Вовлекаясь в церковную жизнь, верующие развивают навыки участия, которые потом «перетекают» на участие политическое (Peterson, 1992). Церковь способствует политической социализации и мобилизации прихожан (Holman, Shockley, 2017; Smith, 2017).

Критики подхода утверждают, что принадлежность и практики не имеют (или почти не имеют) независимого эффекта (Stark, 2001). Социальные связи и навыки участия, полученные в общине, сами по себе на политику не распространяются (Djupe, Gilbert, 2006), для этого у верующих должна сложиться индивидуальная предрасположенность (Djupe, Grant, 2001; Schwadel, 2005). Л. Смит и Л. Уокер ут-

2. Данные Центральной избирательной комиссии: <http://www.izbirkom.ru/region/izbirkom>.

верждают, что предрасположенность создают убеждения людей (Smith, Walker, 2013).

Соответственно, сторонники второго подхода отстаивают точку зрения, согласно которой прихожанам важны верования, лежащие в основе религиозного поведения, а не само поведение; индивидуальные убеждения оказывают прямое, непосредственное воздействие на политический выбор (Stark, 2001; Smith, Walker, 2013). Верования помогают интерпретировать политические события, послания и действия политиков, могут мобилизовать верующих на политическую активность (Wielhouwer, 2017).

Модель анализа «принадлежность — практики — верования» — результат поиска компромиссного решения. Она учитывает предпосылки двух подходов и позволяет сравнивать влияние, которое разные аспекты религиозности оказывают на политический выбор.

Аналогичная дискуссия в России строилась вокруг попытки объяснить разрыв между числом идентифицирующих себя с православием (68–74%) и долей воцерковленных (3–13%³). В исследованиях сложились два аналитических подхода: 1) широкая трактовка — религиозность как самоидентификация; 2) дифференциация группы православных на основе уровней религиозности для выявления церковно-ориентированной религиозности (Маркин, 2018).

Общим для исследователей будут указания на смещение православной принадлежности в сторону государственной, национальной или этнической идентичности (Филатов, Лункин, 2005; Каарияйнен, Фурман, 2007; Куперман, Сайгал, Шиллер, 2017) и размывание относящихся к православию убеждений (Зоркая, 2009; Каргов, Lisovskaya, Barry, 2012). Поэтому то, что в западном контексте называется «принадлежностью», в случае с Россией заменяется «идентичностью»; религиозные верования смешиваются со светскими убеждениями; вариации политического выбора в первую очередь связываются с частотой совершения практик.

Влияние идентичностей

Спор о влиянии религиозности на политический выбор россиян долгое время опирался на простое противопоставление групп «православных» и «неверующих». Сторонники широкой трактовки религиозности считают самоидентификацию достаточным основанием для причисления респондентов к группе верующих (Мчедлов, Филимонов, 1999; Мчедлов, Гаврилов, Шевченко, 2004). Православных много, соответственно, религиозность оказывает существенное воздействие на политические установки россиян. Противоположная позиция — религиозная идентичность должна подкрепляться религиозной практикой и следованием вероучению,

3. Учитывается посещение религиозных служб, исповедь, причастие (Религиозная вера в России. «Левада-центр». URL: <https://www.levada.ru/2011/09/26/religioznaya-vera-v-rossii/>; Воцерковленность православных. Индекс воцерковленности православных: мониторинг. Фонд Общественное Мнение. URL: <https://fom.ru/TSennosti/11587>).

что существенно снижает число людей, соответствующих критериям отбора, поэтому доля «истинных» верующих и их политическая позиция не значима в секулярном обществе (Воронцова, Филатов, Фурман, 1995; Филатов, Лункин, 2005).

Эмпирическое развитие вопрос о влиянии религиозных идентичностей получил в работе В. Локосова и Ю. Синелиной (Локосов, Синелина, 2008). Они используют данные всероссийского исследования ИСПИ РАН (2004 г.) и приходят к выводу: «Разделение по политическим лагерям проходит в основном без учета разделения людей на верующих и неверующих... религиозные, конфессиональные отношения занимают свою мировоззренческую, социокультурную нишу и не переходят в политическую плоскость» (Там же: 156). Анализируя данные 2018 года (Институт социологии ФНИСЦ РАН), М. Мchedлова и Е. Кофанова заключают, что религиозный фактор не оказывает существенного воздействия на оценку социально-политической ситуации в стране представителями разных религиозно-мировоззренческих групп (Мchedлова, Кофанова, 2020). А. Кулькова (Кулькова, 2015) обнаруживает доказательства противоположной позиции. На данных Европейского социального исследования (2012 г.) она находит связь между идентификацией и политическим участием — православные верующие политически менее активны по сравнению с атеистами (стратегия «выход»).

Обратив внимание на явную ограниченность этих вводов, исследователи стали учитывать внутреннюю неоднородность группы верующих (Чеснокова, 2005; Каарияйнен, Фурман, 2007; Синелина, 2009; Ситников, 2012; Кулькова, 2015; Богачев, 2016; Ухватова, 2018а). Если раньше речь шла об одной идентичности — «православные», то новый вариант предполагает дифференциацию православных на основе уровней религиозности.

Влияние практик

Наибольшее распространение получил способ дифференциации, предложенный В. Чесноковой (Чеснокова, 2005). Индекс воцерковленности использует в основе классификации практики⁴. Религиозное мировоззрение (вера) — производные от практик и изменяются в процессе воцерковления. Эту же логику впоследствии развивали Ю. Синелина и А. Ситников, изменяя количество групп верующих и опорные вопросы для дифференциации (Синелина, 2009; Ситников, 2012). Д. Фурман и К. Каарияйнен (Каарияйнен, Фурман, 2007) используют смешанную классификацию: критериями разделения выступают позитивное отношение к религии, самоидентификация и личная вера, которые должны подкрепляться религиозными практиками. М. Богачев (Богачев, 2016) упрощает методику Чесноковой, используя в качестве критерия только частоту посещения религиозных служб. А. Кулькова (Кулькова, 2015) совмещает религиозные практики с идентичностью, которую она измеряет через аффилиацию и оценку собственной религиозности.

4. Переменные: частота посещения храма, причащения, регулярность чтения текстов Священного Писания, форма молитвы, пост.

Принцип, предложенный М. Ухватовой (Ухватова, 2018а), предполагает выделение группы «верующих активистов» и «обрядовых верующих». Первые идентифицируют себя с православием, но общественная деятельность для них важнее религии; вторым важна обрядовая часть веры.

Итак, исследователи российского случая так или иначе признают логику операционализации религиозности через идентичности, практики и веру, но никто не использует одновременно все три измерения. Следуя за Чесноковой, большинство отдает приоритет практикам и ищет связанные с практиками закономерности политического выбора.

Чеснокова (Чеснокова, 2005) работает с изменением ценностных установок в процессе воцерковления (см. табл. 1). Данные всероссийского исследования (ФОМ в 1992, 2000 и 2002 гг.) показывают, что лояльность верующих падает с ростом религиозности, параллельно падает интерес к мирским делам («выход»).

Таблица 1. Ценностные установки и мотивы поведения верующих по подгруппам (исследование В. Чесноковой)

Группы	Ценностные установки	Мотивы поведения
Очень слабо воцерковленные (О)	Устоявшиеся предпочтения Консерватизм, естественный патриотизм	Хотят принадлежать большому социальному целому (т.е. стране)
Слабо воцерковленные (С)	Деидеологизированность «Быть русским — значит, быть православным»	Не интересуются социальными вопросами
Немного воцерковленные (Н)	Деидеологизированность	Подвержены внешнему влиянию
Полувоцерковленные (П)	Отчуждение от государства Централизованный контроль, «жесткая рука»	Приоритет духовных/религиозных мотивов
Воцерковленные (Ц)	Отчуждение от государства «Естественный национализм»	«Закрыты» от мира; не подвержены манипуляции Не мотивированы экономически

Это исследование хорошо отражает влияние практик на установки верующих, но поскольку политика не была центром работы Чесноковой, ее выводов недостаточно для объяснения политического выбора.

К влиянию практик Ситников добавляет влияние околоцерковных идентичностей (Ситников, 2007). В 2006 году он проводил опрос студентов православных и светских университетов с целью выделения их политических ориентаций (см. рис. 1). Студенты православных вузов разделяют более консервативные взгляды, нежели учащиеся светских университетов (даже наиболее воцерковленные из них), но сама связь между религиозностью и консерватизмом не обнаруживается: «На политическую ориентацию верующих влияет не собственно православная

религиозность, но определенная субкультура, обусловленная не столько вероучением, сколько особыми пластами околоцерковных идеологий и традиций» (Там же: 98).

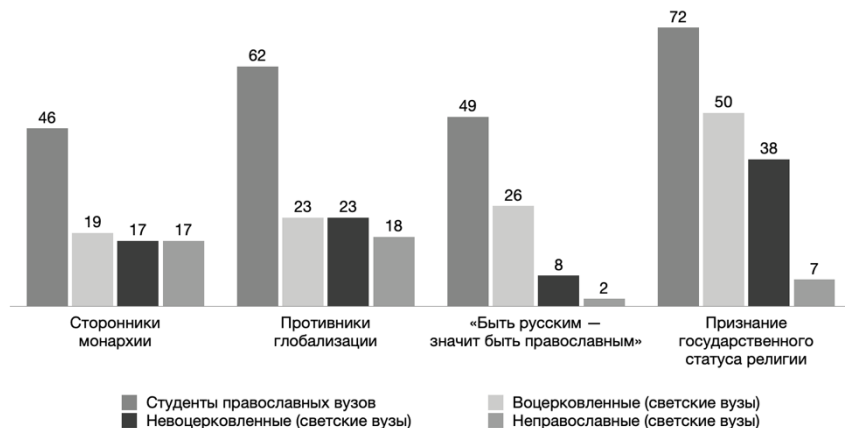


Рис. 1. Общественно-политические ориентиры студентов (данные Ситникова, 2006 г., в %)

В другом исследовании Ситникова (Ситников, 2011) рассмотрено отношение православных к либерализму и демократии. Данные опроса жителей Москвы, Твери и Костромы (2008–2009 гг.) указывают на то, что религиозность не определяет отношение людей к базовым демократическим ценностям (свободные выборы, принцип разделений властей), но формирует мнения в отношении свободы вероисповедания или средств массовой информации (см. рис. 2). Иными словами, при воцерковленности изменяются не все ценностные установки верующих (как считает Чеснокова), а только переменные, связанные с культурой; политические остаются без изменений.

Конкретных указаний на политическое поведение или электоральный выбор в исследованиях Ситникова нет. Обнаружив отдельное влияние околоцерковной идентичности и уточнив идею Чесноковой об изменении ценностных установок, Ситников не объясняет склонность к какому-либо политическому выбору.

В исследовании Д. Фурмана и К. Каарияйнена (Каарияйнен, Фурман, 2007) появляется вопрос о влиянии консерватизма на политические установки верующих: данные разных временных периодов говорят о смене стратегии «выход» на «лояльность» (Там же: 89–90). На начало 1990-х годов верующие, особенно наиболее религиозные, тяготели к коммунистической риторике. С переходом к авторитарной модели управления верующие стали опорой «жесткой» власти, поддерживая ее антидемократическую и антизападническую позиции.

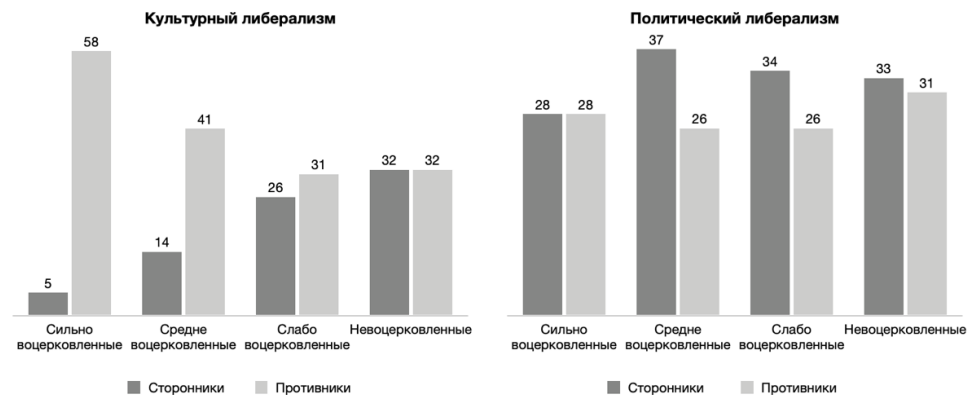


Рис. 2. Политические установки верующих по подгруппам (данные Ситникова, 2008–2009 гг., в %)

Склонность к лояльности объясняется влиянием идентичностей и веры, но не религиозных. Говоря об укреплении православного консенсуса, Фурман и Каарийнен указывают на смену религиозных идентификаций на идеологические — категория «православный» добавляется к этнониму «русский», а «верующий» становится символом «нормативности» (Там же: 84). Фурман и Каарийнен оспаривают главную идею предыдущих работ — религиозность влияет на политический выбор (Там же: 89–89). В их исследовании из трех факторов (пол, возраст и религиозность) возраст оказывает большее воздействие и на моральные оценки людей, и на политические взгляды (пожилые люди склонны к антидемократическим, антирыночным позициям).

Таким образом, исследователи анализируют: провластные настроения; противопоставление «консервативных» и «либерально-демократических» ценностей; разделение сфер политики и культуры. Такие установки полностью не объясняют политический выбор, но делают значимый вклад в понимание политических взглядов, поэтому последующие исследования фокусируются именно на политическом поведении и электоральных предпочтениях верующих.

Не обнаружив связь с идентичностями, В. Локосов и Ю. Синелина указывают на влияние практик (см. рис. 3). Воцерковленные и невоцерковленные верующие в разной степени готовы поддерживать политическую систему — чем выше уровень религиозности, тем сильнее провластные настроения и выше лояльность (Локосов, Синелина, 2008).

Согласно исследованию Кульковой (Кулькова, 2015), религиозная идентификация склоняет верующих к «выходу», но проявляется только в 2012 году. Посещение служб и чтение молитв стабильно сказываются на политических практиках вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Оценка собственной религиозности положительно влияет на склонность к голосованию. Для идентифицирующей

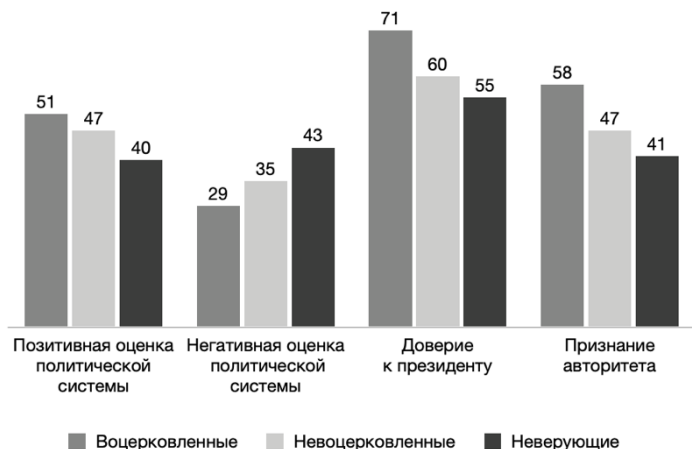


Рис. 3. Политические установки верующих по подгруппам (данные ИСПИ РАН, 2004 г., в %)

щих себя с православием эффект от религиозного участия стабилен во времени, но проявляется меньше, чем для атеистов и мусульман (см. табл. 2).

Таблица 2. Влияние религиозных предикторов на формы политического участия (исследование А. Кульковой)

Формы политического участия	Принадлежность	Посещение служб	Молитва	Оценка собственной религиозности
Политическое участие (аддитивный индекс)	–	+		
Выборы, Дума 2011				+
Контакты с политиками		+	+	–
Партийная деятельность	–			
Работа в общественных организациях	–	+		
Демонстрация политической символики	–	+	+	
Петиции	–	+	+	
Демонстрации		+		
Бойкотирование продукции		+		

Выводы М. Богачева (Богачев, 2016) говорят о нелинейной зависимости воцерковленности (частоты посещения служб) и лояльности религиозного электората. Результаты кросс-табуляционного анализа воцерковленности и электорального

выбора верующих (2004–2012 гг.)⁵ подтверждают 1) дифференциацию предпочтений отдельных подгрупп и 2) наличие связи между воцерковленностью и партийными идентификациями православных (см. табл. 3).

Таблица 3. Влияние уровня религиозности на электоральное поведение (исследование М. Богачева)

Электоральный выбор	Не посещающие службы	Раз в год и реже	Несколько раз в год	Раз в месяц	Каждую неделю
Единая Россия	–	–	+	+	–
Родина	–		+		+
КПРФ		–		+	+
Не ходил на выборы	+		–	–	+

Характер распределения предпочтений говорит о том, что электоральная поддержка «Единой России» растет вместе с частотой посещения до уровня «раз в месяц», и падает при дальнейшем воцерковлении (параболообразная форма связи). При этом поддержка КПРФ и «Родины» возрастает последовательно. Поддержка последних достигает максимума в группе сильновоцерковленных; эти же верующие меньше всех готовы голосовать за «Единую Россию» и реже ходят на выборы.

Данные авторского опроса 2014–2015 годов (Богачев, 2017) оказались не идентичными материалам 2011–2012 годов. Их анализ указывает на монотонный рост поддержки правящей партии (Там же: 184–186). Эти же данные говорят о том, что с частотой посещения растет доля прислушивающихся: к мнению священников — с 3,1 до 20%; к мнению членов общины — с 8,3 до 21,2% (Богачев, Сорвин, 2019), а «Единая Россия» — главный бенефициар агитации и обсуждения политики в церкви (Богачев, Сорвин, 2020).

Результаты регрессивного анализа М. Ухватовой (Ухватова, 2018а) подтверждают наличие не сильной, но значимой связи между религиозностью (значение фактора «обрядовые верующие» и доля православных) и голосованием за «Единую Россию» на выборах 2011–2016 годов и за В. Путина в 2012 году. Иными словами, религиозные практики (соблюдение ритуалов) — фактор провластных ориентаций.

Итак, приоритет в исследованиях отдается поведенческим аспектам религиозности, в первую очередь — посещению религиозных служб/мероприятий. Исследователи фиксируют ряд закономерностей, однако однозначного вывода о влиянии религиозности на политический выбор православных у них нет. В работах о политическом участии (выбор между стратегией «выход» и альтернативами) есть общее представление о положительной связи политической и религиозной активности верующих. Вопрос о влиянии именно православной традиции остается открытым. Большинство работ подтверждают дифференциацию предпочтений

5. Данные: Тарусин, 2006.

отдельных групп верующих и связь электорального выбора с воцерковленностью (практики). При этом выводы об установке на лояльность и склонности к поддержке правящей партии противоречат друг другу.

Альтернативная стратегия исследования

Вероятно, несогласованность выводов становится результатом того, что исследователи не учитывают одновременное влияние и религиозных, и нерелигиозных идентичностей, практик и верования на политический выбор верующих избирателей. Например, идентичность: на электоральный выбор в равной степени могут сказаться нормы/ценности, сложившиеся в религиозной общине, членом которой является верующий, и такие же нормы/ценности, сложившиеся в семье. При этом если верующий чаще обсуждает политику с родственниками, а не с членами общины — это может стать ключевым моментом принятия решения при голосовании (практики). С другой стороны, каждый человек самостоятельно истолковывает политические вопросы исходя из веры в то, что кажется ему важным, правильным и т. п.

Какой должна быть модель, объясняющая политический выбор верующих?

1) Сложность измерения религиозных верований и низкий потенциал влияния идентичности заставляет часть исследователей фокусироваться на практиках. Это позволяет выделить закономерности религиозного и политического поведения. Однако религиозность прежде всего элемент сознания, и религиозные практики сами по себе не могут определить политический выбор. Практики выступают лишь индикатором укорененности веры в мировоззрении людей.

2) Объяснение, опирающееся исключительно на религиозную идентичность, не находит четкого подтверждения в эмпирических исследованиях. Но принадлежность не бесосновательно используется в моделях анализа: она оказывает косвенное воздействие на политический выбор через влияние на мировоззрение; без принадлежности к вероисповеданию невозможно говорить о работе других религиозных механизмов.

3) Социально-демографические факторы также не дают полного объяснения. Обычно это влияние противопоставляется влиянию религиозности, но очевидно, что они влияют на поведение верующих и могут формировать дополнительные идентичности (по возрасту, экономическому положению и т. п.).

4) Объяснение, которое меньше всего учитывается в исследованиях, строится на теории рационального выбора — важно понимать, как избиратели оценивают свое положение и действие власти (Fiorina, 1978). Для верующих избирателей оценки важны в контексте сочетания религиозных и светских убеждений — с укоренением религиозного мировоззрения рациональные мотивы поведения сменяются приоритетом духовности и внутреннего мира.

Достоверная модель не должна опираться на отдельные аспекты объяснения — нужно понять, какой набор идентичностей, практик и верований подталкивает

избирателя к решению. Учитывать необходимо: 1) религиозную веру и светские убеждения, определяющие субъективную оценку своего положения и действий власти; 2) идентичности — субъективную принадлежность к социальным группам; 3) практики, показывающие включенность в религиозную и политическую активность.

Политический выбор определяется с опорой на теорию А. Хиршмана: «лояльность» — голосование за «Единую Россию» и В. Путина; «голос» — поддержка любых других партий/кандидатов; «выход» — неучастие в выборах (Hirschman, 1970).

К политическому выбору приводят следующие механизмы. Вера помогает оценить политическую ситуацию и увидеть значимые для выбора проблемы: позитивная оценка склоняет к «лояльности», негативная к «голосу» или «выходу». Идентичность актуализирует проблему и делает ее значимой лично для человека: верующий, считающий проблему своей собственной, будет мотивирован к решению. Нормы и практики подсказывают, как справиться с проблемой: принять или нет участие в выборах.

Работа с моделью накладывает методологические ограничения — необходимо принимать в расчет мотивы поведения людей. Само по себе предположение «действие X следует из Y» мало что значит без обоснования неслучайности связи. Люди действуют согласно своей воле и вкладывают в действия определенный смысл. Количественный анализ может зафиксировать закономерности поведения, но не может показать, какое место из общего набора идентичностей, практик и верований занимают именно религиозные идентичности, практики и верования. Решение этой проблемы — качественная методология и концентрация исследования на ограниченном количестве случаев, наиболее репрезентативных.

В этом смысле интересна одна специфическая закономерность: 1) из исследований известно, что во время трех парламентских электоральных циклов (2003, 2007 и 2011 гг.) поддержка правящей партии падала среди наиболее воцерковленных групп верующих, параллельно росла вероятность абсентеизма и поддержки КПРФ и «Родины» (Богачев, 2016); 2) области Центрального Черноземья отличаются значимостью религиозного фактора в провластном голосовании в 2011–2012 гг. (Ухватава, 2018). Так, Липецкая область по доле православных занимает одно из первых мест в стране (71% жителей области идентифицирует себя с православием)⁶. При этом здесь одновременно отмечается 1) повышенная явка избирателей и поддержка «Единой России» и 2) традиционно высокий уровень поддержки КПРФ. Другими словами, высокая доля православных верующих ожидаемо должна привести к «голосу» или «выходу», но в случае с Липецкой областью этого не происходит. Такое противоречие дает основание усомниться в том, что повышенная религиозность оказывает какое-либо определенное влияние на политический выбор. Возможно, здесь можно найти эмпирическое подтверждение множественного воздействия идентичностей, практик и верований на политический выбор верующих.

6. Атлас религий и национальностей России. Исследовательская служба «Среда»: <http://sreda.org/arena>.

Апробация модели. Методология пилотного исследования

Для эмпирической проверки модели и гипотезы о множественном воздействии было проведено пилотное эмпирическое исследование в Липецкой области (2019 г.). Материалом для анализа послужили 30 глубинных полуструктурированных интервью с православными жителями региона. Среди респондентов верующие разного уровня религиозности. Для сопоставимости результатов в качестве критерия дифференциации используется частота посещения религиозных служб: каждую неделю, раз в месяц, несколько раз в год, раз в год и реже, не посещаю религиозных служб. Круг вопросов гайда опирался на теоретическую рамку исследования — верующим задавались вопросы об их политических предпочтениях, участии в политике, отношении к политикам/чиновникам и политике в целом; об отношении к вере, о совершаемых религиозных практиках, участии в жизни общины и т. п. Анализ интервью проводился методом тематического кодирования. Категории кодирования соответствуют модели анализа:

- Идентичность — указание на противопоставление «я/мы/наш» и «они/их/не наш». Например: «У **вас у молодежи** совсем другие понятия. А **я** родилась в Советском Союзе, **мы** раньше...»
- Практики — отражение действия: «[Хожу в храм], родителей своих **поминаю**».
- Вера — утверждения, раскрывающие мировоззрение, отношение к политической ситуации: «У меня какое-то **пессимистическое убеждение**, что с властью нашей ничего не сделаешь»; «**Слава Богу**, он [Путин] не стесняется в храм ходить, креститься». Дополнительно выделены нормы и ценности, задающие модели поведения людей: «Нужно как-то **уметь приспособливаться, выживать**».

Религиозные и нерелигиозные идентичности, практики, верования кодируются отдельно.

Возможности применения модели

Для того чтобы продемонстрировать возможности модели, подробно рассмотрим двух респондентов. Женщины одинакового возраста (45–50 лет), в равном социально-экономическом положении. Они совпадают по частоте посещения служб и в негативной оценке действий правительства. В логике предыдущих исследований респонденты попадают в одну типологическую группу по уровню религиозности, где от них ожидаются схожие политические установки и идентичности. Анализ интервью позволяет утверждать, что это не так.

Респондент 1 — пример сочетания высокой степени воцерковленности (посещает храм раз в неделю) со стратегией «выход». Результаты анализа интервью в таблице 4.

Таблица 4. Интервью с Респондентом 1

Вера	Идентичности	Практики	Нормы/ценности
Справедливость в СССР / Несправедливость сейчас	Пенсионеры / Молодежь Работники / Начальство Семья / Другие	Не интересуется (политикой)	Не замечать проблемы
	Из религиозной семьи	Посещение по большим праздникам Ходит после работы, поминает родных Не общается с прихожанами	День прошел — и «слава тебе, Господи»

Механизмы, влияющие на Респондента 1, приводят к неучастию в выборах. Респондент идентифицирует себя с тремя группами: семья/другое окружение; пенсионеры/молодежь; работники/начальство. С этими идентичностями связан соответствующий набор проблем: в семье случаются конфликты; молодежь пытается навязать свои принципы; начальники поступают неуважительно. На этом фоне значимым для нее становится вера в прошлое: в СССР было равенство и множество возможностей, которые сейчас сменились на несправедливое отношение к людям (т. е. к ней, как к пенсионеру и работающему человеку, и к семье, как к объекту социальной защиты государством). Для решения всех проблем у нее есть одна модель поведения — игнорирование и переключение внимания на семью. Дела молодежи ее не касаются, отношение начальства и власти можно игнорировать, конфликты в семье — не замечать: «Я на выборы не хожу. Я реальный человек — прошел день, и все. Мне сын тоже говорит: «Зачем так затыкаться — работа-дом-работа?» Он у меня психолог... Я ему: «Ты меня не раскручивай. У вас, у молодежи, совсем другие понятия. А я родилась в Советском Союзе, мы раньше и стеснялись, и лишнее слово боялись сказать. Так что нет, меня уже не воспитывай».

Если религиозные механизмы оказывают влияние на политический выбор респондента, то они должны либо усиливать склонность к «выходу», либо подталкивать к другому решению. В этом случае воздействие согласованное; религиозные и нерелигиозные механизмы усиливают друг друга. Семья для нее — смысл прихода в церковь. Респондент воспитывалась в религиозной семье и ходит в церковь преимущественно для поминания родителей. Другими словами, идентичность и регулярные религиозные практики согласуются с приоритетом семьи. Религиозная вера при этом помогает игнорировать мирские проблемы: «Вот отработал, и все нормально. Слава тебе, Господи. Вот так и живем, вот такая позиция».

Респондент 2 также относится к наиболее воцерковленным верующим (посещение служб — раз в неделю), но в вопросе политического выбора она колеблется между разными вариантами (результаты в табл. 5).

Таблица 5. Интервью с Респондентом 2

Вера	Идентичности	Практики	Нормы/ценности
<p>Власть: будущее зависит от власти; власть не сильная</p> <p>Политики: просто хотят власти; не заботятся об образовании</p> <p>Выборы: нечестные; все решено без людей; несправедливо, что принуждают голосовать</p> <p>Протестовать не с кем</p>	<p>Мы / Власть</p> <p>Россия / Мир</p>	<p>Муж говорит ходить на выборы</p> <p>Ходит на выборы</p>	<p>«Нужно просто уметь приспособливаться»</p> <p>«Нужно пример детям показать [идти на выборы]»</p> <p>Заимствовать не нужно (национальная идея)</p>
<p>У священнослужителей действует благодать</p> <p>Путин: ходит в храм — хорошо</p>	<p>Миряне / Священнослужители</p> <p>Верующие / Атеисты</p> <p>Православные / Мусульмане, нерусские</p>	<p>Священнослужитель: она слушает и спрашивает; он призывает идти на выборы</p> <p>Община: «общаемся иногда»</p>	<p>Надежда на Бога; «надежда, что все к Богу придут»</p> <p>Мусульмане, нерусские: «приходится мириться»</p>

Респондент 2 — пример несогласованного действия механизмов. Один набор механизмов склоняет ее к «выходу». Идентичность, сформированная по принципу «мы/власть, политики», актуализирует в ее мировоззрении веру в то, что люди зависят от политиков, но не могут повлиять на результаты голосования, выборы нечестные и протестовать против этого не имеет смысла. Сформировавшаяся норма поведения предлагает модель, которая помогает справляться с проблемами: «Нужно как-то уметь приспособливаться, выживать».

Второй набор толкает к альтернативе. Идентичность, завязанная на семью, в сочетании с тем, что муж респондентки говорит о необходимости ходить на выборы (практика), дают другую норму поведения — нужно принимать позицию мужа и подавать пример детям: «Выбирать-то не из кого. Смысл-то какой... но я хожу. Я так думаю, что и без меня бюллетень бы использовали. Просто как-то муж говорит: «Нет, все идем». Но и детям нужно пример подавать. Но я, честно говоря, не верю в выборы». К этому набору добавляется логика, основанная на противопоставлении «миряне/священнослужители» (идентичность). Уважение к институту наставничества и вера в благодать священнослужителя заставляют ее прислушиваться к наставлениям священника (практика): «У нас священник всегда говорит в день выборов: «Вы должны пойти и отдать свой гражданский долг».

Здесь религиозные и нерелигиозные идентичности, практики и верования конфликтуют друг с другом, толкая респондента к разным стратегиям, но механизм, склоняющий к «выходу», оказывается слабее механизма, заставляющего идти голосовать.

В итоге одинаковая идентичность — «семья/другие» включена у двух респондентов в разные механизмы, что приводит к разному политическому выбору. Простое количественное измерение смогло бы зафиксировать сам факт наличия приоритета на семью; работа с интервью, кроме этого, позволяет провести различие между двумя случаями, увидев ключевой момент — контекст, в котором происходит выбор, и смысл, подразумеваемый людьми.

Заключение

Признавая значимость верований и идентичностей в вопросе влияния религиозности на политический выбор верующих, предыдущие исследователи отдавали предпочтение измерению поведенческих показателей. Это позволило выявить ряд закономерностей в связях между показателями религиозности и политическими установками, поведением, электоральным выбором православных верующих. Однако количественная методология накладывает ограничение на объяснительную возможность моделей.

Альтернативная стратегия исследования учитывает множественное воздействие как объективных показателей практик, так и субъективных показателей идентичностей и веры (убеждений). Вера и идентичности определяют значимость политической проблемы в жизни верующего, практики и нормы предлагают способы ее решения.

Апробация модели на материалах глубинных интервью позволила увидеть взаимодействие отдельных аспектов религиозности, их одновременное влияние на политический выбор. Респонденты, выбранные для анализа, совпадают по тем параметрам, на которые ориентируются количественные исследования: одинаковые социально-демографические характеристики, одинаковая религиозная идентичность, негативная оценка политической ситуации, частота совершения религиозных практик. В этих условиях от верующих ожидается одна стратегия политического поведения, но респонденты совершают разный выбор. Причина — одинаковым параметрам придается разный смысл, и влияют на выбор они в сочетании с другими механизмами, индивидуальными для каждого респондента.

Этот вывод наиболее интересен в отношении частоты посещения религиозных мероприятий, считающихся самым объективным показателем в количественных измерениях. Посещение также будет иметь разный эффект, в зависимости от смысла посещения (зачем посещают и что именно делают).

Кроме того, значимыми становятся не только религиозные идентичности, практики и верования, но и светские, влияние которых противопоставлялось религиозным или выпадало из анализа в предыдущих исследованиях.

Если раньше анализ идентичностей сводился к противопоставлению «православные/неверующие» или к социально-демографическим характеристикам, то сейчас есть основания говорить о влиянии неоднородного набора разных идентичностей.

Несмотря на ограничения пилотного исследования, уже на данном этапе очевидно, что в фокусе исследования должны быть сами верующие (индивиды). Полученные выводы обеспечивают первоначальную поддержку предлагаемой модели объяснения политического выбора, которая может быть дополнительно изучена в дальнейших исследованиях.

Литература

- Богачев М. И. (2016). Воцерковленность и политические предпочтения православных верующих: количественный анализ // Религиоведческие исследования. № 13. С. 8–76.
- Богачев М. И. (2017). Явление дифференцированной воцерковленности православных россиян и его связь с партийными предпочтениями. Дисс. ... канд. соц. наук (19.01.2018). М.: Высшая школа экономики.
- Богачев М. И., Сорвин К. В. (2019). Политика в Церкви: воздействуют ли священники на электоральные предпочтения православных верующих? // Мир России. Т. 28. № 4. С. 68–91.
- Богачев М. И., Сорвин К. В. (2020). Политика в Церкви: за кого агитируют православные священники? // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. № 3. С. 331–361.
- Зоркая Н. (2009). Православие в безрелигиозном обществе // Вестник общественного мнения. № 2. С. 65–84.
- Каарийнен К., Фурман Д. Е. (2007). Религиозность в России на рубеже XX–XXI столетий (Окончание) // Общественные науки и современность. № 2. С. 78–95.
- Кулькова А. Ю. (2015). Религиозность и политическое участие: роль политики в российских религиозных общинах. Препринт ВШЭ. Серия WP14 «Политическая теория и политический анализ». № 2.
- Куперман А., Сайгал Н., Шиллер А. (2017). Религия и национальная принадлежность в Центральной и Восточной Европе. Доклад Исследовательского центра Пью. URL: <https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/CEUP-Overview-Russian-FOR-WEB.pdf> (дата доступа: 02.11.2020).
- Локосов В. В., Синелина Ю. Ю. (2008). Взаимосвязь религиозных и политических ориентаций православных россиян // Мchedлов М. П. (ред.). Религия в самосознании народа (религиозный фактор в идентификационных процессах). М.: Институт социологии РАН. С. 135–158.
- Маркин К. В. (2018). Между верой и неверием: непрактикующие православные в контексте российской социологии религии // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. № 2. С. 274–290.

- Мчедлов М. П., Гаврилов Ю. А., Шевченко А.* (2004). Мировоззренческие предпочтения и национальные различия // Социологические исследования. № 9. С. 95–101.
- Мчедлов М. П., Филимонов Э. Г.* (1999). Социально-политические позиции верующих в России // Социологические исследования. № 3. С. 103–107.
- Мчедлова М. М., Кофанова Е. Н.* (2020). Россия в ожидании перемен: религиозный фактор и социально-политические предпочтения // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. Т. 22. № 1. С. 7–21.
- Пруцкова Е. В., Маркин К. В.* (2017). Типология православных россиян: проблема конструирования обобщенного показателя религиозности // Социологические исследования. № 8. С. 95–105.
- Синелина Ю. Ю.* (2009). Этапы изменения религиозности населения в России (1989–2006) // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. № 4. С. 77–88.
- Ситников А. В.* (2007). Влияние православия на политические предпочтения граждан России // Социология власти. № 3. С. 126–135.
- Ситников А. В.* (2011). Религия в демократическом обществе: как влияет воцерковленность на политическую культуру? // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия 4: Педагогика. Психология. № 20. С. 19–28.
- Ситников А. В.* (2012). Православие, институты власти и гражданского общества в России. СПб.: Алетейя.
- Тарусин М. А.* (2006). Реальная Россия: социальная стратификация современного российского общества. М.: Журнал «Эксперт».
- Ухватова М. В.* (2018а). Религия и электоральное поведение в России: региональный аспект // Вестник Пермского университета. Политология. № 4. С. 26–48.
- Ухватова М. В.* (2018б). Напутствия охранителей (религиозная риторика на инаугурациях российских губернаторов) // Полития. № 2. С. 84–101.
- Филатов С. Б., Лункин Р. Н.* (2005). Статистика российской религиозности: магия цифр и неоднозначная реальность // Россия и мусульманский мир. № 10. С. 42–53.
- Чеснокова В. Ф.* (2005). Тесным путем: процесс воцерковления населения России в конце XX века. М.: Академический проект.
- Djupe P. A., Calfano B. R.* (2013). Divine Intervention? The Influence of Religious Value Communication on US Intervention Policy // Political Behavior. Vol. 35. № 4. P. 643–663.
- Djupe P. A., Gilbert C. P.* (2006). The Resourceful Believer: Generating Civic Skills in Church // Journal of Politics. Vol. 68. № 1. P. 116–127.
- Djupe P. A., Gilbert C. P.* (2008). The Political Influence of Churches. Cambridge: Cambridge University Press.
- Djupe P. A., Grant J. T.* (2001). Religious Institutions and Political Participation in America // Journal for the Scientific Study of Religion. Vol. 40. № 2. P. 303–314.

- Driskell R., Embry E., Lyon L.* (2008). Faith and Politics: The Influence of Religious Beliefs on Political Participation // *Social Science Quarterly*. Vol. 89. № 2. P. 294–314.
- Fiorina M. P.* (1978). Economic Retrospective Voting in American National Elections: A Micro-analysis // *American Journal of Political Science*. Vol. 22. № 2. P. 426–443.
- Green J. C.* (2007). *The Faith Factor: How Religion Influences American Elections*. Santa Barbara: Praeger.
- Hirschman A. O.* (1970). *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*. Harvard: Harvard University Press.
- Holman M. R., Shockley K.* (2017). Messages from Above: Conflict and Convergence of Messages to the Catholic Voter from the Catholic Church Hierarchy // *Politics and Religion*. Vol. 10. № 4. P. 840–861.
- Karpov V., Lisovskaya E., Barry D.* (2012). Ethnodoxy: How Popular Ideologies Fuse Religious and Ethnic Identities // *Journal for the Scientific Study of Religion*. Vol. 51. № 4. P. 638–655.
- Layman G.* (2001). *The Great Divide: Religious and Cultural Conflict in American Party Politics*. New York: Columbia University Press.
- Peterson S. A.* (1992) Church Participation and Political Participation: The Spillover Effect // *American Politics Quarterly*. Vol. 20. № 1. P. 123–139.
- Putnam R. D., Campbell D. E.* (2012). *American Grace: How Religion Divides and Unites Us*. New York: Simon & Schuster.
- Schwadel P.* (2005). Individual, Congregational, and Denominational Effects on Church Members' Civic Participation // *Journal for the Scientific Study of Religion*. Vol. 44. № 2. P. 159–171.
- Smith A. E.* (2017). Democratic Talk in Church: Religion and Political Socialization in the Context of Urban Inequality // *World Development*. Vol. 99. P. 441–451.
- Smith L. E., Walker L. D.* (2013). Belonging, Believing, and Group Behavior: Religiosity and Voting in American Presidential Elections // *Political Research Quarterly*. Vol. 66. № 2. P. 399–413.
- Stark R.* (2001). Gods, Rituals, and the Moral Order // *Journal for the Scientific Study of Religion*. Vol. 40. № 4. P. 619–636.
- Wald K. D., Smidt C. E.* (1993). Measurement Strategies in the Study of Religion and Politics // *Leege D. C., Kellstedt L. A.* (eds.). *Rediscovering the Religious Factor in American Politics*. Armonk: M.E. Sharpe.
- Wielhouwer P. W.* (2017). Religion and American Political Participation // *Guth J. L., Kellstedt L. A., Smidt C. E.* (eds.). *The Oxford Handbook of Religion and American Politics*. Oxford: Oxford University Press. P. 394–426.

The Political Choice of Orthodox Believers in Russia: Strengths and Limitations of Qualitative and Quantitative Approaches to Research

Yulia Karpich

PhD Student, Research Assistant, International Laboratory "Russia's Regions in Historical Perspective", National Research University Higher School of Economics

E-mail: ykarpich@hse.ru

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

Previous studies have shown that religiosity is a heterogeneous concept combining identities, practices, and beliefs. At the same time, most of these studies are based on a quantitative methodology. It allows a relationship between religiosity and the political choice of believers to be found, but imposes a limitation on the analysis. The quantitative methodology does not control the interactions of aspects of religiosity, and cannot explain the discovered relationships. This paper proposes an alternative research strategy, specifically, (1) the proposed model allows an analysis of the multiple influences of both religious and non-religious identities, practices and beliefs, and that (2) the qualitative data collected from in-depth interviews with believers complements previous research of the mechanisms of religious influence on political choice. A subjective assessment of one's position and the actions of the authorities are the most important aspects to the voter (the role of beliefs). An assessment leads to a political choice when (1) a group-identity intensifies the significance of the political problem and poses questions for the individual, and (2) a set of norms and practices provides clues on how to solve a problem. An empirical test of the model was carried out in 2019 in three settlements in the Lipetsk region. The findings illustrate the sufficient potential of the chosen research strategy. The different political choice among respondents, who were expected to have the same political attitudes by quantitative indicators, are explained through the choice of motives and context.

Keywords: Orthodox believers, religiosity, political identity, political preferences, electoral behavior, religion and politics

References

- Bogachev M. (2016) Vocerkovlennost' i politicheskie predpochtenija pravoslavnyh verujushhih: kolichestvennyj analiz [The Church Attendance and Political Preferences of Orthodox Believers: Quantitative Analysis]. *Researches in Religious Studies*, no 13, pp. 8–76.
- Bogachev M. (2017) *Javlenie differencirovannoj vocerkovlennosti pravoslavnyh rossijan i ego svjaz' s partijnymi predpochtenijami* [Differentiated Attachment to the Orthodox Church and Its Connection with Party Preferences in Russia] (PhD Dissertation), Moscow: HSE.
- Bogachev M., Sorvin K. (2019) Politika v Cerkvi: vozdejstvujut li svjashhenniki na jelektoral'nye predpochtenija pravoslavnyh verujushhih? [Politics in the Church: Do Priests Influence the Electoral Preferences of Orthodox Believers?]. *Universe of Russia*, vol. 28, no 4, pp. 68–91.
- Bogachev M., Sorvin K. (2020) Politika v Cerkvi: za kogo agitirujut pravoslavnye svjashhenniki? [Politics in the Church: For Whom Do Orthodox Priests Call to Vote?]. *State, Religion and Church in Russia and Worldwide*, no 3, pp. 331–361.
- Chesnokova V. (2005) *Tesnym putem: process vocerkovlenija naselenija Rossii v konce XX veka* [Close by: Churching Process of Russia's Population at the End of 20th Century], Moscow: Academic Project.
- Djupe P. A., Calfano B. R. (2013) Divine Intervention? The Influence of Religious Value Communication on US Intervention Policy. *Political Behavior*, vol. 35, no 4, pp. 643–663.
- Djupe P. A., Gilbert C. P. (2006) The Resourceful Believer: Generating Civic Skills in Church. *Journal of Politics*, vol. 68, no 1, pp. 116–127.

- Djupe P. A., Grant J. T. (2001) Religious Institutions and Political Participation in America. *Journal for the Scientific Study of Religion*, vol. 40, no 2, pp. 303–314.
- Djupe, P. A., Gilbert, C. P. (2008) *The Political Influence of Churches*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Driskell R., Embry E., Lyon L. (2008) Faith and Politics: The Influence of Religious Beliefs on Political Participation. *Social Science Quarterly*, vol. 89, no 2. pp. 294–314.
- Filatov S., Lunkin R. (2005) Statistika rossijskoj religioznosti: magija cifr i neodnoznachnaja real'nost [Statistics of Russian Religiosity: The Magic of Numbers and Ambiguous Reality]. *Russia and the Muslim World*, no 10, pp. 42–53.
- Fiorina M. P. (1978) Economic Retrospective Voting in American National Elections: A Micro-analysis. *American Journal of Political Science*, vol. 22, no 2, pp. 426–443.
- Green J. C. (2007) *The Faith Factor: How Religion Influences American Elections*, Santa Barbara: Praeger.
- Hirschman A. O. (1970). *Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations, and States*, Harvard: Harvard University Press.
- Holman M. R., Shockley K. (2017) Messages from Above: Conflict and Convergence of Messages to the Catholic Coter from the Catholic Church Hierarchy. *Politics and Religion*, vol. 10, no 4, pp. 840–861.
- Kaariainen K., Furman D. (2007) Religioznost' v Rossii rubezhe XX–XXI stoletij (Okonchanie) [Religiosity in Russia at the turn of the 20th — 21st Centuries (The Final Part)]. *Social Sciences and Contemporary World*, no 2, pp. 78–95.
- Karpov V., Lisovskaya E., Barry D. (2012) Ethnodoxo: How Popular Ideologies Fuse Religious and Ethnic Identities. *Journal for the Scientific Study of Religion*, vol. 51, no 4, pp. 638–655.
- Kulkova A. (2015) *Religioznost' i politicheskoe uchastie: rol' politiki v rossijskikh religioznykh obshhinah* [Religiosity and Political Participation: The Role of Politics in Russian Religious Communities]. HSE Working Papers. Series WP14 "Political Theory and Political Analysis", no 2.
- Kuperman A., Sajgal N., Shiller A. (2017) Religija i nacional'naja prinadlezhnost' v Central'noj i Vostochnoj Evrope. Doklad Issledovatel'skogo centra P'ju [Religion and Nationality in Central and Eastern Europe. Pew Research Center Report]. Available at: <https://www.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/7/2017/05/CEUP-Overview-Russian-FOR-WEB.pdf> (accessed 2 November 2020).
- Layman G. (2001) *The Great Divide: Religious and Cultural Conflict in American Party Politics*, New York: Columbia University Press.
- Lokosov V., Sinelina Y. (2008) Vzaimosvjaz' religioznyh i politicheskikh orientacij pravoslavnyh rossiyan [The Interrelation of Religious and Political Orientations of the Orthodox Believers]. *Religiya v samosoznanii naroda (religioznyj faktor v identifikacionnyh processah)* [Religion in the Self-awareness of the People (a Religious Factor in Identification Processes)] (ed. M. Mchedlov), Moscow: Institut sociologii RAN, pp. 135–158.
- Markin K. (2018) Mezhdru veroj i neveriem: nepraktikujushhie pravoslavnye v kontekste rossijskoj sociologii religii [Between Belief and Unbelief: Non-practicing Orthodox Christians in the Context of the Russian Sociology of Religion]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, no 2, pp. 274–290.
- Mchedlov M., Filimonov E. (1999) Social'no-politicheskie pozicii verujushchih v Rossii [Socio-political Positions of believers in Russia]. *Sociological Studies*, no 3, pp. 103–107.
- Mchedlov M., Gavrilov Y., Shevchenko A. (2004) Mirovozzrencheskie predpochtenija i nacional'nye razlichija [Worldview Preferences and National Differences]. *Sociological Studies*, no 9, pp. 95–101.
- Mchedlova M., Kofanova E. (2020) Rossija v ozhidanii peremen: religioznyj faktor i social'no-politicheskie predpochtenija [Russia in Anticipation of Changes: Religious Factor and Socio-political Preferences]. *RUDN Journal of Political Science*, vol. 22, no 1. pp. 7–21.
- Peterson S. A. (1992) Church Participation and Political Participation: The Spillover Effect. *American Politics Quarterly*, vol. 20, no 1, pp. 123–139.
- Prutskova E., Markin K. (2017) Tipologija pravoslavnyh rossiyan: problema konstruirovaniya obobshhennogo pokazatelja religioznosti [Typology of Orthodox Russians: The Problem of Constructing a Generalized Religiosity Indicator]. *Sociological Studies*, no 8, pp. 95–105.

- Putnam R. D., Campbell D. E. (2012) *American Grace: How Religion Divides and Unites Us*, New York: Simon & Schuster.
- Schwadel P. (2005) Individual, Congregational, and Denominational Effects on Church Members' Civic Participation. *Journal for the Scientific Study of Religion*, vol. 44, no 2, pp. 159–171.
- Sinelina Y. (2009) Jetapy izmenenija religioznosti naselenija v Rossii (1989–2006) [Stages of Changes in the Religiosity of the Population in Russia (1989–2006)]. *State, Religion and Church in Russia and Worldwide*, no 4, pp. 77–88.
- Sitnikov A. (2007) Vlijanie pravoslavlja na politicheskie predpochtenija grazhdan Rossii [Influence of Orthodoxy on the Political Preferences of the Citizens of Russia]. *Sociology of Power*, no 3, pp. 129–135.
- Sitnikov A. (2011) Religija v demokraticeskom obshhestve: kak vlijaet vocerkovlennost' na politicheskuju kul'turu? [Religion in Democratic Society: What is the Impact of Attachment to the Church on Political Culture?]. *St. Tikhon's University Review. Series IV: Pedagogy. Psychology*, no 20, pp. 19–28.
- Sitnikov A. (2012) *Pravoslavie, instituty vlasti i grazhdanskogo obshhestva v Rossii* [Orthodoxy, Institutions of Government and Civil Society in Russia], Saint Petersburg: Aletheia.
- Smith A. E. (2017) Democratic Talk in Church: Religion and Political Socialization in the Context of Urban Inequality. *World Development*, vol. 99, pp. 441–451.
- Smith L. E., Walker L. D. (2013) Belonging, Believing, and Group Behavior: Religiosity and Voting in American Presidential Elections. *Political Research Quarterly*, vol. 66, no 2, pp. 399–413.
- Stark R. (2001) Gods, Rituals, and the Moral Order. *Journal for the Scientific Study of Religion*, vol. 40, no 4, pp. 619–636.
- Tarusin M. (2006) *Real'naja Rossija: social'naja stratifikacija sovremennogo rossijskogo obshhestva* [Real Russia: Social Stratification of Contemporary Russian Society], Moscow: "Expert" Journal.
- Ukhvatova M. (2018) Religija i jelektoral'noe povedenie v Rossii: regional'nyj aspekt [Religion and Electoral Behavior in Russia: Regional Dimension]. *Bulletin of Perm University. Political Science*, no 4, pp. 26–48.
- Ukhvatova M. (2018) Naputstvija ohranitelej (religioznaja ritorika na inauguracijah rossijskih gubernatorov) [Blessing of the Guardians (Religious Rhetoric at Inauguration of Governors in Russia)]. *Politeia*, no 2, pp. 84–101.
- Wald K. D., Smidt C. E. (1993) Measurement Strategies in the Study of Religion and Politics. *Rediscovering the Religious Factor in American Politics* (eds. D. C. Leege, L. A. Kellstedt), Armonk: M.E. Sharpe.
- Wielhouwer P. W. (2017) Religion and American Political Participation. *The Oxford Handbook of Religion and American Politics* (eds. J. L. Guth, L. A. Kellstedt, C. E. Smidt), Oxford: Oxford University Press, pp. 394–426.
- Zorkaja N. (2009) Pravoslavie v bezreligioznom obshhestve [Orthodoxy in the Irreligious Society]. *Russian Public Opinion Herald*, no 2, pp. 65–84.

Механизм производства контрфинальности в конститутивном порядке*

Ильяс Латыпов

Аспирант, аспирантская школа по социологическим наукам,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: ialatypov@hse.ru

В представленной теоретически-ориентированной работе описываются основные элементы механизма производства контрфинальности в конститутивном порядке, приводится эмпирическая иллюстрация фиксации работы этого механизма. Сначала представлен анализ идей Ю. Элстера относительно проблемы социальных противоречий, в частности феномена контрфинальности. Контрфинальность в теории Элстера есть противоречие, которое должно подтолкнуть людей к объединению для его преодоления и способствовать социальным изменениям. Однако такой подход оставляет без внимания сам процесс производства контрфинальности и не соответствует реалиям повседневной жизни, где люди действуют ситуативно и не стремятся к объединению. Сосредоточение на повседневных взаимодействиях позволяет описать процесс производства контрфинальности и по-другому определить этот феномен. Сначала обозначена связь контрфинальности с конститутивным порядком: контрфинальность наступает тогда, когда конститутивный порядок действий нарушается, однако контрфинальность создает условия для конституирования нового порядка. Затем из определения контрфинальности, его свойств и примеров и из описания основных идей представителей концепции конститутивного порядка выведен ряд понятий, с помощью которых можно описать процесс и условия производства контрфинальности в конститутивном порядке. В конкретном эмпирическом исследовании — случае очереди в вагон метро — эти понятия представляют собой элементы механизма производства, которые влияют друг на друга и вместе создают контрфинальность. В результате наблюдений на станции «Таганская» было обозначено влияние организации пространства и времени, нарушения очередности входа, информационного фона, определенных интенций и несоординированности действий на производство контрфинальности в конститутивном порядке.

Ключевые слова: контрфинальность, конститутивный порядок, интенциональное действие, непреднамеренные последствия, очередь, пространство и время, противоречие

Проблема социального порядка и проблема действия являются одними из центральных тем в социологической теории. Действия людей и их результаты являются базовыми единицами анализа, то, из чего выстраивается и за счет чего производится социальный порядок. В зависимости от того, как мы определяем действие и взаимодействие, мы получаем разные ответы на вопрос о возможности

* Автор выражает благодарность С. П. Баньковской за научное руководство, без которого эта статья не была бы написана. Автор также благодарит И. Ф. Девятко и А. М. Корбуа за ценные замечания, которые способствовали повышению научного качества статьи.

социального порядка. Можно выделить разные классификации социологических взглядов относительно проблемы социального порядка или же проанализировать каждого отдельного теоретика и найти оригинальную попытку концептуализации социального порядка¹. За каждой такой классификацией или точкой зрения стоит определенное представление о детерминантах социального порядка и некоторой области его анализа. На микроуровне, на уровне повседневного взаимодействия, социальный порядок континуален. Он выстраивается в последовательности действий и наблюдаем непосредственно в самих действиях. В этнометодологии (и не только) такой порядок принято называть *конститутивным*. Основатель этнометодологии Г. Гарфинкель известен своими «экспериментами» по нарушению привычного порядка действий с тем, чтобы установить его основания. Такие нарушения возможны не только в рамках эксперимента, но и в естественном течении событий. Осмысленные/интенциональные действия людей, производящие рутину повседневного порядка, могут в совокупности приводить к конstellляциям, противоположным этим интенциям, т. е. к непреднамеренным последствиям.

Тема непреднамеренных последствий преднамеренных действий также не нова для социологии. Ряд авторов обращали внимание на изучение условий и следствий данного феномена (Merton, 1936; Elster, 1978; Boudon, 1982; Giddens, 1984)². За всю историю идей накопилось немало описаний, которые позволяют классифицировать непреднамеренные последствия (Baert, 1991). В одной из таких классификаций можно выделить феномен контрфинальности. Контрфинальность — это непреднамеренные последствия, вызванные несоординированными действиями. Несмотря на то что данное понятие было введено Сартром (Sartre, 2004), в социологической теории оно получило развитие благодаря Ю. Элстеру. Для Элстера контрфинальность есть разновидность негативных последствий действий, которые требуют преодоления, и потому прежде всего важен вопрос о том, как люди справляются с этими последствиями. В этом Элстер видит главную задачу социологов: «Основная задача социальных ученых, безусловно, состоит в том, чтобы объяснить, как люди реагируют на ситуации, которые они сами создают» (Elster, 1978: 109). Исходя из этих взглядов, Элстер предлагает свою теорию социальных изменений (о которой подробнее речь пойдет ниже). Однако сосредоточение на последствиях не дает нам понимания того, как же этот феномен появился. Как этот феномен был произведен? Каков процесс, механизм производства был задействован? Какие сопутствующие условия и факторы способствовали появлению контрфинальности? Как производство контрфинальности связано с производством и поддержанием социального порядка? Ответов на эти вопросы нет ни у Элстера, ни у других авторов, касающихся этого феномена. После Элстера проблема контрфинальности изучалась в первую очередь с точки зрения концептуального анализа. Энтони Гидденс отмечал, что контрфинальность во многих примерах Эл-

1. Наиболее известные: Alexander, 1982 и Cohen, 1968.

2. В целом тему непреднамеренных последствий можно найти еще у Мандевилля, Смита, Гегеля и многих других философов, экономистов и социальных ученых (Кильдюшов, 2007).

стера есть следствие системного противоречия и ее нужно объяснять через двойственность структуры (Giddens, 1979: 140). После выхода в 1982 году книги Раймона Будона о феномене обратного эффекта (perverse effect), который во многих определениях напоминает контрфинальность, некоторые авторы стали воспринимать контрфинальность как разновидность этого обратного эффекта (Boudon, 2016; Van Parijs, 1982; Baert, 1991). Данное сочетание и сейчас остается актуальным (Mica, 2018).

Помимо концептуальных сходств присутствовала также и критика самого определения контрфинальности Элстером. Одной из особенностей определений контрфинальности Элстером является ее связь с логическим противоречием. Так, в основе контрфинальности лежит ошибочное предположение: «то, что возможно для отдельного индивида, не значит, что это возможно для всех одновременно» (Elster, 1978: 99). Критики указывали на неверную интерпретацию Элстером ошибки композиции и игнорирование ограничений структуры (Smith, 1990; Barnes, Sheppard, 1992; Lebowitz, 1994). Однако помимо влияния структурных ограничений, которые, несомненно, являются одними из элементов производства контрфинальности, эти авторы не смогли предложить ничего нового. Наша задача заключается в том, чтобы предложить язык не просто для описания самого феномена контрфинальности, но для описания его производства.

В рамках данной статьи предлагается рассмотреть механизм производства контрфинальности на уровне анализа конститутивного порядка, повседневного взаимодействия, где теория социальных изменений Элстера не работает и последствия контрфинальности непосредственно связаны с процессом ее производства. Во-первых, следует определить, как соотносятся контрфинальность и конститутивный порядок. Во-вторых, необходимо указать на основные элементы механизма производства контрфинальности. После определения основных понятий, которые составляют тезаурус описания механизма производства контрфинальности, на конкретном примере случая очереди в вагон метро будет продемонстрирована релевантность предложенного теоретического аппарата.

Контрфинальность как частный случай непреднамеренных последствий преднамеренных действий

В пятой главе работы «Логика и общество» Юн Элстер пишет, что в обществе производятся противоречия, которые можно назвать «контрфинальность» и «субоптимальность»³. Элстер дает два определения контрфинальности:

3. Субоптимальность — это преднамеренная реализация некооперативного решения, которое уступает некоторым другим наборам выигрышей, доступным по индивидуальным вариантам стратегии. Особенность субоптимальности состоит в том, что люди действуют схожим образом, при этом осознавая, что другие будут делать то же самое, хотя если бы они действовали по-другому, результат мог бы быть иным. Парадигмальный пример субоптимальности — это известная в теории игр «дилемма заключенного». Это понятие имеет свои особенности и требует отдельного исследования. Элстер выделяет также «ошибку композиции», которую нередко считают третьей формой против-

1) Контрфинальность — это непреднамеренные последствия, вызванные скоординированными действиями (Elster, 1978: 96).

2) Контрфинальность — это непреднамеренные последствия, которые возникают, когда каждый человек в группе действует на основе такого предположения о своих отношениях с другими, что при обобщении они дают противоречие в выводе ошибки композиции, притом что antecedent этой ошибки является истинным (Ibid.: 106).

По сути, эти два определения схожи, и можно заметить особый акцент на «непреднамеренных последствиях». Определяя контрфинальность через непреднамеренные последствия, Элстер связывает свою теорию с богатой традицией изучения непреднамеренных последствий преднамеренных действий. Элстер отмечает, что контрфинальность имеет много «предков» в истории идей, среди которых, например, «невидимая рука», «уловка разума» и «отчуждение». Все эти понятия означают непреднамеренные последствия, однако только в первом случае речь идет о положительных последствиях. В другой своей работе Элстер четко указывает на негативный характер контрфинальности, тем самым противопоставляя это понятие понятию «невидимая рука» (Elster, 1976: 733).

В социологии одним из первых тему непреднамеренных последствий преднамеренных действий систематически начал развивать Р. Мертон. В своей знаменитой работе 1936 года Мертон обращает внимание на сходство множества терминов, описывающих проблему непреднамеренных последствий, но присутствующих в разных контекстах (Merton, 1936). Отсутствие систематического научного анализа объясняется широким диапазоном этих контекстов, в которых трудно усмотреть преемственность идей и принципиальное единство проблемы непреднамеренных последствий. Прежде всего это единство находится в изучении условий, в которых совершается действие. Среди этих условий можно выделить ряд факторов, способствующих появлению непреднамеренных последствий: незнание, ошибка, императивность ближайшего интереса, озвученные публично предсказания. В этих факторах Мертон видел основу для дальнейшего анализа проблемы непреднамеренных действий.

«Контрфинальность» Элстера отличается от «непреднамеренных последствий» Мертона хотя бы по тем параметрам, которые выделяются самим Элстером (Elster, 1978: 108–110). Во-первых, непреднамеренные последствия относятся к контрфинальности в том случае, если они возникают вместо предполагаемого результата, а не в дополнение к нему. Во-вторых, непреднамеренные последствия ощущаются прежде всего самими участниками действия, а не только кем-то другим. В-третьих, контрфинальность следует отличать от непреднамеренных последствий, которые возникают в результате одного действия. В последнем случае непреднамеренные последствия возникают, когда есть сбой в связке «цель–средство». Контрфиналь-

речия, однако это не так (Wilson, 1982; Noví, 1987). Ошибка композиции — это ошибочность вывода о том, что то, что возможно для любого отдельного человека, должно быть возможным для них всех одновременно. Ошибка композиции является частью контрфинальности.

ность же, напротив, имеет дело с правильными рациональными действиями, которые дают противоречие в результате суммирования.

Данные отличия специфицируют понятие контрфинальности, но в то же время выделяют его как частный случай непреднамеренных последствий⁴. Элстер критикует Мертон за то, что последний не стал изучать непреднамеренные последствия дальше и не дошел до контрфинальности (Elster, 1990). Однако Элстер и сам не развивает теорию. Заслуга Мертона заключается прежде всего в попытке систематизации проблемы непреднамеренных последствий преднамеренных действий и описании программы дальнейшего изучения, а именно — изучения сопутствующих условий и факторов, порождающих непреднамеренные последствия. Элстер же двигается в обратном направлении: вместо того, чтобы понять природу контрфинальности, выделить факторы и условия производства контрфинальности, он более подробно сосредотачивается на ее последствиях. Такой анализ необходим, но он не дает комплексного понимания проблемы контрфинальности. Последовательный анализ должен включать прежде всего описание условий и факторов, которые способствуют производству контрфинальности, и затем уже процесс противодействия контрфинальности.

Конечно, нельзя сказать, что после Мертона и Элстера никто не обращал внимание на анализ процесса производства непреднамеренных последствий и контрфинальности⁵. Тема непреднамеренных последствий воспринимается нередко как отдельная парадигма или область социологического знания (Boudon, 2016; Portes, 2000; Mica, 2018), поэтому непреднамеренные последствия часто изучаются чисто эмпирически в разных областях науки (Vaugh, 1992; Kaasboll, 1997; Kopetz, 2019), а вот теоретическое рассмотрение, как отмечает Адриана Мика, еще требует систематизации (Mica, 2018: 4–5). По ее мнению, эволюцию изучения непреднамеренных последствий можно проследить с точки зрения перехода от вопроса «каковы источники непреднамеренных последствий?» к вопросу «что делает непреднамеренные последствия возможными?». В первом случае описываются как отдельные элементы (Sieber, 1981), так и в целом логика возникновения непреднамеренных последствий (Portes, 2000). Во втором случае обращается внимание на триггеры, подталкивающие к определенному виду действий (de Zwart, 2015). Изучение второго вопроса довольно перспективно, но и первый еще не исчерпал себя. И хотя контрфинальность является разновидностью непреднамеренных последствий, многие наработки в этой области требуют как минимум дополнения. Отличительная черта контрфинальности, которая не позволяет просто перенести логику исследования непреднамеренных последствий, заключается в подчеркивании *эффекта агрегации*, который лежит в ее основе (Bogard, 1988; Vaert, 1991; Mica, 2015). Данный эффект означает отсутствие координации действий между участниками, и это главное отличие контрфинальности от непреднамеренных по-

4. Собственно, к такому выводу и приходят некоторые ученые (Vaert, 1991).

5. Хотя, по мнению Раймона Будона, «в современном социологическом анализе тема обратных эффектов столь же редка, сколь и обычна в общественной жизни» (Boudon, 2016: 3).

следствий. Однако отправная точка для анализа процесса производства контрфинальности такая же, как и для анализа непреднамеренных последствий, — это действия, а более конкретно, условия, в которых совершается действие.

До и после контрфинальности

Для того чтобы понять, какие условия и факторы сопутствуют появлению контрфинальности, необходимо обратиться к тем примерам, которые приводит Элстер. Некоторые из них достаточно глубоко проанализированы, но большинство лишь кратко описано, хотя в них скрывается немало информации, которая необходима для понимания феномена контрфинальности. Рассмотрим эти примеры более подробно.

- «В лекционном зале, где каждый встает на ноги, чтобы лучше видеть докладчика, никто не может этого сделать» (Elster, 1978: 110). Здесь стоит сделать несколько замечаний, которые Элстер упускает. Во-первых, нужно сказать о *пространственной организации* лекционного зала. Если парты расположены в виде лестницы, где каждая следующая парта стоит выше другой, тогда контрфинальности не будет. Люди не будут мешать друг другу. Контрфинальность может возникнуть только в том случае, если все парты будут на одном уровне. Во-вторых, нужно посмотреть на расположение людей в этом пространстве. Контрфинальность будет в том случае, если зал заполнен полностью и между людьми практически нет свободного места, что делает их зажатыми и ограниченными в своих движениях.
- «Когда все одновременно хотят депонировать свои деньги или снять с депозита, никто не сможет этого сделать» (Ibid.: 110). Здесь всплывает важность одновременности большого количества индивидуальных действий для возникновения контрфинальности. Однако не всегда это так. Часто действия не происходят одновременно, но контрфинальность все равно возникает. Точнее было бы говорить, что контрфинальность возникает, когда действия происходят на *определенном отрезке времени*. Ситуация с невозможностью депонирования денег случается обычно во время экономических кризисов, поэтому для анализа контрфинальности именно этот промежуток времени представляет интерес. Вряд ли можно представить такую ситуацию в обычное время. В этом примере также следует обратить внимание на то, что контрфинальность возникает потому, что так устроена банковская система. Все банки оперируют деньгами вкладчиков, выдают кредиты, вкладываются в облигации и недвижимость, и потому не имеют возможности выдать деньги всем вкладчикам одновременно. Это можно назвать *информационной структурой*, или *фоном* феномена контрфинальности. Знание этой информационной структуры позволяет понять, почему контрфинальность произошла, и возможно даже предотвратить ее появление.

- Третий пример Элстер берет из политической системы. Он пишет: «Можно предположить, например, что некоторые избиратели, которые обычно голосуют за определенную партию, чувствуют себя настолько уверенными в победе своей партии, что позволят себе неслыханную роскошь голосования за другую сторону, чтобы дать своей стороне разброс влево или вправо» (Ibid.: 111). Если очень большое количество людей будет действовать *нескоординированно* таким образом, результатом может быть контрфинальность. В этой ситуации четко видна еще одна особенность контрфинальности — она возникает из-за предположения избирателей, что *они единственные, кто будет действовать подобным образом*.

Это далеко не полный список примеров, который Элстер предлагает в качестве иллюстрации контрфинальности. Однако, как нам кажется, эти примеры описывают ключевые положения, необходимые для понимания контрфинальности. Из них и из определений контрфинальности мы можем выделить ряд ключевых понятий, с помощью которых описать не только контрфинальность как результат, но и механизм ее производства. Мы выделяем следующие: *информационный фон, пространство, время, интенциональное действие и нескоординированность*. Эти понятия являются тем языком описания, который присутствует у Элстера, но не получает развитие. Для нашей же задачи описания механизма производства контрфинальности эти понятия станут ключевыми элементами этого производства. Конечно, можно отметить, что большая часть данных понятий описывает любое действие: в эмпирическом исследовании элементы пространства и времени, информационного фона и интенции присутствуют всегда. Однако этот момент не означает, что любое действие является контрфинальным. Нам интересна та конфигурация этих элементов, которая принимается при производстве контрфинальности. Иначе говоря, контрфинальность, включающая данные элементы, будет наступать тогда, когда эти элементы соответствующим образом сочетаются. Как раз таки это разделение между обычным действием и действием, производящим контрфинальность, нас и интересует. Помимо этих элементов контрфинальность отличается от любого действия отсутствием координации. Это означает, что актеры не сообщают друг другу о своих действиях и намерениях, а действуют лишь исходя из своих собственных желаний, убеждений и предположений о намерениях других. Однако сама по себе нескоординированность тоже не несет за собой контрфинальность. Контрфинальность — это определенное контингентное сочетание всех описанных выше элементов.

Теперь, как бы парадоксально это ни звучало, для того чтобы описать работу механизма производства контрфинальности в повседневной жизни, нам следует показать последствия, которые контрфинальность за собой несет. Основной тезис Элстера состоит в том, что при определенных структурных условиях контрфинальность подталкивает людей к коллективным действиям с целью ее преодоления. Коллективное действие может привести к изменению или же к прекращению процесса изменения. Поэтому условия такого действия могут выступать как ус-

ловия стабильности и как условия для изменений. В этом смысле теория Элстера называется дуальной теорией социальных изменений. Если мы вернемся к первому примеру с лекционным залом, можно предположить, что после того, как все встанут и не смогут увидеть докладчика, в следующий раз коллективное действие приведет к изменениям в расстановке парт или же к уменьшению количества учащихся, и потому контрфинальность больше не повторится. В этом плане очень важным фактором становится способность группы организовать эти изменения. Элстер выдвигает четыре условия, при которых организация коллективного действия может привести к изменениям⁶:

1) «Если акторы осознают, что ведут себя противоречиво, они попытаются организовать себя с целью преодоления противоречия» (Elster, 1978: 137). Иначе говоря, люди должны осознать ущербность противоречия, ощутить отсутствие некоего блага, которое и будет мотивировать их к мобилизации и организации коллективного действия.

2) «Вероятность успеха в организации изменяется обратно пропорционально коммуникационному расстоянию между участниками группы» (Ibid.: 139). Здесь речь идет о некоторой солидарности, которая рождается между людьми, пространственно близкими и потому участвующими в совместной коммуникации. В преодолении противоречий важную роль играет доверие между людьми, а для того, чтобы люди доверяли друг другу, им необходимо некоторое время провести вместе.

3) «Вероятность успеха в организации изменяется обратно пропорционально темпу оборота участников группы» (Ibid.: 141). Проще говоря, чем дольше одни и те же люди занимаются некоторой совместной деятельностью, тем более вероятно, что они организуются для преодоления противоречия.

4) «Вероятность успеха в организации изменяется обратно пропорционально необратимости противоречий» (Ibid.: 149). Иначе говоря, когда люди договорятся и начнут принимать определенные меры, может быть уже слишком поздно.

Описанные условия, при которых люди организуются с целью преодоления противоречий, актуальны, когда мы говорим про некоторую группу людей, которые могут себе позволить разобраться в проблеме и найти решение. Если мы рассмотрим эти условия на уровне повседневной жизни, то здесь вряд ли они будут выполняться и способствовать изменениям. Повседневная жизнь характеризуется текучестью и ситуативностью, где действия людей обусловлены конкретными деталями производства порядка. Поэтому говорить об изменениях как ответной реакции на контрфинальность в повседневной жизни, в том виде, в каком описывает это Элстер, некорректно. Однако это не значит, что контрфинальность не имеет последствий в повседневной жизни. Последствия имеются, но они другого рода. Применительно к анализу повседневной жизни, последствия контрфинальности не есть преодоление противоречия, а скорее это изменение текущей ситуации, ее

6. Здесь Элстер использует слово «organization», которое скорее подразумевает координацию действий самими участниками взаимодействия, но не внешнее управление.

нормализация. Прежде всего меняются действия участников взаимодействия. Эти изменения порождают новый порядок, который можно назвать *конститутивным*. Конститутивный порядок — это не результат действий, это текучая последовательность действий. Элстер не рассматривает контрфинальность на уровне конститутивного порядка, однако именно такой переход на микроуровень может позволить проанализировать процесс производства контрфинальности.

Конститутивный порядок

Понятие «конститутивный порядок» предложено Г. Гарфинкелем в одной из ранних работ о «доверии» для определенного описания социального взаимодействия (Гарфинкель, 2009). В ней Гарфинкель пишет, что в любой игре есть базовый набор правил, которые демонстрируют три свойства:

1) С точки зрения игрока они очерчивают набор альтернативных площадок игры, числа игроков, последовательностей ходов и т. п., выбор которого игрок ожидает независимо от своих желаний, обстоятельств, планов, интересов или последствий выбора для него самого или для других.

2) Игрок ожидает, что тот же самый набор требуемых альтернатив обязателен для другого игрока так же, как он обязателен для него.

3) Игрок ожидает, что так же, как он ожидает вышеуказанное от другого человека, так и другой человек ожидает это от него (Гарфинкель, 2009: 13).

Эти три свойства называются *конститутивными ожиданиями*. Они конституируют набор правил, за которыми они закреплены. Взаимосвязанный набор возможных событий, которому приписываются конститутивные ожидания, это *конститутивный порядок событий игры* (Там же). Например, базовые правила классических шахмат говорят о том, как фигуры расположены на доске в начале игры, как каждая фигура делает ход, какова последовательность ходов в начале игры и как правильно делать рокировку. Ориентируясь на эти правила, игрок совершает некоторую последовательность ходов и ожидает, что его соперник также будет действовать в рамках правил и ожидать от него того же. При учете всех этих ожиданий шахматисты могут доверять друг другу, то есть «действовать так, чтобы производить своими действиями или учитывать в качестве условий игры актуальные события, которые соответствуют нормативным порядкам событий, отображенным в базовых правилах игры» (Там же).

Гарфинкель отмечает: «Базовые правила придают поведению смысл действия» (Гарфинкель, 2009: 17). Это означает, что игрок, ориентируясь на правила, может понять, что же произошло. Если действие нарушает базовые правила, конститутивный порядок игры нарушается и, соответственно, игрок приходит в некоторое замешательство и пытается понять, что же произошло и какие последствия могут быть. Исходя из этого, Гарфинкель приходит к выводу: «Действие этих конститутивных ожиданий в играх или в повседневных ситуациях служит важным условием стабильных черт согласованных действий» (Там же: 21). Таким образом, выделе-

ние конститутивных ожиданий составляет основу производства конститутивного порядка. И если конститутивные ожидания являются условиями стабильных черт согласованных действий, то некоторые события, которые не соответствуют конститутивным ожиданиям, будут нарушать эту согласованность. Отсюда следует, что при нарушении конститутивных ожиданий в некотором взаимодействии нескольких людей, действия этих людей будут утрачивать согласованность, а иначе говоря, скоординированность. Получается, что нарушение конститутивных ожиданий порождает несоординированность, что является основной чертой контрфинальности. Таким образом, идея о конститутивных ожиданиях дает первоначальную основу анализа контрфинальности в конститутивном порядке.

Последующее развитие представлений о конститутивном порядке развивалось параллельно как развитию самой этнометодологии (Корбут, 2013: 67), так и в целом микросоциологии (Rawls, 2009). Для этнометодологии конститутивный порядок — это порядок повседневной жизни, который не нуждается в теоретизировании. С другой стороны, по мнению Ролз, конститутивный порядок (или *локально-производимый порядок*) можно и нужно противопоставлять *агрегированному порядку* или *порядку сводных правил*. Оба порядка нуждаются в изучении, и именно их противопоставление позволяет понять их ключевые характеристики. Далее мы будем опираться на это противопоставление. Такой подход более предпочтителен, потому что концепция контрфинальности сама больше проясняется в этом противопоставлении.

Наиболее последовательный анализ концепции конститутивного порядка есть в работах Энн Ролз (Rawls, 1987, 1989, 2009, 2010, 2011). По ее мнению, в социологии можно выделить два подхода к изучению порядка, которые можно так и обозначить: социология агрегированного порядка и социология конститутивного порядка. Социология агрегированного порядка действует так, как если бы этого различия и вовсе не было. Социальный порядок в этом случае следует за действиями и может быть измерен только как модели действий, обычно статистические, что в современной социологии явление частое. Социология конститутивного порядка утверждает, что есть явления, к которым концепция агрегированного порядка не применима. Согласно этой позиции, конститутивные правила или ожидания предшествуют и определяют области действия. Наибольший вклад в развитие второго подхода, по мнению Ролз, внесли Г. Гарфинкель, И. Гофман и Х. Сакс (Rawls, 2009: 503). Последних интересовали эмпирические детали определенной конститутивной практики, они занимались изучением границ использования перформативных действий посредством изучения ошибок и исправлений в конкретной последовательности практики. Разница между ними в том, что они использовали реальные примеры и потому достигали разных результатов. Однако в их идеях можно найти и много общего. Из этих общих взглядов на протяжении многих лет Ролз и выстраивает концепцию конститутивного порядка.

У Гарфинкеля Ролз выделяет две главные идеи: *ориентированность на правила* и *последовательность действий*. Они кратко описаны следующим образом: «Под-

ход Гарфинкеля к правилам развивается благодаря эмпирическому пониманию того, как конститутивные практики фактически используются для формирования взаимно идентифицируемых социальных объектов в последовательностях текущих социальных действий. Можно видеть, что участники взаимно ориентируют основополагающие исходные предпосылки или конститутивные правила и корректируют свои последующие ходы с учетом релевантностей, прогнозируемых предыдущими ходами» (Rawls, 2011: 404). Отсюда следует, что *последовательность действий* имеет первичное значение для формирования смысла действия⁷. Каждый шаг, каждое действие подтверждает или изменяет смысл предыдущих действий — в этой последовательности создается порядок. Однако последовательность действий может нарушаться. Последовательность в данном случае можно проинтерпретировать как реагирование в соответствии с конститутивными правилами и ожиданиями (Ibid.: 408). Каким образом конститутивные ожидания связаны с контрфинальностью, мы показали выше, и именно так же мы можем связать контрфинальность с последовательностью действий — через процесс нарушения. В итоге конститутивные ожидания и последовательность действий составляют два взаимосвязанных элемента, которые характеризуют производство конститутивного порядка и в некоторых аспектах могут быть использованы при интерпретации контрфинальности в конститутивном порядке, так как их нарушение способствует нескоординированности действий.

Отличный от этнометодологической традиции взгляд относительно конститутивного порядка Ролз предлагает искать в работах Гофмана (Гофман, 2000, 2002, 2009). Взаимодействие для Гофмана — это элементарная социальная ситуация, в которой двое или несколько людей находятся в физическом присутствии друг друга. Все другие формы взаимодействия считаются производными от этой элементарной единицы. Свои размышления по поводу взаимодействия Гофман резюмировал в президентском послании Американской социологической ассоциации в 1982 году. Взаимодействие — это необходимый элемент социальной жизни. Ежедневно мы взаимодействуем с другими людьми, и наши действия в определенном смысле помещены в социальную ситуацию. Описывая эту ситуацию, Гофман пишет о свойствах взаимодействия. Во-первых, всякое взаимодействие протекает в относительно ограниченном *пространстве и времени* (Гофман, 2002: 65–66). Во-вторых, взаимодействие требует сосредоточенности и вовлеченности участников. Это связано со многими другими работами Гофмана. Для любого участника взаимодействия это возможность представить себя другим. Затем, в каждом взаимодействии человек должен поддерживать свое лицо, понимать, что можно делать и что нельзя. Таким образом, взаимодействие также накладывает некоторые ограничения на действия участников.

Если попытаться как-то систематизировать взгляды Гофмана на порядок взаимодействия, который затрагивается во многих его работах, то вслед за Ролз,

7. Выделение последовательности действий как ключевого элемента производства конститутивного порядка можно найти и в работах Сакса (Sacks, 1995; Сакс, Щелгофф, Джефферсон, 2015).

можно выделить несколько элементов (Rawls, 1987). Во-первых, в процессе взаимодействия постоянно достигается и поддерживается социальное Я. Это условие подразумевает существование некоторого рабочего консенсуса и ритуального характера взаимодействия. Во-вторых, во взаимодействии приверженность порядку порождает смысл. Другими словами, смысл — это интерактивное достижение (Rawls, 1989: 147). Эти элементы Ролз рассматривает как важный вклад Гофмана в общую социологическую теорию, потому на них следует остановиться подробнее.

Для Гофмана порядок взаимодействия имеет ритуальный характер, потому что он создает и поддерживает социальное Я, которое является сакральным для людей. Это означает, что во время взаимодействия участники должны сформировать единое общее определение ситуации (Гофман, 2000: 41). Это согласие Гофман называет «*рабочим консенсусом*», оно необходимо из-за хрупкого характера взаимодействия и социального Я. Важно, что рабочий консенсус будет отличаться от ситуации к ситуации. Люди обходятся сиюминутными соглашениями, нежели нормативным согласием (Гофман, 2002: 72). Таким образом, рабочий консенсус как единое общее определение ситуации — это еще один элемент конститутивного порядка. Однако это единое общее определение ситуации может быть и ошибочным. Тут мы можем вспомнить эффект ошибки композиции, когда люди, действуя одновременно схожим образом, не достигают тех результатов, которые каждый из них мог бы достичь в отдельности. Их определение ситуации не меняется и именно этот факт способствует появлению контрфинальности. Если мы вернемся к определению контрфинальности, то заметим этот важный элемент — *действовать на основе предположений о своих отношениях с другими* — то есть при производстве контрфинальности люди всегда думают схожим образом, но достигают других результатов по причине того, что это предположение было ошибочным. Получается, что рабочий консенсус в определенных ситуациях способствует порядку действий, но в других случаях действует как элемент производства контрфинальности.

Исходя из описанных выше идей, мы можем выделить несколько элементов конститутивного порядка, которые составляют его основу и могут способствовать изучению контрфинальности на уровне повседневного взаимодействия. На первом этапе, когда Гарфинкель вводит понятие *конститутивный порядок*, мы выделяем понятие *конститутивные ожидания*. Рассматривая его в контексте исследования контрфинальности, можно сказать, что если конститутивные ожидания нарушаются некоторыми событиями, то создаются условия для появления контрфинальности. Контрфинальность есть смещение, несоответствие конститутивным ожиданиям. Не всегда это несоответствие ведет к контрфинальности, но тем не менее оно является одним из условий процесса ее производства. Далее мы выделяем понятие Гофмана *рабочий консенсус*. Когда акторы имеют общее представление о ситуации, они могут действовать так, чтобы их действия имели смысл для других. Однако в некоторых случаях под эффектом агрегации рабочий консенсус может приводить к противоположным результатам. И, наконец, мы

выделяем акцент на изучении *последовательности* (действий) как основы производства конститутивного порядка. Именно последовательность действий создает смысл и ориентирует людей на будущие действия. Контрфинальность же наступает тогда, когда последовательность действий нарушается. Почему люди начинают действовать несогласованно и в какой момент это происходит, это вопросы эмпирического изучения конкретной ситуации.

Контрфинальность связана с конститутивным порядком таким образом, что в момент нарушения последовательности действий начинается переход от одного состояния ситуации к другому. Эта смена позволяет не только обозначить процесс производства контрфинальности, но и обозначить конститутивный порядок, который образуется снова и снова, так как контрфинальность постоянно преодолевается. Конститутивный порядок становится наблюдаемым или как-то проявляется, благодаря этим дискретным отрезкам между контрфинальностями. Мы предполагаем, что именно такой обоюдный эффект существует между этими феноменами.

Теперь, когда мы рассмотрели основные положения концепции конститутивного порядка и обозначили связь с контрфинальностью, мы можем перейти к определению ключевых понятий, которые необходимы для анализа процесса производства контрфинальности в конститутивном порядке.

Контрфинальность в конститутивном порядке: интерпретация основных понятий

Мы выделяем следующие понятия: *интенциональное действие, нескоординированность, пространство, время, информационный фон и последовательность действий*. Первые пять понятий взяты из анализа идей и примеров Элстера. Последнее — из анализа концепции конститутивного порядка и является центральным связующим элементом двух обсуждаемых концептов⁸. Каждое понятие в операционализации конкретного эмпирического исследования представляет собой элемент механизма производства контрфинальности, и в зависимости от того, как каждый элемент будет включен в производство, контрфинальность будет иметь определенный вид или же вовсе не проявляться. Рассмотрим эти понятия подробнее.

Интенциональное действие

Поскольку действия людей являются центральным элементом в производстве и конститутивного порядка, и контрфинальности, необходимо начать с определе-

8. Мы не включили сюда понятия «рабочий консенсус» и «конститутивные ожидания», так как понятие «последовательности действий» включает главный связующий компонент — производство смысла действий.

ния именно этого понятия. Сначала нужно определиться с тем, что такое действие, затем обозначить роль интенции в структуре действия.

В классическом определении Вебера действием является человеческое поведение (внутреннее или внешнее, воздержание или претерпевание), если и поскольку действующий связывает с ним субъективный смысл (Вебер, 2016: 68). Многие социологи⁹ впоследствии исходили из этого определения действия, видоизменяли его в логике своей проблематики, но главным компонентом всегда оставался смысл. В концепции конститутивного порядка, где действия людей являются основой производства этого порядка, смысл этих действий лежит в последовательности действий. Именно последовательность делает действия людей осмысленными и понятными. Далее мы постараемся обозначить связь смысла, интенции и последовательности.

Проблема интенции решается Элстером в духе аналитической философии. Следуя различению Элизабет Энском между причиной и основанием действия (Anscombe, 1963: 10) и включением Дональда Дэвидсона в состав интенции желания и верования (Davidson, 2002: 86–87), Элстер предлагает говорить об интенции, когда желание и верование вызывают действие как основание (Elster, 1988: 52). Это означает, что желание и верование должны действительно вызывать это действие, они должны быть непосредственно связаны с ним. Другими словами, человек должен сознательно совершить действия, опираясь только на свои желания и верования. Энском отмечает, что выражение интенции — это более широкое описание того, что агент делает в настоящем времени (Anscombe, 1963: 35). Эти взгляды Энском указывают на важность придания действию некоторого смысла, что отмечал еще Вебер. Если попытаться реконструировать понятие интенции в социологической теории действия, то интенция — это прежде всего осмысленность действия. Интенция — это осознанный, направляющий элемент действия.

Интенциональное действие характеризуется осмысленной направленностью на достижение цели. При производстве контрфинальности каждый человек в группе совершает некоторое интенциональное действие, основанное на желании и веровании, не подозревая, что другие будут действовать на основе таких же желаний и верований, что в результате ошибочности композиции приведет к контрфинальности. Конечно, при условии, что другие элементы механизма производства будут способствовать этому. Главное, что нужно отметить, это роль конститутивного порядка в этом процессе. Так как конститутивный порядок характеризуется последовательностью действий, которая порождает смысл действий, и только придерживаясь этой последовательности можно понять смысл действий, то именно последовательность дает нам понимание о направленности действий, то есть об интенциях. Определив таким образом интенцию, мы сможем зафиксировать контрфинальность в конститутивном порядке.

9. Такие как Парсонс (Parsons, 1949), Шюц (Шюц, 2004) и Уинч (Уинч, 1996).

Нескоординированность

Второй основной компонент в определении контрфинальности связан с нескоординированностью действий. Элстер не обсуждает подробно это понятие, хотя оно является ключевым. Возможно, Элстер воспринимал его как самоочевидное, не требующее прояснения, но для большей точности мы попытаемся дать ему характеристику.

Нескоординированность, как бы это банально ни звучало, является обратной стороной координации. Однако нескоординированность не означает, что люди действуют вразнобой. Она означает, что действия людей основаны лишь на предположениях о намерениях других, и когда достаточно большое количество людей действуют на основе таких предположений, эффект агрегации доводит это состояние нескоординированности до контрфинальности. Именно в этом значении понятие «нескоординированность» используется для описания контрфинальности. В конечном счете это вопрос описания, и понятно, что разные теории будут описывать действия по-разному. В пределах той теоретической рамки, которая представлена в этой статье, а именно концептуализации контрфинальности в работах Юна Элстера, понятие «нескоординированность» означает то, что непосредственно заложено в основу определения контрфинальности, — совокупность действий, которые основаны на предположениях о намерениях других¹⁰.

Пространство

При анализе примеров контрфинальности мы уже указывали на важность пространства. Точнее, в контексте нашей проблемы нас интересует организация пространства: расположение объектов в данном пространстве, освоение людьми пространства, возможности пространства и в конечном счете влияние на действия и производство контрфинальности.

При рассмотрении конститутивного порядка пространство рассматривается как место взаимодействия. Пространство включено в ситуацию взаимодействия и влияет на ее протекание. Во-первых, это влияние связано с определенной организацией пространства. Во-вторых, нам важно понять, как это пространство используется. Во многих ситуациях нас окружают множество объектов, которые влияют на наши действия. При рассмотрении контрфинальности пространство скорее ограничивает действия людей, нежели предоставляет возможности. Пространство создает плотность взаимодействия, как в примере с лекционным залом, расположение парт создает плотность расположения студентов, из-за чего они не могут увидеть докладчика. С другой стороны, не факт, что только плотность соз-

10. Тут можно заметить еще одну проблему, а именно о пределах нескоординированности. Эта проблема отчасти будет обсуждаться при эмпирической иллюстрации, однако ее рассмотрение может составить интерес для отдельных работ на тему контрфинальности.

дает ситуацию контрфинальности. Скорее это необходимый, но не достаточный атрибут контрфинальности в конститутивном порядке.

Пространство бывает организовано интенционально или же случайно. В первом случае пространство организовывается с некоторой идеей, которая может быть эстетической, функциональной или какой-либо другой. Какая бы идея ни стояла за организацией пространства, важно, как это пространство осваивается, то есть функционирует как место действия. Если определенная организация пространства способствует производству контрфинальности, то, скорее всего, идея, стоящая за ней, не функциональна. Под функциональностью здесь понимается практичность, непротиворечивость использования. Не-функциональность пространства еще один необходимый атрибут контрфинальности в конститутивном порядке.

В зависимости от того, как организовано пространство и как люди используют это пространство, мы можем фиксировать вероятность и актуальность контрфинальности. В конкретном эмпирическом исследовании, наблюдая за производством контрфинальности в конститутивном порядке, мы обращаем внимание на дистанции и расстояния, плотность взаимодействия, возможности и ограничения, которые предоставляет организованное пространство.

Время

При рассмотрении контрфинальности, как мы уже отмечали ранее, важны такие понятия, как *одновременность*, *последовательность* и *определенный промежуток времени*, который включает процесс производства контрфинальности. Одновременность действий — это атрибут контрфинальности, который отмечает Элстер. Это не означает, что все люди в один момент сделали одно и то же, скорее это означает, что действия происходят в некотором отрезке времени, весьма сжатом и не позволяющем всем достичь своей цели. Конечно, иногда одновременность можно понимать и буквально, но эти случаи редки. Например, если в лифт заходит большое количество людей и лифт не может подняться, так как не рассчитан на такой вес, кому-то придется выйти. Здесь контрфинальность возникает, потому что одновременно такое количество людей не может подняться на лифте, но в то же время процесс производства этой контрфинальности включал последовательность действий, в результате которой пассажиры, зашедшие последними, скорее всего, оказались теми, кто выйдет и будет ждать другой лифт или пойдет пешком по лестнице. Эти действия были не одновременны, а последовательны. Одновременность — это результат действий, который наблюдаем в самой ситуации контрфинальности, то есть мы можем говорить об одновременности, когда контрфинальность больше не производится, а происходит.

Контрфинальности предшествует процесс ее производства. Этот процесс занимает определенный промежуток времени, который мы должны анализировать. В этом промежутке времени можно выделить момент, когда производство кон-

трфинальности началось, и момент, когда контрфинальность наступила. Промежуток времени между этими двумя моментами есть наш объект анализа. После наступления контрфинальности наступает промежуток времени, включающий нормализацию ситуации. Здесь можно выделить два сценария: после контрфинальности произойдут изменения, которые будут направлены на то, чтобы контрфинальность больше не наступила, или же после контрфинальности наступает нормализация ситуации, которая вскоре перерастает в процесс производства контрфинальности. В случае конститутивного порядка после контрфинальности чаще всего осуществляется второй сценарий.

Так как повседневность характеризуется текучестью, тут нет устойчивых отношений. Люди чаще всего незнакомы друг с другом и потому обходятся лишь общими представлениями о других. Есть очень маленький промежуток времени, в котором люди должны оценить действия других людей и соответствующим образом отреагировать. Этот дефицит времени влияет на качество действия и может привести к контрфинальности.

Последовательность действий

Это понятие, взятое из концепции конститутивного порядка, также применимо и к анализу контрфинальности. Во-первых, мы уже указывали, что последовательность действий является временной характеристикой контрфинальности. В последовательности действий мы можем проследить процесс производства контрфинальности. Во-вторых, последовательность действий является элементом производства конститутивного порядка и порождает смысл действий. Таким образом, последовательность действий позволяет определить интенции участников взаимодействия. В-третьих, нарушение последовательности действий создает нескоординированность действий и означает переход от производства конститутивного порядка к производству контрфинальности. Обращая наше внимание на последовательность действий, мы решаем сразу несколько задач при анализе процесса производства контрфинальности.

Информационный фон

Под этим понятием мы понимаем общее знание ситуации или актуальное получение информации о ситуации, в которой производятся конститутивный порядок и контрфинальность. Общее знание ситуации характеризуется опытом участия в подобного рода взаимодействиях. Для того, кто не является компетентным участником взаимодействия, ситуация может преподнести неожиданности. Эти неожиданности могут навредить интенциям и привести к контрфинальности. Актуальное получение информации связано с включенностью в производство конститутивного порядка. Информационный фон в этом случае — это любая

окружающая информация, имеющая значение для производства конститутивного порядка.

Рассмотренные выше понятия составляют основной тезаурус описания процесса производства контрфинальности в конститутивном порядке. Эти понятия взаимосвязаны таким образом, что каждое понятие имеет значение только в соотношении с другими понятиями. Интенциональные действия включены в последовательность действий, которая протекает в определенном пространстве и времени. В момент нарушения последовательности возникает несоординированность действий, ведущая к контрфинальности. Общее знание ситуации позволяет смягчить непреднамеренные последствия. Можно даже сказать, что общее знание ситуации — это преимущество некоторых агентов перед другими агентами и возможность избежать последствий. Актуальное получение информации включено в ситуацию действия и позволяет участникам взаимодействия производить конститутивный порядок. Операционализируя эти понятия в конкретном эмпирическом исследовании, мы можем описать механизм производства контрфинальности в конститутивном порядке. Собственно, для того чтобы продемонстрировать релевантность предложенного понятийного аппарата, обратимся к примеру очереди в вагон метро.

Дизайн и методология исследования

Очередь в вагон метро, на наш взгляд, является самым продуктивным и показательным примером работы механизма производства контрфинальности в конститутивном порядке. В этом примере сеть отношений между элементами механизма производства контрфинальности носит сложный характер и требует детального описания. Более того, этот случай идеально вписывается во все традиции, рассмотренные выше. Теоретики конститутивного порядка часто рассматривали очередь как основную единицу повседневного взаимодействия, и в то же время в очереди мы можем найти все те элементы механизма производства контрфинальности, которые были описаны выше.

Наше эмпирическое исследование очереди в вагон метро в час пик — это прежде всего иллюстрация к предложенным теоретическим различиям. Наша задача состоит в том, чтобы показать, как механизм производства контрфинальности в конститутивном порядке работает на практике и каким образом мы можем эту работу зафиксировать.

Методом сбора информации является метод наблюдения. Для наблюдения была выбрана станция «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Наблюдения проводились несколько раз в декабре 2018 года и в феврале 2019 года, во временном промежутке от 18:00 до 20:00. Именно в этом промежутке времени на «Таганской» час пик. В общей сложности было проведено 8 часов наблюдений.

Перед процедурой наблюдения был составлен план наблюдения, состоящий из 4 вопросов, включающих в себя обозначенные элементы механизма производства контрфинальности:

- 1) Как люди попадают в вагон? Как люди действуют? Что происходит, когда поезда нет, когда он подъезжает, когда он стоит и когда уезжает?
- 2) Как организация пространства и времени влияет на действия людей?
- 3) Какова очередность входа в вагон?
- 4) В какой момент происходит нарушение последовательности входа в вагон?

В ходе наблюдения все заметки вносились в дневник наблюдения, содержащий категории, соответствующие элементам механизма производства контрфинальности.

Случай очереди в вагон метро в час пик на станции «Таганская» как пример механизма производства контрфинальности в конститутивном порядке

Организация пространства и времени

Пространство на станции «Таганская» организовано таким образом, что распределение пассажиров по платформе неравномерно. Отчасти это влияние временных параметров и общей организации московского метрополитена. Нас же прежде всего интересует именно организация пространства как расположение объектов, относительно которых люди организуют свои действия. На рисунке 1 представлена схема станции «Таганская». Поезд в сторону станции «Китай-город» не столь важен, так как в вечернее время в сторону центра поток очень маленький.

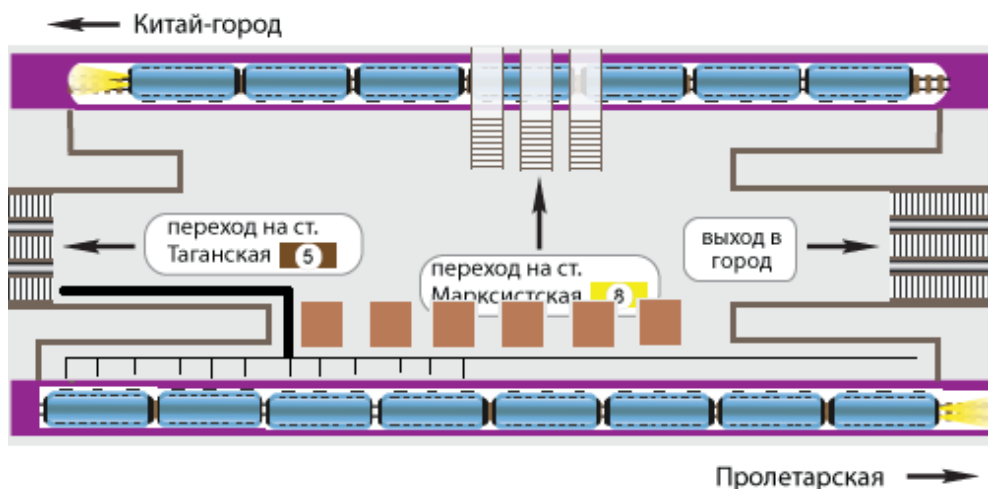


Рис. 1. Схема станции метро «Таганская»

Все люди возвращаются домой с работы, а именно в направлении станции «Пролетарская» большое количество спальных районов и к тому же электричка и множество автобусов, едущих в Подмоскowie. Соответственно, все наши дальнейшие рассуждения будут касаться именно этого направления движения и организации пространства и времени в этой части станции.

На этой схеме мы видим, что первые два вагона и последние два вагона стоят за стеной, где спереди выход в город, а сзади переход на станцию «Таганская» Кольцевой линии. Вдоль средних четырех вагонов стоят столбы, которые также ограничивают движение пассажиров по станции. Переход на станцию «Марксистская» не столь важен, поскольку там нет большого потока пассажиров, и в целом он не влияет на действия людей, стремящихся к поезду в направлении станции «Пролетарская».

Основная часть пассажиров приходит с Кольцевой линии. Этот поток практически постоянен, хотя, конечно, на станции «Таганская» Кольцевой линии поезда приходят с некоторой периодичностью. Возможно, описание этой периодичности помогло бы понять, как организуется поток, но нас интересуют больше действия людей, их распределение и освоение пространства. Поступающий поток имеет склонность в большинстве своем сворачивать на платформу станции сразу же в первом проеме. Мало кто идет дальше, и, скорее отчасти, здесь можно наблюдать влияние толпы, когда каждый действует так, как действуют все. (Не стоит путать это с координацией. Люди не координируют свои действия, а лишь поступают так, как все.) Повернув в первый проем, люди расходятся налево и направо. Если люди, идущие направо, упираются в последние два вагона и образуют большие очереди, то люди, идущие налево, имеют перед собой целых 6 вагонов, однако также и здесь у ближайших двух вагонов образуются большие очереди. Получается, что около последних четырех вагонов останавливается большое количество людей, которые затем организуют очередность входа в вагон, в то время как у первых четырех вагонов количество людей не столь велико. Этот факт есть первая предпосылка контрфинальности. Имея большой поток из одной точки, люди не распределяются равномерно по платформе, и эта *неравномерность создает условия для контрфинальности*. Эта неравномерность является результатом отсутствия координации, и если днем, когда нет большого потока, эта несоординированность не играла бы большой роли в конечных результатах действий пассажиров, то во время часа пик эта несоординированность создает условия для появления контрфинальности через эффект агрегации. Каждый действует исходя из своих предположений, что, если он остановится около последних четырех вагонов, он все равно сможет войти в вагон. Когда большое количество людей думает так же, возникает эффект агрегации и контрфинальность, ведь то, что возможно для каждого, не значит, что это возможно для всех одновременно.

Теперь перейдем к описанию временных характеристик, имеющих значение при производстве контрфинальности. В первую очередь нужно отметить время прихода поезда. Поезда приходят примерно каждую минуту плюс-минус 20 се-

кунд. На «Таганской» также стоят часы, которые показывают время, через которое должен прийти поезд, и люди часто ориентируются на эти часы. Чем раньше придет поезд, тем меньше будет очередь. Так как большая очередь способствует возникновению контрфинальности, то более частое прибытие поезда могло бы препятствовать контрфинальным ситуациям, однако этого не происходит. Если поезд приходит раньше минуты, есть большая вероятность, что он будет стоять и ждать, пока поезд спереди проедет на большее расстояние и он сможет продолжить путь. Пока поезд стоит, вагон заполняется битком, и на платформе остаются люди, которые вынуждены ждать следующего поезда. В первых четырех вагонах еще можно найти место, но вот в последних четырех места точно нет, и несколько человек стоят у входов в вагон, занимая тем самым место входа в следующий поезд, так как поезда останавливаются примерно в одном месте.

Когда поезду не нужно ждать поезд спереди, то двери закрываются либо в течение 7–10 секунд, либо когда машинист видит, что входящих больше нет. Пока поезда нет, на платформе происходят основные действия, идет процесс построения очередей, выбор лучших позиций. Люди понимают, что поезд скоро придет и им нужно как можно скорее найти подходящее место. Люди действуют в ограниченном временном промежутке, который давит на них и иногда заставляет совершать совсем не те действия, которые предполагались. Это замечание относится и к пространству. Пространство и время ограничивают действия людей, диктуют свои правила и постоянно создают условия для контрфинальных ситуаций.

Очередность входа в вагон

После того как люди попадают на станцию из перехода и через первый проем выходят на платформу, начинаются основные действия по занятию позиций и организации некоторой очередности. Пока поезда нет, на платформе можно заметить несколько типов пассажиров. Первые — это те, кто сразу же занимает определенную позицию на краю платформы. Они лучше всех видят время прихода поезда и туннель, в котором будет виден свет приближающегося поезда. Эти обстоятельства дают некоторые преимущества в очередности входа в вагон. Второй тип людей на платформе — это люди, проходящие вдоль платформы. Значительная часть потока с Кольцевой линии, которая после прохождения проема поворачивает налево, — это люди, чаще всего идущие вдоль платформы до первых вагонов поезда, но не успевающие дойти из-за приближающегося поезда. Третий тип людей — это люди, стоящие в стороне, около стен или столбов. Они не идут дальше и не занимают самую крайнюю позицию, они ждут, когда поезд начнет приближаться, чтобы в этот момент двинуться в то место, где меньше всего людей.

Описанные три типа людей на платформе в момент приближения поезда начинают группироваться (нескоординированно) для входа в вагон, образуя очередь. Люди, которые стоят на краю платформы, всматриваются в приближающийся поезд, надеясь поймать момент, когда он остановится, и тем самым предугадать

место открывающихся дверей. Чем больше очередь, тем более важно точно предугадать это место. Самое лучшее место — первое место у краев. Таким образом, ты даешь дорогу тем, кто выходит, и сразу же заходишь сам. В час пик особенно важно начать входить еще до того, как вышел последний человек. Это особая задача тех, кто стоит первым.

Люди, которые шли вдоль платформы, в момент приближения поезда чаще всего встают в первую попавшуюся очередь. Они не владеют местом, и их попадание в вагон зависит от удачи и некоторой степени активности. Люди, которые стояли у стен, в этом плане имеют небольшой выбор. Они могут осмотреться и решить, в какую из нескольких очередей они могут встать, в какой из них у них больше шансов войти в вагон. Когда поезд останавливается и становится ясно, где место входа, люди группируются, образуя плотное скопление, в котором можно различить три очереди. Эти очереди расположены относительно основных путей входа в вагон: две очереди по краям и одна очередь в центре. Когда двери открываются, очередность входа в вагон может идти по трем сценариям, которые изображены на рисунке 2¹¹.

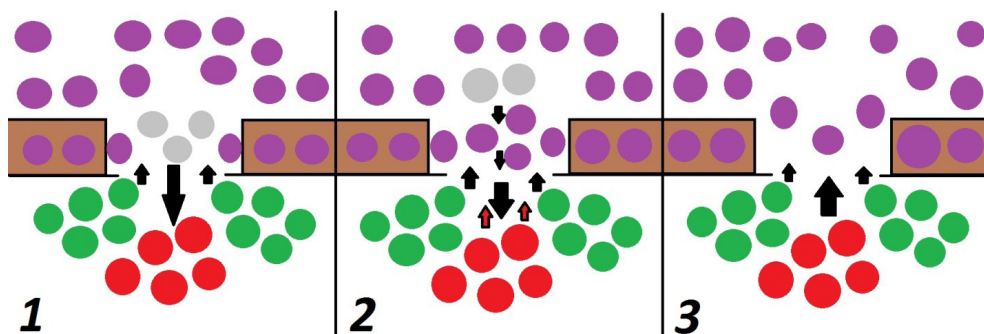


Рис. 2. Три сценария очередности входа в вагон

В первом случае из вагона выходят несколько пассажиров, стоящих спереди. До того, как из вагона вышел последний пассажир, люди сбоку начинают входить в вагон. Люди, стоящие в центральной очереди, не имеют возможности войти прямо в вагон, так как им мешает поток выходящих пассажиров. Они предпринимают попытки встать в боковую очередь и войти, но некоторой части людей это не удается, и они остаются на платформе ждать следующий поезд. Во втором случае из вагона также выходят несколько пассажиров, но только тех, кто стоит сзади, в глубине. Им нужно сначала протиснуться между пассажирами, стоящими спере-

11. На рисунке круглые фигуры обозначают пассажиров. Фиолетовые кружки — это пассажиры в вагоне, едущие дальше. Серые кружки — это пассажиры, выходящие из вагона. Два скопления зеленых кружков по бокам — это две боковые очереди. Красные кружки — это центральная очередь. Черными стрелками указаны направления движения очередей (вверх) и выходящих пассажиров (вниз).

ди, и только затем выйти из вагона. Когда поезд останавливается и открываются двери, и люди видят, что пассажиры, стоящие спереди, не выходят, они сразу же стараются войти в вагон, но встречают сопротивление людей, выходящих из глубины. Здесь люди, стоящие в центральной очереди, попадают в неудобную ситуацию, когда выходящие из глубины люди не только мешают им войти, но при этом делают это с задержкой и в течение длительного времени. Дальше повторяются события из первого случая. В третьем случае выходящих пассажиров нет. Здесь каждая очередь не встречает сопротивления. Если очереди не очень большие, то войти удастся каждому. Если же места в вагоне мало, а людей в очереди достаточно много, то все же шансов войти в вагон больше именно у боковых очередей. Люди, стоящие в центральной очереди, в особенности те, кто стоит в самом конце этой очереди, рискуют не попасть в вагон и остаться на платформе ждать следующего поезда. Они не попадают в вагон именно потому, что заняли плохую позицию. На «Таганской» можно наблюдать все три сценария очередности входа в вагон, однако изображаемый на рисунке 2 порядок указывает на частоту сценария. Чаще всего выходят пассажиры, стоящие спереди, реже всего выходящих нет.

Итак, описанные три сценария имеют некоторые схожие стороны с точки зрения теоретического описания работы механизма производства контрфинальности. Во всем этом процессе, от попадания людей на станцию и до закрытия дверей вагона, мы должны различать моменты производства конститутивного порядка и контрфинальности. Собственно, основные события происходят именно в момент приближения поезда. Люди начинают группироваться и образовывать очередность входа, и при нормальных обстоятельствах, если бы мы наблюдали эти действия не в момент часа пик, а, скажем, днем, когда нет большого потока пассажиров, очередность входа в вагон протекала бы спокойно. Все люди попадали бы в вагон, так как очереди небольшие и места в вагоне много. Однако в вечернее время все работает по-другому. Образуя очередность входа в вагон, люди производят конститутивный порядок, и все их действия направлены на производство этого порядка. В нормальной ситуации очередность входа не прерывается, но в час пик мы видим, что не все люди, стоящие в очереди, попадают в вагон, а значит, конститутивный порядок, или последовательность действий, нарушается. Это нарушение прежде всего связано с выходящими пассажирами, которые создают препятствие для людей из центральной очереди. Это нарушение приводит к контрфинальной ситуации, когда люди из центральной очереди не могут попасть в вагон. Они не попадают в вагон именно потому, что очередность входа нарушается, и их позиция оказывается неудачной в этой ситуации. Нескоординированность действий входящих и выходящих, в том смысле, в котором это понятие было уточнено выше, создает условия для контрфинальности, и этим отличает данную ситуацию от обычного потока действий и обычной очереди не во время часа пик. Неудачная позиция является следствием как самих действий акторов в данной очереди (они могли бы занять другое положение, не в центре очереди), так и в целом отсутствия координации по распределению пассажиров по платформе (они могли бы пройти

дальше и попасть в очередь поменьше). Нарушение очередности входа и некординированность, в сочетании с плохой позицией — есть именно тот момент, когда производство конститутивного порядка перетекает в чистое производство контрфинальности.

Информационный фон на платформе

После того как поезд уезжает, все начинается сначала. Люди стоят на платформе, ходят вдоль и организуют очередность входа. Производство конститутивного порядка все так же перетекает в чистое производство контрфинальности в последних четырех вагонах. В первых четырех вагонах контрфинальность не наблюдается практически никогда. Отчасти это связано с организацией пространства и времени, отчасти это результат действий самих людей, стоящих на платформе. Ведь что происходит, когда поезд уходит, и несколько человек остаются на платформе: они все так же остаются на своих местах и ждут следующего поезда; они занимают место у края платформы, которое гарантирует им вход в следующий раз. Бывает, конечно, что один или два человека покидают это место. Они идут дальше, к первым четырем вагонам, или встают около другого входа, где людей немного меньше. После того, как эти люди не смогли попасть в вагон, они начали действовать по-другому, и эти действия приводили к достижению цели.

Изменения, которые происходят на платформе после каждого ухода поезда, касаются прежде всего действий людей, оказавшихся в ситуации контрфинальности. Это не те изменения, о которых писал Элстер. Скорее, эти изменения связаны с получением новой информации. Каждый участник понимает, что их прошлые действия не принесли успеха, и теперь, чтобы достичь цели, им нужно действовать по-другому. Они начинают действовать так, как это делали те, кто стоял впереди них: они занимают самую крайнюю позицию, которая является наиболее выгодной. Мы не можем утверждать, делают ли они это целенаправленно, понимая, что это наиболее надежный способ, или же они не придают этим действиям особого значения и просто остаются на тех местах, где они оказались при закрывании дверей. Мы можем лишь утверждать, что каждый раз люди, не попавшие в вагон, действуют именно таким образом. Они становятся компетентными участниками взаимодействия, и действуют согласно требованиям ситуации.

Помимо компетентности участников как части информационного фона имеется и другая информация, которая влияет на действия людей на платформе. Например, особое значение в образовании очередности входа играет звук приближающегося поезда. Посредством этого звука люди понимают, что поезд скоро остановится и нужно занять определенную позицию на платформе, чтобы войти в вагон. Они начинают группироваться, и по мере остановки поезда образуются те три очереди, которые были описаны выше.

Информационный фон, который мы можем найти на платформе станции метро, в первую очередь связан с обретением компетентности, позволяющей войти

в вагон. В процессе образования очередности люди также ориентируются на расположение других людей на платформе, звук приближающегося поезда, часы времени прибытия, и действуют исходя из этой информации.

Общие замечания об интенции и действиях

Контрфинальность на платформе — это результат действий людей, за которыми стоят определенные интенции. Интенция каждого человека на платформе — войти в вагон. Однако все не так просто. Если вспомнить, что интенция — это сочетание желания и верования, то войти в вагон это желание, а верование — это выбор предпочтительного способа действия. Этот выбор достаточно ограничен, и у него есть несколько детерминантов.

В исследовании группы ученых из Сеула, которые изучали специфику выбора определенного вагона во время утреннего часа пик, выделяется следующая структура выбора (рис. 3) (Kim et al., 2014: 255).

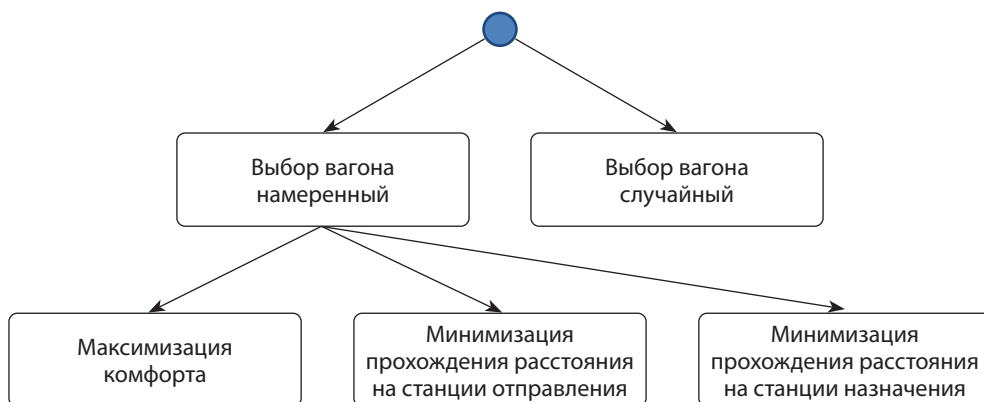


Рис. 3. Структура предполагаемого выбора

При попадании на платформу человек может выбрать определенный вагон намеренно или же случайно. Если он делает это намеренно, то выбор стоит между максимизацией комфорта и минимизацией прохождения расстояния. Минимизация прохождения расстояния может быть ориентирована на станцию отправления или же на станцию назначения. Если человек выбирает определенный вагон намеренно, то именно эти три мотива определяют его выбор¹².

12. Мотив в данном случае также может быть определен как интенция, так как связан с конкретной целью и ориентацией на будущее. Мы будем рассматривать мотив как часть интенции, как то, что вплетено в структуру действия.

На станции «Таганская» в час пик эти мотивы можно наблюдать в действиях людей, если посмотреть на перемещения, которые совершаются на платформе. Если мы говорим о мотиве минимизации прохождения расстояния на станции отправления, то выходя в первый проем, люди попадают на третью дверь шестого вагона, что можно считать серединой последних четырех вагонов. Расходясь по сторонам, они выбирают последние 4 вагона, потому что так они тратят меньше времени на проход по платформе. Если мы говорим о минимизации прохождения расстояния на станции назначения, то мы должны знать, на какой станции человеку нужно выходить и как там организовано пространство. Что касается мотива максимизации комфорта, то лучше всего пройти в первые четыре вагона и зайти как можно раньше других. Если же говорить о последних четырех вагонах, то здесь комфорт достигается также вхождением раньше других, но этот комфорт отличается от комфорта в первых четырех вагонах.

Мы не можем утверждать в процентном соотношении, какой мотив больше всего преобладает, однако в результате длительных наблюдений мы можем утверждать, что для значительной части людей, входящих в последние четыре вагона, первые два мотива совпадают. Место входа в вагоны на станции «Таганская» совпадает с местом выхода на станции «Выхино», куда едет большая часть пассажиров последних четырех вагонов.

Что касается комфорта, то лучше всего пройти в первые вагоны. В последних четырех вагонах комфортнее ехать, если стоять первым в очереди и первым войти в вагон. Тогда есть шанс пробраться ближе к середине вагона, где чаще всего плотность людей не такая большая, как возле дверей, или же встать у противоположных дверей, или у краев сидений. Для первых входящих самое важное это занять удобную для себя позицию, и желательно создать некоторое свободное пространство вокруг себя, чтобы никто не зажимал, и не было телесного контакта. Люди, которые входят после, уже не имеют таких преимуществ, и им приходится стоять либо в середине, либо у самых дверей, где ехать достаточно некомфортно, особенно если поезд старый и трудно найти поручень, чтобы поддерживать равновесие.

Часто люди, вошедшие последними в вагон, поворачиваются лицом к платформе и всем своим видом показывают, что места больше нет. Тогда на платформе остаются некоторые пассажиры, которые не входят, возможно, потому, что считают, что вагон реально забит и они просто не смогут там устоять, или же они испытывают дискомфорт от того, что им придется войти в вагон лицом к лицу с последним стоящим пассажиром. В любом случае, если время остановки поезда позволяет, найдутся смельчаки, которые в последний момент заскочат в открытые двери, даже если вагон почти полный и на платформе стоят несколько человек, которые не входят. Здесь мы можем сделать еще несколько замечаний об интенции. Каждый пассажир на платформе имеет цель войти в вагон, что мы можем назвать базовой интенцией, но конечная интенция каждого пассажира — это перемещение, и в зависимости от удаленности перемещения нужно занять определенную позицию в вагоне поезда. Это означает, что они не просто должны

войти в вагон метро, но войти таким образом, чтобы им было удобно выйти на нужной им станции. Поэтому если мы наблюдаем контрфинальность, и видим, как некоторые люди сильно рвутся войти, а другие стоят в стороне, их конечные интенции могут отличаться. Человек может ждать, когда все люди войдут в вагон и зайти последним, чтобы после него никто не смог зайти. При этом на платформе могут остаться люди, которые и будут в ситуации контрфинальности. Таким образом, нам нужно учитывать не только базовую интенцию (войти в вагон), но и конечную интенцию (выйти на станции X)¹³. Относительно базовой интенции на последних четырех вагонах контрфинальность происходит постоянно. Если же рассматривать действия людей относительно конечной интенции, то даже наблюдаемая контрфинальность может не являться собственно контрфинальностью в теоретическом смысле, а лишь указывать на различие конечных интенций.

Итак, находясь на платформе, каждый пассажир имеет базовую интенцию войти в вагон. Эта интенция объединяет всех пассажиров и способствует появлению контрфинальности. Если посмотреть на желания и верования всех пассажиров немного глубже, то ясно, что каждый из них также имеет и конечную интенцию — выйти на станции X. Далее каждый пассажир делает выбор, в какой вагон и когда ему нужно войти, чтобы поездка была наиболее комфортной и короткой в плане перемещения по платформе. Если человеку хочется, чтобы поездка была более комфортной, то ему следует идти в первые четыре вагона или войти в последние четыре вагона, но самым первым. Однако если первые четыре вагона его не устраивают, потому что он едет на станцию, где нужный выход расположен ближе к последним вагонам, то либо он будет ехать в не очень комфортных условиях, либо на станции назначения будет стоять долго в очереди на выход. Определяя свои желания, человек находит наилучшее для себя действие. На станции «Таганская» для множества людей, заходящих в последние четыре вагона, мотивы минимизации расстояния на станции отправления и на станции назначения совпадают, и так как значительная часть едет на «Выхино», то и вход последним в вагон не совсем устраивает, потому что придется при каждой остановке уступать места выходящим. Контрфинальность случается на «Таганской», потому что базовая интенция у людей совпадает, а вот конечная интенция и мотивы — нет. Если рассматривать мотивы людей на перроне с точки зрения той классификации мотивов, которая была приведена выше, мы видим, что именно это совпадение мотивов отчасти объясняет большое скопление людей около последних четырех вагонов, что в совокупности с последующей нескоординированностью способствует производству контрфинальности.

13. Эта терминология является номинальной, так как теоретически аналитическими философами признается, что интенция всегда едина.

Заключение

Проведенное исследование было направлено на изучение механизма производства контрфинальности в конститутивном порядке, выявление составляющих его элементов и эмпирической иллюстрации теоретических наработок. Сначала были обозначены теоретические представления Юна Элстера о контрфинальности. Элстер описывает контрфинальность как непреднамеренные последствия, вызванные несоординированными действиями. Контрфинальность — это результат действий группы людей, имеющих одинаковую интенцию, но в силу определенных условий достигающих противоположного результата. Основная идея Элстера состоит в том, что после наступления контрфинальности люди должны организоваться для преодоления противоречия, что будет способствовать социальным изменениям. Сосредоточение на последствиях контрфинальности оставляет без внимания процесс производства контрфинальности. Анализ процесса производства контрфинальности позволяет переопределить контрфинальность не в терминах причины социальных изменений, а в терминах результата работы сложного механизма производства, состоящего из множества взаимосвязанных элементов. Предположение Элстера о социальных изменениях после контрфинальности неверно для повседневной жизни, где люди не имеют длительных отношений и возможности для координации действий. В повседневной жизни контрфинальность скорее происходит с некоторой периодичностью между процессами производства конститутивного порядка.

Из примеров, которые Элстер приводит для иллюстрации контрфинальности, был выделен ряд элементов механизма производства контрфинальности: *информационный фон, пространство, время, интенциональное действие и несоординированность*. Эти понятия составляют основной тезаурус для описания процесса производства контрфинальности. Обращаясь к концепции конститутивного порядка, были выделены положения, которые характеризуют связь с контрфинальностью. Контрфинальность наступает, когда имеется несоответствие действий конститутивным ожиданиям, когда разрушается рабочий консенсус и нарушается последовательность действий. *Последовательность действий* является основой конститутивного порядка и составляет еще один элемент механизма производства контрфинальности, специфичный для конститутивного порядка. Контрфинальность — это опорная точка, которая обозначает конец производства одного конститутивного порядка и начало производства другого (нарушение и нормализация). Однако и в процессе производства конститутивного порядка мы можем наблюдать работу ряда элементов производства контрфинальности.

Каждый из элементов механизма производства связан с другими и от каждого элемента зависит, будет контрфинальность или нет. Интенциональные действия являются основой контрфинальности и указывают на достижение цели. Чтобы понять, что произошла контрфинальность, нужно четко определить интенцию. Для этого достаточно взглянуть на последовательность действий. Все действия

совершаются в определенном пространстве и времени и сопровождаются информационным фоном, который также влияет на действия людей. Нарушение последовательности действий порождает нескоординированность, что приводит к контрфинальности.

На конкретном эмпирическом примере была продемонстрирована работа каждого элемента механизма производства контрфинальности в конститутивном порядке. Расположение различных объектов на станции «Таганская» и освоение людьми этого пространства, ограниченные временные промежутки, определенная последовательность входа в вагон и ее нарушение, расположение людей на платформе, действия людей с одной базовой интенцией (вход в вагон) и совпадающими мотивами (минимизация прохождения расстояния на станциях отправления и прибытия), но различающимися конечными интенциями (выйти на станции X) — это все элементы механизма производства контрфинальности в конститутивном порядке.

Механизм производства контрфинальности в конститутивном порядке, представленный в этой работе, является результатом соединения двух разных концепций. В теории Элстера контрфинальность представлена на уровне агрегированного порядка, в логике видимого результата. Однако контрфинальность со всеми ее свойствами и характеристиками наблюдаема и на микроуровне, и именно на этом уровне можно проследить процесс ее производства. Контрфинальность и конститутивный порядок связаны через механизм производства, и описание этого механизма позволяет по-другому взглянуть на эти социальные феномены.

Производство контрфинальности может быть изучено и на уровне агрегированного порядка, где механизм будет существенно отличаться от уровня конститутивного порядка. Например, влияние информационного фона в таком случае будет более значимым, и это можно найти в примерах Элстера. Описанный в данной работе механизм производства контрфинальности в конститутивном порядке также нельзя считать окончательным, так как анализ отдельной ситуации производства контрфинальности подразумевает поиск специфических для данной ситуации факторов и условий. В связи с этим отдельные элементы механизма производства, описанные выше, могут быть также дополнены, по-новому осмыслены и раскрыты более детально. В частности, представляется интересным отдельный пространственно-временной анализ случаев производства контрфинальности. Такие перспективы предлагаются для будущих исследований данного феномена.

Литература

Вебер М. (2016). Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. I: Социология / Пер. с нем. под ред. Л. Г. Ионин. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.

- Гарфинкель Г.* (2009). Концепция и экспериментальные исследования «доверия» как условия стабильных согласованных действий / Пер. с англ. А. М. Корбута // Социологическое обозрение. Т. 8. № 1. С. 10–51.
- Гофман И.* (2000). Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. А. Д. Ковалева. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле.
- Гофман И.* (2002). Порядок взаимодействия // Баньковская С. П. (ред.). Теоретическая социология: Антология. Ч. 2. М.: Книжный дом «Университет». С. 60–104.
- Гофман Э.* (2009). Ритуал взаимодействия: очерки поведения лицом к лицу / Пер. с англ. под ред. Н. Н. Богомоловой и Д. А. Леонтьева. М.: Смысл.
- Кильдюшов О.* (2007). «Невидимая рука» и «хитрость разума»: классическая версия парадокса непреднамеренных последствий // Логос. № 5. С. 21–53.
- Корбут А. М.* (2013). Концепция конститутивного порядка в этнометодологии // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. XVI. № 2. С. 65–81.
- Сакс Х., Щеглофф Э., Джефферсон Г.* (2015). Простейшая систематика организации очередности в разговоре / Пер. с англ. А. М. Корбута // Социологическое обозрение. Т. 14. № 1. С. 142–202.
- Уинч П.* (1996). Идея социальной науки и ее отношение к философии / Пер. с англ. М. Горбачева и Т. Дмитриева. М.: Русское феноменологическое общество.
- Шюц А.* (2004). Избранное: Мир, светящийся смыслом. М.: РОССПЭН.
- Alexander J.* (1982). Theoretical Logic in Sociology. Vol. I: Positivism, Presuppositions, and Current Controversies. Berkeley: University of California Press.
- Anscombe E.* (1963). Intention. Cambridge: Harvard University Press.
- Baert P.* (1991). Unintended Consequences: A Typology and Examples // International Sociology. Vol. 6. № 2. P. 201–210.
- Barnes T. J., Sheppard E.* (1992). Is There a Place for the Rational Actor? A Geographical Critique of the Rational Choice Paradigm // Economic Geography. Vol. 68. № 1. P. 1–21.
- Bogard W.* (1988). Bringing Social Theory to Hazards Research: Conditions and Consequences of the Mitigation of Environmental Hazard // Sociological Perspectives. Vol. 31. № 2. P. 147–168.
- Boudon R.* (2016). The Unintended Consequences of Social Action. London: Macmillan Press.
- Cohen P.* (1968). Modern Social Theory. London: Heinemann.
- Davidson D.* (2002). Intending // Davidson D. Essays on Actions and Events. Oxford: Oxford University Press. P. 83–103.
- De Zwart F.* (2015). Unintended but not Unanticipated Consequences // Theory and Society. Vol. 44. № 3. P. 283–297.
- Elster J.* (1976). Boudon, Education and the Theory of Games // Social Science Information. Vol. 15. № 4–5. P. 733–740.
- Elster J.* (1978). Logic and Society: Contradictions and Possible Worlds. Chichester: John Wiley & Sons.

- Elster J.* (1988). The Nature and Scope of Rational-Choice Explanation // Ullmann-Margalit E. (ed.). *Science in Reflection*. Dordrecht: Kluwer. P. 51–65.
- Elster J.* (1990). Merton's Functionalism and the Unintended Consequences of Action // Clark J., Modgil C., Modgil S. (eds.). *Robert K. Merton: Consensus and Controversy*. London: Falmer Press. P. 129–135.
- Giddens A.* (1979). *Central Problems in Social Theory*. London: Macmillan Education.
- Giddens A.* (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Hovi J.* (1987). The Contradiction of Rational Abstention: Counterfinality, Voting and Games without a Solution // *Scandinavian Political Study*. Vol. 10. № 2. P. 125–149.
- Kim H., Kwon S., Kook Wu S., Sohn K.* (2014). Why do Passengers Choose a Specific Car of a Metro Train during the Morning Peak Hours? // *Transportation Research Part A: Policy and Practice*. Vol. 61. P. 249–258.
- Lebowitz M. A.* (1994). Analytical Marxism and the Marxian Theory of Crisis // *Cambridge Journal of Economics*. Vol. 18. № 2. P. 163–179.
- Merton R. K.* (1936). The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action // *American Sociological Review*. Vol. 1. № 6. P. 894–904.
- Mica A.* (2015). Unintended Consequences: History of the Concept // Wright J. D. (ed.). *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*. Amsterdam: Elsevier. P. 744–749.
- Mica A.* (2018). *Sociology as Analysis of the Unintended: From the Problem of Ignorance to the Discovery of the Possible*. London: Routledge.
- Parsons T.* (1949). *The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers*. Glencoe: Free Press.
- Portes A.* (2000). The Hidden Abode: Sociology as Analysis of the Unexpected: 1999 Presidential Address // *American Sociological Review*. Vol. 65. № 1. P. 1–18.
- Rawls A. W.* (1987). The Interaction Order sui generis: Goffman's Contribution to Social Theory // *Sociological Theory*. Vol. 5. № 2. P. 136–149.
- Rawls A. W.* (1989). Language, Self and Social Order: A Reformulation of Goffman and Sacks // *Human Studies*. Vol. 12. № 1–2. P. 147–172.
- Rawls A. W.* (2009). An Essay on Two Conceptions of Social Order: Constitutive Orders of Action, Objects and Identities vs Aggregated Orders of Individual Action // *Journal of Classical Sociology*. Vol. 9. № 4. P. 500–520.
- Rawls A. W.* (2010). Social Order as Moral Order // *Hitlin S., Vaisey. S.* (eds.). *Handbook of the Sociology of Morality*. New York: Springer. P. 95–121.
- Rawls A. W.* (2011). Wittgenstein, Durkheim, Garfinkel and Winch: Constitutive Orders of Sensemaking // *Journal for the Theory of Social Behaviour*. Vol. 41. № 4. P. 396–418.
- Sacks H.* (1992). *Lectures on Conversation*. Vol. 1. Cambridge: Blackwell.
- Sartre J. P.* (2004). *Critique of Dialectical Reason*. Vol. 1: *Theory of Practical Ensembles*. London: Verso.
- Sieber S.* (1981). *Fatal Remedies: The Ironies of Social Intervention*. New York: Plenum Press.

- Smith T. (1990). Analytical Marxism and Marx's Systematic Dialectical Theory // *Man and World*. Vol. 23. № 3. P. 321–343.
- Van Parijs Ph. (1982). Perverse Effects and Social Contradictions: Analytical Vindication of Dialectics? // *British Journal of Sociology*. Vol. 33. № 4. P. 589–603.
- Wilson Th. (1982). Social Theory and Modern Logic: Reflections on Elster's Logic and Society // *Acta sociologica*. Vol. 25. №. 4. P. 431–441.

The Mechanism of the Production of Counter-finality in a Constitutive Order

Ilyas Latypov

PhD Student, Graduate School of Sociology, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: ialatypov@hse.ru

The presented theory-oriented article describes the main elements of the counter-finality production mechanism in the constitutive order, and provides an empirical illustration. The counter-finality in Elster's theory is an unintended consequence that generates collective action in order to overcome this contradiction and contribute to social change. However, this approach ignores the very process of producing counter-finality and does not correspond to the realities of everyday life. Focusing on everyday interactions allows to describe the counter-finality production process and to define this phenomenon in a different way. Firstly, the connection between counter-finality and the constitutive order is indicated: counter-finality occurs when the constitutive order is violated, but counter-finality creates conditions for the constitution of a new order. Then, a set of concepts is derived from the definition of counter-finality, its properties and examples, and from the description of the constitutive order conception: intentional action, lack of coordination, space, time, informational background, and sequence of actions. These concepts can be used to describe the process and conditions for counter-finality production in the constitutive order. In a specific empirical study, the case of a queue in a subway car, these concepts are elements of the production mechanism that influence each other and together create counter-finality.

Keywords: counter-finality, constitutive order, intentional action, unintended consequences, queue, space and time, contradiction

References

- Alexander J. (1982) *Theoretical Logic in Sociology, Vol. I: Positivism, Presuppositions, and Current Controversies*, Berkeley: University of California Press.
- Anscombe E. (1963) *Intention*, Cambridge: Harvard University Press.
- Baert P. (1991) Unintended Consequences: A Typology and Examples. *International Sociology*, vol. 6, no 2, pp. 201–210.
- Barnes T. J., Sheppard E. (1992) Is There a Place for the Rational Actor? A Geographical Critique of the Rational Choice Paradigm. *Economic Geography*, vol. 68, no 1, pp. 1–21.
- Bogard W. (1988) Bringing Social Theory to Hazards Research: Conditions and Consequences of the Mitigation of Environmental Hazard. *Sociological Perspectives*, vol. 31, no 2, pp. 147–168.
- Boudon R. (2016) *The Unintended Consequences of Social Action*, London: Macmillan Press.
- Cohen P. (1968) *Modern Social Theory*, London: Heinemann.

- Davidson D. (2002) *Intending. Essays on Actions and Events*, Oxford: Oxford University Press, pp. 83–103.
- De Zwart F. (2015) Unintended but Not Unanticipated Consequences. *Theory and Society*, vol. 44, no 3, pp. 283–297.
- Elster J. (1976) Boudon, Education and the Theory of Games. *Social Science Information*, vol. 15, no 4–5, pp. 733–740.
- Elster J. (1978) *Logic and Society: Contradictions and Possible Worlds*, Chichester: John Wiley & Sons.
- Elster J. (1988) The Nature and Scope of Rational-Choice Explanation. *Science in Reflection* (ed. E. Ullmann-Margalit), Dordrecht: Kluwer, pp. 51–65.
- Elster J. (1990) Merton's Functionalism and the Unintended Consequences of Action. *Robert K. Merton: Consensus and Controversy* (eds. J. Clark, C. Modgil, S. Modgil), London: Falmer Press, pp. 129–135.
- Garfinkel H. (2009) Концепция и экспериментальные исследования "доверия" как условия стабильных согласованных действий [A Conception of, and Experiments with, "Trust" as a Condition of Stable Concerted Actions]. *Russian Sociological Review*, vol. 8, no 1, pp. 10–51.
- Giddens A. (1979) *Central Problems in Social Theory*, London: Macmillan Education.
- Giddens A. (1984) *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, Cambridge: Polity Press.
- Goffman E. (2000) *Predstavlenie sebja drugim v povsednevnoj zhizni* [The Presentation of Self in Everyday Life], Moscow: KANON-press-C, Kuchkovo pole.
- Goffman E. (2002) Порядок взаимодействия [The Interaction Order]. *Teoreticheskaja sociologija: Antologija. T. 2* [Theoretical Sociology: Anthology, Vol. 2] (ed. S. Bankovskaya), Moscow: Universitet, pp. 60–104.
- Goffman E. (2009) *Ritual vzaimodejstvija: ocherki povedenija licom k licu* [Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior], Moscow: Smysl.
- Hovi J. (1987) The Contradiction of Rational Abstention: Counterfinality, Voting and Games without a Solution. *Scandinavian Political Studies*, vol. 10, no 2, pp. 125–149.
- Kildushov O. (2007) "Невидимая рука" и "hitrost' razuma": klassicheskaja versija paradoksa neprednamerennyh posledstvij ["Invisible Hand" and "Trick of the Mind": The Classic Version of the Paradox of Unintended Consequences]. *Logos*, no 5, pp. 21–53.
- Kim H., Kwon S., Kook Wu S., Sohn K. (2014) Why do Passengers Choose a Specific Car of a Metro Train during the Morning Peak Hours? *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, vol. 61, pp. 249–258.
- Korbut A. (2013) Концепция конститутивного порядка в этнометодологии [The Conception of Constitutive Order in Ethnomethodology]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 16, no 2, pp. 65–81.
- Lebowitz M. A. (1994) Analytical Marxism and the Marxian Theory of Crisis. *Cambridge Journal of Economics*, vol. 18, no 2, pp. 163–179.
- Merton R. K. (1936) The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action. *American Sociological Review*, vol. 1, no 6, pp. 894–904.
- Mica A. (2015) Unintended Consequences: History of the Concept. *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences* (ed. J. Wright), Amsterdam: Elsevier, pp. 744–749.
- Mica A. (2018) *Sociology as Analysis of the Unintended: From the Problem of Ignorance to the Discovery of the Possible*, London: Routledge.
- Parsons T. (1949) *The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers*, Glencoe: Free Press.
- Portes A. (2000) The Hidden Abode: Sociology as Analysis of the Unexpected: 1999 Presidential Address. *American Sociological Review*, vol. 65, no 1, pp. 1–18.
- Rawls A. W. (1987) The Interaction Order sui generis: Goffman's Contribution to Social Theory. *Sociological Theory*, vol. 5, no 2, pp. 136–149.
- Rawls A. W. (1989) Language, Self and Social Order: A Reformulation of Goffman and Sacks. *Human Studies*, vol. 12, no 1–2, pp. 147–172.

- Rawls A. W. (2009) An Essay on Two Conceptions of Social Order: Constitutive Orders of Action, Objects and Identities vs Aggregated Orders of Individual Action. *Journal of Classical Sociology*, vol. 9, no 4, pp. 500–520.
- Rawls A. W. (2010) Social Order as Moral Order. *Handbook of the Sociology of Morality* (eds. S. Hitlin, S. Vaisey), New York: Springer, pp. 95–121.
- Rawls A. W. (2011) Wittgenstein, Durkheim, Garfinkel and Winch: Constitutive Orders of Sensemaking. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 41, no 4, pp. 396–418.
- Sacks H. (1992) *Lectures on Conversation, Vol. 1*, Cambridge: Blackwell.
- Sacks H., Schegloff E., Jefferson G. (2015) Prostejšhaja sistematika organizacii ocherednosti v razgovore [A Simplest Systematics for the Organization of Turn-Taking for Conversation]. *Russian Sociological Review*, vol. 14, no 1, pp. 142–202.
- Sartre J. P. (2004) *Critique of Dialectical Reason, Vol. 1: Theory of Practical Ensembles*, London: Verso.
- Schutz A. (2004) *Izbrannoe: Mir, svetjashhijja smyslom* [Selected Works: A World Shining with Meaning], Moscow: ROSSPEN.
- Sieber S. (1981) *Fatal Remedies: The Ironies of Social Intervention*, New York: Plenum Press.
- Smith T. (1990) Analytical Marxism and Marx's Systematic Dialectical Theory. *Man and World*, vol. 23, no 3, pp. 321–343.
- Van Parijs Ph. (1982) Perverse Effects and Social Contradictions: Analytical Vindication of Dialectics? *British Journal of Sociology*, vol. 33, no 4, pp. 589–603.
- Weber M. (2016) *Hozjajstvo i obshhestvo: ocherki ponimajushhej sociologii T. I. Sociologija* [Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology, Vol. 1: Sociology], Moscow: HSE.
- Wilson Th. (1982) Social Theory and Modern Logic: Reflections on Elster's Logic and Society. *Acta sociologica*, vol. 25, no 4, pp. 431–441.
- Winch P. (1996) *Ideja social'noj nauki i ee otnoshenie k filosofii* [The Idea of a Social Science and its Relation to Philosophy], Moscow: Russkoe fenomenologicheskoe obshhestvo.

Secret Life versus Double Life: Modes of Clandestinity of Italian Terrorist Groups

Riccardo Campa

Extraordinary Professor, Jagiellonian University
Address: Ul. Grodzka 52, Krakow, Poland 31-044
E-mail: riccardo.campa@uj.edu.pl

This article presents two distinct modes of operating in a state of clandestinity adopted by Italian leftist terrorist groups, such as the Red Brigades and First Line, in the second half of the 20th century. The two modes of clandestine life are specified with the terms “invisibility” and “camouflage”. The invisibility mode of clandestinity imposes a regime of “secret life” on the group members, while the camouflage mode of clandestinity imposes a “double life” regime on them. The research aims to construct two simplified models, or, to use the Weberian terminology, two “ideal types”. Our primary sources are autobiographies published by former terrorists, official propaganda documents and pamphlets compiled by terrorist groups, and court rulings. Our secondary sources are journalist reports and research published by experts in political violence. From the theoretical point of view, the conclusion is, that for law enforcement, it is much more difficult to combat terrorist formations imposing the double life regime on their members rather than a secret life regime. Still, the double life regime is more stressful from a psychological point of view, as it requires an artificial split of personality. In the conclusions, the article expands the discussion to non-Italian terrorist organizations, with a different political or religious agenda.

Keywords: sociology of terrorism, Red Brigades, First Line, modes of clandestinity, invisibility, camouflage

Background and Aim of the Research

As it has often been remarked, there is no generally accepted definition of the term “terrorism” (Malik, 2000; Schmid, 2011; Richards, 2014), even if attempts at determining a consensus definition are not lacking (Weinberg, Pedahzur, Hirsh-Hoefler, 2004; Senechal de la Roche, 2004; Ramsay, 2015). Since the polysemic nature of this term-and-concept is a constant source of misunderstandings and controversies both inside and outside the scientific community, it is advisable to make the meaning one attaches to this word explicit before starting any research on terrorism.

Here, we will start from the much-quoted and sometimes disputed definition proposed by the United States Department of State (2000: viii): “The term ‘terrorism’ means: premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant targets by subnational groups or clandestine agents usually intended to influence an audience”. This definition was slightly expanded and better specified by Rex Hudson in research carried out for the United States Congress in 1999, and republished in 2018. Following Hudson (2018), we stipulate that a terrorist act “is the calculated use of unexpected,

shocking, and unlawful violence against non combatants (including, in addition to civilians, off-duty military and security personnel in peaceful situations) and other symbolic targets perpetrated by a clandestine member(s) of a subnational group or a clandestine agent(s) for the psychological purpose of publicizing a political or religious cause and/or intimidating or coercing a government(s) or civilian population into accepting demands on behalf of the cause”.

The keyword on which we will focus is “clandestine”. The terrorist act is not perpetrated by soldiers of a national army or by a group of revolutionary guerrillas. These are both military organizations whose combatants wear uniforms and show the enemy their faces. On the contrary, a terrorist act is by definition perpetrated by agents acting in a state of clandestinity. They may be civilian members of a subnational antagonist group, or even military or police officers sent on a mission by a foreign state, but the fact remains that they operate in a state of clandestinity.

In this research, we intend to show that there are at least two distinct modes of operating in such a state of clandestinity. Both methods develop from a primordial state of semi-clandestinity, which generally occurs when the terrorist group is in the process of being gestated. We define the two modes of clandestine life with the terms “invisibility” and “camouflage”. The first mode imposes a regime of “secret life”, while the second imposes a “double life” regime. To illustrate these two ways of existence, we will proceed by comparing the activities of two Italian terrorist organizations active in the second half of the last century: the *Brigate Rosse* (the Red Brigades) and *Prima Linea* (First Line). These are two extreme-left organizations, that is, groups with a very similar Marxist-Leninist political agenda, operating in the same period, and in the same territory. Therefore, the comparison of their modes of organizing clandestinely is particularly instructive. In the conclusions, we will expand the discussion to non-Italian terrorist organizations with a different political or religious agenda.

It goes without saying that here we are just presenting two simplified models, or, to say it in Weberian language, two ideal types (1949: 42). These ideal types should help us to grasp aspects of a social reality that is far more protean and complex than any of its possible representations. Our primary sources are autobiographies written by former terrorists, official propaganda documents and pamphlets compiled by terrorist groups, and court rulings. Our secondary sources are works published by experts in terrorist studies and police reporters.

The Historical Context

At the end of the 1960s, Italy found itself in a situation of political turbulence. As in other nations of the Western bloc, a student protest broke out in 1968 (Brambilla, 1994; Giachetti, 1998). To this was added, in 1969, a large mobilization of the working class, known as “the warm autumn” (Giachetti, 2013). Millions of workers went on strike and demonstrated to get wage increases and better working conditions. The influence of the Italian Communist Party (PCI) was also growing in the country. Its electoral consensus began to

approach that of the Christian Democrats (DC), the main government force. The United States showed concern because, amid the Cold War, they could not accept losing control over a crucial outpost in the Mediterranean Sea. The geopolitical role of Italy was crucial because of its proximity to communist Yugoslavia, the Arab-Israeli wars, and countries subjected to the process of decolonization, such as those located in Northern Africa and the Mid-East, which are among the main oil producers in the world.

In the same years, fascist terrorist attacks also took place. Bombs exploded on trains, in buildings, and in squares crowded by protesting students and workers on strike. In particular, the so-called “Piazza Fontana Massacre” took place on December 12th, 1969, in Milan. A bomb exploded inside the Banca Nazionale dell’Agricoltura (National Agrarian Bank), killing 17 people and injuring 88. At the beginning, anarchists were blamed for the horrendous massacre. Afterward, the extreme right-wing militants of a group called *Nuovo Ordine* (New Order) were indicted, but they would eventually be acquitted.

We still do not know with certainty what happened in those dark years, but the socio-logically-relevant fact is that many leftist students, workers, and intellectuals of the time were convinced that the bombing attacks were directed by Italian and American government officers. In their narrative, the neo-fascist groups only supplied the laborers to the subversive conspiracy of the deep state (Soccorso Rosso, 1976; Sanguinetti, 1980; Curcio, 1993; Flamigni, 2004: 17, 41).

Subsequent investigations by the Italian judiciary explored this hypothesis, but no conclusive evidence was found. In 1998, the suspicions of the judiciary had indeed fallen on US officers who supposedly helped the fascists to blow up bombs in order to throw the country into chaos and favor a military coup. The new investigation attracted the attention of the Italian and foreign press (Bellu, 1998; Mastrogiacomo, 2001; Willan, 2000, 2001). According to the judges, the so-called “strategy of tension”, based on false flag attacks, was intended to prevent Italy from leaving NATO and the Western bloc. Agents of the Italian secret services were also investigated for “depistaggio” (the misdirection of the judiciary). However, the trial did not lead to any clear conclusion, leaving the perpetrators of the massacre unpunished, with a single exception. As judge Guido Salvini, who was in charge of the investigation, points out, “all the sentences on the Piazza Fontana bombing, even those ended with acquittals, lead to the conclusion that it was an extreme right formation, New Order, to organize the attacks of December 12th”. Furthermore, “at least one culprit was found in the final Cassation Court sentence of 2005. He is Carlo Digilio, the expert in weapons and explosives of the Veneto group of New Order, self-confessed guilty, who provided the explosives for the massacre and who also admitted having been linked to the American secret service” (2013). Quite instructive in this respect is Chapter 56 of the court ruling by the Tribunale Civile e Penale di Milano, entitled “The Involvement of the American Informative Structure in the Strategy of Tension”. Here, judge Salvini specifies that US officers were informed about the extreme right terrorist attacks before and after they happened. However, “according to the intentions of the American structure, the attacks in preparation had only to have a demonstrative scope and not to cause victims” (1998). In other words, false flag attacks were actually on

the agenda of the US intelligence, but fascist perpetrators went too far by creating many innocent victims and generating an embarrassing situation. One of the hypotheses is that the planned demonstrative attack turned into a massacre due either to an error in the evaluation of the bank's closing time or the malfunctioning of the bomb-timer (Cucchiarelli, 2012). According to this hypothesis, anarchists were involved in the supposedly demonstrative action, although manipulated by fascists and secret services.

Whatever happened, as the Thomas Theorem teaches, "if men define situations as real, they are real in their consequences" (Thomas, 1928: 571).

The Phase of Semi-clandestinity of the Italian Extreme Left

It is precisely in this context that students and workers sympathizing with the extreme left parties and movements decided to move on, from political propaganda to armed struggle. At the beginning of the 1970s, several terrorist organizations were born that aimed to trigger a socialist revolution in Italy, before the government's conservative bloc would decide to operate a military coup like the one that occurred in Greece on May 4th, 1967, or in Allende's Chile on September 11th, 1973. In this phase, the main organizations are the *Gruppi d'Azione Partigiana* (Partisan Action Groups), or simply GAP, led by the entrepreneur Giangiacomo Feltrinelli, and the Red Brigades (BR) led by the sociologist Renato Curcio. Later on, many other acronyms will fill newspaper pages (Prette 2006), the most important being NAP, which stands for Nuclei Armati Proletari (Armed Proletarian Nuclei), and PL, which stands for Prima Linea (First Line).

From 1969 to 1972, far-left organizations violated the law, but not in a particularly violent way. This phase has been called "armed propaganda." They carried out low-intensity terrorist actions in order to win the consent and support of the Italian citizenry, especially manual workers. The terrorists set fire to the cars of the managers of large public and private corporations, especially in Milan, Genoa, and Turin (the so-called industrial triangle). They aimed to intimidate managers and to teach them to respect workers in the workplace.

Terrorists go into action after being informed that a worker got "mobbed" (a term that was not popular at the time, but it gives the idea retrospectively) by managers, or died in the workplace due to lack of safety measures. Sometimes, terrorists kidnapped a corporate executive, a trade unionist too compliant with the capitalist methods of exploitation, or a judge who investigated the extreme left militants. The prisoner is tried for the crimes committed against the working class and then released, on the promise of repentance. In general, the abducted "enemies of the people" claim to have been treated "kindly" (Bocca, 1981: 63).

At this stage, terrorists acted in a condition of relative clandestinity or, if one prefers, semi-clandestinity. They visited factories with uncovered faces, they ate in company canteens, and all of the workers knew their names. No one reported them. Company security officers do not intervene, perhaps for fear of retaliation. The terrorists, in addition to being numerous and very resolute, enjoyed external support. Many workers sympathized

with them because they contributed to making working conditions more bearable. When investigations are started, workers helped terrorists, for instance, by hiding them in their homes. Even some artists and intellectuals sympathized with these subversive groups and financed them.

Some terrorism experts also suspect that terrorist groups were allowed to operate more or less freely by the law enforcement itself, because they contributed to creating an embarrassment to the Italian Communist Party, holding back the electoral rise (Galli, 2005: 7). This strategy has been called “destabilizing to stabilize” (Ibid.: 51). The Communist Party was in difficulty because it was committed to presenting itself as a responsible government force. The communists already governed important Italian cities, provinces, and regions, and aspired to become the government of the nation. The violent and illegal actions of extreme left-wing groups were damaging the PCI’s reputation in the eyes of the moderate electorate and potential government allies, such as the Italian Socialist Party or the Christian Democrats.

This intertwining of causes explains the condition of semi-clandestinity, which is described in the memories of the terrorists themselves. For example, in the book *A viso aperto* (Head-On), Renato Curcio (1993) states: “At the time we were not yet clandestine militants. Everyone in the movement knew us. And in the factory, many, including the PCI trade unionists and the workers who adhered to other extra-parliamentary formations, knew who we were and also what we did. We participated in public debates. We lived in apartments rented with our real names. In short, we acted almost in the open, without much caution. But the Red Brigades were born”.

In their autobiographies, Mario Moretti (1994: 16) and Prospero Gallinari (2012: 78–79) confirm that the state of clandestinity was preceded by an unclear situation, one in which the police were obviously paying attention to their activities, but the communist militants did not care too much.

The situation of the GAP was very similar. Criminal actions were carried out clandestinely, but it was known that their leader was a leading proponent of armed struggle. Essayist Giorgio Bocca (1981: 23) points out that “Giangiaco Feltrinelli or Gianni was a billionaire, he belonged to the Milanese upper bourgeoisie”. First, he sympathized with the Socialist Party, then with the Communist Party, and finally became infatuated with Fidel Castro and the Cuban revolution, radicalizing his political view. Being a rich and famous entrepreneur, he had no difficulty in publishing his ideas. In 1969, he published a pamphlet entitled *Persiste la minaccia di un colpo di stato in Italia!* (*The Threat of a Coup d'état in Italy Persists!*), in which he invited political vanguards to formulate a tactic and a strategy capable of reversing the involution of Italian society. In a second booklet entitled *Estate 1969* (*Summer 1969*), he was even more explicit. Feltrinelli wrote that, because of the repression displayed by authoritarian forces, it is not possible “to change things with the sole use of the weapons of criticism, of democratic conviction”, after the definitive decline of revisionism, the hypothesis “that a socialist revolution can be accomplished without the criticism of weapons will disappear”. Feltrinelli’s sentence echoed

a famous quote by Karl Marx (1977: 137): “The weapons of criticism obviously cannot replace the criticism of weapons”.

In other words, there is no Italian, democratic way to socialism. This was the illusion cradled by the left until 1969. The idea was that the two great parties of the left, the Socialist Party and the Communist Party, once they won an absolute majority in the electoral ballot boxes, could have governed together and changed the country by separating peacefully from the capitalist system and the NATO alliance. This turned out to be an illusion, since in the event of the victory of the left, the reactionary forces, with the support of the United States and Great Britain, would have certainly implemented a military coup in order to keep Italy in the Western camp. According to Feltrinelli, all that remained to the social revolutionary forces was armed struggle.

Feltrinelli fled abroad in 1969 when he discovered to be under investigation for false testimony in favor of two anarchists. Bocca (1981: 31) wrote that “Feltrinelli is an exile who can return to Italy as and when he wants and travel it far and wide since no one is looking for him”. One day the painter and his longtime-friend Giuseppe Zigaina saw him arriving at his villa in the city of Grado. Feltrinelli does not want a room. He told his friend that he would sleep in a tent in the garden. He wrote that “Stunned and even a little upset, Zigaina observes Giangi while wearing a Cuban-type military suit and practicing throwing hand grenades in the lawn”. However, this is not the only strange episode. Other friends meet Feltrinelli on the train between Rome and Milan “and they don’t know how to behave when he pretends not to recognize them and slips away into the corridor, turning his face. He travels across Italy, inspects its GAPs, and pursues the general command of the revolutionary army”.

Feltrinelli died in 1972. A bomb he is trying to place on an electricity pylon explodes in his hand. Although it is a surprise for everyone to discover that the well-known entrepreneur was personally involved in sabotage actions, his support for armed struggle and the desire to lead a socialist revolution were certainly not a secret. Once again, a suspicion arises that the Italian Secret Service let Feltrinelli operate, despite being aware of his subversive activities (Galli, 2005: 29). This is why it is appropriate to speak of a semi-clandestine mode of existence concerning Feltrinelli’s GAP.

Secret Life: The Red Brigades’ Mode of Clandestinity

Feltrinelli’s death throws Italian politics into turmoil. The media hype caused by the tragic event pushes the judiciary and the police to act with greater intensity. Large scale counterterrorism operations begin. The GAP, left without a guide and, above all, any funding, is dismantled. Hundreds of communist militants are arrested, others flee abroad, and thousands of citizens are under investigation for aiding subversive activities. The Red Brigades remain in the field. At that point, for them, clandestinity becomes a forced choice. In other words, a crucial decision between two options is to be made; either suspending any subversive activity or starting to operate secretly. Concerning the decision, Curcio (1993) makes it clear that “the idea of going clandestine was not a free choice, but an

obligatory way to escape the snare that the police held on us. In practice, we became illegal because, otherwise, we were all going to be captured”.

How do the Red Brigades implement the clandestine condition? Renato Curcio, Mara Cagol, Alberto Franceschini, and the other militants become *invisible*. More precisely, they renounce carrying out any legal activity that requires the use of their real identity, rent apartments by using false names, or finance themselves through illegal activities or thanks to donations from sympathizers. This *modus operandi*, from a technical point of view, has its pros and cons. On the one hand, it offers terrorists greater protection than the previous semi-clandestine condition, so much so that they manage to escape police roundups in factories and leftist political clubs. On the other hand, from a psychological and logistical point of view, the terrorists slip into a dead-end alley. A group operating according to the invisibility mode of clandestinity is subject to strong psychological pressure. Having severed all ties with the ordinary world of study, work, family, affections, friends, and leisure pursuits, etc., the terrorists feel the need to act illegally more frequently. It is this way that they make sense of the difficult, self-imposed regime of a secret life. Giving up everything of importance in human life and then being inactive for a long time is extremely frustrating. By pushing the militants to be more involved in terrorist actions, the condition of invisibility paradoxically exposes them to greater dangers. If for no other reason than the law of probability, the chances of being killed, injured, or arrested increases with the frequency of subversive actions. Furthermore, by reducing or eliminating contacts with people who have an ordinary life, it also increases the likelihood that the terrorists will progressively move away from a realistic reading of the situation in which they operate. They can, for example, overestimate the degree of popular support for their actions, or underestimate the ability of the law enforcement to counter their actions.

Let it be clear that it would be naive to simply think that ordinary people have a correct view of reality, while terrorists live in a fantasy world. We all analyze reality from a limited perspective, from a particular point of view, drawing on certain sources and not others, with the result that our representations of the world are always a mixture of reality and fiction. Only fanatics believe that they have a perfect reading of reality, or that they possess the ultimate truth about everything. However, total isolation, a secret life, and lack of confrontation with people living in different situations can also lead acculturated and intelligent people, as political terrorists generally are, to slip inexorably into a “fanatical” reading of reality. The very idea of feeling invincible, which often haunts terrorists, is itself a result of isolation and invisibility.

Finally, terrorist groups who choose this type of clandestinity may struggle with practical issues, such as finding food, clothes, weapons, and hiding places. Since they do not work, if they do not benefit from substantial funding from rogue states or sympathizers, they are forced to resort to kidnappings for ransom or bank robberies as financing sources. These criminal activities constantly expose them to the danger of being discovered and arrested.

Even the idea of providing a false identity for renting apartments turned out to be a boomerang. Let us focus on the method adopted by the commander of the anti-terrorist forces, General Carlo Alberto Dalla Chiesa, to vanquish the Red Brigades. We are not referring here to the first arrest of the organization's leaders, which took place on September 8th, 1974, thanks to the infiltration by a secret service collaborator, Silvano Girotto, a former soldier of the Foreign Legion and a Franciscan friar. We refer to the wave of arrests following Curcio's escape from the prison. The definitive knockout occurs thanks to the use of computers. Bocca (1981: 77) describes the operation in the following way: "The carabinieri of general Dalla Chiesa have found the tools to blow up clandestine defenses: one is the study of cadastral maps. They look for the names of those who have bought or rented an apartment in the last two years and then they upload the list into a computer that verifies if they correspond to those of the registry office. Whoever gave a fake name is a suspect, the accommodation must be checked and this is how one gets to some lairs".

After the death of his wife Mara Cagol, who was killed in a shootout with the police in 1975, Curcio hid with Nadia Mantovani in a flat in Milan, at 5 Maderno Street. On January 18th, 1976, "the carabinieri discover the accommodation and take pictures of the tenants from the bell tower in front of Santa Maria da Caravaggio. Among them there is Curcio. After twenty minutes of shooting, the wounded Red Brigades leader surrenders" (86). He will be sentenced to twenty-eight years in prison. He will serve twenty-five, before being released.

Double Life: First Line's Mode of Clandestinity

First Line was founded in 1976, the year of Curcio's arrest. This terrorist group can, therefore, be seen as an attempt to fill a void in the context of left-wing extremism, even though the Red Brigades also promptly reorganized on new bases under the guidance of Mario Moretti. In more detail, First Line emerged from the failure of *Lotta Continua* (Enduring Struggle), an extremist but not subversive movement, which still hoped to transform the country through the democratic process. The movement took part in the elections of 1976 but collected only half a million votes, well below the expectations of supporters and leaders (Galli, 2005: 95). At that point, hundreds of militants decided to move on to armed struggle.

Precisely because it emerges from a radical but still legal political movement, First Line exists and operates in a semi-clandestine fashion at the beginning. A member of the organization tells his experience to weekly magazine *Panorama* as follows: "The sergeants, known to all, could enter the canteen of the Marelli factory and sit at the table of the female clerks, admired as the king's musketeers. In Salò town (end of 1976), as Pietro Villa (one of the founders) remembers, we practically discussed political issues in public". The same militant adds that "in Florence, May 1977, when the national command authority [of First Line] was established, we met in an isolated farmhouse, but in the evening I and the Milanese comrades returned to the city to sleep in a hotel. You can imagine what kind of clandestinity could it be" (Bocca, 1985: 190; Galli, 2005: 100).

The situation changes when the group begins to operate and raises the bar of subversion by robbing banks and killing political enemies. The new terrorist formation learns a lesson from the recent organizational failure of the Red Brigades. Instead of adopting the invisibility mode of clandestinity, First Line militants choose the camouflage mode of clandestinity. They opt for a double life, instead of a secret life. The old and new Red Brigades, in addition to living in a self-segregation regime, are rigidly organized on a territorial basis. In each city, a column has a monopoly on violent action. Each column is in turn divided into cells. Each operating unit acts in its area of competence. First Line decides to adopt a less rigid scheme. Its squads almost always hit in a different city than the one in which they are based. As mentioned above, clandestinity is also conceived differently: “If for the Red Brigades it means a definitive exit from legality, abandoning the workplace and the family, and entering full-time in the organization, according to First Line, clandestinity means the heavy obligation of a double life” (Bocca, 1981: 111).

It is, anyway, a tough task for the militants. A double-life regime requires a high degree of psychological strength, so much so that this condition is often lived as “a nightmare”. As a First Line militant emphasizes, “no one gives up in combat action, because on this ground the psychological strength of each militant is gradually built, moving from the simplest to the most complex actions”. On the contrary, “the condition of clandestinity is a nightmare that follows you month after month and year after year” (Ibid.).

Terrorists cannot attend political circles or mix with their comrades of the Movement from which they come. They cannot get drunk, use soft or hard drugs, or lead their lives as other youngsters do. They cannot leave First Line even if they change their mind. Resignation is not an option, except in exceptional cases. Leaving the organization is subject to the opinion of the central committee.

The First Line militant sums up the condition of a double life as follows:

Translated into personal terms, all this means that my public image is that of an exemplary employee. At work, I don't deal with politics and I don't even flex my muscles to defend my union interests. I live with my real name, which is respectable. I keep a clean record. I divide my time between work and family, by dedicating myself to my two children who are two and three years old. Outside the organization, the only person familiar with my political activity is my wife, a communist and revolutionary herself, but external to the organization. I tell her everything related to my activity, but I do not mention the names and facts of the organization. In front of others, I am perfectly camouflaged. (Ibid.: 112)

Even his parents are kept in the dark about his double life regime. However, the First Line militant interviewed by *Panorama* admits that his mother, maybe because of her “proletarian instinct . . . inexplicably suspects something and does nothing but repeat: ‘Someday we will see your face printed in the newspapers and then we will cry’” (Ibid.).

The camouflaged militant, to perfectly fit into the role, must, therefore, build a false public identity, at least in terms of personality. One keeps using one's real name and authentic identity card, but must systematically lie. For example, one must publicly support

political ideas which are exactly the opposite of those actually owned. If one is a communist, one will speak as a conservative, a moderate, or a right-wing supporter so as not to attract suspicion. This is a circumstance that law enforcement should not underestimate. An upside-down identity is a phenomenon not strictly related to crime issues. To take only the best-known examples, in a society intolerant of homosexuality, it is not uncommon for homosexuals to adopt openly homophobic attitudes to remove suspicions from themselves; or, in a society intolerant of non-believers, the atheist sometimes pretends to be a fervent religious person (or vice versa). In short, it would be naive to think of arresting left-wing or right-wing terrorists by chasing kids with a hammer-and-sickle or a swastika on their t-shirt. Terrorists are not silly. If necessary, they will wear a suit and tie and build a respectable public image. The camouflage strategy worked so well that many were shocked to discover that one of the founders and leaders of First Line, Marco Donat-Cattin, was the son of a Minister of the Italian Republic, Carlo Donat-Cattin, a member of the Christian Democrats.

Anyone who indulges in violence in a rather spontaneous way, driven by hatred for someone or something, or like a hooligan, can hardly be a member of the most dangerous and lethal terrorist organizations, as First Line was. These organizations operate secretly, in a cold and calculated manner, at the right time and in the most appropriate way. The militant interviewed by *Panorama* makes it very clear: "I never feel hatred. In the end, it would mean having a toxic relationship with the tasks to be performed. For me shooting is like being a surgeon in the operating theater: to treat the disease, the scalpel must be used, period. To shoot an exploiter has a dual therapeutic function: that of effectively breaking an articulation of the capitalist command, and the even more important one of showing the workers which is the only approach that can be effective today" (Ibid.).

The second element of the vulnerability of the Red Brigades turned out to be the permeability to the infiltrations of secret agents. To avoid this danger, First Line adopts a very rigid recruitment protocol. Thus, Bocca describes the selection procedure the aspiring militant must undergo:

One of the members of the organization must personally guarantee for the new comrade, and supervise him in a trial period that can last even more than a year. In this period the new militant knows no facts and people of the organization except for two or three comrades of the nucleus to which he belongs. Gradually his operational capacity will be tested in increasingly demanding actions. Only if there are no doubts about his military and political behavior he will be considered a member of the organization. (Ibid.: 116)

If all militants use their real name in ordinary life, they use only pseudonyms inside the clandestine organization. It is exactly the opposite of what happens in the Red Brigades, where false names are given outside, while the militants know each other by their real names.

In addition to not knowing the real names of the comrades, First Line terrorists cannot meet each other outside military actions. From a strictly technical-military point of

view, this is an excellent organization mode. If a terrorist were captured by the police, even under torture they would not be able to provide the real names, occupations, and places of residence or domicile of other organization members.

It is interesting to note that First Line also carried out common crimes, such as extortions and bank robberies, although the members had a regular income from legal work, and often came from the bourgeoisie (like Donat-Cattin). These illegal activities exposed them to dangers. A lot of money is indeed needed to buy weapons and reward members, but it is not just that. Armed robberies are seen as military-type training. Common crime is a particularly risky activity because it is carried out in competition with other criminal organizations. As confessed by the First Line militant, “the thing that worries us most is not to interfere with organized crime”. They have to be careful, because criminals may decide to inform the police about terrorists for two good reasons: (1) to get rid of an annoying competitor; and (2) to gain safe-conduct from the police, as a reward for the political collaboration. Despite all the dangers, “armed robberies and kidnappings continued because the operations of self-financing for a combat group are the basic work, a gray routine that makes everything else possible. And, finally, they are also a good school of guerrilla warfare” (Ibid.: 111). This is the point. Communist militants do not come from the criminal environment. Most of them are students and workers. Therefore, they must learn to handle weapons, to control fear, and to act coolly. When it comes to hitting political adversaries, there is no room for improvisation, just professionalism.

The journalist Giorgio Bocca, after being associated with the Fascist Party in his youth, eventually decided to join the partisan formations during the Second World War. Having direct experience of guerrilla warfare, he noticed similarities between First Line’s organizational methods and those of the Italian partisans. He wrote:

It is peculiar how the experiences and phases of the partisan war recur in the terrorist guerrilla war. The “operazioni di accumulazione” (accumulation operations), as terrorists call their self-financing activities, equal the “colpi” (blows) of the partisan period, which are the actions aimed at collecting food, money, clothing which also occupied most of their time and men. And again the numerical relationship recurs. Twenty or thirty men of services and information to bring three men to military action.

Conclusions

The distinct modes of clandestine organization adopted by the two main Italian leftist terrorist formations have been and still are implemented also by terrorist groups of different types. As Hudson (2018) underlines, “the psychology of joining a terrorist group differs depending on the typology of the group. Someone joining an anarchistic or a Marxist-Leninist terrorist group would not likely be able to count on any social support, only social opprobrium, whereas someone joining an ethnic separatist group like ETA or the IRA would enjoy considerable social support and even respect within ethnic enclaves”. As a consequence, leftist terrorist groups tend to adopt the invisibility mode of clandestinity.

On the contrary, ethnic separatist groups generally adopt the camouflage mode of clandestinity, precisely because they enjoy the broad support of the surrounding population. They must not necessarily abandon their usual way of life, conceal their real identity, and hide most of the time (unless they have been unmasked and are wanted by the police).

Our study reveals that this general scheme is only partly true. At least during the phase of their activity called “armed propaganda”, the Red Brigades could count on the support of a relevant number of intellectuals, students, and workers. This support vanished during the phase called “strike against the heart of the state”, as it was much more violent than the previous one. First Line also does not fit perfectly in this general scheme, as the criminal group adopted the organizational mode typical of ethnic separatist groups since the beginning. Anomalous is also the fact that First Line regularly engaged in dangerous criminal activities, such as armed robberies. It is difficult to say if this was strictly necessary. The terrorists assumed that common crime was useful military training. However, those actions could jeopardize their political plans.

Still, the observation and comparison of terrorist organizational strategies lead to a clear theoretical conclusion; it is much more difficult for the police and the judiciary to combat terrorist formations adopting the camouflage mode of clandestinity than the invisibility one. In the former, a member of the organization can take action, place a bomb or assassinate a political opponent, and then return to the shadows, to an ordinary life, to routine legal activities, or by counting on the silence or even the approval of the social environment in which they live. If suspicions are raised against a person, what the police can do is to put the telephones under surveillance, gather information, or start a tracking and observation plan. However, if the suspect remains inactive for months or years, sooner or later the police will have to suspend the scrutiny. Meanwhile, other members of the organization that are not under observation come into action. This is why the activities of nationalist-separatist groups adopting the double life regime can last for decades or even centuries, inherited from parents to children, from generation to generation.

On the contrary, terrorist groups adopting the secret life regime do not last a long time. Two of the main reasons are outlined in this research. Firstly, the law enforcement has at its disposal increasingly sophisticated methods to unmask criminals living under a fake identity and trying to hide in an urban environment. Secondly, invisibility is incompatible with long periods of inaction, due to the high psychological stress generated by a secret-life regime. In turn, the frequency of actions correlates positively with the likelihood of being discovered by law enforcement personnel.

References

- Bellu G. M. (1998) Strage di Piazza Fontana spunta un agente Usa. Nella sentenza-ordinanza del giudice Salvini ricostruita la “Strategia della tensione”. *La Repubblica*, February 11.
- Bocca G. (1981) *Il terrorismo italiano 1970–1980*, Milano: Rizzoli.
- Bocca G. (1985) *Noi terroristi*, Milano: Garzanti.

- Brambilla M. (1994) *Dieci anni di illusioni: storia del Sessantotto*, Milano: Rizzoli.
- Cucchiarelli P. (2012) *Il segreto di Piazza Fontana*, Firenze: Ponte alle Grazie.
- Curcio R. (1993) *A viso aperto: Intervista di Mario Scialoja*, Milano: Mondadori.
- Feltrinelli G. (2012) *Estate 1969*, Milano: Feltrinelli.
- Feltrinelli G. (2012) *Persiste la minaccia di un colpo di stato in Italia!*, Milano: Feltrinelli.
- Flamigni S. (2004) *La sfinge delle Brigate Rosse: delitti, segreti e bugie del capo terrorista Mario Moretti*, Milano: Kaos Edizioni.
- Galli G. (2005) *Piombo rosso: la storia completa della lotta armata in Italia dal 1970 a oggi*, Milano: Baldini Castoldi Dalai.
- Gallinari P. (2012) *Un contadino nella metropoli: ricordi di un militante delle Brigate Rosse*, Milano: Bompiani.
- Giachetti D. (1998) *Oltre il Sessantotto: prima durante e dopo il movimento*, Pisa: BFS Edizioni.
- Giachetti D. (2013) *L'autunno caldo*, Roma: Ediesse.
- Hudson R. (2018) *Who Becomes a Terrorist and Why? The Psychology and Sociology of Terrorism*, New York: Skyhorse Publishing.
- Malik O. (2000) *Enough of a Definition of Terrorism*, London: Royal Institute of International Affairs.
- Marx K. (1977) *Critique of Hegel's Philosophy of Right*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Mastrogiacomo D. (2001) Piazza Fontana, matrice estera. *La Repubblica*, March 21st.
- Moretti M. (1994) *Brigate Rosse: una storia italiana*, Milano: Anabasi.
- Prette M. R. (2006) *La mappa perduta*, Roma: Sensibili alle foglie.
- Ramsay G. (2015). Why Terrorism can, but should not be Defined. *Critical Studies on Terrorism*, vol. 8, no 2, pp. 211–228.
- Richards A. (2014) Conceptualizing Terrorism. *Studies in Conflict and Terrorism*, vol. 37, no 3, pp. 213–236.
- Salvini G. (1998) Sentenza — Ordinanza N. 9/92 R.G.P.M. nel Procedimento penale nei confronti di Giancarlo Rognoni ed altri, Tribunale Civile e Penale di Milano — Ufficio Istruzione, sez. 20, February, 3, 1–465.
- Salvini G. (2013) La verità su Piazza Fontana. *Focus*, December 12. Available at: <https://www.focus.it/cultura/storia/la-verita-su-piazza-fontana> (accessed 16 June 2021).
- Sanguinetti G. (1980) *Del terrorismo e dello Stato: la teoria e la pratica del terrorismo per la prima volta divulgate*, Milano: Sanguinetti.
- Schmid A. P. (2011) The Definition of Terrorism. *The Routledge Handbook of Terrorism Research* (ed. A. P. Schmid), London: Routledge, pp. 99–157.
- Senechal de la Roche, R. (2004). Toward a Scientific Theory of Terrorism. *Sociological Theory*, vol. 22, no 1, pp. 1–4.
- Soccorso Rosso (1976) *Brigate Rosse: che cosa hanno fatto, che cosa hanno detto, che cosa se ne è detto*, Milano: Feltrinelli.
- Thomas W. I., Thomas D. S. (1928) *The Child in America: Behavior Problems and Programs*, New York: Knopf.

- United States Department of State (2000) *Patterns of Global Terrorism, 1999*, Washington: United States Department of State.
- Weber M. (1949) *The Methodology of the Social Sciences*, Glencoe: The Free Press.
- Weinberg L., Pedahzur A., Hirsch-Hoefler S. (2004) The Challenges of Conceptualizing Terrorism. *Terrorism and Political Violence*, vol. 16, no 4, pp. 777–794.
- Willan P. (2000) Bomb Trial may Call Bush Sr. *The Guardian*, February 16th.
- Willan P. (2001) Terrorists “Helped by CIA” to Stop Rise of Left in Italy. *The Guardian*, March 26th.

Тайная жизнь versus двойная жизнь: режимы подпольной деятельности итальянских террористических групп

Риккардо Кампа

Экстраординарный профессор, Ягеллонский университет

Адрес: Ul. Grodzka 52, Krakow, Poland 31-044

E-mail: riccardo.campa@uj.edu.pl

В статье представлены два различных режима секретного действия, принятые итальянскими левыми террористическими группами, такими как «Красные бригады» и «Линия фронта», во второй половине XX века. Два режима подпольной жизни могут быть описаны терминами «невидимость» и «камуфляж». «Невидимый» способ деятельности обязывает членов группы вести «тайную жизнь», а «камуфляжный» накладывает на них обязанность «двойной жизни». Целью исследования является построение двух упрощенных моделей или — используя терминологию Вебера — двух «идеальных типов». Нашими первоисточниками являются автобиографии, опубликованные бывшими террористами, официальные пропагандистские документы и брошюры, созданные террористическими группами, а также судебные постановления. Наши вторичные источники — это газетные репортажи и исследования, опубликованные экспертами в области политического насилия. С теоретической точки зрения, вывод таков, что для правоохранительных органов гораздо сложнее бороться с террористическими группировками, навязывающими своим членам режим двойной жизни, чем с теми, которые ведут режим секретной жизни. Тем не менее, режим двойной жизни является более стрессовым с психологической точки зрения, так как требует искусственного расщепления личности. В заключении статьи представлено расширение дискуссии на неитальянские террористические организации с другой политической или религиозной повесткой дня.

Ключевые слова: социология терроризма, Красные бригады, Первая линия, режимы подпольной деятельности, невидимость, камуфляж

Время и пространство в современных исследованиях туризма*

Наталья Рыжова

Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Департамента Азиатских исследований,
Университет Палацкого в Оломоуце
Заведующая лабораторией Института экономических исследований ДВО РАН
Адрес: ул. Крижковского, 511/8, г. Оломоуц, Чешская Республика 77900
E-mail: n.p.ryzhova@gmail.com

Татьяна Журавская

Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник,
Институт экономических исследований ДВО РАН
Доцент Школы экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет
Адрес: ул. Тихоокеанская, д. 153, г. Хабаровск, Российская Федерация 680042
E-mail: wellschy@mai.ru

Любое туристское путешествие можно описать двумя категориями — перемещением в географическом пространстве и в социальном времени. Однако если пространство почти всегда эксплицитно присутствует в исследованиях туризма, то *социальное время* часто оказывается значимой, даже фундаментальной, но имплицитной категорией. Авторы обзора отталкиваются от того, что астрономическая, линейная концепция времени, традиционная для экономико-географических исследований туризма, не позволяет объяснять сложности современного мобильного мира, который создается в том числе благодаря демократизации туризма. Объяснение сложностей требует применения социальной концепции времени, в которой сосуществуют сложные, многослойные отношения между живыми и неживыми мобильными и немобильными акторами, выстраивающими (*не*)последовательные, (*не*)длительные связи между прошлым, настоящим и будущим. Авторы показывают, как нелинейное, непоследовательное социальное время было «вшито» в основные тематические направления социальных исследований туризма, а именно: исследования аутентичности, исследования туризма как обряда перехода от повседневности к праздности и в исследования глобальных туристских ландшафтов. Этот литературный обзор предваряет и объединяет подборку эмпирических статей, посвященных таким разным формам туризма на Востоке России, как: а) китайский въездной туризм, б) приграничные шоп-туры и в) профессиональные путешествия исследователей. Авторы приходят к заключению, что именно внимание исследователей к социальному времени позволяет понять, что демократизация туризма (приходящая с открытием границ, со смешением туризма с повседневной или профессиональной жизнью, а также с развитием новых технологий) является важнейшим способом, который позволяет конструировать совместный опыт проживания в современном мире, синхронизировать множественные темпоральные миры, а также управлять политически не нейтральным разнообразием темпоральностей.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Европейского регионального фонда развития, Проект «Синофонное приграничное — взаимодействие на окраинах», CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791.

The work was supported from European Regional Development Fund Project «Sinophone Borderlands — Interaction at the Edges», CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791.

Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

Ключевые слова: экономгеографическая и культурологическая траектории исследования туризма, путешествие в географическом пространстве и социальном времени, аутентичность, повседневность и праздность туризма, глобальные туристские ландшафты

Представляемая в этом номере подборка статей не была частью одного исследовательского проекта. В рамках сбора эмпирических данных каждый из нас отвечал на свой вопрос, спорил со «своими» авторами. Встретившись на онлайн-семинаре «Кросс-граничная мобильность на Востоке России» в Университете Палацкого в Оломоуце, мы решили предпринять совместное интеллектуальное усилие и прийти к общему языку описания *кросс-граничного туризма*. Это оказалось непростой задачей: даже ссылаясь на одних и тех же авторов, социологи не всегда легко договариваются с антропологами, и оба — с социолингвистами. По этой причине в течение полугода на ежемесячном семинаре мы обсуждали разные тексты, подходы и концепции и остановились на категориях пространства и социального времени, при помощи которых, как нам кажется, мы не просто можем по-новому осветить свои сюжеты, но через них понять другие.

Конечно, выбор пространства и социального времени не был случайным: как выяснилось, эмпирические данные не раз подталкивали каждого из нас к похожим исследовательским вопросам. В общем виде это можно сформулировать таким образом. *Почему путешествие в географическом пространстве, знакомство с туристическими объектами оказывалось не только (и даже не столько) перемещением в астрономическом времени, сколько путешествием во времени социальном — редко в будущее, часто в прошлое, еще чаще — в «чужое» для нас или наших мобильных акторов время?*

В частности, Олаф Гюнтер участвовал в туре по «следам Александра фон Гумбольдта», который рекламировался как путешествие в прошлое. Результатом для него стало понимание того, что время «продается» как некое пространство, контейнер, в который турист может «зайти». Экспедиция Владимира Дегтяря «к удэгейцам», вылившаяся в методологический текст, начиналась как воображаемое путешествие в прошлое, но в какой-то момент пришло удивление, насколько это прошлое, часто «кочующее» и по произведенным недавно текстам, расходится с удэгейским настоящим. Это привело антрополога к концепции «этнографического и туристского пространства», в котором смешиваются позиции антрополога и туриста, следующих за придуманным образом объекта. Наша собственная работа о перформативности шоп-туризма стартовала с вопроса о том, почему жители приграничного Благовещенска, долгое время совершавшие шоп-туры и при этом путешествующие к китайским соседям «как в далекое советское прошлое», вдруг осознали, что в прошлом оказались они сами; а закончилось идеей о существовании разных типов пространств сетей, из которых и в которые акторы могут «выплетаться» и «вплетаться». Наконец, в статье Алины Карелиной рассматривается

аутентичность туристских объектов и кажется, что ни время, ни пространство не определяют метаязык этой работы. Ситуация резко меняется, когда исследовательница обнаруживает, что единственный объект, который связывает китайские и российские категории аутентичности, — это «музей советского быта», существующий в восприятии китайских и российских туристов в совершенно разных временных координатах.

Договорившись о базовой для нас категории социального времени, мы также поняли, что она, в отличие от пространства, часто оказывается значимой, даже фундаментальной, но скрытой, имплицитной для субдисциплины «социология туризма». *В этой статье мы хотим показать, почему артикуляция социального времени так важна; что дает пристальное внимание к сложным, многослойным отношениям между живыми и неживыми, мобильными и немобильными акторами, перемещающимися не только в географическом пространстве, но и в (не)последовательных, (не)длительных связях между прошлым, настоящим и будущим.*

Демонстрацию важности социального времени для понимания туризма можно провести, вспомнив о множественности темпоральных миров¹, и об идее Шюца (2003) о том, что для их координации недостаточно находиться в одном пространстве и в одном «космическом» времени, а необходимо коммуницировать в «живом настоящем», то есть конструировать совместный опыт, синхронизировать время. Переводя эту идею в плоскость туристских исследований, можно сказать, что люди, проживающие по две стороны тотально (физически, экономически, информационно) закрытой границы на расстоянии, скажем, одного километра, живут в десинхронизированном социальном времени. Их вдруг начавшиеся взаимные поездки ничего не изменят, если не появится совместный опыт. Невнимание к отсутствию такого опыта, а значит, к десинхронизированной темпоральности позволяет не обращать внимания на то, что турист как мобильный субъект остается носителем собственного времени, а немобильный местный вынужден (хотя бы частично) принимать это время, подстраиваться к нему и становиться жертвой специфичной формы власти. Скажем, гость отеля международного класса, расположенного на экзотическом острове, не интересуется повседневными ритмами жизни обслуживающего его персонала, а местные, наоборот, вынуждены подстраивать свои социальные ритмы и практики под нужды гостя.

В отличие от данного примера с бинарной — и, конечно, упрощенной — оппозицией (турист vs местный), авторов нашей тематической подборки интересуют кейсы, в которых дихотомия едва ли возможна. Это шоп-туристы, для которых заграничная поездка выступает одновременно и способом заработка, и видом досуга, что идет вразрез с существовавшим долгое время противопоставлением обычного времени и праздным временем туризма. Мы обращаемся к опытам тех китайских туристов, которые физически путешествовали в пространстве, и тех, кто предпринял его в виртуальном мире. Таким образом, нас интересуют не толь-

1. Социологический взгляд, например, предлагается в: Lefevre, 2004, а антропологическая традиция представлена в: Shove, Trentmann, Wilk, 2009.

ко люди, физически перемещавшиеся между географическими координатами, но и люди, физически остававшиеся дома. В одной из статей мы изучаем совместную мобильность с со-участниками (а не «объектами») исследования, где опыты антрополога и туриста не противопоставляются, а смешиваются. Наконец, наши мобильные акторы не ограничиваются только живыми существами: агентность у нас имеет горная лава и табличка на научном институте.

Хотя текст написан в жанре литературного обзора, мы не ставили своей задачей сделать его максимально полным. Вместо этого мы стремимся, наряду с предварительными замечаниями к нашим эмпирическим текстам и обсуждением связей между ними, раскрыть тезис о том, что социальное время (вместе с пространством) может претендовать на метаязык для описания феномена туризма.

Экономгеографическая и культурологическая траектории

Исследования туризма развиваются по двум почти непересекающимся траекториям². Первая — в большей степени *экономгеографическая* — берет свое начало в прикладных исследованиях немецких и австрийских авторов начала XX века (Hsu, Gartner, 2012; Tribe, 1997). Причина выделения этой области знаний очевидна: зародился туризм среднего класса, став фактором экономического развития Австрии, Германии, Италии, Швейцарии. Хотя эта траектория развивается до сих пор достаточно активно, теоретические концепции в ней почти не развиваются: являясь прикладной, она обслуживает потребности туристской индустрии (Berghoff et al., 2002). Интересно, что среди русскоязычных исследований преобладают именно такие: к такому выводу можно прийти, рассмотрев, например, тематику защищенных диссертаций по социологии: «Туризм как элемент рыночной экономики современной России», «Влияние туризма на социально-экономическое положение региона», «Социально-экологические проблемы становления и развития туристско-рекреационной зоны» и т. п. (Михеева, 2013).

Вторая — скорее *культурологическая* — траектория, опирающаяся на концепции социологии и антропологии, а также культурной географии, начала активно развиваться в англоязычных текстах примерно с 1960-х. Одним из объяснений формирования интереса (в начале у социологов, затем — у антропологов к этой тематике) — появление массового туризма. Русскоязычные тексты, вписанные в эту траекторию, пока менее многочисленны (Шапинская, 2011; Кононенко, Лаврентьева, 2019; Лысикова, 2011; Головнев, 2016) и нередко посвящены популяризации исследований, выполненных за рубежом (Новгородцева, 2009б; Лысикова, 2009; Воронкова, 2013).

2. Следует упомянуть, что англоязычная литература даже настаивает, что до 1960 года социальные исследования туризма и вовсе отсутствовали. Вместе с тем в немецкоязычных источниках обсуждались вопросы путешествий ради потребления и проведения досуга, ставшие на долгие годы предметом изучения таких общепризнанных ныне «отцов-основателей» социологии туризма, как Е. Коэн и Д. МакКаннелл. См. об этом: ШПОде, 2017.

В работах экономгеографической траектории время представлено в основном в его астрономической концепции, то есть как линейное время, развивающееся через настоящее к будущему (Хокинг, 2001). Напротив, социальные концепции, где движение времени совсем не обязательно совершается от прошлого через настоящее к будущему или где возможны множественные темпоральности (Сорокин, Мертон, 2004), встречается чаще в текстах культурологической траектории.

Основы современных *экономгеографических исследований* туризма, в которых рассматривается время, заложены в трудах таких авторов, как Т. Хагерstrand (Hägerstrand, 1967a), Т. Карлстайн (Carlstein et al., 1978), А. Р. Пред (Pred, 1981a, 1981b). Исследователи изучают бюджеты времени туристов (Schafer, 2000; Schafer, Viktor, 2000), рассматривают траектории и потоки мобильностей в пространстве и во времени (Hall, 2004, 2006). Этот подход часто не позволяет учитывать характерное для постмодерна сжатие пространства-времени, отказаться от бинарных оппозиций, ставших неактуальными из-за изменений современных укладов и ритмов жизни. Однако в отличие от 1960-х, когда писал Хагерstrand и когда дихотомия туризм vs повседневность имела существенно больший смысл, сейчас, из-за достижений в области транспортных и коммуникационных технологий, возможность преодолевать большие расстояния, чтобы заниматься различными формами досуга, стала частью рутины для многих «обычных людей». При этом часто сложно отделить туризм и, например, деловую поездку, в результате сама оценка траекторий деловых и туристских мобильностей теряет свой смысл.

Напротив, в современных условиях *культурологическая траектория* все больше актуализируется. Однако для нее и ее «классических» тем (таких как аутентичность, повседневность, мобильность) время часто оказывается элементом, настолько встроенным в объясняющие конструкции, что необходимы специальные усилия, чтобы его «заметить». Будучи замеченным, произнесенным, артикулированным, социальное время открывает и совершенно новые исследовательские горизонты. Далее мы обсудим, почему.

Аутентичность и путешествия по воображаемой «шкале развития»

Пожалуй, самой «классической», обсуждаемой с 1970-х годов темой в исследованиях туризма стала *аутентичность* (подлинность, первозданность, дистанционность). Д. МакКаннелл (MacCannell, 1976) был первым, кто заявил, что современные туристы мотивированы поиском подлинности, которую они надеются обнаружить в своих поездках. Обнаружение ускользающей аутентичности позволяет получить опыт, разрушенный аномальной, нестабильной современностью. Иначе говоря, турист, по мнению МакКаннелла, ищет иное, *другое место и время, убегая от места и времени*, в которых он сам проживает. Однако единственная аутентичность, доступная туристу, — это та, которую для него инсценируют или искусственно создают. Вслед за МакКаннеллом об аутентичности писали десятки исследователей (Bruner, 1996, 2001; Cohen, 1988; Olsen, 2002). Некоторые даже пришли

к согласию, что аутентичность — это не качество объекта, но культурная ценность, постоянно создаваемая и пере-изобретаемая в социальном процессе. Другие, критикуя идеи МакКаннелла, утверждали, что не существует четкой границы между культурой в туризме и культурой в реальной жизни; либо это культура, произведенная для туристов, фактически ставшая частью основных форм самовыражения местных культур, а также местной самобытности и обычаев (Adams, 1990; Volkman, 1990).

Такое прочтение туристского взгляда как движения в пространстве и социальном времени представлено в работе Алины Карелиной, включенной в нашу подборку. Автор отталкивается от того, что сфера туризма как форма досуга часто организуется как технологизированный способ предоставления туристам и потребления ими «подлинности», в том числе постановочной, мистифицированной. Интересен вывод автора о том, что подлинность, аутентичность для китайских туристов едва ли связана с социальной историей или тем более повседневной жизнью посещаемых мест, но с натуральностью, природностью, естественностью материала, объекта, места. Китайские туристы — это наблюдатели, которые находятся за пределами аутентичного пространства, они «входят» в туристские места как в «контейнеры». Этот вывод только усиливается, когда автор сравнивает китайскую категоризацию аутентичности с той, что производят русские туристы. Частичное пересечение двух культурных категорий аутентичности происходит только в «музее социалистического быта», который и у одних, и у других рождает ностальгию. Однако эта ностальгия для китайских туристов — историческая, не связанная с совместным опытом и не направленная на его приобретение, а для российских туристов — это личная ностальгия по детству, счастливым моментам прошедшей жизни.

Таким образом, социальное время китайских и российских туристов синхронизируется по отношению к себе, своим переживаниям, но не друг к другу. Китайскому туристу не удастся сбежать в «чужое время» и хотя бы временно встроиться в социальную жизнь посещаемого места, в результате его тур и полученный опыт не выходит за рамки «контейнера», созданного для туриста и воображаемого туристом. Эта особенность, видимо, не сильно отличается от опыта китайского туризма в мире. Так, Я. Чан утверждает: «Аутентичность, в том смысле, в каком она определена МакКаннеллом, не особенно волнует китайских туристов, очень редко они искали бы „естественность“ и простоту, более чистые формы жизни, как и не выражено у них стремление к более глубокому общению с местными жителями в незнакомых местах» (Chan, 2006: 200). Причина этого, видимо, состоит в том, что большая часть китайского выездного туризма до сих пор организована как пакетный туризм, когда туристы не предоставлены сами себе, они селятся в одних и тех же местах, едят в одних и тех же ресторанах и покупают одни и те же сувениры (Chan, 2008).

Время в теме аутентичности может быть представлено не только через идею побега от собственного времени/пространства, но и через «измеряемую шкалу»

в категориях развития и модерна. При этом исследователи отмечают, что туристы могут в своем воображении отправляться в будущее индустриальных городов (Ferraris, 2014), но чаще они отправляются — или их отправляют турагентства — в прошлое.

Оборотной стороной этого «измерения» является то, что макканнеловский турист, видимо, предполагает, что различные места на Земле представляют различные исторические моменты в воображаемом хронологическом масштабе развития человечества от древности (традиционности) к современности (и постмодерну). Таким образом, современный путешественник в пространстве в некотором смысле путешествует и во времени к местам, которые «более примитивны» и «менее развиты». Во многих публикациях такая интерпретация аутентичности связывалась с концепциями постколониализма (Hardt, Negri, 2005) и/или ориентализма (Said, 1978). Туризм в этом случае становился нео- или постколонизацией или потреблением «Западом» других, менее развитых «Восточных» мест. Исследователи, работающие в этой логике, утверждали, что неокolonизм «похож на подчинение “туземцев” через дискурсивную колонизацию» (Shome, 1996: 14) или через воображение, восприятие, фантазию (Salazar, Graburn, 2014).

Эмпирическими свидетельствами этой «дискурсивной колонизации» являются, например, критические деконструкции туристской литературы, рекламы и путеводителей, в которых представлены стереотипы превосходства Запада и рационализированы мифы о восточной экзотике и примитивности (Bhattacharyya, 1997; Tickell, 2001; Chaudhary, 1996, 2000). «Экзотичность», которую туристы ищут в бывших колониях, становится представлениями, фантазиями о колониальном опыте (Salazar, Zhang 2013). Выбор того, что включать и что исключать из туристских аттракций (Echtner, Prasad, 2003), а также то, как презентовать время, почти ушедшее, но сохраненное, не является бессистемным. Курортные анклавы и отели «международного уровня» увековечивают колониальные формы взаимодействия, которые рассматривают экзотику как неполноценную (Hottola, 2005).

Впрочем, постколониальная оптика поиска аутентичности часто оспаривается, как и дихотомическое противопоставление гостей и местных (Brennan, 2004). Интерпретация через поиск аутентичности сельских экологических форм отдыха или бэкпекерских путешествий в Гималаи позволяет увидеть, что многие современные туристы проводят досуг не ради «демонстративного потребления». Новые формы «моральных» путешествий привлекают внимание к экологической или социальной справедливости, а позитивный поиск того, что стоит увидеть, сделать, попробовать, узнать, сохранить, позволяет сближать глобальное и локальное, лучше понимать собственные и чужие традиции, осознавать свое место в мире (Picard, 2008; Meethan, 2002).

В нашей подборке мы пытаемся расшить это противоречие и показать, как и почему путешествие, даже начинаясь как движение «в менее развитое прошлое», «в воображаемое далеко», может обернуться переосмыслением, пересборкой собственного места на вымышленной траектории развития. В тексте Татьяны Журав-

ской и Натальи Рыжовой обсуждается «работа» по перенастройке социального времени «диких экономистов» («торговцев» и «покупателей»), живущих в приграничных городах. Эту «работу» выполняет рынок: рынок как повседневные знания об экономике, как практики торга и как базар, который выходит на авансцену приграничного города. Для этого авторы используют концепцию перформативности и систему различений экономики качеств. «Герои» этой статьи, в отличие от «пакетных» китайских туристов, не остаются в «контейнере», они из него выходят благодаря туристским практикам, сплетенным с другими — деловыми, покупательскими — мобильными практиками их повседневной жизни.

Повседневность vs праздность туризма: время как переход

Повседневность (vs досуг, праздничность) — не менее «классическая» тема в исследованиях туризма, чем аутентичность. Время в эту тему «вшито» не через перемещение, путешествие в пространстве как во времени, а через анализ рутинизированных социальных практик, которые упорядочиваются во времени и пространстве. Представляется, что долгое время наиболее влиятельной здесь была работа Н. Грейберна (Graburn, 1983), который предложил рассматривать туристское путешествие как обрядоподобный переход. Анализируя опубликованные к тому времени тексты о туристских приключениях и домашней рутине (Lett, 1983; Wagner, 1977), Грейберн предложил использовать идею В. Тернера (Turner, 1969) о противопоставлении повседневной жизни (профанном времени) и игрового, досугового (как бы сакрального) времени. Таким образом, туризм — это разновидность ограниченного во времени ритуала, разрывающего естественную логику повседневного времени.

Концептуализация туризма через аналогию обряда перехода предлагает очевидную возможность обратить внимание на то, как (не) происходит координация темпоральностей. Во многих исследованиях встречаются весьма эмоциональные описания душевного состояния путешественника, внезапно понявшего, что он находится в чуждом времени, в другой эпохе.

Погружение в чуждую повседневность меняет определенные элементы собственной жизни, например, потребность обладания благами, некоторые социальные ритуалы начинают казаться «лишними», «мелкими», «не важными». Например, М. Кааристо и Р. Ярв (Kaaristo, Jarv, 2012) показывают, как хозяева (владельцы ферм и экскурсоводы) создают для своих гостей различные временные ландшафты. Измененное восприятие времени, неожиданные временные переживания места предлагаются гостям как противовес спешке повседневной жизни.

Идеи о противопоставлении повседневного и туристского (праздничного, необычного) развились в изучение так называемого «туристского воображения», то есть того, как туристы придумывают, воображают себе желаемые места для посещения (Di Giovine, 2014). Исследовательское внимание ко времени здесь может проявляться, например, в том, что М.-Ф. Ланфант и Грейберн (Lanfant, Graburn,

1992) назвали стремлением попасть туда, где присутствует «запах смерти», то есть стремлением к чему-то редкому, исчезающему, уходящему, старому, созданному в веках.

Относительно недавно тема повседневности в туризме «потребовала» постмодернистского отказа от бинарных оппозиций, таких как гость vs турист, туризм vs миграция, тур vs деловая поездка (Cohen, Cohen, 2012, 2019). В отличие от 1980-х, когда социальные ученые видели в туристе «завоевателя», «миссионера» или агента изменений культуры менее развитых стран (Nash, 1981), с 2000-х и сам турист перестал быть экзотикой, и в туризме уже не видят способ экзотизации другого. Туризм стал новой повседневностью, модальностью, которая организует современную, в том числе транснациональную повседневную жизнь (Franklin, Crang, 2001). Эта де-дифференциация туризма от повседневной (Uriely, 2005) или профессиональной жизни (Bruner, 2005) привела к тому, что стали активнее применяться и общие для социологии и антропологии концепции и подходы, в том числе и такие, как перформативность, социальная топология, мобильный метод и т. п. (Cohen, Cohen, 2019).

В тексте Владимира Дегтяря, включенного в нашу подборку, представлен «мобильный этнографический эксперимент» в виде рефлексии о том, как в процессе синхронизации воображаемых прошлого и настоящего конструируется профессиональная повседневность антрополога. Вспоминая здесь еще раз метафору «контейнера», очевидно, что герой этой статьи (он же автор) не может остаться в «контейнере» сам и, конечно, не может его найти в этнографическом поле. В своем тексте автор несколько раз возвращается к образу «нового», «утонченного», «серьезного», «глубинного» туриста, которого необходимо вооружить этнографическими знаниями и рефлексией для понимания культуры принимающей стороны, или для синхронизации социального времени. Сопоставляя этот тезис с тем выводом, к которому приходят авторы работы о кросс-границном шопинге, хотим подчеркнуть, что знания, в рамках которых синхронизируется социальное время, видимо, совсем не обязательно должны быть связаны с этнографической «глубиной» и «серьезностью». Знания совсем другого рода — о ценах, калькуляции, рынках — тоже совсем неплохой культурный переводчик мобильного мира.

Глобальные туристские ландшафты

Мобильности — одна из самых активно обсуждаемых тем в современных культурологических исследованиях туризма. Есть даже основания предполагать, что исследования туризма перестанут быть отдельной субдисциплиной, но станут частью исследований мобильностей. Этот сдвиг произошел из-за отказа от де-дифференциации (Cohen, Cohen, 2015; Hannam, Sheller, Urry, 2006), о котором мы говорили выше, но также из-за смещения внимания от туриста, туристского объекта или дестинации к «гибридам» человека и нечеловеческих объектов.

Особенно ценные, часто цитируемые в этом направлении работы опубликованы Дж. Урри (Urry, 2002, 2007), который утверждал, что распространенные сейчас множественные способы путешествия (телесные, виртуальные, воображаемые) не просто отражают и/или формируют различные туристические представления (tourist gaze), но и являются частью «сжатия временного пространства», сопутствующего глобализации: туризм «гибриден, потому что состоит из совокупности технологий, текстов, изображений, социальных практик и т. д., которые вместе позволяют ему расширяться и воспроизводить себя по всему миру» (Urry, 2002: 144).

Время и пространство для туризма-как-мобильности имеет даже большее значение, чем для тематик аутентичности или повседневности, и при этом время и мобильность здесь еще больше сплетены, неотделимы друг от друга. Для понимания этой связанности весьма полезными оказываются идеи, предложенные в рамках акторно-сетевой теории (АСТ), даже несмотря на частую ее критику, в которой отмечается, что в ней удалось предложить «сильную теорию пространства», но «слабую теорию времени» (Астахов, 2017).

Самым очевидным способом «оценить» значение идей АСТ для развития исследований туризма оказывается «следование за актерами». «Следование» позволит увидеть, что близость или дальность туристов от объектов туризма не являются продуктами расстояния и времени на его преодоление, а результатом работы сетей. Отель на Карибах как часть туристского ландшафта находится в близости к английским туристам, и наоборот — турист из Лондона как часть туристского ландшафта находится в близости к карибскому отелю. Напротив, район, прилегающий к тому же карибскому отелю, но не вплетенный в туристский ландшафт, находится в дальности по отношению и к отелю, и к туристу, и к доставляющему его самолету. Сети, состоящие из самолетов, такси, информации в интернете, турагентов, отеля и туристов, таким образом отодвигают, убирают соседние с отелем регионы.

Развивая метафору Б. Латура (Latour, 1997: 144), турист, следующий в туристском ландшафте, легко и с комфортом передвигается по сети, а женщина-близнец этого туриста, высаживаясь в (нетуристских) джунглях и прорубаящая свою «тропу» сквозь дремучие заросли несетевого пространства, имеет дело с разнообразными сопротивлениями акторов. У каждого из этих акторов есть свой маленький мир, свой пространственно-временной режим. Она прокладывает тропу, ее тело изменяется по мере продвижения, покрываясь ссадинами, царапинами, морщинами. Вплетая эту метафору в тезис нашей подборки — сталкиваясь с другими актерами, она синхронизирует свое время с их временем, она «страдает» и страдая, трансформируется, тогда как ее брат-близнец, путешествующий в сети глобального туризма, — просто перемещается. Таким образом, пространство ассоциируется с перемещением, а время — с трансформацией.

Такое прочтение идеи туристского ландшафта предложено в работе Ван дер Дуйма (Van der Duim, 2005), который развивает не только и даже не столько идеи Латура, сколько — применяет принципы описания мира в духе социальной топо-

логии А. Мола и Дж. Ло (Mol, Law, 1994), в которой гораздо сильнее, чем у Латура, представлено время. Туристские ландшафты (tourismscape) у Ван дер Дуйма «похожи на предложения. Каждый элемент (подобно слову в предложении) связан с другими элементами (подобно другим словам в предложении) в синтаксисе, который объединяет людей, артефакты и окружающую среду. Удалите одно слово, и предложение станет бессмысленным» (Van der Duim, 2005: 97). Изолированные, статичные люди, как пишет Дуйм, становятся частью туристических ландшафтов, только если они воплощают свой досуг, объединяясь с другими материальностями (автомобилями, самолетами, ресторанами, кемпингами, природными объектами, холмами и озерами, флорой и фауной, достопримечательностями), а также информацией и медиа (путеводителями, газетами, изображениями, картами, маршрутами). Это объединение, или упорядочивание, — тот эффект, который генерируется в сети разнородных элементов и производит и туристский объект, и туриста.

Идеи перемещений, трансформации в пространстве и времени, а также идея символической презентации материального объекта и материального обрамления социальных отношений, которые все вместе и производят туризм, обсуждаются в одном из текстов нашей подборки. Олаф Гюнтер использует метафору «контейнера», которая на первый взгляд тотально противоречит способу описания глобального мира в терминах мобильностей и сетей. Однако, как и в нескольких других наших текстах, именно эта метафора оказывается полезной: с ее помощью Гюнтер описывает опыт путешествия «по следам», в рамках которого турист посещает пространство «контейнера» и при этом переживает опыт путешествия во времени. Иными словами, «контейнер» Гюнтера — это не часто критикованная ранее законсервированная для туристов территория, но упакованное пространство-и-время. Рассматривая другие варианты пережитых им и его спутниками опытов путешествий во времени, Гюнтер предлагает альтернативные взгляды на метафоры потока и сети и показывает, что время — это пространство, а пространство — это время.

Заключение

Завершая наш обзор, еще раз подчеркнем, что социальное время важно не только для наших эмпирических работ, оно имеет принципиальное значение для исследований туризма в целом. Именно внимание к социальному времени позволяет понять, что демократизация туризма (приходящая с открытием границ, со смешением туризма с повседневной или профессиональной жизнью) является важнейшим способом, который позволяет конструировать совместный опыт проживания на Земле, синхронизировать множественные темпоральные миры, а также управлять тем, что можно назвать политически не нейтральным разнообразием темпоральностей. Это утверждение еще раз отражает общий тезис нашей подборки и объясняет важность дальнейшего эксплицитного изучения туризма сквозь призму социального времени.

Когда стартовали наши проекты, никто не мог и предположить, каким актуальным, даже злободневным окажется наш вывод о глобальной социальной значимости туризма. Никто не мог предсказать, что всё возрастающие физические и телесные мобильности (Урри, 2012) могут почти остановиться. Среди всех отраслей глобальной экономики от неожиданной вспышки вируса COVID-2019 в наибольшей степени пострадал международный туризм³. Более того, есть основания полагать, что туризм продолжит страдать и далее⁴, во-первых, потому что не все туристские бизнесы выживут в кризис, а во-вторых, потому что могут измениться правила организации перемещений и отдыха.

Вопреки всем тенденциям последних десятков лет, вопреки тому, что всемирно известные эксперты и ученые утверждали, что такие широко обсуждаемые угрозы безопасности, как 11 сентября, атипичная пневмония, взрывы в метро, почти не сказывались на глобальных туристских потоках (Урри, 2012: 69), COVID-2019 вдруг показал нам вероятность отказа (надеемся, временного) от мобильности как «современного способа проживания» на нашей планете (Там же). Люди, привыкшие к путешествиям, с опаской прислушиваются к пессимистическим прогнозам политиков и медицинских экспертов об ожидаемой/предлагаемой продолжительности закрытия национальных границ⁵. Полностью закрыты или закрыты для большей части мира известнейшие туристские «якоря», собиравшие миллионы туристов ежегодно⁶. Авиаперевозчики и собственники туристской инфраструктуры по всему миру подсчитывают убытки, а кто-то готовится к банкротству⁷. Туркомпании разных стран обсуждают стратегии развития отрасли совсем без въездного потока или в кругу избранных стран, победивших вирус⁸. Жители удаленных морских или горных поселков Хорватии⁹, Грузии¹⁰, Непала¹¹, чьи бюджеты сильно зависят от сезонного притока туристов, с ужасом думают об альтернативных источниках выживания или открывают границы, не считаясь с опасностью.

Более того, очевидно, что туризм — это далеко не только бюджеты страны, фирмы или отдельной семьи, а его резкая остановка из-за угрозы всеобщего зараже-

3. International Tourist Numbers Could Fall 60–80% in 2020, UNWTO Reports. <https://www.unwto.org/news/covid-19-international-tourist-numbers-could-fall-60-80-in-2020>

4. Asia and Europe Look to Restart Travel Industries after COVID-19 «war». <https://www.euronews.com/2020/07/10/asia-europe-tourism-after-covid-19-when-will-people-be-ready-to-fly-euronews-debates>

5. Life after Lockdown: Will Covid-19 Change the Way We Travel Forever? <https://www.euronews.com/2020/04/18/life-after-lockdown-will-covid-19-change-the-way-we-travel-forever>

6. Monitoring World Heritage site closures. <https://en.unesco.org/covid19/cultureresponse/monitoring-world-heritage-site-closures>

7. EasyJet Could Cut three UK Airport Bases as Job Cuts Loom. <https://www.euronews.com/2020/07/01/easyjet-could-cut-three-uk-airport-bases-as-job-cuts-loom>

8. President Zeman Suggests Czech Borders Remain Closed for One Year. <https://www.schengenvisainfo.com/news/president-zeman-suggests-czech-borders-remain-closed-for-one-year/>

9. The Covid-19 Crisis in Croatia. <https://www.oecd.org/south-east-europe/COVID-19-Crisis-in-Croatia.pdf>

10. Грузия спасает турсезон-2020. <https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/350869/>

11. Nepal: Tourism Sector Workers Lose Livelihoods. <https://www.fes-asia.org/news/nepal-tourism-sector-workers-lose-livelihoods/>

ния — это не только экономические потери. Резко наступившая не-мобильность заставляет еще раз задуматься над тем, что изменится, если туризм вдруг станет «необязательным» или видом досуга для «избранных» (Wood, Graham, 2006), если он будет организован с учетом необходимого «социального дистанцирования», если туристы должны будут всеми силами стремиться не смешивать свое пространство и время с пространством и временем местного населения.

Литература

- Астахов С. С. (2017). Странная дихотомия: пространство и время в акторно-сетевой теории // Социология власти. № 1. С. 59–87.
- Воронкова Л. П. (2013). Антропология туризма: зеркало для человека путешествующего // Научное обозрение. Сер. 2. Гуманитарные науки. № 1–2. С. 143–150.
- Головнев А. В. (2016). Антропология путешествия: от *imago mundi* до selfie // Уральский исторический вестник. № 2. С. 6–16.
- Кононенко Е. И., Лаврентьева Н. В. (2019). «Образ-обещание»: страны Востока на рекламных плакатах // Вестник СПбГУ. Сер. 15: Искусствоведение. 2019. № 1. С. 5–20.
- Лысикова О. В. (2009). Туризм в контексте социальных теорий // Известия Саратовского университета. Новая серия. Социология. Политология. № 4. С. 25–27.
- Лысикова О. В. (2011). Туризм как освоение пространства-времени: мобильность коллективной памяти // Теория и практика общественного развития. 2011. № 7. С. 95–100.
- Михеева Н. А. (2013). Становление социологии туризма в РФ: к аналитическому обзору диссертаций, защищенных по специальностям ВАК // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. № 4. С. 56–62.
- Новгородцева А. Н. (2009). Становление теории туризма в зарубежной и отечественной практике // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. № 115. С. 310–318.
- Сорокин П. А., Мертон Р. К. (2004). Социальное время: опыт методологического и функционального анализа // Социологические исследования. № 6. С. 112–119.
- Урри Дж. (2012). Мобильности М.: Праксис.
- Шпode X. (2017). Генезис и структура туризмологии // Туризм и гостеприимство. № 2. С. 47–53.
- Хокинг С. (2001). Краткая история времени: от Большого взрыва до черных дыр / Пер. с англ. Н. Я. Смородиной. СПб.: Амфора.
- Шапинская Е. Н. (2011). Путешествие на Восток как бегство от повседневности: феномен туристического эскапизма // Международный журнал исследований культуры. № 4. С. 86–94.
- Шюц А. (2003). О множественности реальностей // Социологическое обозрение. Т. 3. № 2. С. 3–34.
- Adams W. M. (1990). Green Development: Environmental and Sustainability in the Third World. London: Routledge.

- Berghoff H., Korte B., Schneider R., Harvie C.* (eds.). (2002). *The Making of Modern Tourism*. Basingstoke: Palgrave.
- Bhattacharyya D.* (1997). *Mediating India: An Analysis of a Guidebook // Annals of Tourism Research*. Vol. 24. № 2. P. 371–389.
- Brennan D.* (2004). *What's Love Got to Do with It: Transnational Desires and Sex Tourism in the Dominican Republic*. Durham: Duke University Press.
- Bruner E.* (1994). *Abraham Lincoln as Authentic Reproduction // American Anthropologist*. Vol. 96. № 2. P. 397–415.
- Bruner E.* (2001). *The Maasai and the Lion King: Authenticity, Nationalism, and Globalization in African Tourism // American Ethnologist*. Vol. 28. № 4. P. 881–908.
- Bruner E.* (2005). *Abraham Lincoln as Authentic Reproduction // Bruner E. (ed.). Culture on Tour*. Chicago: University of Chicago Press. P. 145–168.
- Carlstein T., Parkes D. N., Thrift N. J.* (eds.). (1978). *Timing Space and Spacing Time*. London: Edward Arnold.
- Chan Y. W.* (2006). *Coming of Age of the Chinese Tourists: The Emergence of Non-Western Tourism and Host-Guest Interactions in Vietnam's Border Tourism // Tourist Studies*. Vol. 6. № 3. P. 187–213.
- Chan Y. W.* (2008). *Disorganized Tourism Space: New Mobility and Cultural Politics in the Age of Asian Tourism Paper // Winter T., Teo P., Chang T. C. (eds.). Asia on Tour: Exploring the Rise of Asian Tourism*. London: Routledge. P. 67–77.
- Chaudhary M.* (1996). *India's Tourism: A Paradoxical Product // Tourism Management*. Vol. 17. № 8. P. 616–619.
- Chaudhary M.* (2000). *India's Image as a Tourist Destination: A Perspective of Foreign Tourists // Tourism Management*. Vol. 21. № 3. P. 293–297.
- Cohen E.* (1971). *Arab Boys and Tourist Girls in a Mixed Jewish-Arab Community // International Journal of Comparative Sociology*. Vol. 12. № 4. P. 217–233.
- Cohen E.* (1988). *Authenticity and Commoditization Tourism // Annals of Tourism Research*. Vol. 15. № 3. P. 371–386.
- Cohen E., Cohen S. A.* (2012). *Current Sociological Theories and Issues in Tourism // Annals of Tourism Research*. Vol. 39. № 4. P. 2177–2202.
- Cohen E., Cohen S. A.* (2015). *A Mobilities Approach to Tourism from Emerging World Regions // Current Issues in Tourism*. Vol. 18. № 1. P. 11–43.
- Cohen S., Cohen E.* (2019). *New Directions in the Sociology of Tourism // Current Issues in Tourism*. Vol. 22. № 2. P. 153–172.
- Di Giovine M. A.* (2009). *The Heritagescape: UNESCO, World Heritage, and Tourism*. Lanham: Lexington Books.
- Di Giovine M. A.* (2014). *The Imaginaire Dialectic and the Refashioning of Pietrelcina // Salazar N. B., Graburn N. H. H. (eds.). Tourism Imaginaries*. New York: Berghahn Books. P. 147–171.
- Echtner Ch., Prasad P.* (2003). *The Context of Third World Tourism Marketing // Annals of Tourism Research*. Vol. 30. № 3. P. 660–682.

- Ferraris F.* (2014). Temporal Fragmentation: Cambodian Tales // *Salazar N. B., Graburn N. H. H.* (eds.). *Tourism*. New York: Berghahn Books. P. 172–193.
- Franklin A. S., Crang M.* (2001). The Trouble with Tourism and Travel Theory? // *Tourist Studies*. Vol. 1. № 1. P. 5–22.
- Graburn N.* (ed.) (1983). *Annals of Tourism Research*. Vol. 10. № 1. Special Issue: The Anthropology of Tourism.
- Graburn N. H.* (1983). The Anthropology of Tourism // *Annals of Tourism Research*. Vol. 10. № 1. P. 9–33.
- Hägerstrand T.* (1967a). *Innovation Diffusion as a Spatial Process*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hägerstrand T.* (1967b). On the Monte Carlo Simulation of Diffusion // *Garrison W. L., Marble D. F.* (eds.). *Quantitative Geography. Part 1: Economic and Cultural Topics*. Evanston: Northwestern University Press. P. 1–32.
- Hall C. M.* (2004). *Tourism*. Harlow: Prentice-Hall.
- Hall C. M.* (2006). Space–Time Accessibility and the Tourist Area Cycle of Evolution: The Role of Geographies of Spatial Interaction and Mobility in Contributing to an Improved Understanding of Tourism // *Butler R. W.* (ed.). *The Tourism Area Life-Cycle*. Vol. 2: Conceptual and Theoretical Issues. Clevedon: Channel View. P. 83–100.
- Hannam K., Sheller M., Urry J.* (2006). Editorial: Mobilities, Immobilities, Moorings // *Mobilities*. Vol. 1. № 1. P. 1–22.
- Hottola P.* (2005). The Metaspatialities of Control Management in Tourism: Backpacking in India // *Tourism Geographies*. Vol. 7. № 1. P. 1–22.
- Hsu C. H. C., Gartner W. C.* (eds.) (2012). *The Routledge Handbook of Tourism Research*. Milton Park: Routledge.
- Kaaristo M., Järv R.* (2012). Our Clock Moves at a Different Pace: The Timescapes of Identity in Estonian Rural Tourism // *Folklore*. Vol. 51. P. 109–132.
- Lanfant M.-F., Graburn N.* (1992). International Tourism Reconsidered: The Principle of the Alternative // *Smith V. L., Eadington W. R.* (eds.). *Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. P. 88–112.
- Latour B.* (1997). Trains of Thought: Piaget, Formalism and the Fifth Dimension // *Common Knowledge*. Vol. 6. № 3. P. 170–191.
- Lefevre H.* (2004). *Rhythm Analysis: Space, Time and Everyday Life*. London: Continuum.
- Lett J. W.* (1983). Ludic and Liminoid Aspects of Charter Yacht Tourism in the Caribbean // *Annals of Tourism Research*. Vol. 10. № 1. P. 35–56.
- MacCannell D.* (1976). *The Tourist: A New Theory of the Leisure Class*. New York: Schocken Books.
- Meethan K.* (2002). Tourism in Global Society: Place, Culture, Consumption // *Relaciones: Estudios de historia y Sociedad*. Vol. 26. № 103. P. 270–277.
- Mol A., Law J.* (1994). Regions, Networks and Fluids: Anaemia and Social Topology // *Social Studies of Science*. Vol. 24. № 4. P. 641–671.

- Nash D.* (1981). Tourism as an Anthropological Subject // *Current Anthropology*. Vol. 22. № 5. P. 461–481.
- Nash D.* (1996). *Anthropology of Tourism*. Oxford: Pergamon.
- Negri A., Hardt M.* (2009). *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*. London: Penguin Books.
- Olsen K.* (2002). Authenticity as a Concept in Tourism Research // *Tourist Studies*. Vol. 2. № 2. P. 159–182.
- Picard M.* (2008). Balinese Identity as Tourist Attraction: From «Cultural Tourism» (Pariwisata Budaya) to «Bali Erect» (Ajeg Bali) // *Tourist Studies*. Vol. 8. № 2. P. 155–173.
- Pred A. R.* (1981a). Social Reproduction and the Time-Geography of Everyday Life // *Geografiska Annaler*. Vol. 63. P. 5–22.
- Pred A. R.* (1981b). Production, Family, and Free-Time Projects: A Time-Geographic Perspective on the Individual and Societal Change in 19th Century US Cities // *Journal of Historical Geography*. Vol. 7. № 1. P. 3–6.
- Said E.* (1978). *Orientalism*. New York: Pantheon Books.
- Salazar N., Graburn N.* (eds.). (2014). *Tourism Imaginaries*. New York: Berghahn Books.
- Salazar N. B., Zhang Y.* (2013). Seasonal Lifestyle Tourism: The Case of Chinese Elites // *Annals of Tourism Research*. Vol. 43. P. 81–99.
- Schafer A.* (2000). Regularities in Travel Demand: An International Perspective // *Journal of Transportation and Statistics*. Vol. 3. № 3. P. 1–31.
- Schafer A., Victor D.* (2000). The Future Mobility of the World Population. *Transportation Research*. Vol. 34. № 3. P. 171–205.
- Shome R.* (1996). Postcolonial Interventions in the Rhetorical Canon: An «Other» View // *Communication Theory*. Vol. 6. № 1. P. 40–59.
- Shove E., Trentmann F., Wilk R.* (eds.). (2009). *Time, Consumption and Everyday Life: Practice, Materiality and Culture*. Oxford: Berg.
- Smith V. L.* (ed.) (1977). *Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Tickell A.* (2001). Footprints on The Beach: Traces of Colonial Adventure in Narratives of Independent Tourism // *Postcolonial Studies*. Vol. 4. № 1. P. 39–54.
- Tribe J.* (1997). The Indiscipline of Tourism // *Annals of Tourism Research*. Vol. 24. № 3. P. 638–657.
- Turner V. W.* (1969). *The Ritual Process: Structure and Anti-structure*. Chicago: Aldine.
- Uriely N.* (2005). The Tourist Experience: Conceptual Developments // *Annals of Tourism Research*. Vol. 32. № 1. P. 199–216.
- Urry J.* (2002). *The Tourist Gaze*. London: Sage.
- Urry J.* (2007). *Mobilities*. Cambridge: Polity.
- Van der Duim R.* (2007). Tourismscapes: An Actor-Network Perspective // *Annals of Tourism Research*. Vol. 34. № 4. P. 961–976.
- Volkman T. A.* (1990). Visions and Revisions: Toraja Culture and the Tourist Gaze // *American Ethnologist*. Vol. 17. № 1. P. 91–110.

- Wagner U. (1977). Out of Time and Place: Mass Tourism and Charter Trips // *Ethnos*. Vol. 42. № 1–2. P. 38–52.
- Wood D., Graham S. (2006). Permeable Boundaries in the Software-Sorted Society: Surveillance and the Differentiation of Mobility // *Sheller M., Urry J. (eds.). Mobile Technologies of the City*. London: Routledge. P. 177–191.

Time and Space in Tourism Studies

Natalia P. Ryzhova

Doctor of Economical Sciences, Key and Excellent Research Fellow, Department of Asian Studies, Palacky University in Olomouc

Head of Laboratory, Economic Research Institute of FEB RAS

Address: Křížkovského 511/8, Olomouc, Czech Republic 77900

E-mail: n.p.ryzhova@gmail.com

Tatiana N. Zhuravskaia

Candidate of Sociological Sciences, Senior Research Fellow, Economic Research Institute of FEB RAS

Assistant Professor, School of Economics and Management, Far Eastern Federal University

Address: Tikhookanskaya str., 53, Khabarovsk, Russian Federation 680042

E-mail: wellshy@mail.ru

Two categories — geographical space and social time — allows for the description of any kind of tourist travels. However, although the category of space is usually explicitly present in tourism studies, social time often remains implicit. The authors start their text with the idea that the astronomical concept of time used in economic and geographical studies of tourism cannot explain the complexity of the mobile world. The concept of social time, the authors argue, meets this challenge. Scrutinizing themes of authenticity (starting from MacCannell), a rite of passage from everyday life to the leisure time of tourism (from Graburn), and mobilities and tourism-scape (from Urry), the authors aim to reveal how social time has been “sutured” onto the main areas of tourism studies. This review precedes and brings together a collection of empirical papers on such different forms of tourism in Eastern Russia as cross-border shopping tourism, professional fieldwork travel, and Chinese inbound-tourism. The authors conclude that the attention to social time allows for an understanding that the democratization of tourism is one of the most critical ways to construct a shared experience of living in the modern world, to synchronize multiple temporal worlds, as well as to manage what can be called a politically non-neutral diversity of temporality.

Keywords: economic-geographical and cultural trajectories in tourism studies, travel in geographical space and social time, authenticity, everyday life and tourism as leisure, global tourist-scapes

References

- Adams W. M. (1990) *Green Development: Environmental and Sustainability in the Third World*, London: Routledge.
- Astakhov S. (2017) Strannaja dihotomija: prostranstvo i vremja v aktorno-setevoj teorii [The Strange Dichotomy: Space and Time in Actor-Network Theory]. *Sociology of Power*, no 1, pp. 59–87.

- Berghoff H., Korte B., Schneider R., Harvie C. (eds.) (2002) *The Making of Modern Tourism*, Basingstoke: Palgrave.
- Bhattacharyya D. (1997) Mediating India: An Analysis of a Guidebook. *Annals of Tourism Research*, vol. 24, no 2, pp. 371–389.
- Brennan D. (2004) *What's Love Got to Do with It: Transnational Desires and Sex Tourism in the Dominican Republic*, Durham: Duke University Press.
- Bruner E. (1994) Abraham Lincoln as Authentic Reproduction. *American Anthropologist*, vol. 96, no 2, pp. 397–415.
- Bruner E. (2001) The Maasai and the Lion King: Authenticity, Nationalism, and Globalization in African Tourism. *American Ethnologist*, vol. 28, no 4, pp. 881–908.
- Bruner E. (2005) Abraham Lincoln as Authentic Reproduction. *Culture on Tour* (ed. E. Bruner), Chicago: University of Chicago Press, pp. 145–168.
- Carlstein T., Parkes D. N., Thrift N. J. (eds.) (1978) *Timing Space and Spacing Time*, London: Edward Arnold.
- Chan Y. W. (2006) Coming of Age of the Chinese Tourists: The Emergence of Non-Western Tourism and Host-Guest Interactions in Vietnam's Border Tourism. *Tourist Studies*, vol. 6, no 3, pp. 187–213.
- Chan Y. W. (2008) Disorganized Tourism Space: New Mobility and Cultural Politics in the Age of Asian Tourism Paper. *Asia on Tour: Exploring the Rise of Asian Tourism* (edd. T. Winter, P. Teo, T. C. Chang), London: Routledge, pp. 67–77.
- Chaudhary M. (1996) India's Tourism: A Paradoxical Product. *Tourism Management*, vol. 17, no 8, pp. 616–619.
- Chaudhary M. (2000) India's Image as a Tourist Destination: A Perspective of Foreign Tourists. *Tourism Management*, vol. 21, no 3, pp. 293–297.
- Cohen E. (1971) Arab Boys and Tourist Girls in a Mixed Jewish-Arab Community. *International Journal of Comparative Sociology*, vol. 12, no 4, pp. 217–233.
- Cohen E. (1988) Authenticity and Commoditization Tourism. *Annals of Tourism Research*, vol. 15, no 3, pp. 371–386.
- Cohen E., Cohen S. A. (2012) Current Sociological Theories and Issues in Tourism. *Annals of Tourism Research*, vol. 39, no 4, pp. 2177–2202.
- Cohen E., Cohen S. A. (2015) A Mobilities Approach to Tourism from Emerging World Regions. *Current Issues in Tourism*, vol. 18, no 1, pp. 11–43.
- Cohen S., Cohen E. (2019) New Directions in the Sociology of Tourism. *Current Issues in Tourism*, vol. 22, no 2, pp. 153–172.
- Di Giovine M. A. (2009) *The Heritagescape: UNESCO, World Heritage, and Tourism*, Lanham: Lexington Books.
- Di Giovine M. A. (2014) The Imaginaire Dialectic and the Refashioning of Pietrelcina. *Tourism Imaginaries* (eds. N. B. Salazar, N. H. H. Graburn), New York: Berghahn Books, pp. 147–171.
- Echtner Ch., Prasad P. (2003) The Context of Third World Tourism Marketing. *Annals of Tourism Research*, vol. 30, no 3, pp. 660–682.
- Ferraris F. (2014) Temporal Fragmentation: Cambodian Tales. *Tourism Imaginaries* (eds. N. B. Salazar, N. H. H. Graburn), New York: Berghahn Books, pp. 172–193.
- Franklin A. S., Crang M. (2001) The Trouble with Tourism and Travel Theory? *Tourist Studies*, vol. 1, no 1, pp. 5–22.
- Golovnev A. (2016) Antropologija puteshestvija: ot imago mundi do selfie [Anthropology of Travel: From imago mundi to Selfie]. *Ural Historical Journal*, no 2, pp. 6–16.
- Graburn N. (ed.) (1983) *Annals of Tourism Research*. Vol. 10. № 1. Special Issue: The Anthropology of Tourism.
- Graburn N. H. (1983) The Anthropology of Tourism. *Annals of Tourism Research*, vol. 10, no 1, pp. 9–33.
- Hägerstrand T. (1967) *Innovation Diffusion as a Spatial Process*, Chicago: University of Chicago Press.
- Hägerstrand T. (1967) On the Monte Carlo Simulation of Diffusion. *Quantitative Geography, Part 1: Economic and Cultural Topics* (eds. W. L. Garrison, D. F. Marble), Evanston: Northwestern University Press, pp. 1–32.
- Hall C. M. (2006) Space–Time Accessibility and the Tourist Area Cycle of Evolution: The Role of Geographies of Spatial Interaction and Mobility in Contributing to an Improved Understanding

- of Tourism. *The Tourism Area Life-Cycle. Vol. 2: Conceptual and Theoretical Issues* (ed. R. W. Butler), Clevedon: Channel View, pp. 83–100.
- Hall C. M. (2004) *Tourism*, Harlow: Prentice-Hall.
- Hannam K., Sheller M., Urry J. (2006) Editorial: Mobilities, Immobilities, Moorings. *Mobilities*, vol. 1, no 1, pp. 1–22.
- Hocking S. (2001) *Kratkaja istorija vremena: ot Bol'shogo vzryva do chjornyh dyr* [A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes], Saint Petersburg: Amfora.
- Hottola P. (2005) The Metaspatialities of Control Management in Tourism: Backpacking in India. *Tourism Geographies*, vol. 7, no 1, pp. 1–22.
- Hsu C. H. C., Gartner W. C. (eds.) (2012) *The Routledge Handbook of Tourism Research*, Milton Park: Routledge.
- Kaaristo M., Järv R. (2012) Our Clock Moves at a Different Pace: The Timescapes of Identity in Estonian Rural Tourism. *Folklore*, vol. 51, pp. 109–132.
- Kononenko E., Lavrentieva N. (2019) "Obraz-obeshhanie": strany Vostoka na reklamnyh plakatah ["Image-Promise": Countries of the East in Advertising Posters]. *Vestnik of Saint Petersburg University. Arts*, no 1, pp. 5–20.
- Lanfant M.-F., Graburn, N. (1992) International Tourism Reconsidered: The Principle of the Alternative. *Tourism Alternatives: Potentials and Problems in the Development of Tourism* (eds. V. L. Smith, W. R. Eadington), Philadelphia: University of Pennsylvania Press, pp. 88–112.
- Latour B. (1997) Trains of Thought: Piaget, Formalism and the fifth Dimension. *Common Knowledge*, vol. 6, no 3, pp. 170–191.
- Lefevre H. (2004) *Rhythm Analysis: Space, Time and Everyday Life*, London: Continuum.
- Lett J. W. (1983) Ludic and Liminoid Aspects of Charter Yacht Tourism in the Caribbean. *Annals of Tourism Research*, vol. 10, no 1, pp. 35–56.
- Lysikova O. (2009) Turizm v kontekste social'nyh teorij [Tourism in the Context of Social Theories]. *Izvestiya of Saratov University. Sociology. Politology*, no 4, pp. 25–27.
- Lysikova O. (2011) Turizm kak osvoenie prostranstva-vremeni: mobil'nost' kollektivnoj pamjati [Tourism as a Development of Space-Time: The Mobility of Collective Memory]. *Theory and Practice of Social Development*, no 7, pp. 95–100.
- MacCannell D. (1976) *The Tourist: A New Theory of the Leisure Class*, New York: Schocken Books.
- Meethan K. (2002) Tourism in Global Society: Place, Culture, Consumption. *Relaciones: Estudios de historia y Sociedad*, vol. 26, no 103, pp. 270–277.
- Mikheeva N. (2013) Stanovlenie sociologii turizma v RF: k analiticheskomu obzoru dissertacij, zashhishhennyh po special'nostjam VAK [Development of Sociology of Tourism in the Russian Federation: Toward the Analytical Review of Dissertations Defended in VAK Specialties]. *Teoriya i praktika servisa*, no 4, pp. 56–62.
- Mol A., Law J. (1994) Regions, Networks and Fluids: Anaemia and Social Topology. *Social Studies of Science*, vol. 24, no 4, pp. 641–671.
- Nash D. (1981) Tourism as an Anthropological Subject. *Current Anthropology*, vol. 22, no 5, pp. 461–481.
- Nash D. (1996) *Anthropology of Tourism*, Oxford: Pergamon.
- Negri A., Hardt M. (2009) *Multitude: War and Democracy in the Age of Empire*, London: Penguin Books.
- Novgorodtseva A. (2009) Stanovlenie teorii turizma v zarubezhnoj i otechestvennoj praktike [Formation of Tourism Theory in Foreign and Domestic Practice]. *Izvestia: Herzen University Journal of Humanities & Sciences*, no 115, pp. 310–318.
- Olsen K. (2002) Authenticity as a Concept in Tourism Research. *Tourist Studies*, vol. 2, no 2, pp. 159–182.
- Picard M. (2008) Balinese Identity as Tourist Attraction: From "Cultural Tourism" (Pariwisata Budaya) to "Bali Erect" (Ajeg Bali). *Tourist Studies*, vol. 8, no 2, pp. 155–173.
- Pred A. R. (1981) Social Reproduction and the Time-Geography of Everyday Life. *Geografiska Annaler*, vol. 63, pp. 5–22.

- Pred A. R. (1981) Production, Family, and Free-Time Projects: A Time-Geographic Perspective on the Individual and Societal Change in 19th Century US Cities. *Journal of Historical Geography*, vol. 7, no 1, pp. 3–6.
- Said E. (1978) *Orientalism*, New York: Pantheon Books.
- Salazar N., Graburn N. (eds.) (2014) *Tourism Imaginaries*, New York: Berghahn Books.
- Salazar N. B., Zhang Y. (2013) Seasonal Lifestyle Tourism: The Case of Chinese Elites. *Annals of Tourism Research*, vol. 43, pp. 81–99.
- Schafer A. (2000) Regularities in Travel Demand: An International Perspective. *Journal of Transportation and Statistics*, vol. 3, no 3, pp. 1–31.
- Schafer A., Victor D. (2000) The Future Mobility of the World Population. *Transportation Research*, vol. 34, no 3, pp. 171–205.
- Schutz A. (2003) O mnozhestvennosti real'nostej [On Multiple Realities]. *Russian Sociological Review*, vol. 3, no 2, pp. 3–34.
- Shapinskaya E. (2011) Puteshestvie na Vostok kak begstvo ot povsednevnosti: fenomen turisticheskogo jeskapizma [Journey to the East as an Escape from Everyday Life: The Phenomenon of Tourist Escapism]. *International Journal of Cultural Research*, no 4, pp. 86–94.
- Shome R. (1996) Postcolonial Interventions in the Rhetorical Canon: An "Other" View. *Communication Theory*, vol. 6, no 1, pp. 40–59.
- Shove E., Trentmann F., Wilk R. (eds.) (2009) *Time, Consumption and Everyday Life: Practice, Materiality and Culture*, Oxford: Berg.
- Smith V. L. (ed.) (1977) *Hosts and Guests: The Anthropology of Tourism*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Sorokin P. A., Merton R. K. (2004) Social'noe vremja: opyt metodologicheskogo i funkcional'nogo analiza [Social Time: The Experience of Methodological and Functional Analysis]. *Sociological Studies*, no 6, pp. 112–119.
- Spode H. (2017) Genezis i struktura turizmologii [Genesis and Structure of Tourismology]. *Tourism and Hospitality*, no 2, pp. 47–53.
- Tickell A. (2001) Footprints on The Beach: Traces of Colonial Adventure in Narratives of Independent Tourism. *Postcolonial Studies*, vol. 4, no 1, pp. 39–54.
- Tribe J. (1997) The Indiscipline of Tourism. *Annals of Tourism Research*, vol. 24, no 3, pp. 638–657.
- Turner V. W. (1969) *The Ritual Process: Structure and Anti-structure*, Chicago: Aldine.
- Uriely N. (2005) The Tourist Experience: Conceptual Developments. *Annals of Tourism Research*, vol. 32, no 1, pp. 199–216.
- Urry J. (2002) *The Tourist Gaze*, London: Sage.
- Urry J. (2007) *Mobilities*, Cambridge: Polity.
- Urry J. (2012) *Mobil'nosti* [Mobilities], Moscow: Praksis.
- Van der Duim R. (2007) Tourismscapes: An Actor-Network Perspective. *Annals of Tourism Research*, vol. 34, no 4, pp. 961–976.
- Volkman T. A. (1990) Visions and Revisions: Toraja Culture and the Tourist Gaze. *American Ethnologist*, vol. 17, no 1, pp. 91–110.
- Voronkova L. (2013) Antropologija turizma: zerkalo dlja cheloveka puteshestvujushhego [Anthropology of Tourism: A Mirror for the Traveler]. *Scientific Review. Series 2. Human Sciences*, no 1–2, pp. 143–150.
- Wagner U. (1977) Out of Time and Place: Mass Tourism and Charter Trips. *Ethnos*, vol. 42, no 1–2, pp. 38–52.
- Wood D., Graham S. (2006) Permeable Boundaries in the Software-Sorted Society: Surveillance and the Differentiation of Mobility. *Mobile Technologies of the City* (eds. M. Sheller, J. Urry), London: Routledge, pp. 177–191.

(Не)аутентичные туристические достопримечательности: как китайские туристы воспринимают российский «фейкзор»*

Алина Карелина

Кандидат филологических наук, доцент, Школа экономики и менеджмента,
Дальневосточный федеральный университет
Адрес: ул. Суханова, д. 8, г. Владивосток, Приморский край, Российская Федерация 690091
E-mail: karelina.aa@dvfu.ru

Статья посвящена эмпирическому исследованию концепта аутентичности, который конструируют китайские туристы при посещении туристических достопримечательностей в России. С помощью компьютерной программы по анализу корпуса текстов Wmatrix был проанализирован корпус туристских отзывов после посещения туристических объектов с этническими или региональными особенностями. Оказалось, что языковой уровень репрезентации аутентичности становится лишь источником для более концептуального конструирования аутентичности. Китайские туристы переосмысливают внешние «объективные» атрибуты аутентичности, чтобы сконструировать аутентичность другой природы. Эти ментальные конструкты создаются ими на основе базового онтологического и пространственного опыта. Семантическая категория выступает как концептуальная область источника, которая организует область цели. Результаты исследования показали, что китайский турист структурирует область цели с помощью метафор, организующих первичный опыт человека, включая пространственно-временную ориентацию: «место — это дальнее расстояние», «прошлое — это то, что позади», «хорошее — это то, что наверху», а также онтологическую метафору «туристический объект — это замкнутый контейнер». Содержимое «контейнера» измеряется качественно и количественно через концептуальную метафору: «постижение аутентичного — это изучение контейнера».

Ключевые слова: аутентичность туристических объектов, метод корпусного анализа, концептуальная метафора, семантические категории, конструируемая реальность, теория концептуальной метафоры, онтологическая метафора, ориентационная метафора

Теоретические предпосылки: источник аутентичности

Аутентичность в туризме активно обсуждается с середины XX века, когда промышленно развитые страны начинают переход от индустриальной к постиндустриальной структуре, а трудовая деятельность как центр социальной структуры уступает место отдыху (MacCannell, 1976). Отдых становится доступным и комфортным благодаря технологическим достижениям в области туризма. Люди все активнее путешествуют в ранее недоступные места и замечают, что жизнь в них значительно отличается от их повседневности (Boorstin, 1992). Туристы отдают

* Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

предпочтение путешествиям в доиндустриальные общества, которые, по их мнению, остаются нетронутыми «цивилизацией», что наиболее полно удовлетворяет желание постиндустриального человека обрести имманентное чувство свободы от институциональных ограничений, осмысленность собственного существования в своей рутинной жизни и большее единение с природой (Bruner, 1989; Cohen, 1979).

С момента появления туристической дестинации как социального института исследователи предпринимали попытки ответить на вопрос, что вызывает у туриста «первородные, доисторические» чувства и заставляет его путешествовать в далекие места в поисках этих ощущений (Boorstin, 1992; MacCannell, 1976; Selwyn, 1996).

Исследователи допускали, что чувство не-обыденности и не-тривиальности жизни может возникать благодаря аутентичности туристического пространства, которое посещает турист. В то же время объективистская теория гласит, что аутентичность туристического объекта зависит не от того, каким видит его турист. Туристический объект оказывается аутентичным, если получает экспертное заключение об аутентичности от музейных кураторов, властей, историков культурного наследия или этнографов (Boorstin, 1992; Sharpley, 1994; Trilling, 1972). Кроме того, считается, что туристический объект аутентичен, если обладает сакральными и/или другими специфическими признаками (MacCannell, 1976): аутентичность локальна, она превращается в товар и производится из «натуральных» материалов (Sharpley, 1994; Trilling, 1972).

Другое теоретическое предположение основано на понимании аутентичности как постановочном феномене. Д. МакКаннелл (MacCannell, 1976) использует понятие «постановочная аутентичность», которое означает, что туристы находятся в постоянном поиске аутентичных ощущений определенного рода: они стремятся найти такие туристические пространства, которые отвечают их убеждениям, стереотипным допущениям или их собственному воображаемому миру. Аутентичная реальность конструируется в виде социального пространства, у которого отчетливо определяются «сцена» и «закулисье». Их функция — отделять реальность местных жителей и реальность туристов. Всякий раз при посещении туристического объекта туристы стремятся попасть в «закулисье», которое они воспринимают аутентичным. МакКаннелл (MacCannell, 1976) развивает идею И. Гоффмана (Goffman, 1956) о подмостках (a front region) и кулисах (a back region) и описывает туристическое пространство как движение со сцены за кулисы, где сцена представляет собой туристическое пространство, которое туристы ожидают увидеть, а кулисы выглядят как вспомогательные помещения, скрытые от их глаз. Работники сферы туризма позволяют туристам «заглянуть за кулисы», декорируя туристическое пространство элементами, находящимися вне зоны доступа туристов, или открывают частично или полностью эту часть туристического пространства (MacCannell, 1976). Таким образом, жажда аутентичности «утоляется» с помощью маркеров «закулисья», например, мастерской по изготовлению традиционных

русских сувениров, встроенной в туристическое пространство (этнический тематический парк) и «отполированной» до такой степени, чтобы туристы увидели все технологические этапы производства сувениров или изделий народного промысла.

Некоторые ученые исследуют способы поиска туристами пространства, позволяющего им осознать себя, свое существование (existential «self»). Они говорят об оппозиции жизненного пространства туриста и туристического пространства, «другого пространства» (Cohen, 1979; Daniel, 1996; Wang, 1999). Для туристов аутентичное «собственное Я» («self») находится за пределами их жизненного пространства, на его периферии. Во время путешествия они как бы бегут из центра на периферию, где возможно создание нового жизненного пространства (Cohen, 1979). Туристы движимы желанием найти аутентичное место, которое связано с эмоциональной привлекательностью, осмысленным существованием и нелегкой жизнью. Это место отлично от неаутентичного жизненного пространства туриста, которое характеризуется контролем со стороны власти, рациональностью и рутинностью жизни. Вероятно, туристы стремятся убежать от обыденного, «неправильного» и бессмысленного центра, чтобы найти новый духовный центр (Ibid.). Эта мотивация отражает устоявшееся мнение о том, что туризм — это атрибут (пост)модернистского общества, а туристы — путешественники за первобытным опытом.

Таким образом, взгляды исследователей на аутентичность туристического объекта группируются по типу источника аутентичности: туристический объект как проекция аутентичности на туриста; проекция аутентичности на туристический объект через осмысление туристом туристического пространства; и аутентичность как проекция «себя» на туристический объект.

Автор данной статьи допускает, что аутентичность/неаутентичность туристического пространства зависит от того, как турист видит и интерпретирует его. Аутентичность проецируется на объект самим туристом посредством его ожиданий, представлений, стереотипов и переосмысления объекта.

Концептуализация: аутентичность как конструируемая реальность

Если принять тезис о том, что аутентичность конструируется самим туристом, то как аутентичность, будучи результатом мыслительных операций, соотносится со знаком и как знак передает значение, что референт аутентичен? Социологи предпринимали попытки интерпретировать символическое значение туристского опыта. Так, Дж. Урри (Urry, 1992) изучал различные формы визуального потребления, которые он называл «взглядом туриста»; Т. Эденсор (Edensor, 2011) анализировал символическое значение ритуалов и постановок, организованных для туристов; И. Даниэл (Daniel, 1996) рассматривала символизм танца и его аутентичность в туристическом пространстве; Г. Данн (Dann, 1996) одним из первых исследовал символическое значение туризма, используя социолингвистический подход. На

теории Данна можно остановиться более подробно, так как она помогает лучше понять, как функционирует язык туризма. По его мнению, он представляет собой «структурированную, монологическую, многоцелевую и управляемую коммуникацию между анонимными исходными адресантами и легко идентифицируемыми наивными адресатами» (Dann, 1996: 249). Адресантами выступают туристические менеджеры или другие туристы, уже посетившие туристический объект, а адресатами — туристы, которые только планируют или в данный момент посещают туристическую дестинацию. Связь между ними устанавливается посредством текста. Этой связью управляет адресант, который производит текст, а турист-адресат выступает пассивным получателем сообщения. Тексты чаще всего метафоричны по своей природе, так как в них речь идет о путешествии в необычные места, которые вызывают целый спектр сильных эмоций (Dann, 1996; Lengkeek, 2002; Urry, 2001). Данн (2002) точно описывает функцию метафоры в «языке туризма» как единственное языковое средство туриста, с помощью которого последний передает значение чего-то незнакомого, неизвестного и странного. В определенной степени эта идея перекликается с идеями других социологов, которые делают попытки определить такие понятия, как необычность и странность туристической дестинации, тем самым противопоставляя туристическую локацию жизненному пространству туриста. Исследователи не скупаются на метафоры при описании социальных практик туристов в туристических пространствах и употребляют понятия «Другой» («the Other») (Cohen, 1979), «Где-то там» («Out-there-ness») (Lengkeek, 2002) и «Необычный» («out of ordinary») (Urry, 2001).

Автор считает возможным согласиться с позицией социолингвистов о том, что с помощью языковой метафоры возможно передать идею аутентичности, например, через метафоры «чистота» и «подлинность» (Dann, 1996). Однако простого объяснения одного феномена посредством отсылки к другому, основываясь только на их схожести, будет недостаточно. Аутентичность туристического объекта, как результат осмысления феномена, возможно изучить через концептуализацию феномена, а именно через обращение к концептуальной метафоре, которая структурирует восприятие человеком окружающего мира в его повседневном функционировании (Lakoff, Johnson, 2003; Urry, 2001).

Итак, целью данной работы становится исследование восприятия аутентичности китайскими туристами, которые путешествуют по России и посещают достопримечательности с ярко выраженными этническими признаками. Исследование ограничивается лишь туристическими объектами, выполненными в русской фольклорной стилистике или стилистике народов России. Предварительный анализ показал, что местные жители не маркируют такого рода объекты как аутентичные.

В рамках данной работы автор делает попытку ответить на ряд исследовательских вопросов:

1) Конструируется ли посетителями аутентичность туристических объектов, выполненных в русском фольклорном стиле?

2) Если мы допускаем, что аутентичность туристического объекта конструируема, то что рассматривается в качестве источника аутентичности туристического объекта как мыслительного конструкта?

3) Можем ли мы говорить о языковом выражении туристической аутентичности, и если да, то с помощью каких средств репрезентируется аутентичность туристического объекта?

Данные и методы

Чтобы ответить на сформулированные выше исследовательские вопросы, автор выдвигает рабочую гипотезу, что аутентичность туристического объекта для въездных туристов из Китая возникает в результате проекции базового физического опыта последних на туристический объект, который организуется с помощью концептуальной метафоры. Автор допускает, что китайские туристы рационализируют аутентичный туристический объект и представляют его в виде некой сущности, имеющей границы. Они воспринимают туристический объект через пространственное измерение, «помещая» его на поверхность.

В статье анализируется корпус текстов, включающий отзывы китайских туристов, которые посетили достопримечательности в России. Исследуемые туристические объекты обладают ярко выраженными признаками, связанными со стереотипным представлением о русской народной культуре, например, медведями, крепкими спиртными напитками, эндемичными растениями, традиционными домами. Корпус текстов включает отзывы туристов о посещении ресторанов русской кухни, музеев русской культуры, сувенирных лавок и этнических парков (см. Приложение).

Этап 1. Идентификация метафоры в дискурсе

На начальном этапе мы отобрали 3326 лексических единиц из 18 отзывов, в которых упоминались фольклорные достопримечательности, и условно разделили их на два типа: вновь созданные туристические объекты, появившиеся 5–7 лет назад; и достопримечательности, которые осуществляют деятельность более 10 лет, но обновили инфраструктуру за последние 5 лет под запросы массового китайского туриста, желающего увидеть русскую культуру и купить русские товары. Все исследуемые достопримечательности обладают одной общей чертой: они функционируют как выставочные центры для товаров, произведенных в данной местности или представленных как местные. Такого рода изделия производятся специально для туристов (*traveler-objects*) (Lury, 1997) и выставляются на продажу.

Оригинальные отзывы были написаны на китайском языке туристами, приезжающими в Россию из материкового Китая. Мы использовали особый инструмент, созданный Центром компьютерных исследований в области корпуса языка университета Ланкастера (UCREL), который работает только с текстами на ан-

глийском языке, поэтому мы перевели тексты с китайского на английский язык с помощью Google Translate, сервиса машинного перевода. Далее мы пригласили двух экспертов в области китайского языка, которые проверили тексты на качество и пришли к выводу, что перевод корректен и точен. Это позволило продолжить работу с переводными текстами.

На основе статей по туристической аутентичности был составлен список отличительных признаков аутентичных туристических объектов. Авторы работ часто упоминали следующие объективные признаки: объекты должны быть произведены вручную, из «натуральных» материалов, местными жителями в традиционной манере и не предназначаться для массового рынка. Такие объекты должны вызывать восхищение, а также восприниматься туристами как сакральные и ритуальные (MacCannell, 1976; Sharpley, 1994; Trilling, 1972). Далее были отобраны все словарные и контекстуальные метафоры, которые хотя бы в одном компоненте значения соотносились с вышеперечисленными признаками. Для отбора метафор мы применили Метод идентификации метафорических слов и выражений в контексте (the Method of Identification Procedure), предложенный группой исследователей Pragglejazz (2007). Словарные значения проверялись вручную по онлайн-словарю издательства «Макмиллан» и словарю современного английского словаря издательства «Лонгман». Если один из словарей не фиксировал лексическую единицу как метафору, лексические единицы соотносили по его предметно-логическому и контекстуальному значениям. Это было необходимо, чтобы определить, на основе какого сходного признака образуется контекстуальная метафора.

Так, например, лексическая единица «world» в контексте «Quite a nice experience to come here and escape from the noisy world outside» ассоциируется с рутинным и рациональным жизненным пространством туриста, которое противопоставляется не-тривиальному и не-рутинному, где находится «собственное Я» («self of being») туриста. Однако словарь издательства «Макмиллан» определяет слово «world» как «the planet that we live on». Сравнительный анализ контекстуального и словарного значений метафоры «world» выявил различие значений, поэтому мы маркировали его как метафорическое.

Мы исключили из выборки случаи метонимии, несмотря на то что последние образны по своей природе. Например, китайские туристы описывали людей, предоставляющих им услуги, как «a textile girl» или «a Cossack driver», что означало в данном контексте «официантка в русском национальном костюме» или «водитель такси» соответственно. Метафорические единицы составили 1,6% от всех рассмотренных лексических единиц.

Таким образом, было установлено, что все отобранные метафоры группируются по одному семантическому признаку в семантические поля: религия (religion), оригинальность (originality), место (place), время (time), редкость (scarceness) и качество (quality) (см. табл. 1).

Таблица 1. Примеры соответствия метафор и семантических полей

Объективные признаки аутентичности	Семантические поля	Примеры
сакральный	религия (religion)	sacred, blessed, mystery, fairy tale
произведенный из «натуральных» материалов	оригинальность (originality)	natural, the truth, authenticity, different (amber)
локальный	место (place)	discover, world outside, escape from, their (beef)
в традиционной манере	время (time)	era, bring back, nostalgic, old-fashioned
сделанный вручную, не для массового рынка	редкость (scarceness)	unique, special, rare, treasure
вызывающий восхищение	качество (quality)	high-level, five-star (praise), superb

Этап 2. Лингвистическая экспертиза контекстуальных метафор

При строгом соблюдении процедуры идентификации метафорических слов и выражений в контексте (the Method of Identification Procedure) два эксперта в области лингвистики должны были оценить, являются ли отобранные лексические единицы метафорами. Приглашенные для экспертизы лингвисты были не носителями английского языка, кроме того, они считаются специалистами в области метафоры. Лингвисты должны были проводить независимую экспертизу, определяя и контекстуальные, и словарные метафоры, которые выражают опыт познания аутентичности китайскими туристами. Профессиональная экспертиза была вызвана сложностью идентификации метафоры в условиях отсутствия четких критериев для контекстуальных метафор и индивидуальных допущений экспертов. Перед началом экспертизы мы провели обсуждение способов идентификации контекстуальных метафор в дискурсе, а затем организовали финальную дискуссию с обсуждением результатов отбора метафор, особенно неочевидных случаев использования контекстуальных метафор.

Среди отобранных метафор 10% лексических единиц одним из экспертов были маркированы как неметафорические, а 40% слов и выражений отмечены обоими лингвистами как метафорические.

Чтобы понять степень совпадения мнений экспертов по вопросу природы отобранных метафор, мы использовали метод определения индекса согласия Каппа Коэна (Markert, Nissim, 2003; Pragglejazz Group, 2007). Мы измерили степень согласия между кодировщиками метафор на предмет наблюдаемой и ожидаемой вероятности согласия. Метод показал коэффициент Каппа 0,9. Следуя интерпретации результатов метода Каппа Коэна в отношении метонимии, выборка считается надежной, если значение составляет 0,8 и выше (Markert, Nissim, 2003). Метод

определения индекса согласия Каппа Коэна нуждается в дальнейшей апробации в отношении определения метафор, в частности, с привлечением больших групп экспертов и «наивных» кодировщиков, чтобы сократить возможные ошибки в процедуре оценки метафор.

Этап 3. Определение соответствий между семантическим полем и областью источника метафоры

Задача третьего этапа состояла в определении семантических категорий, к которым принадлежат языковые метафоры. Для того чтобы присвоить им семантические теггеры (taggers), мы использовали Систему семантической разметки текста Центра компьютерных исследований в области корпуса языка университета Ланкастера (UCREL¹), которую для удобства будем обозначать как USAS². Мы применили программу-конкордансер Wmatrix, разработанную Центром. Теггеры представляют собой так называемые описательные ярлыки семантических категорий и подкатегорий. Мы загрузили метафоры в Wmatrix, чтобы идентифицировать области, которые позже должны были стать источником метафор. Мы используем термин «область источника», который отсылает нас к теории концептуальной метафоры (Lakoff, Johnson, 2001). В данном исследовании область источника представляется как общее дискурсивное поле, маркированное в Wmatrix заглавной буквой. Было установлено прямое соответствие между областью источника USAS для метафор аутентичности и семантическим полем. Метафоры аутентичности приписаны областям источника USAS и входят в семантические поля, которые были ранее определены по атрибутам аутентичности туристических объектов, предложенным объективистами. Так, метафора *aborigine* приписана области источника USAS «authentic», которая, в свою очередь, входит в семантическое поле «originality»; метафора *bring back* относится к области источника USAS «past», которая становится элементом семантического поля «time: past» (см. табл. 2).

Нам не составило труда провести сопоставительный анализ областей источника и семантических полей, однако две из пяти областей источника содержали два теггера, а именно «A5.4+ authentic», «A5.2+ true» и «S9 religion and supernatural», «S7.2+ respected». Для снижения избыточности и большей точности в отнесении метафорических единиц к соответствующим семантическим полям и областям источника мы изучили данные конкордации (413 единиц, извлеченных из контекста, где 49 функционировали как метафоры) в контексте. Общий семантический компонент был критерием для соотношения метафоры с областью источника и семантическим полем. Например, общий семантический компонент дает право соотнести область источника «religion and the supernatural» и семантическое поле «respected». Онлайн-словарь издательства «Макмиллан» определяет *religion* как «the belief in the existence of a god or gods», где «god» — это компонент значения. Та-

1. UCREL — University Centre for Computer Corpus Research on Language.

2. USAS — UCREL Semantic Analysis System.

Таблица 2. Примеры областей источника USAS и семантических полей

Теги USAS	Области источника USAS	Семантические поля
A5.4+	authentic	originality
A5.2+	true	
T1.1.1	time: past	time
L7	places	place
S9	religion and the supernatural	religion
S7.2+	respected	
A5.1+	evaluation: good	quality
A 4.2+	detailed	scarceness
A 6.2–	comparing: unusual	

ким образом, вероятно, что группа метафорических единиц (sacred, mystery, fairy tale and blessed) принадлежит к области источника «religion and the supernatural», так как их объединяет компонент «magic». Теггер «S7.2+ respected» несет значение «admired and approved of by many people».

Итак, процедура идентификации метафоры дала надежные результаты: китайские туристы используют разнообразные метафоры, когда они говорят об аутентичности туристических объектов. Трехэтапная процедура позволила нам идентифицировать семантические области источника и приступить к дальнейшему исследованию аутентичности через концептуальную метафору.

Результаты и дискуссия

Были отобраны метафорические единицы, релевантные для восприятия аутентичности туристических объектов из 18 туристских отзывов о ресторанах, музеях и этнических тематических парках в фольклорном стиле, следуя методологии, описанной в предыдущем разделе. Общее количество метафор составило 49 единиц, принадлежащих шести областям источника. Таблица 3 содержит количество метафор в каждой области источника.

Область источника концепта «аутентичность» будет служить основой для концептуального осмысления. В следующем разделе мы рассмотрим, как по образцу источника структурируется опыт, приобретаемый китайскими туристами при посещении достопримечательности в России, в области цели.

Онтологическая и пространственная репрезентация аутентичности

Область источника *место* (place) составляет 12% от всех отобранных метафор. Все отобранные метафоры из области источника место возникают из физического опыта человека. Так, китайские туристы воспринимают аутентичность туристи-

Таблица 3. Области источника для когнитивного отображения концепта «аутентичность»

Область источника	Количество метафор
AUTHENTIC (АУТЕНТИЧНЫЙ)	21
PAST (ПРОШЛОЕ)	6
PLACE (МЕСТО)	6
RELIGION AND SUPERSTITION (РЕЛИГИЯ И СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ)	4
GOOD (ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА)	4
UNUSUAL (НЕОБЫЧНЫЙ)	8

ческого пространства в виде отгороженного от неаутентичного мира места. Они «рисуют» невидимую линию между аутентичным миром, который находится внутри, и неаутентичным внешним миром. Они концептуализируют туристическое пространство в виде «контейнера» и помещают его на поверхность. Важно заметить, что «контейнер» всегда аутентичен и вызывает положительные ассоциации, связанные с убежищем, в котором можно укрыться. В концептуальной метафоре *туристическое пространство — это контейнер* (a toured object is a container) турист — это и наблюдатель, находящийся за границами туристического пространства; и непосредственный наблюдатель, находящийся внутри аутентичного объекта; и турист, готовый войти в контейнер.

- (1) Quite a nice experience to come here and escape *from* the noisy world outside.
- (2) We have no problem reading and understanding what amber is and learning how to *distinguish* natural stone *from* fake.
- (3) How surprised we were when we *stumbled across* the Amber Museum.

Аутентичный туристический объект может трансформироваться в неаутентичный, как в следующем примере:

- (4) Russia's old-fashioned red October candy factory and chocolate factory, while still being produced, *have evolved into* something similar to the Beijing 798 Art District, with art exhibitions.
- (5) More and more wooden houses were being *converted into* temporary lodgings for tourists on a short term basis in summer time.

Еще одна метафора происходит из области источника место. Метафора *место — это дальнейе расстояние* имеет дело с линейной пространственной ориентацией и репрезентирует расстояние, которое выступает мерой аутентичности, где *дальний* значит аутентичный, а *близкий* — неаутентичный. В языке различие обеспечивается оппозицией указательных местоимений *этот — тот*, притяжа-

тельными местоимениями *наш* — *их* и использованием местоимения *другой* в метафорическом значении.

- (6) I often hope to learn the cuisine of *that* country.
- (7) Their beef is Baikal beef. The taste is completely *different from* the taste of homemade food.
- (8) I often hope to learn the cuisine of *that* country.
- (9) It's funny to try *another* vodka.

Область источника *прошлое* (past) содержит большую группу метафорических единиц (20%). *Прошлое* — это область источника, выступающая основой для метафор, которые также концептуально организуют аутентичность. Репрезентация аутентичности через прошлое была замечена еще Данном (Dann, 1996), который характеризовал туризм как путешествие во временном пространстве из сегодняшнего дня в прошлое.

Туристы метафорически концептуализируют прошлое в пространственных терминах, так как люди неспособны физически ощущать время, но способны познавать пространство и свою ориентацию в нем. Так, китайский турист проецирует прошлое посредством набора ориентационных метафор. Аутентичность организуется как оппозиция *впереди-позади* (front-back), где аутентичное туристическое пространство находится позади туриста и репрезентируется как *прошлое* — *это то, что позади*. Предлог *back* в *bring back* линейно организует прошлое позади туриста. Более того, прошлое находится в движении. Метафоры *that era* и *old-fashioned* уточняют идею далекого прошлого.

- (10) A «Textile Girl» brought me *back* to that era.
- (11) Russia's *old-fashioned* red October candy factory and the chocolate factory, while still being produced, have evolved into something similar to the Beijing 798 Art District.

Примечательно, что китайский турист воспринимает аутентичность туристических объектов в русском стиле через чувство ностальгии. М. Холбрук (Holbrook, 1993) описывает ностальгию как тоску по прошлому и желание отправиться в путешествие во вчерашний день. Н. Ванг определяет ностальгию через взгляд туриста на аутентичность (Wang, 1999: 360):

Она [аутентичность] носит ностальгический характер, так как идеализирует те сферы жизни, в которых люди чувствуют себя более свободными, наивными, импульсивными, настоящими и более честными по отношению к себе, чем в обычной жизни (такая жизнь часто ассоциируется с прошлым или детством). У людей возникает чувство ностальгии, потому что они хотят пережить еще раз прошлый опыт в форме путешествия хотя бы временно, с чувством сопричастности и символически.

Ностальгия, которую испытывают китайские туристы, имеет специфическую природу. Это историческая ностальгия, то есть тоска по такому прошлому опыту, который они не переживали лично, но который стремятся испытать, путешествуя в музеи, рестораны и сувенирные магазины, воссоздающие русский или советский быт.

- (12) Glad to find this «museum» as well as a Communist Soviet souvenir shop. Think of Lenin's posters and pins, which were previously collected, before Perestroika. In front of the museum is a beautifully decorated Lada car. The other day, I saw an Ural sidecar. Inside the museum, I felt overwhelmed. There are so many souvenirs to see — including pins, badges, postcards, scrolls, flags, posters, toys, music, videos and more. It took more than an hour to browse the full display. The lady in the museum is very friendly and helpful. I spoke to her in very poor Russian. Haha! We can still communicate! I asked her «Will the Soviet Union have a better life than it does now?» Finally I bought some pins, handbags and postcards for my nephew. *Feeling very nostalgic* when leaving the museum!

Еще одна область источника *хорошее качество* (good) составляет 4% метафор (например, *high-level, superb, superior, five-star*). Все метафоры этой области содержат общий компонент значения «being high», а также указывающий на степень сравнения, как в следующих примерах: *superior* «situated higher up», *treasure* «a highly valued object» или *five-star* «judged to be of the highest standard». Лакофф и Джонсон (2003) пишут в своих работах о существовании такого рода метафор и интерпретируют их следующим образом: человек концептуально организует все то, что считает хорошим, как нечто, находящееся наверху, а то, что считает плохим для своего благополучия, — как нечто, находящееся внизу. Как мы уже отмечали, аутентичное туристическое пространство представляет собой «контейнер», то есть дискретную, ограниченную сущность. Горизонтальная организация такого пространства возникает у китайского туриста именно благодаря ориентации *впереди-позади*, что соотносится с положением его собственного тела. Другая пространственная ориентация возникает из-за восприятия аутентичности как чего-то полезного для туриста (например, *A particularly great museum with real Russian sea cucumbers, bear palm oil and birch velvet. After buying it for a while, I found it really good for the body*). Китайские туристы различают аутентичные и неаутентичные туристические объекты через вертикально организованное пространство *наверху-внизу*, в котором все, что расположено *наверху*, считается аутентичным, а то, что находится *внизу*, неаутентичным.

- (13) *Five-star praise*, I recommend everyone to visit.

- (14) Fortunately, every *treasure* has left me a beautiful memory.

- (15) It seems that everyone who comes to Vladivostok freely ranks this restaurant, as the *number one* must-eat list.
- (16) ...he saw that his food was ranked very *high* and came to taste!

Китайские туристы организуют восприятие достаточно абстрактного понятия аутентичности с помощью «контейнера», так как он обладает всеми чертами физического объекта, что позволяет китайским туристам продолжить постигать изучаемый концепт. Такое интеллектуальное действие не представляется чем-то специфичным для туриста. Оно естественно для человека в ходе раннего освоения физического мира. В частности, китайские туристы рационализируют аутентичность и репрезентируют феномен как физически постигаемый объект через метафору *постижение аутентичного — это изучение контейнера* (authenticating is learning a container).

- (17) Now I *understand the truth*.
- (18) During the years of *focusing on natural amber*, the quality of amber beeswax here is still rare and superior.
- (19) We have no problem reading and *understanding* what amber is, and *learning* how to *distinguish natural stone* from fake.
- (20) I can well *understand* Russia's *natural scenery and customs*.
- (21) ...and *experienced a different amber experience*.

Метафоры *the truth*, *natural stone* и *natural amber* в данном дискурсе принадлежат области источника *аутентичный* (autentic), в которую входит самая большая группа метафор и метафорических выражений (21 единица), что составляет 45% всех изученных метафор.

Качество и количество аутентичности

Аутентичный «контейнер» в восприятии китайских туристов заполнен аутентичным содержимым, который можно определять качественно (например, *There was a little nostalgic Soviet atmosphere inside*) и количественно (например, *The artistic atmosphere is full!*, *It took more than an hour to browse the full display*). Метафоры, которые концептуализируют аутентичный «контейнер», отличаются от онтологических и пространственных метафор, которые мы рассматривали выше. В отличие от концептуальных метафор, *место — это дальнейе расстояние, туристический объект — это контейнер, хорошее — это то, что наверху*, которые структурируют ординарную концептуальную систему человека, метафоры, которые организуют содержание аутентичного «контейнера», подчеркивают определенные свойства аутентичного туристического объекта (Lakoff, Johnson, 2003: 140–141).

Область источника *религия и сверхъестественное* не кажется продуктивной, поскольку составляет лишь 4% от числа всех выявленных метафор (*a blessed place*

to go freely, added to the mystery, feel the charm, miraculously deal with). Кроме того, частотность каждой единицы крайне низка — только один раз они упоминаются китайскими туристами в отзывах. Измерение туризма как чего-то сверхъестественного связано с идеей магического. Три метафоры — *mystery, miraculously* и *feel the charm* — связаны смысловым компонентом «having a magic power». В то же время религиозное измерение представлено метафорой *a blessed place to go freely* и указывает на что-то сакральное.

Две метафоры отражают онтологический характер аутентичного «контейнера», представляющего собой физический объект, который далее персонифицируется:

- (22) The rising mist *added to the mystery* of the Great Lake.
 (23) ...look how nature *is miraculously dealing with* man-made waste.

Туман (*mist*) и природа (*nature*) не-человеческого происхождения, как мы видим в вышеупомянутых примерах, но воспринимаются китайскими туристами как имеющие человеческое происхождение. Эти метафоры особенно характерны для отзывов, которые туристы оставляют после посещения этнических парков. Таким образом, аутентичность туристического объекта концептуализируется как *сверхъестественное — это волшебный персонаж* (*the supernatural is magic person*).

Еще две метафоры из области источника *религия и сверхъестественное* представлены словарными метафорами, они не персонифицируют аутентичность, однако квалифицируют содержание «контейнера» как результат деятельности не-человеческого происхождения.

- (24) But it seems that all tour groups have not come here to dine, *a blessed place to go freely*.
 (25) One of the highly recommended tourist attractions, you can *feel the charm* of Russia very well!

Следующая область источника *необычное* (*unusual*) (16% от всех метафор, при этом метафора *unique* встречается наиболее часто) представлена двумя группами метафор. Одна группа объединяет метафоры с общим смысловым компонентом, исчисляющим аутентичность, «*seldom occurring or found*» — *special, rare, specialties*.

- (26) The quality of amber beeswax here is still *rare* and superior.
 (27) I ordered the *special* strawberry soup (dessert), which is definitely a must!
 (28) Very authentic Russian cuisine, the location is more difficult to find, the location is next to the playground, you can go up through the stairs, the service is very good, the pear flavor kvass is a local *specialty*, it is *special*, you can taste.

Другую группу объединяет смысловой компонент, обозначающий количество аутентичности, «a small part considered separately from the whole» — *a miniature, details, a microcosm*.

- (29) A very interesting museum is *a miniature* of Russia, which can well understand Russia's natural scenery and customs.
- (30) It shows the authenticity of jewelry *from details* such as sculpture, chain, etc.

На редкость как характерный признак аутентичных туристических объектов указывает метафора *необычное — это меньшее количество* (*unusual is less*). Это особенно очевидно в сравнении с избытком неаутентичных объектов, которые китайские туристы могут встретить в России.

- (32) It sells quite *common* Russian dishes.
- (33) It is a *common* cafeteria in Russia.

Заключение

Автор выбрал аутентичность туристического объекта как фокус исследования по причине противоречивого характера этого феномена. Чтобы ответить на вопрос о ее природе, мы использовали несколько исследовательских процедур, в частности, метод идентификации метафорических слов и выражений в контексте (Pragglejaz, 2007) и метод семантической разметки текста, с помощью программы-конкондансера Wmatrix. Применение данных процедур сделало возможным отобрать значительное число контекстуальных метафор, чтобы основания для объединения большего числа метафор в семантические поля были валидными и достоверными. С помощью многоступенчатой процедуры идентификации метафоры нам удалось выяснить, что на языковом уровне аутентичность туристического объекта картирована в виде семантических полей, которые группируют языковые и контекстуальные метафоры по объективным признакам аутентичности (аутентичность сакральна; произведена из «натуральных» материалов; локальна; выполнена в традиционной манере; сделана вручную и не для массового рынка; вызывает восхищение). Было показано, что языковой уровень репрезентации аутентичности становится лишь источником для концептуального конструирования данного феномена. Китайские туристы переосмысливают внешние «объективные» атрибуты аутентичности, чтобы сконструировать аутентичность другой природы. Эти ментальные конструкторы создаются на основе базового онтологического и пространственного опыта. И здесь обнаруживается, что аутентичное туристическое пространство — это не просто некое место, а «контейнер» с четкими границами, отделяющими аутентичный мир от неаутентичного; что аутентичное время — это прошлое, которое имеет горизонтальное измерение, а хорошее качество, как неотъемлемый признак аутентичности, измеряется через оппозицию

вверху-внизу, где хорошее качество — это то, что наверху. Попадая в аутентичный «контейнер», китайский турист пытается его постичь через представление такого абстрактного феномена, как аутентичность, в виде физического объекта. Туристы измеряют аутентичный «контейнер» качественно и количественно. Необычность аутентичного объекта репрезентируется через ее малое количество (дефицит), а сакральность через персонификацию аутентичного объекта. Мы обнаружили, что количество метафор, организующих контуры аутентичности, значительно превышает количество метафор, измеряющих аутентичность качественно и количественно, что может говорить об онтологическом характере аутентичности как конструкте мышления.

Результаты исследования, вероятно, не окончательные и оставляют возможность для дальнейшего изучения аутентичности. Сравнительный анализ того, как российские и китайские туристы концептуализируют туристическую аутентичность, может стать дальнейшим направлением в изучении восприятия аутентичного объекта. Также остается открытым вопрос, как туристические менеджеры создают вербальный и визуальный привлекательный образ аутентичности, который совпадает с внутренней потребностью туриста в аутентичности.

Приложение

Список достопримечательностей, посещенных китайскими туристами

Музей янтаря (Калининград)

Музей янтаря (Владивосток)

Музей автомостарины (Владивосток)

Кулинарная лавка братьев Караваевых (Москва)

Национальный парк «Мыс Бурхан/Скала Шаманка» (Остров Ольхон)

«Гостевая изба» (Сергиев Посад)

Ресторан «Гусь-Карась» (Владивосток)

Гастрономическая студия русской кухни «Маруся» (Москва)

Музей «Ретро парк» (Листвянка, Иркутская область)

Музей истории русского шоколада (Москва)

Музей советского быта (Санкт-Петербург)

Галерея «Красный Октябрь» (Москва)

Музей русской водки (Санкт-Петербург)

Русская рюмочная № 1 (Санкт-Петербург)

Бухта Стеклянная (Владивосток)

Музей трепанга (Владивосток)

Музей русских сувениров «Сказка» (Москва)

Иркутский этнографический музей «Тальцы» (Иркутская область)

Туристическая деревня «Мандроги» (Санкт-Петербург)

Литературный музей В. Астафьева (Красноярск)

Музей водки (Москва)

Литература

- Boorstin D. J.* (1992). *The Image: A Guide to Pseudo-events in America*. New York: Vintage Books.
- Bruner E. M.* (1991). Transformation of Self in Tourism // *Annals of Tourism Research*. Vol. 18. № 2. P. 238–250.
- Bruner E. M.* (1989). Tourism, Creativity, and Authenticity // *Studies in Symbolic Interaction*. Vol. 10. P. 109–114.
- Cohen E.* (1979). Phenomenology of Tourism Experience // *Sociology*. Vol. 13. № 2. P. 179–201.
- Daniel Y. P.* (1996). Tourism Dance Performances: Authenticity and Creativity // *Annals of Tourism Research*. Vol. 23. № 4. P. 780–797.
- Dann G. M. S.* (1996). *The Language of Tourism: A Sociolinguistic Perspective*. Wallingford: CAB International.
- Dann G. M. S.* (2002). The Tourist as a Metaphor of the Social World // *Dann G. M. S.* (ed.). *The Tourist as a Metaphor of the Social World*. Oxon: CABI Publishing. P. 1–17.
- Edensor T.* (2001). Performing Tourism, Staging Tourism: (Re)producing Tourist Space and Practice // *Tourist Studies*. Vol. 1. № 1. P. 59–81.
- Goffman E.* (1956). *The Presentation of Self in Everyday Life*. Edinburg: University of Edinburg.
- Hennig C.* (2002). Tourism: Enacting Modern Myths // *Dann G. M. S.* (ed.). *The Tourist as a Metaphor of the Social World*. Oxon: CABI Publishing. P. 169–189.
- Holbrook M. B.* (1993). Nostalgia and Consumption Preferences: Some Emerging Patterns of Consumer Tastes // *Journal of Consumer Research*. Vol. 20. № 1. P. 245–256.
- Lakoff G., Johnson M.* (2003). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lengkeek J.* (2002). A Love Affair with Elsewhere: Love as a Metaphor and Paradigm for Tourist Longing // *Dann G. M. S.* (ed.). *The Tourist as a Metaphor of the Social World*. Oxon: CABI Publishing. P. 189–209.
- Lury C.* (1997). The Objects of Travel // *Rojek C., Urry J.* (eds.). *Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory*. London: Routledge. P. 75–95.
- MacCannell D.* (1976). *The Tourist: A New Theory of the Leisure Class*. New York: Schocken Books.
- Markert K., Nissim M.* (2003). Corpus-based Metonymy Analysis // *Metaphor and Symbol*. Vol. 18. № 3. P. 175–188.
- Pragglejaz Group (2007). MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse // *Metaphor and Symbol*. Vol. 22. № 1. P. 1–39.
- Selwyn T.* (1996). Introduction // *Selwyn T.* (ed.). *The Tourist Image: Myths and Myths Making in Tourism*. Chichester: John Wiley. P. 1–32.
- Sharpley R.* (1994). *Tourism, Tourists and Society*. Huntington: ELM.
- Trilling L.* (1972). *Sincerity and Authenticity*. Oxford: Oxford University Press.

- Wang N. (1999). Rethinking Authenticity in Tourism Experience // *Annals of Tourism Research*. Vol. 26. № 2. P. 349–370.
- Urry J. (2001). *Sociology beyond Societies: Mobilities for the Twenty-first Century*. London: Routledge.
- Urry J. (1992). The Tourist Gaze: «Revisited» // *American Behavioral Scientist*. Vol. 36. № 2. P. 172–186.

(In)authentic Tourist Attractions: How Chinese Tourists Perceive Russian “Fakelore”

Alina Karelina

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, School of Economics and Management, Far Eastern Federal University

Address: Suhanov str., 8, Vladivostok, Russian Federation, 690091

E-mail: karelina.aa@dvvu.ru

The study investigates the concept of authenticity empirically as constructed by Chinese tourists when they visit tourist attractions in Russia with distinct ethnic or local attributes. The corpus of tourists' reviews has been examined, using a corpus-assisted methodology supported by Wmatrix. A linguistic level of authenticity representation appears to be only a source domain for the conceptual construction of authenticity. Chinese tourists reflect on outer 'objective' attributes of authenticity to construct an authenticity of another type. These mental constructs are organized based on the primary ontological and spatial experience. Semantic categories serve as a conceptual source domain that organizes a target domain. The findings show a Chinese tourist conceptualizes authenticity through the metaphors of primary experience, including time-space orientation — PLACE IS A FAR DISTANCE, PAST IS BACK, GOOD IS UP and an ontological metaphor — A TOURED OBJECT IS A CONTAINER. The content of a container is qualified and quantified through a conceptual metaphor of AUTHENTICATING IS LEARNING A CONTAINER. A container is qualified as THE SUPERNATURAL IS A MAGIC PERSON and quantified by a conceptual metaphor UNUSUAL IS LESS.

Keywords: authenticity of tourist objects, corpus-assisted analysis, conceptual metaphors, semantic categories, constructed reality, Conceptual Metaphor Theory, ontological metaphors, orientational metaphors

References

- Boorstin D. J. (1992) *The Image: A Guide to Pseudo-events in America*, New York: Vintage Books.
- Bruner E. M. (1991) Transformation of Self in Tourism. *Annals of Tourism Research*, vol. 18, no 2, pp. 238–250.
- Bruner E. M. (1989) Tourism, Creativity, and Authenticity. *Studies in Symbolic Interaction*, vol. 10, pp. 109–114.
- Cohen E. (1979) Phenomenology of Tourism Experience. *Sociology*, vol. 13, no 2, pp. 179–201.
- Daniel Y. P. (1996) Tourism Dance Performances: Authenticity and Creativity. *Annals of Tourism Research*, vol. 23, no 4, pp. 780–797.
- Dann G. M. S. (1996) *The Language of Tourism: A Sociolinguistic Perspective*, Wallingford: CAB International.

- Dann G. M. S. (2002) The Tourist as a Metaphor of the Social World. *The Tourist as a Metaphor of the Social World* (ed. G. M. S. Dann), Oxon: CABI Publishing, pp. 1–17.
- Edensor T. (2001) Performing Tourism, Staging Tourism: (Re)producing Tourist Space and Practice. *Tourist Studies*, vol. 1, no 1, pp. 59–81.
- Goffman E. (1956) *The Presentation of Self in Everyday Life*, Edinburg: University of Edinburg.
- Hennig C. (2002) Tourism: Enacting Modern Myths. *The Tourist as a Metaphor of the Social World* (ed. G. M. S. Dann), Oxon: CABI Publishing, pp. 169–189.
- Holbrook M. B. (1993) Nostalgia and Consumption Preferences: Some Emerging Patterns of Consumer Tastes. *Journal of Consumer Research*, vol. 20, no 1, pp. 245–256.
- Lakoff G., Johnson M. (2003) *Metaphors We Live By*, Chicago: University of Chicago Press.
- Lengkeek J. (2002) A Love Affair with Elsewhere: Love as a Metaphor and Paradigm for Tourist Longing. *The Tourist as a Metaphor of the Social World* (ed. G. M. S. Dann), Oxon: CABI Publishing, pp. 189–209.
- Lury C. (1997) The Objects of Travel. *Touring Cultures: Transformations of Travel and Theory* (eds. C. Rojek, J. Urry), London: Routledge, pp. 75–95.
- MacCannell D. (1976) *The Tourist: A New Theory of the Leisure Class*, New York: Schocken Books.
- Markert K., Nissim M. (2003) Corpus-based Metonymy Analysis. *Metaphor and Symbol*, vol. 18, no 3, pp. 175–188.
- Pragglejaz Group (2007) MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse. *Metaphor and Symbol*, vol. 22, no 1, pp. 1–39.
- Selwyn T. (1996) Introduction. *The Tourist Image: Myths and Myths Making in Tourism* (ed. T. Selwyn), Chichester: John Wiley, pp. 1–32.
- Sharpley R. (1994) *Tourism, Tourists and Society*, Huntington: ELM.
- Trilling L. (1972) *Sincerity and Authenticity*, Oxford: Oxford University Press.
- Wang N. (1999) Rethinking Authenticity in Tourism Experience. *Annals of Tourism Research*, vol. 26, no 2, pp. 349–370.
- Urry J. (2001) *Sociology beyond Societies: Mobilities for the Twenty-first Century*, London: Routledge.
- Urry J. (1992) The Tourist Gaze: "Revisited". *American Behavioral Scientist*, vol. 36, no 2, pp. 172–186.

Антрополог и турист: мобильность образа удэгейцев в этнографическом пространстве*

Владимир Дегтярь

Младший научный сотрудник, кафедра азиатских исследований,
Университет Палацкого в Оломоуце
Адрес: ул. Крижковского, 511/8, г. Оломоуц, Чешская Республика 77900
E-mail: v.degtar@gmail.com

В статье автор пытается проследить за образованием, трансформацией и деконструкцией образа исследуемого им объекта. Предлагается рассмотреть движение субъекта в этнографическом — некоем темпоральном и географически объединенном пространстве, которое включает в себя полевые исследования и им предшествующие презентации, разговоры с коллегами, написание текста статьи и т. д. Понятие «образы» (imaginaries) имеет центральное значение в представлении объекта и рассматривается в сравнении с практиками туриста, где образ также — ключевой элемент. Утверждается, что при деконструкции образа меняется и позиция исследователя по отношению к объекту, и само этнографическое пространство. Метод самоэтнографии и использование понятия «мобильность» как концепт-метафоры служат при этом инструментами для деконструкции образа. Основным результатом такой деконструкции становятся этические выводы об отношениях субъекта к объекту, а также сам перформативный эффект автоэтнографии. Автор пытается найти решение для установления реципрокности в отношении к объекту как некоего обязательного этического действия. Одним из возможных решений представляется использование антропологических знаний в коммодификации культуры объекта в его экономических интересах.

Ключевые слова: образы, автоэтнография, удэгейцы, этнографическое пространство, деконструкция, мобильность, реципрокность

There is nothing so strange in a strange land, as the stranger who comes to visit it.

Dennis O'Rourke. Cannibal Tours

Владимир Клавдиевич Арсеньев и по сей день считается самым известным исследователем удэгейцев XX века как среди ученых, так и самих удэгейцев. Путешественник, этнограф, писатель, а также военный востоковед он описал ассимиляционные процессы в среде удэгейцев и пришлого (в основном китайского и русского) населения. В 1920-е годы он установил географические границы, разделив «настоящих удэгейцев» и «смешанных» примерно по 44-му градусу северной широты Уссурийского края (Гапонов, 2005: 139). В так называемом *треугольнике*

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Европейского регионального фонда развития, Проект «Синофонное приграничное — взаимодействие на окраинах», CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791.

The work was supported from European Regional Development Fund Project «Sinophone Borderlands — Interaction at the Edges», CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791.

Арсеньева (рис. 1) «степень аутентичности» удэгейцев уменьшалась с юга на север: на реке Иман процессы ассимиляции были наиболее «разрушительны» для «культуры» удэгейцев, на реке Бикин — в меньшей степени, а на реке Хор жили «лесные люди» (Арсеньев, 1926: 7), про которых и был снят один из первых этнографических фильмов «Лесные люди удэгейцы» (1929).¹ «Но и там уже сказалось влияние цивилизации. В настоящее время удэгейцы сделали много заимствований у „завоевателей“, многое утратили в своем укладе жизни, которая была так же безыскусственна и проста, как просты и они сами», — писал Владимир Клавдиевич про живущих в глубине тайги севера Уссурийского края удэгейцев (Там же: 2).



Рис. 1. Треугольник Арсеньева (часть карты-схемы расселения коренных народов Уссурийского края; из фондов ОИАК; обработана автором: выделены реки Иман, Бикин, Хор)

Интересно, что и самый известный исследователь удэгейцев XXI века Анатолий Федорович Старцев (лауреат премии имени В. К. Арсеньева) более 40 лет в основном изучал именно тех, кто проживал на севере Уссурийского края, на реке Хор. До недавнего времени я считал, что причиной такого выбора была именно их наибольшая «аутентичность» из-за их изолированности и удаленности, лучшей

1. Этот фильм стал в 2014 году темой моей бакалаврской работы в Институте этнологии г. Лейпцига.

возможности уходить вглубь тайги, прячась от влияния культур «мэйнстрима», но оказалось, что причины более тривиальны: для Анатолия Федоровича там было проще договориться, лучше складывался контакт. Так что аутентичность здесь не играла решающей роли.

Антропологические исследования XX века породили романтические представления об авантюрном полевом работнике, путешествующем в отдаленные места, охотящемся за потерянными «племенами» и «благородными дикарями» (Salazar, 2013: 670). При этом предполагалось, что объект исследования — коренной житель (native) — должен быть локализован на ограниченном географическом пространстве, быть при этом неподвижным и нетронутым, но, что парадоксально, доступным для мобильного исследователя (Narayan, 1993: 676). Не говоря уже о том, что «правильный туземец» должен презентовать свою историю изучающему его антропологу без искажений и в исчерпывающем объеме (Ibid.).

Дэну МакКаннелю, одному из самых известных антропологов и социологов туризма (автору книги «Турист: новая теория праздного класса», 1976), очень рано удалось избавиться от такого романтического восприятия профессии антрополога и антиномии *примитивный — современный*. И хотя в Беркли профессор по классической этнографии рассказывал ему об «изолированных культурах», он посчитал это выдумкой (MacCannel, 2007: 138–140), ведь еще до поступления в университет он посетил коренных жителей в штате Нижняя Калифорния (Мексика), живущих там в добровольной самоизоляции последние 200 лет (Ibid.). Так что образ культуры как некоей тотальности исчез у МакКаннела благодаря этому путешествию к «объекту», т. е. мобильности «субъекта».

У автора этой статьи такого опыта не случилось, так что даже после получения степени бакалавра по этнологии у меня все еще были ожидания увидеть «настоящего удэгейца», «нетронутого цивилизацией», как это было показано почти сто лет назад в фильме «Лесные люди удэгейцы». Мое первое путешествие к «объекту» я совершил много лет спустя. Преподаватели факультета этнологии в начале 2000-х, наверное, и не представляли себе последствий, хотя было очевидно, что этнология без полевых исследований «мертва»². Видимо, можно сделать тривиальный вывод, что мобильность исследователя, даже если это просто поездка к «объекту», деконструирует уже сформированный образ объекта. Но что тогда происходит с самим туристом, который также уже имеет образ своего объекта до путешествия к нему?

Идеи о схожести туризма и этнографии часто присутствуют в исследованиях туризма, их можно сформулировать следующим образом: и там, и там не важно, какие «„другие“ на самом деле, а то, как мы их себе представляем» (Bruner, 2009: 440). Иными словами, туристический образ схож с таким этнографическим образом, который еще не был деконструирован поездкой к объекту. Ирония заключа-

2. Фраза из интервью с профессором Д. А. Функом (был фаворитом среди студентов на позицию директора Института этнологии в Лейпциге в 2013 году).

ется в том, что туризм ищет этнографическое настоящее, но то, которое этнография сама давно покинула (Ibid.: 439).

Если проанализировать современный антропологический взгляд на «объект», то можно найти в нем сходство с «туристическим»: оба концентрируются на постоянном поиске аутентичности объекта: «...если ты ищешь инаковость, ты ее найдешь» (Butcher, 2000: 52). Действительно, «новый турист», который в противоположность массовому, стремится в первую очередь понять культуру принимающей стороны, подобен антропологу-дилетанту (Ibid.), ищущему скрытые закономерности вне выставленной на показ (для туристов) «культуры».

Взгляд туриста в процессе путешествия естественно трансформируется от наивного к более реальному, и, так же как в свое время в антропологии, в туристическом дискурсе часто можно наблюдать исчезновение понятия *примитивный* (Bruner, 2009: 441). Это начинает происходить в первую очередь при непосредственной встрече туриста с «объектом». Но сегодня, как это ни парадоксально, туризму все еще нужна антропология, чтобы легитимно представлять воображаемое прошлое как этнографическое настоящее (Salazar, 2013: 691). И здесь мы неизбежно затрагиваем этические вопросы.

Подводя некоторый итог вышеизложенного, можно сказать, что образ моего объекта, который был сформирован еще до непосредственной встречи с ним, был сопоставлен с реальным и только в процессе написания статьи был осознанно деконструирован, я двигался в некоем *этнографическом пространстве* (Vasantkumar, 2017: 68), которое включало не только само поле, но и пространство вокруг него: подготовку к полевым исследованиям, презентации, разговоры с коллегами, поездку к объекту и т. д.

Таким образом, цель данной статьи — деконструировать образ исследуемого объекта, чтобы лучше понять саму специфику его образования, циркуляции и трансформации. При этом происходит инверсия метода включенного наблюдения в метод наблюдения за наблюдающим, или в так называемую самоэтнографию. Выбор такого метода, с одной стороны, очевиден, так как следует интроспективно проследить возникновение образа и его воплощение в тексте как основном продукте работы антрополога (Wolff, 1992: 339–340). Именно в тексте происходит как репрезентация, так и деконструкция объекта, который можно считать неким «публичным заявлением» исследователя о своем «объекте». Перформативность такого метода, при котором коммуникативная реальность не только описывается, но и формируется (Рогозин, 2015: 229), способствует восстановлению этики в отношении субъекта с объектом.

Мобильность, или мобильный метод, в понимании Джона Урри (Урри, 2012: 72), который относительно недавно стал осмысляться и в социальной антропологии (Salazar, Jayaram, 2016), послужит при этом некоем инструментом и одновременно концептом-метафорой в процессе декомпозиции образа. Напомним, что основная цель мобильного метода в антропологии — это двигаться вместе с исследуемым объектом в качестве включенного наблюдателя (Büscher, 2013). В данном случае

исследовательский фокус будет смещен на само движение антрополога в этнографическом пространстве, от «поля» к «письменному столу».

Статья имеет следующую структуру: вначале автор раскрывает понятия «этнографическое пространство», а также «мобильность» объекта и субъекта в нем. Затем рассмотрит понятие «образ» как центральное для понимания объекта, антропологического или туристического. Проводя аналогию между этнографическим и туристическим пространствами, автор попытается показать необходимость осознанного позиционирования ученого (в отличие от туриста) по отношению к объекту. При этом особое внимание уделяется «темпоральности», которая вынуждает ученого (или туриста) рефлексировать свое движение не только в поле, но и за его пределами. Основную часть статьи составит самоэтнографическое описание на основе эмпирических данных, где автор пытается показать формирование и деконструкцию образа объекта. В завершении будет проанализирована этическая сторона отношения автора к объекту: *репрезентация* объекта, *реципрокность* отношения ученого к исследуемому и сама *перформативность* деконструкции образа объекта.

Мобильность объекта и субъекта в этнографическом пространстве

Джеймс Клиффорд к высказыванию Клиффорда Гирца «антропологи не исследуют деревни, они исследуют в деревнях» иронично добавил, что они не исследуют не просто в деревнях, а в «больницах, лабораториях, городских кварталах, туристических отелях...», и этим он как бы бросил вызов модернистскому, или городскому, представлению о «примитивном» объекте исследования как романтическом, чистом, уязвимом, архаичном, простом и т. д. (Clifford, 1992: 98). Значит, и по поводу исследуемого нами объекта мы также можем считать, что удэгеец/ка работает в сельской школе, в городской администрации, в геологической разведке, на рыбном заводе, в магазине отечественной молодежной одежды, в торговом центре и т. д., а не находится постоянно только в своих «удаленных деревнях в тайге». Клиффорд обращает внимание на то, что «поле» и «деревня» — это не одно и то же: объект комплексен, интерактивен, и не может быть ограничен в пространстве и времени (Ibid.: 99). Объект также мобилен, и может только восприниматься статичным.

Изучая практики мобильности в рамках «мобильного поворота» Урри, антропологи исходят из оппозиции *мобильный* — *статичный* (*иммобильный*). Начиная с работ Клиффорда (1992) и Джорджа Маркуса (1995) предполагается, что антрополог и исследуемый объект находятся в движении (Vasantkumar, 2017: 68): мобилен не только исследователь, приезжающий в «статичное» поле к «иммобильному» объекту, как будто «застывшему» во времени и пространстве, мобилен и сам объект. Само движение вместе с объектом, или даже когда объект или субъект следуют друг за другом, ведет к переосмыслению не только самого объекта для исследователя, но всего процесса исследования в целом (Salazar, Elliot, Norum, 2017:

10). Представление мобильности и объекта, и субъекта кажется более близким к реальности, но для этого необходимо сначала переосмыслить саму оппозицию *мобильный — иммобильный*.

Сегодня в актуальном дискурсе социологии туризма наблюдается общая тенденция ухода от использования бинарных оппозиций. Взамен предлагается переход от «*постоянства к потоку, от бытия к действию*» (Cohen, Cohen, 2019: 4). Но в таком случае следует отказаться и от оппозиций *мобильный — иммобильный, место проживания (объекта) — путешествие к нему (субъекта) или поле — кресло исследователя*. При этом образ, который в итоге и надлежит деконструировать, часто структурирован именно из бинарных оппозиций (Salazar, 2012: 864). Вместо мышления в перечисленных оппозициях предлагается обратить внимание на само движение исследователя (и его объекта) в некоем темпоральном и географически объединенном пространстве, которое включает в себя и поле и все ему предшествующее (Vasantkumar, 2017: 70), то есть в некоем этнографическом пространстве. «Все предшествующее» полю Клиффорд называет *preterráin* (предварительный забег) и описывает этим словом не только место прибытия антрополога (например, деревню), но и дом, место работы, презентации исследований и дискуссии с коллегами, поездку к объекту, транспортные средства, разговоры с экспертами на месте исследования и т. д., то есть «все те места, по которым вы должны пройти и быть к ним причастным, только для того, чтобы добраться... до того места работы, которое вы будете называть полем» (Clifford, 1992: 100).

Важно иметь в виду все движение субъекта (и объекта) в таком этнографическом пространстве, что позволит деконструировать статичность и ограниченность объекта, понять процесс формирования образа объекта в целом. Осознанное наблюдение за этим движением позволяет лучше осмыслить такие его важные составляющие, как репрезентации объекта и этичность отношения к нему. Цикличность этого движения из *preterráin* в «поле» и обратно в конечном итоге размывает границу между этими двумя пространствами социальных практик и образует одно общее, в котором и движется исследователь (Vasantkumar, 2017: 78, 84). Это также означает, что мобильно и само поле, в которое никто никогда «не входит» дважды (Ibid.: 82). Такое движение между «полем» и «письменным столом исследователя» выглядит как эпистемологическое в различных социальных и культурных пространствах (Kaaristo, 2018: 78), представляя собой отдельный объект наблюдения для антрополога.

Формирование и движение образа объекта

Прежде чем проводить аналогии между антропологическими и туристическими практиками, стоит рассмотреть понятие «*образы*» (*imaginaries*), которое имеет центральное значение в представлении объекта у антропологов и исследователей туризма. Образы можно концептуализировать как транслируемые обществом продукты «репрезентативной сборки», которые воздействуют на воображение

людей и используются как средства для придания смысла миру (Salazar, 2012: 864). Если применить такое понимание к индустрии туризма, то воображение человека включает истории, желания, образы другого; а «репрезентативные сборки» — готовый продукт, сформированный туристическими агентами. Возможность прикоснуться к экзотическим, мифическим, воображаемым образам делает их более реальными и доступными, порождая практики, которые и являются главным двигателем туризма (Ibid.: 865). «Традиционной культуры», на которую турист приезжает посмотреть, как таковой не существует, и поэтому она должна быть для него реконструирована (Bruner, 2009: 439). Приезжая к объекту, турист уже имеет в голове сконструированный образ, который и должен быть воплощен в реальность, «обслужен» объектом.

Важно понимать, что образ циркулирует во времени и пространстве — от места его происхождения (например, от «деревни») к потребителю (туристу, ученому) и обратно. При этом он трансформируется, дополняется новыми смыслами, вырывается из исходного контекста, но непременно возвращается к месту своего происхождения (Salazar, 2012: 868). Такая циркуляция не свободна и не спонтанна, образы движутся в хорошо подготовленных «каналах» (например, в рамках стратегии туроператоров): их формирование и распространение определяется процессами, которые скорее ограничивают и исключают мобильность, чем поощряют ее (Ibid.). Работать с объектом или подготовить тур, если объект постоянно в движении, представляется крайне затруднительным. Антропологу также удобнее работать с «управляемой единицей» (Clifford, 1992: 98), изолированной культурно и пространственно. Таким образом, критический анализ таких образов провоцирует деконструкцию идеологических, политических и социокультурных стереотипов и клише, а мобильный метод является эффективным инструментом в противовес статичным процессам, конструирующим такие образы.

Туристическое и этическое пространство антрополога

Майкл Халл, будучи наиболее часто цитируемым исследователем туризма (McKercher, 2008: 1231), представил достаточно интересный взгляд по поводу аналогии туристической практики и полевого исследования. Этапы путешествия туриста *до, во время и после поездки*, по его мнению, аналогичны «путешествию» ученого в процессе «полевого исследования» в виде *подготовки к поездке в поле, во время и после*. Это: 1) принятие решений и ожидание (предвкушение); 2) путешествие к месту назначения; 3) поведение на месте назначения; 4) возвращение домой; 5) «разбор полета» (recollection) (Hall, 2011: 9–10) (рис. 2).

Ученый, как и турист, находясь в поле или в туристической поездке, может *позиционировать* себя по-разному: по отношению к чужому (к наблюдаемому); в качестве мужчины или женщины, как представителя той или иной культуры и т. д. Отличие заключается лишь в том, что ученый позиционирует себя еще и по отношению к своей роли ученого (Ibid.). Исходя из этого, Халл считает основополага-

<i>Stage</i>	<i>Stages of tourism</i>	<i>Tourist experience</i>	<i>Stages of fieldwork</i>
1	Decision making and anticipation	Decision to visit, planning and thinking about the site visit	Decision to undertake study: goals, methods (fieldwork), theoretical grounding; anticipation
2	Travel to the site	Getting to the site, reflection on home and anticipation regarding the destination	Preparation – reading, risk assessment; anticipation
3	On-site behaviour	Behaviour on site or in the destination region, reflection on destination behaviour versus home behaviour	In the field – activities, relationships
4	Return travel	Travel from the site, reflection on the destination experience and anticipation of return home	Returning from the field/ re-entry issues (for longer periods in the field)
5	Recollection	Recall, reflection and memory of site visit. Precursor to possible return visit	Recollection, ongoing reflexivity, and possible reconnections and return visit

Рис. 2. Этапы туристического опыта/этапы полевого опыта

ющим понимание, что ученый находится в разных пространствах: *темпоральном, физическом, регулятивном/политическом, этическом, социальном*, а также *теоретическом и методологическом* (Ibid.: 10).

Так, например, темпоральность присутствует как у антрополога, находящегося в поле (полевые исследования ограничены по времени), так и у туриста (время отпуска). Однако в то время как антрополог ввиду своей научной заинтересованности может (и должен) рефлексивно наблюдать себя во всем этнографическом пространстве, турист (по крайней мере осознанно) не будет этого делать в своем туристическом пространстве. Не говоря уже о том, что темпоральность в исследованиях туризма при изучении туриста как объекта является большой проблемой, так как отсутствует наблюдение «до» и «после» собственно туристической практики (Ibid.: 11).

Мы не знаем, что происходит в «поле», когда нас там нет, не можем наблюдать социальные практики, которые не являются повседневными, а единичны и уникальны. Мы также не можем участвовать в практиках, случающихся одновременно в нескольких местах. Такая *мобильность, диффузность, эпизодичность* «поля» заставляет нас двигаться в большем пространстве, нежели только темпоральном (Amit, 2000: 14–15).

Здесь стоит обратить внимание на ситуацию, когда исследователь рассматривается не только в «поле», но «до» и «после». Аналогично ученому, движущемуся

в этнографическом пространстве, турист движется в некоем туристическом пространстве. Проблемы, с которыми сталкивается турист, позиционируя себя по-разному во время своего путешествия, имеют отчетливую схожесть с проблемами, с которыми сталкивается антрополог, позиционируя себя во время полевых исследований (Hall, 2011: 16). Когда антрополог рефлексивно наблюдает за своим движением во всем этнографическом пространстве, он неизбежно сталкивается с этическими вопросами своего отношения к объекту. Аналогично ученому турист также пребывает в некоем этическом пространстве, где он взаимодействует с людьми во время своего путешествия. И если турист рефлексивно будет наблюдать за своим движением по всему туристическому пространству, его этическая позиция станет для него более осознанной.

Автоэтнография и деконструкция образа объекта

Ностальгия по прошлому

«Первый день в селе Красный Яр. Новое чувство. Первый раз вживую увидел мужчину-удэгейца. Надежда, что здесь увижу традиционное общество или хотя бы его отголоски. Удручают разговоры о вырубленных лесах, вражда общины с национальным парком. Радует, что здесь активные люди, готовые отстаивать свой лес, т. к. лес — это их жизнь» (Красный Яр, 14.11.2018).

«Прошло два дня с момента возвращения с моих первых полевых исследований. Возвращение из тайги, из деревни. От людей других, живущих другими ценностями, другим ритмом. От удэгейцев, так иногда все-таки не похожих на русских. Не похожих своей простотой, добродушием, спокойствием. Некой легкомысленностью, как бы мы это ни назвали. Но за счет этой легкомысленности, или даже было много слов о лени, удэгейцы и смогли сохранить природу, почти не изменив ее и от которой они напрямую зависят. Вместе с которой они живут. И не изменились бы совсем и остались «лесными людьми», как их еще называли в начале прошлого века, если бы не пришли китайцы, а затем мы с нашими идеями, коллективизацией, оптимизацией.

Еще есть возможность затормозить процесс исчезновения этих инопланетян, которые живут с нами? Или они уже давно обрусели, и нет больше тех лесных людей? Что осталось еще удэгейского? Охота и жизнь в отдалении от цивилизации в глубине тайги, окруженной рубками, заводами и тучами туристов-однодневок. И все же эти люди мечтают о благах цивилизации. Но без фанатизма. Даже с какой-то *легкомысленностью, божественной ленью*» (Оломоуц, 26.11.2018).

В своем полевом дневнике я описываю два разных эпизода: первый день моего прибытия в село Красный Яр³ и третий день после возвращения из «поля» в Оломоуц (Чешскую Республику). В данных полевых исследованиях я посетил в итоге четыре села компактного проживания удэгейцев в Приморском и Хабаровском крае. Вышепредставленные записи я прочитал уже после того, как основная часть статьи до этого параграфа была сформулирована. Меня поразила сконструированность и наивность описываемого образа удэгейцев: статичного, застывшего во времени, со страниц этнографических материалов начала XX века или кадров фильма «Лесные люди удэгейцы». Здесь четко прослеживается ностальгия по нетронутому другому, попытка увидеть как бы скрывающуюся индигенность и разочарование в несоответствии этому образу.

Например, «мужчина-удэгеец» показался мне тем долгожданным «настоящим удэгейцем», так как внешне был сильно схож с героями фильма «Лесные люди удэгейцы» и фотографиями из этнографических материалов по удэгейцам.

Слова «лес — это их жизнь», очевидно, порождены образом некоего «священного» отношения к лесу, от которого зависит вся жизнь удэгейца. Этот образ из прошлого, но не из реального, а построенного на исторических документах, и тем самым «невинного» в истории (Salazar, 2012: 868). Ученый, основываясь на описаниях других исследователей, представляет себе тонкий конструкт, состоящий из верований, ритуалов, родовых отношений и других практик, регулирующих взаимодействие человека и природы.

Но в сегодняшней реальности мы имеем скорее уважительное и ответственное отношение, связанное с пониманием леса как места, которое кормит местного жителя. Лес — это ресурс. И таким он мог быть и в прошлом. Доход от леса (охота, рыбалка, собирательство), а также работа, связанная с лесом как территорией (туризм, национальный парк), составляют основу экономики местного населения. Но если нет охотничьего участка или навыка охотиться, то удэгеец может пойти и в лесопромышленный сектор с более стабильным доходом. Но такая работа противоречит принципу неистощаемого природопользования, который обеспечивают традиционные виды экономики (Звиденная, Новикова, 2010: 72), и тем самым противоречит образу «священного» отношения к лесу⁴.

Деконструкция продолжается, когда приходит понимание, что принцип неистощаемого природопользования может обеспечить не только традиционные виды хозяйственной деятельности, но и туризм (Бикин — русская Амазонка). Этнографический туризм в селе Красный Яр с его выставленной на показ, препарированной для внешнего взгляда культурой (Streck, 2007: 5–6), начиная с 2000-х годов составляет значимую отрасль традиционной экономики. При этом активно

3. Пожарский район Приморского края — самое многочисленное село по числу проживающих в нем удэгейцев (см.: Перепись 2010. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-19.pdf [дата доступа: 01.03.2016]).

4. Удэгейцы делали и до сих пор делают «богомолки» внутри деревьев (углубление в дереве для импровизируемого алтаря для прошения духов об удаче) и рубка таких деревьев может иметь плохие последствия.

используется материальное и нематериальное культурное наследие коренных народов (Звиденная, Новикова, 2010: 96–97).

Переодевшись в традиционные костюмы, местные жители работают удэгейцами для обслуживания образа, привезенного с собой туристом. Так, местная жительница разыгрывает процесс родов, доставая из-под полы традиционного костюма куклу, воссоздавая обычай оставлять женщину до и после родов одну в родильном шалаше, так как в это время она считается «нечистой» (Albert, 1956: 154–155). Это шокирует своей жестокостью и негуманностью и, конечно, будоражит воображение туриста.

Есть некий парадокс в том, когда моя ностальгия по «книжному» образу удэгейцев сталкивается с репрезентацией себя объектом в соответствии с таким (туристическим) образом. Но если турист зачастую удовлетворен театральным представлением и постановкой (Bruner, 2009: 438), то для этнолога-дилетанта такой симулякр приносит только разочарование.

Если коротко продолжить деконструкцию моих вышеприведенных полевых записей, то слова «людей других, живущих другими ценностями», скорее в общем можно обозначить как «деревенский образ жизни», черты которых можно найти и в соседних деревнях без преобладания коренного населения. «Легкомысленность» и «лень» скорее являются стереотипом или даже гетеротипом между русским населением и представителями КМНС. Нечто похожее на лень ставилось в противовес активному образу русского охотника, добывавшего в разы больше, чем удэгеец, который всегда брал столько, сколько нужно его семье и близким. При этом лень обретает позитивный смысл. Такая «божественная» лень скорее даже является неким позиционированием индигенности в контексте современных течений культурной ревалитизации у КМНС постсоветского пространства (Schwetzter, Povoroznyuk, 2019: 239): «...щас он на все согласен <...> раньше он удэгеец был...», — говорит одна из активных представительниц общины «Тигр» (Красный Яр) про своего мужа, имея в виду работу с туристами и готовность своего мужа «исполнять их волю»⁵.

Я как турист

Последующие фрагменты моих полевых записей также отдают ностальгией, романтизмом, желанием спасти прошлое, вернуться в него. Это скорее записи туриста, «нового туриста» (Butcher, 2000: 160). В противоположность массовому «новый турист» надеется в своем путешествии, погружаясь в другие культуры, найти самого себя. Он немного похож на антрополога-дилетанта, новичка (Ibid.), и таким дилетантом я, собственно, и являлся — туристом, который ехал на встречу со своим заветным образом, ведь это было мое первое полевое исследование. Может, я как антрополог и был *серьезным* (serious tourist), *глубинным* (in depth tourist)

5. Интервью, Красный Яр, 02.12.2019.

или *утонченным туристом* (sophisticated tourist) (Ibid.: 161), ведь мой образ был кропотливо добыт из достаточно труднодоступных источников (архивы, разговоры со знатоками удэгейцев, из фильма «Лесные люди удэхайцы», который не был в свободном доступе еще несколько лет назад и т. д.).

Я дистанцировал себя от *туристов-однодневок*, ведь с точки зрения этнографии туризм — это внебрачный ребенок, позорное упрощение, самозванец (Bruner, 2009: 439). Туризм — это посягательство на авторитет и привилегированное положение этнографов (Ibid.). Но здесь в позиционировании себя по отношению к объекту скрывается некий парадокс: с одной стороны, турист репрезентирует в некой форме то, что антропологи идеализируют как свою профессиональную деятельность, но с другой — и то, чем они никогда не станут (Baptista, 2017: 20). Антрополог же позиционирует себя в отношении к объекту, в отличие от туриста, как ученого. Самосознание и следование парадигме саморефлексии во взгляде на других вводит в фокус наблюдения также вопросы этики отношений субъекта с объектом. А вот для туриста это не является задачей и, соответственно, деконструкция образа объекта не происходит в достаточной степени (Galani-Moutafi, 2000: 203).

Иммобильность объекта

Отправляясь в «поле», я еду, чтобы посетить места компактного проживания коренных жителей. В последний раз я специально провел больше времени в одном селе в надежде «сильнее углубиться» в «поле». У меня неосознанно сложилось желание видеть удэгейцев, живущих всю жизнь на одном месте, когда я оказывался в местах их проживания. Так, например, просматривая одно из видеointervью с жителем села Красный Яр, я заметил, что подталкивал его сказать, что он всю жизнь прожил в этом месте: «Ну ты просто скажи, с какого года ты здесь живешь <...> что ты все время здесь живешь» (Интервью, Красный Яр, ноябрь 2018).

Если отрефлексировать понимание, что объект мобилен, то надо сказать, что это мне скорее не нравилось, не совсем подходило, поскольку удобнее «работать» с «неподвижным» объектом. Если посмотреть на такую позицию с точки зрения демонстрации власти, то мобильность (полукочевой образ жизни) не приветствовалась и государством, так как контроль в таком случае сильно затрудняется. Компактное проживание (коллективизация 1930-х) и зависимость от государственной поддержки (модернизация 1950–1960-х) приветствовались больше, ведь контроль в таком случае реализовать намного проще (Sasaki, 2010: 194). И если посмотреть на мобильность объекта с точки зрения индустрии туризма, то мобильность туристического объекта также не должна приветствоваться: планировать туры, если туристическая цель постоянно в движении, представляется затруднительным.

В реальности многие удэгейцы (в основном молодежь) уезжали в города из сёл компактного проживания на учебу или работу и часто оставались там. Впрочем, есть и обратная мобильность: люди среднего возраста (35–40 лет), по тем или

иным причинам не ужившиеся в городах, возвращаются обратно в сёла. Пожилые люди, имеющие родственников, возвращаются, нуждаясь в помощи на старости лет.

Ошибочно также было мое убеждение, что пищевая безопасность обеспечена за счет традиционных секторов экономики, но охотиться, рыбачить или разбираться в дикоросах умеют или хотят не все, и охотник есть не в каждой семье. Экологический аспект проживания удаленно от муниципальных центров также не является решающим.

Объект как полноправный исследователь

Молодая (22 года) городская жительница (один из родителей удэгеец) имеет достаточно трезвое представление о живущих «там в тайге» людях. Она четко разделяет образ «лесного человека», построенного из книжек и иллюстраций (1), практически аналогичный моему собственному, который я неосознанно надеялся встретить в «поле», и образ современного (реального) представителя КМНС (2). Такой «трезвый» взгляд связан с тем, что информант провела часть своей юности в одном из сёл компактного проживания удэгейцев. Иными словами, изначально образ был получен именно в месте его происхождения, а не подхвачен в далекой точке циркуляции этого образа, оторванным от реального контекста.

1) «<...> это человек с иллюстраций, человек, описанный на страницах книги, *Человек-история*. Простодушный, живущий в своем маленьком мирке под названием Тайга, поклоняющийся духам леса и воды. Неизменно это человек в национальном костюме, расшитом замысловатыми узорами, ежедневно борющийся за выживание, при этом не забывая благодарить природу за подаренную жизнь, пищу и крышу над головой <...>».

2) «<...> для меня они такие же люди, потому что я выросла бок о бок с ними <...> Для меня это самая обычная деревня, с небольшим условием, что там живет часть коренного населения. Точно так же в этой деревне пьют, работают, охотятся и рыбачат, как в других деревнях <...>» (Интервью через онлайн-приложение Instagram; Оломоуц — Хабаровск, 05.2020).

Но если бы информант задалась целью рефлексивно осмыслить оба образа (реальный и идеализированный) и свою позицию по отношению к ним, то она хорошо подошла бы на роль *полноправного исследователя*. Являясь членом группы, которую маргинализируют и экзотизируют другие, она могла бы интерпретировать свою культуру для них, при этом рефлексивно наблюдать за собственной позицией в группе и по отношению к другим (Ellis, Vochner, 2000: 740). Здесь имел бы место и метод автобиографии, который относится к интимным техникам воспроизводства идентичности, попыткам понять себя и свое окружение (Рогозин, 2015: 229). Но прежде всего был бы интересен ее дорефлексивный опыт: «жизненный

мир», «конструкт первого порядка», с помощью которых она, как и другие люди совместно с другими, конструирует окружающий мир как «само собой разумеющийся, непроблематичный» (Готлиб, 2004: 7).

«<...> до 12 лет не осознавала. А потом пришло понимание того, насколько мои корни и происхождение делают меня уникальной, что ли, и насколько мне это дорого <...> просто как раз в это время в школе стали преподавать историю и литературу Дальнего Востока, и меня затащило <...> они относятся к тебе как к второстепенному человеку, невзирая на то, что по факту живут на нашей земле <...> мы, как индейцы в Америке <...> здесь ключевые слова «узкоглазый», «тупорылый», «лицо-сковородка» <...> По мне не особо видно, что я не русская, но когда узнают о моем происхождении, резко меняется отношение <...> У всех людей поразному. Кто-то восхищается, кто-то начинает поддевать» (Интервью через онлайн-приложение Instagram; Оломоуц — Хабаровск, 06.03.2019).

Здесь информантом делается акцент на *уникальности* как части некоей репрезентации себя. Речь идет скорее о личном восприятии, нежели некоей культурной реватизации или артикуляции индигенности. «Я почти каждый день ощущаю *уникальность* своего народа <...> потому что это так и есть <...> я точно такая же часть истории <...> часть этого народа <...>» (Интервью через онлайн-приложение Instagram; Оломоуц — Хабаровск, 05.2020). То есть образ *Человека-истории*, используя слова информанта, как бы вплетен в одну из идентичностей и в позиционирование себя в отношении титульного и коренного населения. Эта артикуляция выражается и физически, в данном случае в форме красивой татуировки: удэгеец в праздничном охотничьем костюме с копьём в руках оборачивается на крадущегося сзади тигра⁶.

Так же у информанта есть желание поехать в «самое раскрученное» удэгейское село Красный Яр, имея при этом интерес, который выходит за рамки туристического, связанного с поиском себя, своих корней, и в какой-то степени схожий с мотивом *нового туриста*: «Ну мне чисто самой интересно узнать историю <...> личный интерес, не туристический, это всегда как-то цепляет, потому что это твои корни <...> минимально с исторической точки зрения <...>» (Хабаровск, 18.11.2019).

Итак, здесь интерес, так же как и у меня, больше связан с некими экзистенциальными вопросами. Его причины могут скрываться в отчуждающей фрагментарности модерна и поиске некоей тотальности (MacCannel, 1999: 20), что зачастую служит двигателем туристических путешествий. Или, как в случае представителей индигенных групп, это может быть унификация и гомогенизация традиционной культуры (Picard, 2007: 178).

6. Мотив взят из удэгейской сказки «Семь страхов», художник Г. Д. Павлишин.

Оправдание уникальности

Между учеными — собирателями фольклора и информантами в финских сельских районах конца XIX века существовала некая взаимность: «хранители культуры» хоть порой и относились негативно к приезжим «ученым», но в большинстве своем были рады поделиться своими знаниями, понимая, что скоро все изменится (Österlund-Pötzsch, 2019: 38). Малочисленность удэгейцев (1496 чел.⁷) и практическое исчезновение их языка (не более 5 носителей в очень почтенном возрасте) придавали значимость исследуемому мной объекту, укрепляли образ целостности, иммобильности и уникальности.

Во время подготовки отчетов я неосознанно пытался отметить важность удаленности посещаемых мест, длительность и труднодоступность дороги, затраченное на исследование время. Это должно было подчеркнуть уникальность моих исследований, придать им смысл. Ощущение обладания некими уникальными знаниями или монополией на культурно-антропологическое изучение (Щепанская, 2003: 169) удэгейцев⁸ способствовали представлению меня как профессионала. Повторение или проверка моих исследований в дальнейшем представлялись мне затруднительными.

Также было желание посетить разные места проживания удэгейцев, чтобы классифицировать и собрать как можно больше разнообразного материала и иметь возможность сравнивать разные группы. Моя мобильность представлялась мне как оправдание качества моего исследования.

Объект движется вместе с субъектом

Однажды, во время возвращения из села Красный Яр обратно в Хабаровск на автомобиле, ко мне присоединились два местных жителя С. и Г. По дороге нам удалось попасть в музей одного маленького поселения, где имелся «удэгейский уголок». Я с гордостью сообщил директору музея, что везу с собой как некий редкий объект «двух удэгейцев». В свое время С. занимался охотой, и поэтому смог прояснить директору музея предназначение некоторых предметов традиционной удэгейской культуры. Я был в восторге от того, что музейные экспонаты могут быть объяснены их производителями и «древние знания» до сих пор живы в памяти представителей этой культуры. Также мне понравилось, что я поспособствовал улучшению коллекции музея, таким образом, как бы подтверждая важность всего происходящего.

Но как выяснилось позже со слов Г., знания С. не отражали его особую индигенность, а были профессиональным навыком: «Он просто давно работает в этой

7. Перепись 2010. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-04-19.pdf (дата доступа: 01.03.2016).

8. На этот момент мне не был известен ни один активный исследователь удэгейцев (публикующий и проводящий полевые исследования).

сфере (показывать и объяснять туристам предметы удэгейского быта и промысла его работа), и поэтому хорошо разбирается» (Интервью через онлайн-приложение WhatsApp; Оломоуц — Красный Яр, 21.03.2020).

Дискретность переходит в линейность

Британский антрополог Тим Ингольд в некоторых своих иконоборческих эссе ломает дихотомию сходства и различий, чтобы показать, что предмет изучения антропологии состоит не из полярностей, как *пространство — место*, а скорее, из *движения-вдоль* путей или *странствия-вдоль* линии жизни (Ingold, 2011: 442). В этой метафоре видится критика модерна, причина, по которой в том числе турист, пытаясь скрыться от отчуждающей фрагментарности модерна («точки»), устремляется к своим целям в поисках некой тотальности (линии). Дискретность модерна как бы компенсируется некой линейностью, непрерывностью в движении (Ingold, 2007: 75). Так, например, следуя логике инверсии модерна (который превратил линии в точки), Ингольд видит *дом* (жилище) не как место (точку), где заканчиваются пути людей, а лишь как узел такого пересечения, а линия их жизни, вдоль которой они странствуют, проходит сквозь дом (Ingold, 2011: 443).

Ингольд представляет людей, часто находящихся в одном месте, не *местными жителями*, а скорее просто населяющими это место людьми (Ibid.: 444). Следуя этому образу, можно так описать удэгейских охотников: они *населяют* село Красный Яр, пережидая время от окончания сезона до его начала, а оказавшись на охоте, не имеют определенного места жительства. Двигаясь от зимовья до зимовья, они живут в это время везде (в тайге) в постоянном движении. Такой взгляд меняет представление о дискретности места проживания объекта и его статичности, считая его мобильным (движущимся вдоль определенного пути). «Он (про своего дедушку) приезжал на Яр, чтобы закупиться продуктами, и в основном прожил в верховьях Бикина на своем участке» (Житель села Красный Яр, 10.11.2019).

Можно представить дороги, ведущие из центра (например, Хабаровск) на периферию (например, Красный Яр), некими линиями, вдоль которых перемещаются удэгейцы. Так как в принципе построения дорог в постсоветском пространстве до сих пор сохраняется централизм⁹ (Kuklina, Holland, 2017: 5), то представить себе удаленные села как места, где заканчиваются все дороги, достаточно просто. Но следуя логике Ингольда, можно заметить, что пути, которые на первый взгляд заканчиваются в селе, на самом деле идут дальше в виде разнообразных троп, русел рек, бураников, по которым удэгейцы движутся дальше. Их пути не заканчиваются в одной точке (Красный Яр), а просто образуют там узел.

9. Центр соединен с периферией на административном уровне, а дорожных сообщений между разными административными округами (например, Хабаровским и Приморским краями) не существует или они не развиты.

Объективация объекта

«Однажды мне удалось взять с собой в музей одного маленького села, где был „удэгейский уголок“, двух удэгейцев разных возрастов, постоянно проживающих в удаленном селе Красный Яр Приморского края».

Такое предложение я и вправду написал в одном из черновиков данной статьи (*объект движется вместе с субъектом*), и только после комментария коллеги, прочитавшей этот текст, мне стало ясно, насколько я «объективирую» свой объект. Такой стиль письма я скорее всего позаимствовал из этнографической литературы дореволюционного периода. Так, С. Н. Браиловский, один из первых исследователей удэгейцев (Старцев, 1996: 8–9), с грустью признает, что, возвращаясь от удэгейцев на «манзовской шампунке», битком набитой разными объектами материальной культуры аборигенов, терпит крушение и теряет при этом самое, по его словам, ценное: «Целый, еще не разложившийся труп семидесятилетней тазачки» (Браиловский, 1901: 8). Браиловскому все-таки не «удалось взять с собой» добытый с большим трудом полевой объект для дальнейшей его публичной демонстрации в музее Русского географического общества в Санкт-Петербурге.

Так как речь здесь идет уже о готовом продукте, произведенном антропологом — его тексте, то репрезентация объекта занимает в нем одну из центральных позиций. Трудности возникают, уже начиная с выбора текста как медиума для посредничества между наблюдателем и наблюдаемым, объектом и субъектом (Wolff, 1992: 339–340). Оправданность текста для трансляции этой репрезентации есть производная проблема от выбора (оп)позиций в целом: *объект — субъект* или *наблюдатель — наблюдаемый*. Налаженные отношения между наблюдателем и наблюдаемым не означают автоматически «хорошие» отношения между автором и его текстом. Уже после возвращения из поля, когда начинают сортироваться записи и писаться отчеты, даже у людей с трезвым и аналитическим взглядом появляются проблемы в процессе написания текста (Ibid.). Эти проблемы возникают не в последнюю очередь в результате неосознанного позиционирования себя в исследовательском этнографическом пространстве. В тексте находится одна из точек сборки образа объекта в определенном месте этого пространства. Только после презентации текста коллегам «вне поля» я осознал, насколько я деформирую реальную личность через написание научного текста. Эта презентация, рефлексия и корректировка формулировок составляют эпистемологию движения исследователя в этнографическом пространстве.

Возникновение и циркуляция образа

С самого начала моего пребывания в «поле» на Дальнем Востоке я искал *китайский аспект*, который мог бы быть увязан с удэгейцами, так как проект, в котором я работаю, формально требовал этого. Я постоянно был в поиске чего-то «китай-

ского», хотя уже в первом разговоре с А. Ф. Старцевым мне дали понять, что все «китайское» в Уссурийском крае закончилось с их депортацией в 1937–1938 годах. Это накладывало некий теоретический отпечаток на мое восприятие «поля»: *меня зачастую разочаровывало, а иногда и раздражало, что мне не рассказывают о связи с «китайским»*. Другими словами, я находился в регулятивно-политическом пространстве, следуя неписаным директивам моего работодателя (проекта), в чьих интересах я занимался исследованием (Hall, 2011: 17). Так возник образ «удэгейской деревни в Китае».

Во время моих полевых поездок ко мне поступала разнообразная информация о некой удэгейской деревне в Китае, месте, где компактно проживают от десятка до нескольких сотен удэгейцев (от разных информантов шли разные сведения о характеристике, культуре и инфраструктуре поселения). Часто звучало описание современных, вместо старых деревенских домов, которые строятся и передаются в пользование всем «удэгейцам». Это могло объясняться программами поддержки коренных народов в Китае и дополняло образ «удэгейской деревней». Но сам термин «деревня» рисовал селение, более близкое по своему устройству и виду к русским деревням, хотя и с китайским уклоном, — небольшие дома-мазанки, огороды, низкие заборы, отдельно стоящие магазины, «китайские закусовые» и т. д.

Все это мне казалось невероятным, а возможная поездка в эту деревню — настоящим приключением. Начался долгий поиск сведений (циркуляция образа): на конференции в Оломоуце мне подсказали обратиться к работам Юха Янхуненна, так я впервые прочитал об удэгейцах в Китае в его научной статье (Jahnhunnen, 1999: 249). Дальше я вышел на другого лингвиста и, списавшись с ним, получил первое подтверждение о том, что поиски удэгейцев в Китае «не должны составить большого труда» (Hözl, 2018).

Образ конструировался из научного дискурса, влияния тематической рамки проекта, самих удэгейцев, которые имели все основания полагать, что по ту сторону границы тоже живут удэгейцы. Все знали, что удэгейцы сплавлялись вниз по Бикину, Хору, Иману в Уссури для торговли с китайцами и позже с русскими, многие, имевшие в семье китайцев, во время депортации и закрытия границ ушли в Китай, некоторые китайцы, наоборот, остались в России. Сегодня удэгейцы ездят в Китай для покупки электротоваров и текстильной продукции, посещения дантиста и т. д. У удэгейцев оказались разные образы этой деревни в Китае — от весьма трезвых до сильно оптимистических: «Хорошо было бы познакомиться <...> какие там фамилии? <...> не сам Китай интересен, а селение удэгейцев <...> много удэгейцев уехало <...> мама рассказывала, не хотели уезжать <...> китайцы говорили на удэгейском <...> брат хотел бы посмотреть, как там охотятся <...>» (удэгейка села Уни, Хабаровский край, 23.11.2019, Хабаровск).

Со временем в разговорах с коллегой О. Звиденной становилось ясно, что «нет там никаких удэгейцев», а скорее всего это явление коммодификации индигенной культуры в Китае (Bruckermann, 2016), и некая «удэгейская деревня» есть продукт

развития, начиная с 2000-х годов, деревенского туризма в Северо-Восточном Китае. В этом было некоторое разочарование, хотя образ продолжал трансформироваться под влиянием новых данных. И лишь после поездки туда мне стал понятен весь абсурд образа «удэгейцы в Китае».

Когда мы прибыли на место долгожданных поисков, нам объявили, что деревня закрыта на ремонт (!), туда невозможно поехать, и вообще мы там ничего не увидим. Это было странно, так как жизнь, хоть какая-то должна же существовать и там?! И все-таки после решения некоторых финансовых вопросов нам удалось попасть в это место, и мы увидели, что «деревней» здесь называли музейно-развлекательный комплекс. Это была образцово-показательная этническая деревня для туристов (Березницкий, 2013: 116–118) с реконструкцией нанайской культуры, где представители хэджэ (китайские нанайцы) работают летом «аборигенами», зимой деревня закрыта.

Итак, поездка (мобильность) к месту возникновения образа декомпозировала его. В циркуляцию образа теперь добавились мои рассказы о «китайском симулякре», но насколько это отразится на образе тех, кто там еще не был, сложно сказать.

Слияние образов

Как уже упоминалось выше, фильм «Лесные люди удэгейцы» послужил началом моего исследования удэгейцев и первым источником формирования их образа. Ирония заключается в том, что сам фильм жителям села Красный Яр был показан относительно недавно, в 2010 году, моей коллегой и знатоком удэгейской культуры О. Звиденной. Меня заинтересовала реакция людей, всматривающихся в своих «предков», ведь на экране «жили» те удэгейцы, по которым у меня и возникла ностальгия и был выстроен экзотический образ «лесного человека».

По словам Звиденной, фильм не вызвал сильного удивления или какой-либо самоидентификации смотрящих удэгейцев с показываемыми. Увиденное, скорее, воспринималось как обычный исторический фильм. Некоторые сцены вызывали интерес и шуточные комментарии, как, например, роль женщины, которая должна была приносить добытого в лесу зверя в стойбище. Но у зрителей нельзя было наблюдать чувство «катарсиса» или ностальгию по «жизни предков». Катарсис скорее случился бы у меня, если бы я присутствовал на этом показе, ведь конструирование образа удэгейца началось именно с этого фильма (рис. 3).

Более интересно, что автор этой статьи имел в первоначальных планах снять «вторую часть» этого фильма, но его опередили — в 2015 году режиссер Иван Головнев¹⁰ снял фильм «Страна Удэхе». И если бы я не занялся рефлексивной работой над образом своего объекта исследования, то, возможно, фильм был бы снят именно так, как это сделал Головнев. Режиссер, основываясь на неизданных днев-

10. Кандидат исторических наук Института этнологии и антропологии РАН, г. Москва.



Рис. 3. Показ фильма «Лесные люди удэгейцы» жителям села Красный Яр, 2010

никах Арсеньева и следуя некоему «методу Литвинова», пытается визуализировать в «Стране Удэхе» те аспекты удэгейской культуры, которые не вошли в фильм 1926 года. Другими словами, фильм Головнева пытается воспроизвести образ, основывающийся на записях Арсеньева и «первой части» («Лесные люди удэгейцы»): «Перед нашей киногруппой <...> стояла специфическая задача — показать в фильме анимизм (сложное явление духовной культуры, лишь в малой доле манифестирующееся внешне, а в основном скрытое) в сознании и подсознании носителей культуры» (Головнев, 2016: 95).

Показательно, что Головнев, так же как и Звиденная, показал этот фильм в Красном Яру, даже в том же месте (школе), но на несколько лет позже. Режиссер даже использовал в своем фильме первый показ как «сеанс связи с прошлым»:

Одним из связующих мостов нашего фильма «Страна Удэхе» с фильмом Литвинова стала киноцитата «экран на экране» — показ «Лесных людей» в школе удэгейского национального села Красный Яр Приморского края. В начале просмотра непривычного для современных детей немного черно-белого фильма экранное действие вызывало у школьников в основном смех, но постепенно фильм словно гипнотизировал аудиторию, удэгейские дети досматривали «Лесных людей» молча, погружившись в размышления. Участники этого сеанса связи с прошлым — потомки экранных лесных людей — выражали свою заинтересованность воспроизведенными в фильме культурными традициями удэгейского народа. К слову, среди зрителей показа был и праправнук Сунця — Иван Геонка. Данная сцена является экспозицией фильма: в качестве места действия заявляется удэгейский поселок как место компактного проживания (после укрупнения традиционных стойбищ в советский период) главных героев фильма — современных удэгейцев. (Головнев, 2016: 95)

Получается, что Головнев пытался связать оба образа: современного удэгейца и удэгейца с экрана фильма Литвинова. При описании в своей статье просмотра фильма режиссер также акцентирует внимание на том, что фильм произвел сильное впечатление на зрителей («гипнотизировал»), что противоречит наблюдениям

Звиденной: «К слову, Иван Геонка видел этот фильм уже тысячу раз <...> я показывала этот фильм охотникам еще в 2007 году и оставила копию Ивану <...> удэгейские дети, может, и нанайские, могли погрузиться и в телефоны, а не в связь с прошлым» (О. Звиденная, 04.2020).

Этическое пространство исследователя

Как это уже было отмечено выше, текст — это тот медиум, который в итоге использует ученый для репрезентации объекта и в целом отношений субъекта–объекта или наблюдателя–наблюдаемого. Редукция отношения к исследуемым индивидуумам к позиционированию *себя* как субъекта и *их* как объекта приводит не только к проблемам в написании самого текста, но и к возникновению более общих этических вопросов. Можно ли видеть в объекте только источник данных, который использует ученый в интересах своей профессиональной деятельности (Scheyvens, Leslie, 2000: 128–129)? Можем ли мы вообще услышать то, что говорят нам «другие» в такой манере, которая не колонизирует их, не воспроизводит доминирующие модели отношения (England, 1994: 81)?

С одной стороны, мы производим слишком много слов, чтобы описать то, что существует и так без наших текстов (Bouchetoux, 2014: 41), но с другой, чтобы существовал наш образ, необходимо дискурсивно создать его в тексте.

Веселье и наслаждение, которые сопровождают туристический отпуск, могут противоречить моральным предписаниям, регулирующим обыденную жизнь (Cohen, Cohen, 2019: 11), как для объекта, так и для субъекта. Аналогично туристу, исследователь также может потеряться в методологическом, регулятивном и этическом пространстве, находясь не только непосредственно в «поле», но и в процессе письма. Таким образом, важно наблюдать свои позиции по отношению к объекту во всем этнографическом пространстве и максимально декомпозировать образ объекта через мобильные практики и рефлексивный анализ всего опыта во время движения в нем.

Слишком часто антропологи интеллектуально далеки от людей, которых они изучают, им не удается разработать совместную форму исследования, которая была бы полезна и им, и их «информантам» (Bouchetoux, 2014: 38). Исследователь должен быть ответственным, рефлексивным, а исследование стать двусторонним процессом взаимодействия (Scheyvens, Leslie, 2000: 128–129), поскольку кроме проблемы репрезентации есть проблема реципрокности отношений: что дает ученый объекту или он только берет у него (Bouchetoux, 2014: 38)?

Этнография или антропология старой школы, которая объективирует, гомогенизирует, материализует и т. д. людей, помогает поддерживать туристические образы, придавая им легитимность (Salazar, 2013: 673). Может ли реципрокность заключаться в использовании знания антрополога при создании туристического образа в экономических целях объекта? Когда я брал интервью у представителей крупных турфирм Хабаровска с направлением по этнотуризму, я делился с ними

рассказами о ситуации Красного Яра и его туристическими практиками. Позже я узнал о планируемой фотосессии в Красном Яру для подготовки турпрограммы уже после того, как одна из этих турфирм связалась с жителями села благодаря моей «рекламе». Иными словами, турфирма хотела сначала создать образ, который подходит для коммодификации и будет в итоге обслуживаться местными жителями, — можно ли это назвать вкладом в реципрокность моих отношений к субъекту?

Моя коллега Звиденная создает туристический маршрут «По следам Арсеньева», в котором на основе изучения архивных материалов пытается воссоздать образ и маршруты известного путешественника, чтобы туристы могли окунуться в мир этнографических приключений. «Антропологический туризм», когда в специальных турах можно попробовать себя в роли антрополога или посетить места полевых исследований известных антропологов, широко практикуется уже сегодня (Salazar, 2013: 671). Использование антропологического знания в интересах объекта оправдывается субъектом во вкладе в реципрокность их отношений.

Заключение

Автор данной статьи попытался рефлексивно проследить за своим движением в этнографическом пространстве с целью деконструкции образа объекта как статичного, застывшего во времени, источника данных. Приведенные примеры из полевых исследований, которые охватывают не только места, где обычно движется объект, но и сам исследователь (автор), были приведены с целью демонстрации процесса возникновения самого образа, его циркуляции и трансформации (деконструкции).

Аналогия исследователя и туриста продемонстрировала некоторую схожесть их движения и взглядов. Основным отличием исследователя от туриста представляется осознание первым своей профессиональной позиции, которая и заставляет рефлексивно работать над своим отношением с объектом.

Проблематика написания текста и в целом этические вопросы репрезентации объекта выступают основными в переосмыслении отношения к объекту. Реципрокность отношений, как наиболее этическое выстраивание взаимоотношений с объектом, предполагает как один из вариантов содействие в коммодификации «культуры» объекта в его экономических интересах.

Но сам по себе процесс формулирования рефлексивных примеров из личной практики является перформативным. Возникают вопросы к тексту как медиуму в трансляции отношений объекта и субъекта. Дихотомии наблюдатель–наблюдаемый, объект–субъект представляются ограничивающими саму мобильность объекта, так как передают только темпоральные образы объекта, подходящие для формулировки научного текста.

Стоит также отметить, что изложенные в статье идеи не являются абсолютно новым взглядом на проблемы этических вопросов в антропологических исследова-

дованиях. Относительно новым можно считать фокус на саму мобильность исследователя в этнографическом пространстве, что тем самым дополняет дискурс о мобильном методе.

Литература

- Арсеньев В. К. (1926). Лесные люди удэгейцы. Владивосток: Книжное Дело.
- Брезницкий С. В. (2013). Полевые исследования культуры хэджэ в провинции Хэйлунцзян (КНР) в сентябре 2012 г. // Федорова Е. Г. (ред.). Материалы полевых исследований МАЭ РАН. Вып. 13. СПб.: МАЭ РАН. С. 100–121.
- Браиловский С. Н. (1898). Тазы или уди́һэ (опыт этнографического исследования). Владивосток.
- Гапонов В. В. (2005). История таежного природопользования Южно-Уссурийского региона. Владивосток.
- Готлиб А. С. (2004). Автоэтнография (разговор с самой собой в двух регистрах) // Социология: 4М. № 18. С. 5–16.
- Головнев И. А. (2016). «Лесные люди» — феномен советского этнографического кино // Этнографическое обозрение. № 2. С. 83–98.
- Звиденная О. О., Новикова Н. И. (2010). Удэгейцы: охотники и собиратели реки Бикин (Этнологическая экспертиза 2010 года). М.: Стратегия, ИП Андрей Яковлев.
- Рогозин Д. М. (2015). Как работает автоэтнография? // Социологическое обозрение. Т. 14. № 1. С. 224–273.
- Старцев А. Ф. (1996). Материальная культура удэгейцев (вторая половина XIX — XX в.). Владивосток: ДВО РАН.
- Урри Дж. (2012). Мобильности / Пер. с англ. А. В. Лазарева. М.: Практикс.
- Щепанская Т. Б. (2003). Полевик: фигура и деятельность этнографа в экспедиционном фольклоре (опыты автоэтнографии) // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 6. № 2. С. 180–194.
- Albert F. (1956). Die Waldmenschen Udehe. Forschungsreisen im Amur- und Ussurigeniet. Darmstadt: C.W. Leske.
- Amit V. (ed.) (2000). Introduction: Constructing the Field // Amit V. (ed.). Constructing the Field: Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World. London: Routledge. P. 1–18.
- Bruckermann C. (2016). Trading on Tradition: Tourism, Ritual, and Capitalism in a Chinese Village // Modern China. Vol. 42. № 2. P. 188–224.
- Baptista J. A. (2017). The Good Holiday: Development, Tourism and the Politics of Benevolence in Mozambique. New York: Berghahn Books.
- Büscher M. (2013). Mobile Methods. Mobile Lives Forum: Forum Vies Mobiles: preparing the mobility transition. URL: <http://en.forumviesmobiles.org/marks/mobile-methods-697> (дата доступа: 04.04.2020).
- Bouchetoux F. (2014). Writing Anthropology: A Call for Uninhibited Methods. New York: Palgrave Macmillan.

- Bruner E. M.* (2009). Of Cannibals, Tourists, and Ethnographers // *Cultural Anthropology*. Vol. 4. № 4. P. 438–445.
- Butcher J.* (2000). The «New Tourist» as Anthropologist // *Robinson M.* (ed.). *Motivations, Behaviour and Tourist Types: Reflections in International Tourism*. Sunderland: Centre for Travel and Tourism in association with Business Education. P. 45–54.
- Cohen S. A., Cohen E.* (2019). New Directions in the Sociology of Tourism // *Current Issues in Tourism*. Vol. 22. № 2. P. 153–172.
- Clifford J.* (1992). Travelling Cultures // *Grossberg L., Nelson C., Treichler P. A.* (eds.). *Cultural Studies*. New York: Routledge. P. 96–116.
- Ellis C., Bochner A. P.* (2000). Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity: Researcher as Subject // *Denzin N. K., Lincoln Y. S.* (eds.). *Handbook of Qualitative Research*. London: Sage Publications. P. 733–768.
- England K.* (1994). Getting Personal: Reflexivity, Positionality, and Feminist Research // *The Professional Geographer*. Vol. 46. № 1. P. 80–89.
- Elliot A., Norum R., Salazar N. B.* (eds.). (2017). *Methodologies of Mobility: Ethnography and Experiment*. Oxford: Berghahn Books.
- Galani-Moutafi V.* (2000). The Self and the Other: Traveler, Ethnographer, Tourist // *Annals of Tourism Research*. Vol. 27. № 1. P. 203–224.
- Hall C. M.* (2011). Fieldwork in Tourism/Touring Fields: Where Does Tourism End and Fieldwork Begin? // *Hall C. M.* (ed.). *Fieldwork in Tourism: Methods, Issues and Reflections*. New York: Routledge. P. 7–19.
- Hölzl A.* (2018). Udi, Udihe and the Language(s) of the Kyakala // *International Journal of Diachronic Linguistics and Linguistic Reconstruction*. Vol. 15. P. 111–146.
- Ingold T.* (2011). *Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description*. New York: Routledge.
- Ingold T.* (2007). *Lines: A Brief History*. New York: Routledge.
- Janhunen J., Yuguang F., Shuyun G.* (1999). The Kyakala in China: History and Present Situation // *Journal de la société finno-ougrienne*. Vol. 88. P. 248–252.
- Kaaristo M.* (2018). Engaging with the Hosts and Guests: Some Methodological Reflections on the Anthropology of Tourism // *Owsianowska S., Banaszkiwicz M.* (eds.). *Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe: Bridging Worlds*. Lanham: Lexington Books. P. 71–88.
- Kuklina V., Holland E. C.* (2018). The Roads of the Sayan Mountains: Theorizing Remoteness in Eastern Siberia // *Geoforum*. Vol. 88. № 5. P. 36–44.
- Marcus G. E.* (1995). Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography // *Annual Review of Anthropology*. Vol. 24. P. 95–117.
- McKercher B.* (2008). A Citation Analysis of Tourism Scholars // *Tourism Management*. Vol. 29. Amsterdam: Elsevier. P. 1226–1232.
- MacCannell D.* (2007). Anthropology for All the Wrong Reasons // *Nash D.* (ed.). *The Study of Tourism Anthropological and Sociological Beginnings*. Amsterdam: Elsevier. P. 137–154.

- MacCannell D.* (1999). *The Tourist: The New Theory of the Leisure Class*. Berkeley: University of California Press.
- Österlund-Pötzsch S.* (2017). Few are the Roads I Haven't Travelled: Mobility as Method in Early Finland-Swedish Ethnographic Expeditions // *Elliot A., Norum R., Salazar N. B.* (eds.). *Methodologies of Mobility: Ethnography and Experiment*. Oxford: Berghahn Books. P. 25–46.
- Narayan K.* (1993). How Native Is a «Native» Anthropologist? // *American Anthropologist*. Vol. 95. № 3. P. 671–686.
- Picard M.* (2007). From Turkey to Bali: Cultural Identity as Tourist Attraction // *Nash D.* (ed.). *The Study of Tourism Anthropological and Sociological Beginnings*. Amsterdam: Elsevier. P. 167–184.
- Salazar N. B.* (2013). Imaginering Otherness: Anthropological Legacies in Contemporary Tourism // *Anthropological Quarterly*. Vol. 86. № 3. P. 669–696.
- Salazar N. B.* (2012). Tourism Imaginaries: A Conceptual Approach // *Annals of Tourism Research*. Vol. 39. № 2. P. 863–882.
- Salazar N. B., Jayaram K.* (eds.) (2016). *Keywords of Mobility: Critical Anthropological Engagements*. New York: Berghahn Books.
- Sasaki S.* (2010). Voices of Hunters on Socialist Modernisation: From a Case Study of the Udehe in the Russian Far East // *Inner Asia*. Vol. 12. P. 177–197.
- Streck B.* (ed.) (2007). *Die gezeigte und die verborgene Kultur*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- Scheyvensa R., Leslie H.* (2000). Gender, Ethics and Empowerment: Dilemmas of Development Fieldwork // *Women's Studies International Forum*. Vol. 23. № 1. P. 119–130.
- Schweitzer P., Povoroznyuk O.* (2019). A Right to Remoteness? A Missing Bridge and Articulations of Indigeneity along an East Siberian Railroad // *Social Anthropology/ Anthropologie Sociale*. Vol. 27. № 2. P. 236–252.
- Vasantkumar C.* (2017). Becoming, There? In Pursuit of Mobile Methods // *Elliot A., Norum R., Salazar N. B.* (eds.). *Methodologies of Mobility: Ethnography and Experiment*. New York: Berghahn Books. P. 68–88.
- Wolff S.* (1992). Die Anatomie der Dichten Beschreibung: Clifford Geertz als Autor // *Matthes J.* (Hrsg.). *Zwischen den Kulturen? Die Sozialwissenschaften vor dem Problem des Kulturvergleichs*. Göttingen: Schwartz. P. 339–362.

Anthropologist and Tourist: Mobility of the Udehe Image in Ethnographic Space

Vladimir Degtiar

Department of Asian Studies, Faculty of Arts, Palacký University Olomouc

Address: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc

E-mail: v.degatar@gmail.com

The article tries to trace the formation, transformation, and deconstruction of the image of the author's studied object. At the same time, it is proposed to consider the movement of the subject in the ethnographic space, that is, a temporal and geographically unified space that includes field research, presentations, conversations with colleagues, writing the text of an article, etc. The concept of *imaginaries*, which is central to the representation of the object, is considered in comparison with tourism practices, where the image is a central element, which gives a better understanding of the practices of both. It is argued that when deconstructing an image, the researcher's position on the object and the ethnographic space change. The method of self-ethnography and mobility as a concept metaphor serve as tools for deconstructing the image. The main result of such a deconstruction is the ethical conclusions of the relationship of the subject to the object, as well as the performative effect of auto-ethnography. The author at the same time tries to find a solution to establish a reciprocity in relation to the object, as a kind of mandatory ethical action. One of the possible solutions seems to be the use of anthropological knowledge in the commodification of the object's culture in its economic interests.

Keywords: imaginaries, auto-ethnography, Udehe people, ethnographic space, deconstruction, mobility, reciprocity

References

- Albert F. (1956) *Die Waldmenschen Udehe: Forschungsreisen im Amur- und Ussurigeniet*, Darmstadt: C.W. Leske.
- Amit V. (2000) Introduction: Constructing the Field. *Constructing the field: Ethnographic Fieldwork in the Contemporary World* (ed. V. Amit), London: Routledge, pp. 1–18.
- Arseniev V. (1926) *Lesnye ljudi udjehejcy* [Udehei People Forest People], Vladivostok: Knizhnoe Delo.
- Baptista J. A. (2017) *The Good Holiday: Development, Tourism and the Politics of Benevolence in Mozambique*, New York: Berghahn Books.
- Bereznitsky S. (2013) Polevye issledovanija kul'tury hjedzhje v provincii Hjejlungdzjan (KNR) v sentjabre 2012 g. [Field Studies of the Hege Culture in Heilongjiang Province (China) in September 2012]. *Materialy polevyh issledovanij MAJE RAN. Vyp. 13* [Materials of Field Studies of the MAE RAS, Issue 13] (ed. E. Fedorova), Saint Petersburg: RAS, pp. 100–121.
- Bouchetoux F. (2014) *Writing Anthropology: A Call for Uninhibited Methods*, New York: Palgrave Macmillan.
- Brailovsky S. (1898) *Tazy ili udihje (opyt jetnograficheskogo issledovanija)* [Tazy People or Udihe (Experience of Ethnographic Eesearch)], Vladivostok.
- Bruckermann C. (2016) Trading on Tradition: Tourism, Ritual, and Capitalism in a Chinese Village. *Modern China*, vol. 42, no 2, pp. 188–224.
- Bruner E. M. (2009) Of Cannibals, Tourists, and Ethnographers. *Cultural Anthropology*, vol. 4, no 4, pp. 438–445.
- Büscher M. (2013) Mobile Methods. *Mobile Lives Forum: Forum Vies Mobiles: Preparing the Mobility Transition*. Available at: <http://en.forumviesmobiles.org/marks/mobilemethods-697> (accessed 1 April 2020).
- Butcher J. (2000) The “New Tourist” as Anthropologist. *Motivations, Behaviour and Tourist Types: Reflections in International Tourism* (ed. M. Robinson), Sunderland: Centre for Travel and Tourism in association with Business Education, pp. 45–54.
- Clifford J. (1992) Travelling Cultures. *Cultural Studies* (eds. L. Grossberg, C. Nelson C., P. A. Treichler), New York: Routledge, pp. 96–116.
- Cohen S. A., Cohen E. (2019) New Directions in the Sociology of Tourism. *Current Issues in Tourism*, vol. 22, no 2, pp. 153–172.
- Elliot A., Norum R., Salazar N. B. (eds.) (2017) *Methodologies of Mobility: Ethnography and Experiment*, Oxford: Berghahn Books.
- Ellis C., Bochner A. P. (2000) Autoethnography, Personal Narrative, Reflexivity: Researcher as Subject. *Handbook of Qualitative Research* (eds. N. K. Denzin, Y. S. Lincoln), London: Sage Publications, pp. 733–768.

- England K. (1994) Getting Personal: Reflexivity, Positionality, and Feminist Research. *The Professional Geographer*, vol. 46, no 1, pp. 80–89.
- Galani-Moutafi V. (2000) The Self and the Other: Traveler, Ethnographer, Tourist. *Annals of Tourism Research*, vol. 27, no 1, pp. 203–224.
- Gaponov V. (2005) *Istorija taezhnogo prirodopol'zovanija Juzhno-Ussurijskogo regiona* [History of Taiga Nature Management in the South Ussuri Region], Vladivostok: Apelsin.
- Golovnev I. (2016) "Lesnye ljudi" — fenomen sovetskogo jetnograficheskogo kino ["Forest People" — The Phenomenon of Soviet Ethnographic Cinema]. *Ethnographic Review*, no 2, pp. 83–98.
- Gotlib A. (2004) Avtojetnografija (razgovor s samoj soboj v dvuh registrah) [Autoethnography (A Conversation with Oneself in Two Registers)]. *Sociology: 4M*, no 18, pp. 5–16.
- Hall M. C. (ed.) (2011) Fieldwork in Tourism/Touring Fields: Where Does Tourism End and Fieldwork Begin? *Fieldwork in Tourism. Methods, Issues and Reflections* (ed. M. C. Hall), New York: Routledge, pp. 7–19.
- Hölzl A. (2018) Udi, Udihe and the Language(s) of the Kyakala. *International Journal of Diachronic Linguistics and Linguistic Reconstruction*, vol. 15, pp. 111–146.
- Ingold T. (2007) *Lines: A Brief History*, New York: Routledge.
- Ingold T. (2011) *Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description*, New York: Routledge.
- Janhunen J., Yuguang F., Shuyun G. (1999) The Kyakala in China: History and Present Situation. *Journal de la société finno-ougrienne*, vol. 88, pp. 248–252.
- Kaaristo M. (2018) Engaging with the Hosts and Guests: Some Methodological Reflections on the Anthropology of Tourism. *Anthropology of Tourism in Central and Eastern Europe: Bridging Worlds* (eds. S. Owsianowska, M. Banaszkiwicz), Lanham: Lexington Books, pp. 71–88.
- Kuklina V., Holland E. C. (2018) The Roads of the Sayan Mountains: Theorizing Remoteness in Eastern Siberia. *Geoforum*, vol. 88, no 5, pp. 36–44.
- MacCannel D. (1999) *The Tourist: The New Theory of the Leisure Class*, Berkeley: University of California Press.
- MacCannell D. (2007) Anthropology for All the Wrong Reasons. *The Study of Tourism Anthropological and Sociological Beginnings* (ed. D. Nash), Amsterdam: Elsevier, pp. 137–154.
- Marcus G. E. (1995) Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography. *Annual Review of Anthropology*, vol. 24, pp. 95–117.
- McKercher B. (2008) A Citation Analysis of Tourism Scholars. *Tourism Management*, vol. 29, pp. 1226–1232.
- Narayan K. (1993) How Native is a "Native" Anthropologist? *American Anthropologist*, vol. 95, no 3, pp. 671–686.
- Österlund-Pötzsch S. (2017) Few are the Roads I Haven't Travelled: Mobility as Method in Early Finland-Swedish Ethnographic Expeditions. *Methodologies of Mobility: Ethnography and Experiment* (eds. A. Elliot, R. Norum, N. B. Salazar), Oxford: Berghahn Books, pp. 25–46.
- Picard M. (2007) From Turkey to Bali: Cultural Identity as Tourist Attraction. *The Study of Tourism Anthropological and Sociological Beginnings* (ed. D. Nash), Amsterdam: Elsevier, pp. 167–184.
- Rogozin D. M. (2015) Kak rabotaet avtojetnografija? [How Does Autoethnography work?]. *Russian Sociological Review*, vol. 14, no 1, pp. 224–273.
- Salazar N. B. (2012) Tourism Imaginaries: A Conceptual Approach. *Annals of Tourism Research*, vol. 39, no 2, pp. 863–882.
- Salazar N. B. (2013) Imagineering Otherness: Anthropological Legacies in Contemporary Tourism. *Anthropological Quarterly*, vol. 86, no 3, pp. 669–696.
- Salazar N. B., Jayaram K. (eds.) (2016) *Keywords of Mobility: Critical Anthropological Engagements*, New York: Berghahn Books.
- Sasaki S. (2010) Voices of Hunters on Socialist Modernisation: From a Case Study of the Udehe in the Russian Far East. *Inner Asia*, vol. 12, pp. 177–197.
- Scheyvensa R., Leslie H. (2000) Gender, Ethics and Empowerment: Dilemmas of Development Fieldwork. *Women's Studies International Forum*, vol. 23, no 1, pp. 119–130.

- Schweitzer P., Povoroznyuk O. (2019) A Right to Remoteness? A Missing Bridge and Articulations of Indigeneity Along an East Siberian Railroad. *Social Anthropology/Anthropologie Sociale*, vol. 27, no 2, pp. 236–252.
- Shchepanskaia T. (2003) Polevik: figura i dejatel'nost' jetnografa v jekspedicionnom fol'klore (opyty avtojetnografii) [Polevik: The Figure and Activity of an Ethnographer in the Expedition Folklore (Experiments of Autoethnography)]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 6, no 2, pp. 180–194.
- Startsev A. (1996) *Material'naja kul'tura udjegejcev (vtoraja polovina XIX–XX v.)* [Material Culture of the Udege People (The Second Half of the 19th–20th Centuries)], Vladivostok: DVO RAS.
- Streck B. (ed.) (2007) *Die gezeigte und die verborgene Kultur*, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
- Urry J. (2012) *Mobil'nosti* [Mobilities], Moscow: Praxis.
- Vasantkumar C. (2017) Becoming, There? In Pursuit of Mobile Methods. *Methodologies of Mobility: Ethnography and Experiment* (eds. A. Elliot, R. Norum, N. B. Salazar), New York: Berghan Books, pp. 68–88.
- Wolff S. (1992) Die Anatomie der Dichten Beschreibung: Clifford Geertz als Autor. *Zwischen den Kulturen? Die Sozialwissenschaften vor dem Problem des Kulturvergleichs* (ed. J. Matthes), Göttingen: Schwartz, pp. 339–362.
- Zvidennaya O., Novikova N. (2010) *Udjegejcy: ohotniki i sobirатели reki Bikin (Jetnologicheskaja jekspertiza 2010 goda)* [Udege People: Hunters and Gatherers of the Bikin River (Ethnological Expertise 2010)], Moscow: Strategiya.

С Александром фон Гумбольдтом на Алтае — ментальное путешествие во времени?*

Олаф Гюнтер

Доктор наук (этнология), профессор Департамента Азиатских исследований,
Университет Палацкого в Оломоуце
Адрес: ул. Крижковского, 511/8, г. Оломоуц, Чешская Республика 77900
E-mail: guenther@ikmg.org

Виталий Ведерников

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник, Горный музей,
Санкт-Петербургский горный университет
Адрес: Васильевский остров, 21-я линия, д. 2, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 199106
E-mail: vedernikov75@mail.ru

В статье обсуждается «путешествие по следам» как ментальное перемещение во времени, а также как идея символической репрезентации материального объекта и материального обрамления социальных отношений, которые все вместе производят туризм. Для того чтобы выявить значение материального для «путешествий по следам», автор употребляет три метафоры, используемые в акторно-сетевой теории (пространство, сети и потоки), не вполне конвенциональным образом. Метафору пространства для путешествия во времени автор уточняет через «контейнеризацию», то есть через выделение материального объекта, «войдя» в который путешественник может переместиться во времени. Иначе говоря, «контейнер» в данном случае — это не часто критикуемая законсервированная для туристов территория, но упакованное пространство-и-время. Метафора потока позволяет автору показать, как турист, глядя на материальный объект (например, геологический экспонат), может наблюдать ретроактивность времени, которая объясняет изменения ландшафтов (пространства). Наконец, метафора сети позволяет автору показать, что время — это не течение необратимых последовательностей, но способ репрезентации пространства. Таким образом, статья сплетает пространство и время и показывает, что в «путешествии по следам» время — это пространство, а пространство — это время.

Ключевые слова: ментальное путешествие во времени, пространство, потоки, сети, туризм, Алтай, Александр фон Гумбольдт

«Путешествие по следам» является популярным жанром уже несколько веков. С середины XV века монахи, дворяне, писатели и ученые следовали за историческими фигурами, такими как Иисус или Александр Великий (Wood, 2001), или даже вымышленными персонажами, как Спок (Barley, 1988) или эльфы и тролли (Vjarnason, 2013). Поиск только в одном библиотечном каталоге показал 4000 ре-

* Работа над этой статьей была поддержана проектом Excellence Grant «Sinofon Borderlands - Interaction at the edges», в Оломоуцком университете, Чешская Республика, рег. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000791.

Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

левантных записей за последние 5 лет, в которых нашлись слова «Путешествие по следам».

Есть два направления, по которым можно путешествовать «по следам Александра фон Гумбольдта». Самая известная поездка немецкого путешественника, географа, натуралиста — это, несомненно, поездка в Южную и Центральную Америку, совершенная в 1799–1809 годах с высочайшего позволения испанского короля Карла IV. Гораздо реже обсуждается другое крупное путешествие в жизни Гумбольдта, одного из отцов-основателей географии, совершенное им в Россию в 1829 году. В этой поездке Гумбольдт посетил горнозаводские районы Урала и Западной Сибири по приглашению министра финансов Российской империи графа Егора Францевича (Георга Людвиг) Канкрин. Благодаря хорошей скорости передвижения Гумбольдту удалось за короткий срок реализовать практически все планы и продвинуться далеко на восток, на территорию Алтайского горного округа. Хотя чаще всего исследователи творчества Гумбольдта отправлялись в Новый Свет, путешествие в Россию и Азию также интересовало его поклонников и писателей (Кельман, 2009).

В 2019 году в Германии широко отмечали 250-летие со дня рождения этого «последнего универсального гения». Музей естественной истории Mauritianum (Мауритианум) в Альтенбурге не стал исключением: в 2019 году в нем прошла серия выставок, освещающих разные грани творчества Александра фон Гумбольдта. Сотрудники музея также организовали «путешествие по следам» на Алтай, и один из авторов статьи присоединился к ученым-естествоиспытателям Мауритианум-музея, совместив свою очередную антропологическую полевую экспедицию на Алтае с путешествием по следам великого географа.

По стечению обстоятельств участники экспедиции музея естественной истории встретились с делегациями двух университетов — Фрайбергской горной академии (Саксония) и Санкт-Петербургского горного университета (Афанасьев, 2015; Карпова и др., 2018). Как и Александр фон Гумбольдт, университетские участники экспедиции выехали из Санкт-Петербурга, проехали через Урал и часть Западной Сибири и попали на Алтай примерно в то же время, что и группа немецкого музея. Несколько дней мы, авторы статьи, представляющие разные университеты и культуры, путешествовали вместе с туристической группой, состоящей из преподавателей и студентов горнотехнических вузов, и принимали активное участие в программе, подготовленной, спланированной и организованной научными учреждениями Альтенбурга, Фрайберга, Петербурга, Барнаула, Сузуна именно как «путешествие по следам».

Уже во время этого путешествия авторы не раз возвращались к дискуссии о том, что именно заставляет людей мыслить перемещение в пространстве как путешествие во времени? Какие материальные объекты, социальные интеракции, психологические опыты, заставляют нас перемещаться на века назад (или вперед)? Могут ли отношения между нами и временной или пространственно-удаленной средой, в свою очередь, реструктурировать, реорганизовать наши знания о соци-

альном времени? Эти вопросы, родившиеся во время экспедиции, и стали поводом для написания статьи.

Путешествие во времени как объект исследования

Путешествие во времени является признанным предметом исследования для психологов (Stephan et al., 2012; Epstude, Peetz, 2012), которые задаются двумя типами вопросов. Первый: какие воспоминания о событиях формируются, вызываются, зарождаются путешествиями во времени (Stocker, 2012). Второй: какие практические шаги необходимо предпринять для того, чтобы «организовать» путешествие во времени как инструмент для решения психологических проблем (Suddendorf et al., 2009).

Путешествия во времени были частью методологического репертуара в классической этнологии (Lévy-Bruhl, 2018), однако они относительно новы для музейной науки и археологии, а находки этих отраслей знания используются для практических разработок и исследований в области туризма (Holtorf, 2010). Музееведов и археологов интересуют прежде всего формы совместной передачи знаний в рамках путешествий во времени (Holtorf, Vodil, 2017), а в туристических исследованиях ставится вопрос о том, может ли опыт путешествий во времени становиться товаром (*experience as a commodity*). Центральное место здесь занимают соображения, связанные с производством аутентичности, репрезентации народной культуры и коллективными ожиданиями в туризме (Kennedy, 1998).

В Германии дискуссия о туризме и путешествиях во времени велась в основном под рубрикой «Культурный туризм». Ключевые слова, характеризующие изменения, произошедшие в культурном туризме в 1990–2020-х годах, — это прежде всего брендинг и эмоциональный маркетинг. «Путешествия во времени» — часто используемый маркетологами бренд, например, можно вспомнить туристические пакеты или отдельные услуги, продвигаемые под брендами «Дикого Запада», «Средневековья», «Будущего человечества» или «Классических цивилизаций» (Kagelmann, 1998; Kagermeier, 2013). Туристическая поездка, предоставившая эмпирический материал для данной статьи, будучи привязанной к 250-летию юбилею Александра фон Гумбольдта, также конструировалась под брендом путешествия во времени. Как отмечает А. Штайнеке, путешествия во времени привлекательны потому, что они являются тематически ограниченными и хорошо согласованными мирами приключений, которые резко контрастируют с фрагментированным и противоречивым повседневным миром (Steinecke, 2011: 3). Иначе говоря, в успешных случаях туристические компании создают своеобразные «контейнеры опыта», которые фиксируют замкнутый и целостный образ пространства, созданного в определенное — не текущее — время.

Однако эта концепция не применима к путешествию, которое мы будем описывать в данной статье, — оно не было коммерческим. Его организаторы предприняли очень мало специальных усилий для создания искусственного «мира приклю-

чений». Этот мир прошлого уже присутствовал там, куда отправились геологи, историки и антропологи в виде многослойного культурного ландшафта, который Алтай представляет сам по себе, но который открывается не сам по себе, а через материальные «порталы» для тех, кто умеет ими пользоваться.

Порталы в многомерное прошлое

Путешествия во времени, как упоминалось выше, имеют общую черту: они устанавливают новые отношения путешественника с вещами или событиями, далекими во времени или пространстве, в данном случае с Александром фон Гумбольдтом и Рудном Алтае 1829 года; к собственно событию 1829 года, к тому, что случилось до и после, а также к таким процессам, как добыча полезных ископаемых, и к материальным объектам: минералам и рудам Алтая. Подчеркивая материальность нашего путешествия и описывая «порталы», мы хотим обратить внимание на его отличие от чистого ментального путешествия во времени, например такого, какое совершал брат Александра Гумбольдта, Вильгельм, благодаря письмам своего брата (Humboldt, 2009). Или того, которое может совершить любой читатель по вторичной литературе (Beck, 1984), отражающей атмосферу и контекст определенного периода времени.

Тот, кто слышит словосочетание «Рудный Алтай», может представить точно такие же руды, что можно найти в саксонских Рудных Горах. И это в некотором смысле правда. На самом деле обе горные системы имеют рудные залежи, от Европы до Дальнего Востока, и все они образовались одновременно. Это произошло в так называемой варисской фазе, когда переформировывались континенты. В тех местах, где старые континенты соединились для образования новых массивов, возникали швы, вынесшие на поверхность всевозможные минералы. Рудные месторождения в поясе между горами Саксонии, Кавказа и Средней Азии, Северного Китая и Дальнего Востока известны с доисторических времен и использовались металлургами на протяжении тысячелетий, особенно с бронзового века (с 5000 г. до н.э.) (Chernykh, 2008).

Эти материальные объекты, соединенные историей и происхождением, служат для установления новых социальных связей: Фрайбергская горная академия поддерживает оживленный обмен с Санкт-Петербургский горным университетом (Логунова, Войтеховский, Котова, 2019) и научно-исследовательскими институтами горного дела на Алтае, в частности в Барнауле.

Рудный Алтайский комплекс, как портал, ведет ученых в многомерное прошлое. Минералогов портал ведет ко времени возникновения современной тектоники плит в карбоне (Raumer et al., 2003). Историков — ко времени первой добычи на Алтае около 2000 г. до н.э. (Шевкун, 2015) или к тому времени, когда добыча возобновилась по приказу императрицы Елизаветы Петровны (Hermann, 1801; Бородаев, Контев, 2007), и, конечно же, ко времени и пространствам, которые по-

сещал географ и натуралист Александр фон Гумбольдт (к шахтам в Змеиногорске, Риддере и Зырянске).

Историческая справка. Первыми русскими на Алтае были казаки в составе вооруженных отрядов, охотники на пушного зверя, а также грабители древних курганов. Последние организовывали вооруженные группы до 200 человек и именно от них шли сведения о богатстве недр рудами драгоценных металлов.

В 1726 году люди уральского заводчика А. Демидова провели на Алтае пробную плавку медных руд. Оказалось, что алтайские руды содержали до 10% меди, тогда как на Урале обрабатывали руду с 2% содержанием красного металла. Эти данные обещали значительные прибыли. В 1727–1729 годах был построен Колыванский завод, а в 1740–1744 — Барнаульский завод. На Колыванский завод Демидов перевел своих крепостных с Урала. Государство разрешало Демидову селить при своих заводах на Алтае пришлых, беглых и закрывало глаза на их прошлое. Уже в 1744 году императрица Елизавета Петровна отправила на Алтай комиссию во главе с бригадиром Андреем Бээрмом. Комиссия получила 51 пуд серебра из руд Змеиногорского месторождения — это было в три раза больше, чем давал Нерчинский завод (основан в 1704 г.) в Восточном Забайкалье за три года. В 1745 году рудники Демидова были опечатаны, а в 1747 году оба его завода по приказу императрицы были взяты в казну. Горно-металлургические предприятия Алтая отныне подчинялись императорскому Кабинету — коронному ведомству, которое занималось доходами и расходами русских императоров. С 1747 года началась приписка крестьян к заводам, отныне они не платили подушную подать государству, а отработывали ее сумму, выполняя второстепенные работы, такие как извоз руды, жжение и извоз древесного угля и т. п.

В течение первой половины XVIII века по мере постепенного вхождения Алтая в состав России усиливалось противостояние с Джунгарией (знать алтайских племен находилась на положении вассалов джунгарского хана). В результате джунгаро-китайской войны 1755–1758 годов Джунгарский каганат перестал существовать, алтайцы, оказавшиеся под угрозой истребления в 1756 году приняли русское подданство, а джунгары были переселены в низовья Волги.

В XVIII веке на Алтай приехали немецкие подданные, в том числе для работы в качестве инженеров на новых заводах, оснащенных современным по тем временам оборудованием.

Этническая история колонизации края, исторические социальные условия для рабочих на территории горнодобывающего комплекса, свидетельства этнических конфликтов или переселений отдельных социальных групп тоже могут в определенном ракурсе рассматриваться как порталы для путешествующих во времени.

В нашей экспедиции немецкие члены делегации постоянно искали точки соприкосновения и выстраивания собственных отношений с историей немцев в Рудном Алтайском регионе. Александр фон Гумбольдт, с его ярко выраженным антикрепостническим и гуманистическим отношением к социальным условиям рабочих и крепостных в горнодобывающих районах, был постоянным «якорем», помогавшим туристам выполнить «путешествие во времени» (Zeuske, 2017).

Описание точек на ментальной карте путешествия по следам Александра фон Гумбольдта в 2019 году

Сузун

Первая остановка в нашем путешествии состоялась в Сузуне. Александр фон Гумбольдт здесь никогда не был, но история рабочего поселка непосредственно связана с горнодобывающей промышленностью региона. На Сузунский медеплавильный завод из Барнаульского и Павловского заводов поставлялись медистые полупродукты серебряной плавки. Получалась медь, которая шла на чеканку монеты. Поскольку полупродукты содержали в себе серебро, они сплавлялись с бедными серебряными рудами, а полученный роштейн снова отправлялся на Барнаульский и Павловский заводы. Так цветные металлы бесконечно ходили по заводским оборотам (Ведерников, 2012).

Сейчас Сузун вне основных транспортных путей, с ним нет железнодорожного сообщения. Он расположен недалеко от реки Обь, но рядом нет моста (один мост пересекает Обь в г. Камень-на-Оби примерно в 80 километрах к востоку, другой — в Новосибирске), поэтому, чтобы добраться до населенного пункта, приходится отклоняться далеко от основных современных сибирских маршрутов. В XVIII–XIX веках все было иначе: Сузун сделали центром металлообработки и монетного производства, и вокруг него выстраивали транспортную сеть.

Предпосылками для строительства металлургического завода в XVIII веке было не только расположение, но и гидроэнергетика, а также древесина, выступавшая топливом и служившая материалом для строительства. Вода использовалась для работы тяжелых молотов, толчей, мельниц и других заводских механизмов. Древесина перерабатывалась в древесный уголь для процесса плавки. Поэтому проектировщики металлургических заводов всегда искали места с достаточным количеством воды и леса. Если из-за слишком малого уклона рельефа местности притока воды не хватало, строились плотины и заводские пруды. Часто случалось, что плотины не выдерживали напора талых вод и затапливали заводскую территорию. Однако концом Сузуна как монетного двора стало не наводнение, а пожар 1847 года, когда и производство медной монеты в России было признано, в результате чего было принято решение о нецелесообразности перестройки монетного двора. Металлургический завод же проработал вплоть до Первой мировой войны.

Немецкое меньшинство

Первыми жителями рабочего поселка Сузунского завода были переведенные туда горняки из Змеиногорска и плавильщики из Барнаульского завода. Администрация Сузуна собрала из различных архивов имена первых поселенцев, их было 1250 человек. Когда Сузун потерял свое металлургическое значение, в регион хлынула волна добровольной земледельческой колонизации немцев с Волги. Сегодня Сузун живет в основном сельским хозяйством, особенно производством молока, присутствуют также лесное хозяйство и деревообработка.

Во время нашего путешествия мы могли посмотреть выставку книг в Сузуне, которая в свое время входила в состав личной библиотеки управляющего медицинской частью Алтайских горных заводов Фридриха Августа фон Геблера (1781–1850), жившего в Барнауле. Он родился в Зеуленродхе в Германии, учился в Йене, сдал государственный экзамен в Петербурге и работал в основном в Барнауле. На выставке были представлены книги Фридриха Августа Геблера с автографами, дарственными надписями и пожеланиями от Александра фон Гумбольдта. Это были, например, несколько изданий «Космоса» Гумбольдта, которые Фридрих Август Геблер, должно быть, получил после их публикации в 1845 году. Кроме того, там была выставлена книга Гумбольдта о шахтных газах, которую автор посвятил Фридриху Геблеру. Таким образом, хотя Александр фон Гумбольдт и не был сам в Сузуне, он оказался с ним связанным через Фридриха Августа фон Геблера.

Барнаул

Александр фон Гумбольдт начал свое путешествие по Алтаю в Барнауле, который в то время был административным центром огромного горнозаводского района на юге Западной Сибири и севере Казахстана. В то время он был уже преклонного возраста и больше был не в силах взбираться на высокие горы, подобные вулкану Чимборасо в Эквадоре, но продолжал стремиться в горы. После Урала он смог найти их снова только на Алтае на своем пути на восток. Маршрут проходил по степям и долинам рек, но Гумбольдт старался как можно быстрее преодолеть неинтересные для него равнинные ландшафты, и сделал первую длинную остановку только на берегу Оби, в маленьком городке Барнаул. После Барнаула Гумбольдт посетил Кольванское озеро с его живописными скалами и Кольванскую шлифовальную фабрику, потом приехал в Змеиногорск, где спустился в рудник. Затем он отправился в Риддер и Зырянск по пути на Белуху, самую высокую гору Алтая. Наша экспедиция следовала именно этим маршрутом, пытаясь увидеть как можно больше материальных свидетельств, описанных Гумбольдтом в его путешествии.

Змеиногорск

Змеиногорское месторождение серебра было открыто еще в демидовский период. Отработка месторождения началась с 1745 г. за счет средств императорского Кабинета, до 1817 года Змеиногорский рудник был крупнейшим и богатейшим в Старом Свете. Сегодня там, где когда-то были коридоры и галереи, есть большая яма глубиной около 30 метров. Добыча серебряной руды под землей в советское время превратилась в открытую добычу. Серебро добывали здесь, пока гора полностью не была разрушена.

Нынешнее экономическое состояние города далеко от идеала. На стене Краеведческого музея Змеиногорска установлена мемориальная доска, на которой многие участники экскурсии прочитали знакомые им имена: Симон Паллас, Александр фон Гумбольдт, Альфред Брем, Фридрих Геблер, Б. Котта, К. Ледебур, И. Фальк, О. Финч или К. Мейер, все специалисты в области естественных или горных наук XVIII и XIX веков.

В Змеиногорске мы отделились от группы путешественников из Санкт-Петербурга и Фрайберга и продолжили идти по следам Александра фон Гумбольдта до Зыряновска и Риддера в сегодняшнем Казахстане.

«Путешествие по следам» как ментальное перемещение во времени. «Контейнер»: время становится пространством

Что объединяло всех участников путешествия, так это разделение их дня на заранее структурированное, организованное, предписанное время и неструктурированное, или свободное время. В структурированных частях нам постоянно предлагались различные варианты путешествий во времени. Путешествие во времени и, таким образом, сосуществование с Гумбольдтом происходили в местах, которые он посетил сам, и предполагалось, что участники поездки могут испытывать схожие с ним ощущения. Эти предположения были ориентированы на место и время, они структурировали путешествие во времени — как будто время было местом, куда можно поехать, т.е. путешествие во времени и пространстве воспринималось как «контейнер», в который можно попасть. «Контейнер» расположен в месте и времени, которое кажется измеренным и укрощенным. В дискуссиях о пространстве-времени последних лет неоднократно отрицалось существование физического пространства, прирученного в нашем понимании (Schroer, 2013; Löw, 2013). Дискуссия 1990-х годов о пространстве в немецкой социологии принесла новые идеи. Несмотря на то что эссе Георга Зиммеля 1903 года о социологии пространства в свое время было новаторским, потребовалось еще 90 лет, прежде чем к его идеям обратились вновь (Simmel, 1903). С «топологическим поворотом» (Weigel, 2012) в социологии вновь всплыла дискуссия о социологии пространства (Läpple, 1991; Massey, 1999; Schlögel, 2003). В подражание историческим спорам о пространственном мышлении в философии и физике, в литературе по

общественным наукам утвердилось различие между «абсолютистской» и «релятивистской» моделями мышления. «Абсолютистские» модели проектируют пространство как нейтральный сосуд или территорию и называют его «контейнером». Пространство в «абсолютистском» мышлении — это сосуд или территория, пустая или произвольно заполненная людьми, вещами или свойствами. Решающую роль в «абсолютистском» мышлении играет то, что пространство и материя считаются независимыми друг от друга. Немецкий физик и политик Карл Фридрих фон Вайцзеккер, например, относил Клавдия Птолемея, Николая Коперника, Галилео Галилея и Исаака Ньютона к представителям этой интеллектуальной традиции (Weizsäcker, 1986). Что касается социологии, то этот дуализм пространства и тел включает в себя предположение, что пространство существует независимо от действия, т. е. в логике «контейнерного» пространства в нем происходит движение, но само пространство неподвижно. Эта концепция контрастирует с «релятивистской» традицией, в которой пространство происходит из расположения движущихся тел. Иными словами, пространство является исключительно результатом отношений между телами — эта точка зрения была принята в физике Николаусом фон Кьюсом, Робертом Беллармином и Готфридом Вильгельмом Лейбницем, полагавшими, что пространство создается в процессе действия (Döring, 2008). Релятивистские модели придают отношениям или действиям первостепенную роль, но пренебрегают структурирующими моментами существующих пространственных порядков.

Здравый смысл социологии рассматривал пространство прежде всего как отношения между индивидуумами и общинами и отвергал «принцип контейнера», или так называемое ньютоновское пространство. Однако на примере структурированного прошлого мы видим, как реализуется принцип «контейнера».

Время становится потоком

Помимо путешествий к структурированным «контейнерам» в нашей экспедиции были и другие формы путешествий во времени. Когда минералогии брали в руки или рассматривали в витринах музейных экспозиций минералы, они начинали перебрасываться друг с другом такими словами, как «кембрий», «карбон», «пермь». Таким образом, они путешествовали во времени скачками в миллионы лет. Они представляли эти горы в те времена, когда в них образовались минералы. Цехштейн остыл, когда образовались медь и железо, и алмазы стали такими, какими люди находят их сегодня. Они наблюдали время через минералы: для них Цехштейн сам являлся единицей измерения. Несмотря на то что миллионы лет проходили перед глазами минералогов в мгновение ока, история алмаза текла медленно, как лавовая масса.

То же самое можно сказать и о наблюдении за изменением ландшафта. Во времена Гумбольдта Алтай как горный регион был настолько благоприятен для добычи минералов, что здесь для горнорудной плавки в больших объемах вырубали

лись леса. Был основан населенный пункт Сузун, потому что здесь располагался ленточный бор и имелся доступ к большому количеству воды. Конечно, это неизбежно привело к изменению ландшафта. Хвойные леса стали обычными, в горах вырыты протяженные ходы из штолен, из которых в долины стекали грунтовые воды. Гора, давшая свое название Змеиногорску, сегодня — это лишь яма. Она была полностью использована, чтобы дать возможность людям найти и забрать все имеющееся золото.

Путешествия во времени к пейзажам — это не путешествия к «контейнерам», а путешествия в потоке времени. Этот поток можно наблюдать на примере роста дерева в течение сорока лет (Wohlleben, 2015: 169–177). Пейзажи меняются еще более незаметно. А самым медленным, но все равно необратимым, является развитие камней. И в деревьях, и в ландшафтах, и в камнях время течет так же упорно, как и лавовый поток.

Время внедряется в сети

У входа в музей Змеиногорска находится мемориальная доска с фотографиями самых знаменитых посетителей в истории города с начала его основания. Эти люди приезжали из Санкт-Петербурга, Фрайберга в Саксонии, шведских шахтерских городов, музеев и научно-исследовательских институтов Берлина, Парижа или Бремена. Когда вы читаете эту табличку, вы представляете сеть исследователей и мест, которые хранят в себе 200 лет времени. С точки зрения этих сетей мы не видим ход времени в виде потока, но время здесь демонстрирует историю взаимоотношений, которая была главным определяющим фактором наших представлений о пространстве. Пространство «вытекает» не из измерения его содержания, а из количества его опорных точек, которые соотносятся друг с другом. В этой системе ссылок время становится сетью, которая рассказывает историю интеллектуальных отношений.

Доступ к порталам: современные возможности путешествий во времени

Быть пойманным в моменте — характерная черта модерна. Для Шарля Бодлера, например, модерн характеризуется ускоренным путем механизации человечества и, как следствие, искусственностью жизни (Hugo, 1956: 25), это жизнь ради момента, когда кратковременность приобретает новый смысл, но это ведет к растворению собственной жизни в незначительности, порожденной такой кратковременностью. Путешествие во времени позволяет вырваться из незначительности во времена, которые уже доказали свою важность, в том числе для сегодняшнего дня.

Механизация и ускорение, характерные для модерна, позволяют перемещаться во много раз быстрее, чем это было возможно во времена Гумбольдта. Его путешествие, предпринятое в 1829 году в упряжке в шестнадцать лошадей, длилось с начала мая до середины ноября. В 2019 году такое же путешествие заняло три недели

благодаря поездам, автобусам и самолетам. Уже в этом мы можем наблюдать ускорение времени модерна, но свойство и символ сегодняшнего дня и в том, что ускорение проявляется не как мы путешествовали в пространстве, а каким образом смогли перенести элементы времени модерна во времена 1829 года, в результате чего смогли пережить первоначальное путешествие (Гумбольдта) как ускоренную съемку.

Отделение от сегодняшнего дня и погружение в 1829 год в лучшем случае может произойти только ментально и восприниматься более реалистично благодаря определенным условиям: отсутствию интернета, остановке в сибирских деревнях с баней и организованному костюмированному праздничному банкету, подобному тому, которые, возможно, посещал и Гумбольдт. Такая диссоциация от повседневной жизни возможна, но поскольку она может быть осуществлена только частично, то мысленные путешествия во времени, скорее, стоит воспринимать как воссоздание прошлого. Для стыковки сознания с далеким временем и неизвестным пространством необходимы знания. В нашем случае часть из них была приобретена заранее, а часть получена во время поездки. Порталы путешествий во времени использовались для получения таких знаний. Если это удавалось, то в ходе путешествия во времени происходила привязка времени к пространству. Подобно чтению старых карт, порталы путешествий во времени в сочетании с физическим путешествием 2019 года создавали симбиоз пространственной привязки времени.

Литература

- Афанасьев В. Г.* (2015). Фрайбергская горная академия и Россия: два с половиной века делового сотрудничества // Записки Горного Института. Т. 216. С. 131–137.
- Бородаев В. Б., Контев А. В.* (2007). Исторический атлас Алтайского края: картографические материалы по истории Верхнего Приобья и Прииртышья (от античности до начала XXI века). Барнаул: Азбука.
- Ведерников В.* (2012). Кабинетская цветная металлургия Сибири в XVIII — первой половине XIX в. Барнаул: Изд-во Алтайского госуниверситета.
- Карпова Г. А., Ткачев В. А., Хайде Г., Таловина И. В.* (2018) Формирование научно-образовательного туристского кластера на базе музеев Санкт-Петербургского горного университета (Россия) и Фрайбергской горной академии (Германия) // Записки Горного Института. Т. 232. С. 341–346.
- Кельман Д.* (2009). Измеряя мир. СПб.: Амфора.
- Логунова М. Н., Войтеховский Ю. Л., Котова Е. Л.* (2019). К 250-летию А. фон Гумбольдта и 190-летию его путешествия по России // Записки РМО. Т. 148. № 6. С. 85–97.
- Ребещенкова И. Г.* (2015). Фрайбергская горная академия и горный кадетский корпус: их место и роль в жизни и деятельности А. Фон Гумбольдта // Записки Горного Института. Т. 216. С. 138–146.

- Шевкун Е. Б. (2015). История горного дела. Хабаровск: Изд. Тихоокеанского гос. ун-та.
- Barley N. (1988). Not a Hazardous Sport: Misadventures of an Anthropologist in Indonesia. London: Viking.
- Beck H. (1984). Alexander von Humboldts Reise durchs Baltikum nach Russland und Sibirien 1829. Stuttgart: K. Thienemanns.
- Bjarnason B. (2013). Auf den Spuren von Elfen und Trollen in Island: Sagen und Überlieferungen. Hamburg: ACABUS.
- Chernykh E. N. (2008). Formation of the Eurasian «Steppe Belt» of Stockbreeding Cultures: Viewed Through the Prism of Archaeometallurgy and Radiocarbon Dating // Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia. Vol. 35. № 3. P. 36–53.
- Döring J., Thielmann T. (2008). Spatial Turn: Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften. Bielefeld: transcript.
- Epstude K., Peetz J. (2012). Mental Time Travel: A Conceptual Overview of Social Psychological Perspectives on a Fundamental Human Capacity // European Journal of Social Psychology. Vol. 42. № 3. P. 269–275.
- Hermann B. F. (1801). Mineralogische Reisen in Sibirien. Bd. III. Saint Peterburg: Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
- Holtorf C. (2010). On the Possibility of Time Travel // Lund Archaeological Review. Vol. 15. P. 31–34.
- Holtorf C., Bodil P. (2017). The Archaeology of Time Travel: Experiencing the Past in the 21st Century. Oxford: Archaeopress Archeology.
- Hugo F. (1956). Die Struktur der modernen Lyrik. Hamburg: Rowohlt.
- Humboldt A. von (2009). Briefe aus Russland 1829. Berlin: Akademie Verlag.
- Kagelmann H. J. (1998). Erlebniswelten: Grundlegende Bemerkungen zum organisierten Vergnügen // Rieder M., Bachleitner R., Kagelmann H. J. (Hrsg.). Erlebniswelten: Zum Erlebnisboom in der Postmoderne. München: Profil. S. 58–94.
- Kagermeier A. (2013). Auf dem Weg zum Erlebnis 2.0. das Weiterwirken der Erlebniswelten zu Beginn des 21. Jahrhunderts // Quack H. D., Klemm K. (Hrsg.). Kulturtourismus zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Oldenburg: München. S. 1–10.
- Kennedy D. (1998). Shakespeare and Cultural Tourism // Theatre Journal. Vol. 50. № 2. P. 175–188.
- Läpple D. (1991). Essay über den Raum: Für ein gesellschaftswissenschaftliches Raumkonzept // Häußermann H. (Hrsg.). Stadt und Raum: Soziologische Analysen. Pfaffenweiler: Centaurus-Verlags-Gesellschaft. S. 157–207.
- Lévy-Bruhl L. (2018). How Natives Think. Boca Raton: Routledge.
- Löw M. (2013). Raumsociologie. Berlin: Suhrkamp.
- Massey D. (1999). Power-Geometries and the Politics of Space-Time, Heidelberg // Brah A., Hickman M., Mac an Ghail M. (eds.). Global Futures: Migration, Environment and Globalization. London: Palgrave Macmillan. P. 27–44.
- Raumer J. F. von, Stampfli G. M., Bussy F. (2003). Gondwana-Derived Microcontinents: The Constituents of the Variscan and Alpine Collisional Orogens // Tectonophysics. Vol. 365. № 1–4. P. 7–22.

- Schlögel K.* (2003). *Im Raume lesen wir die Zeit: Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik.* München: Hanser.
- Schroer M.* (2013). *Räume, Orte, Grenzen: Auf dem Weg zu einer Soziologie des Raums.* Berlin: Suhrkamp.
- Simmel G.* (1903). *Soziologie des Raumes // Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich.* 27. Jg, I. Band. S. 27–71.
- Steinecke A.* (2011). *Themenwelten im Tourismus: Marktstrukturen — Marketing-Management — Trends.* Berlin: Walter de Gruyter.
- Stephan E., Constantine S., Wildschut T.* (2012). *Mental Travel into the Past: Differentiating Recollections of Nostalgic, Ordinary, and Positive Events // European Journal of Social Psychology.* Vol. 42. № 3. P. 290–298.
- Stocker K.* (2012). *The Time Machine in Our Mind // Cognitive Science.* Vol. 36. № 3. P. 385–420.
- Suddendorf T., Donna R. Corballis A., Corballis M. C.* (2009). *Mental Time Travel and the Shaping of the Human Mind // Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.* Vol. 364. P. 1317–1324.
- Weigel S.* (2002). *Zum «topographical turn»: Kartographie, Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften // KulturPoetik.* Bd. 2. Heft 2. S. 151–165.
- Weizsäcker C. F. von* (1986). *Aufbau der Physik.* München: Carl Hanser.
- Wohlleben P.* (2015). *Das geheime Leben der Bäume: was sie fühlen, wie sie kommunizieren-die Entdeckung einer verborgenen Welt.* München: Der Hörverlag.
- Wood M.* (2001). *In the Footsteps of Alexander the Great: A Journey from Greece to Asia.* Berkeley: University of California Press.
- Zeuske M.* (2017). *Alexander von Humboldt, die Sklavereien in den Amerikas und das Tagebuch Havanna 1804.* URL: <https://edition-humboldt.de/reisetagebuecher/text.xql?id=H0012105&l=de> (дата доступа: 14.06.2021).

On the Trail of Alexander von Humboldt in the Altai: A Mental Time Travel?

Olaf Guenther

Doctor of Science (Docent), Associate Professor, Department of Asian Studies, University of Olomouc
Address: Křížkovského 511/8, Olomouc, Czech Republic 77900
E-mail: guenther@ikmg.org

Vitaly Vedernikov

Doctor of Historical Sciences, Deputy Scientific Director of the Mining Museum of St. Petersburg Mining University
Address: Vasilievsky Island, 21 Liniya, 2, Saint Petersburg, Russian Federation 199106
Email: vedernikov75@mail.ru

The article discusses “trail travel” as mental travel in time as well as the idea of a symbolic presentation of a material object and the material framing of social relations, which altogether produce tourism. In order to reveal the meaning of the material for “trail travel”, the author uses the three metaphors conventional for actor-network theory (space, networks, and flows) unconventionally. The author illuminates the meaning of space for time travel through “containerization”, that is, the allocation of a material object into which the traveler can “enter” and, in so doing, move through time. In other words, the container, in this case, is not the previously-criticized territory preserved for tourists, but the packed space-and-time. The metaphor of fluid allows the author to reveal how a tourist, looking at a material object (such as a geological exhibit), can observe the retroactivity of time explaining the space changes. Finally, the network metaphor allows the author to show that time is not a flow of irreversible sequences, but a way of representing space. In this way, the article weaves together space and time and shows, that in “trail travel”, time is space and space is time.

Keywords: mental time travel, space, fluids, networks, tourism, Altai, Alexander von Humboldt

References

- Afanas'ev V. (2015) Frajbergskaya gornaya akademiya i Rossiya: dva s polovinoj veka delovogo sotrudnichestva [Freiberg Mining Academy and Russia: 250 Years of Business Cooperation]. *Journal of Mining Institute*, vol. 216, pp. 131–137.
- Barley N. (1988) *Not a Hazardous Sport: Misadventures of an Anthropologist in Indonesia*, London: Viking.
- Beck H. (1984) *Alexander von Humboldts Reise durchs Baltikum nach Russland und Sibirien 1829*, Stuttgart: K. Thienemanns.
- Bjarnason B. (2013) *Auf den Spuren von Elfen und Trollen in Island: Sagen und Überlieferungen*, Hamburg: ACABUS.
- Borodaev V., Kontev A. (2007) *Istoricheskij atlas Altajskogo kraja: kartograficheskie materialy po istorii Verhnego Priob'ja i Priirtysh'ja (ot antichnosti do nachala XXI veka)* [Historical Atlas of the Altai Territory: Cartographic Materials on the History of the Upper Ob Region and the Irtysh Region (From Antiquity to the Beginning of the 21st Century)], Barnaul: Azbuka.
- Chernykh E. (2008) Formation of the Eurasian “Steppe Belt” of Stockbreeding Cultures: Viewed Through the Prism of Archaeometallurgy and Radiocarbon Dating. *Archaeology, Ethnology and Anthropology of Eurasia*, vol. 35, no 3, pp. 36–53.
- Döring J., Thielmann T. (2008) *Spatial Turn: Das Raumparadigma in den Kultur- und Sozialwissenschaften*, Bielefeld: transcript.
- Epstude K., Peetz J. (2012) Mental Time Travel: A Conceptual Overview of Social Psychological Perspectives on a Fundamental Human Capacity. *European Journal of Social Psychology*, vol. 42, no 3, pp. 269–275.
- Hermann B. F. (1801) *Mineralogische Reisen in Sibirien, Bd. 3*, Saint Petersburg: Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften.
- Holtorf C. (2010) On the Possibility of Time Travel. *Lund Archaeological Review*, vol. 15, pp. 31–34.
- Holtorf C., Bodil P. (2017) *The Archaeology of Time Travel: Experiencing the Past in the 21st Century*, Oxford: Archaeopress Archeology.
- Hugo F. (1956) *Die Struktur der modernen Lyrik*, Hamburg: Rowohlt.
- Humboldt A. von (2009) *Briefe aus Russland 1829*, Berlin: Akademie Verlag.
- Kagelmann H. J. (1998) Erlebniswelten: Grundlegende Bemerkungen zum organisierten Vergnügen. *Erlebniswelten: Zum Erlebnisboom in der Postmoderne* (eds. M. Rieder, R. Bachleitner, H.J. Kagelmann), München: Profil, pp. 58–94.
- Kagermeier A. (2013) Auf dem Weg zum Erlebnis 2.0. das Weiterwirken der Erlebniswelten zu Beginn des 21. Jahrhunderts. *Kulturtourismus zu Beginn des 21. Jahrhunderts* (eds. H. D. Quack, K. Klemm), Oldenburg: München. pp. 1–10.
- Karpova, G., Tkachev V., Heide G., Talovina I. (2018) Formirovanie nauchno-obrazovatel'nogo turistskogo klastera na baze muzeev Sankt-Peterburgskogo gornogo universiteta (Rossija) i Frajbergskoj gornoj akademii (Germanija) [Museums of Saint Petersburg Mining University

- (Russia) and Freiberg Mining Academy (Germany) as the Basis of Scientific and Educational Tourism Cluster]. *Journal of Mining Institute*, vol. 232, pp. 341–346.
- Kelman D. (2009) *Izmerjaja mir* [Measuring the World], Saint Petersburg: Amfora.
- Kennedy D. (1998) Shakespeare and Cultural Tourism. *Theatre Journal*, vol. 50, no 2, pp. 175–188.
- Läpple D. (1991) Essay über den Raum: Für ein gesellschaftswissenschaftliches Raumkonzept. *Stadt und Raum: Soziologische Analysen* (ed. H. Häußermann), Pfaffenweiler: Centaurus-Verlags-Gesellschaftm, pp. 157–207.
- Lévy-Bruhl L. (2018) *How Natives Think*, Boca Raton: Routledge.
- Logunova M., Voytekhovskiy Y., Kotova E. (2019) K 250-letiju A. fon Gumbol'dta i 190-letiju ego puteshestvija po Rossii [On the 250th Anniversary of A. von Humboldt and the 190th Anniversary of His Expedition to Russia]. *Proceedings of the Russian Mineralogical Society*, vol. 148, no 6, pp. 85–97.
- Löw M. (2013) *Raumsoziologie*, Berlin: Suhrkamp.
- Massey D. (1999) Power–Geometries and the Politics of Space–Time, Heidelberg. *Global Futures: Migration, Environment and Globalization* (eds. A. Brah, M. Hickman, M. Mac an Ghaill), London: Palgrave Macmillan, pp. 27–44.
- Raumer J. F. von, Stampfli G. M., Bussy F. (2003) Gondwana–Derived Microcontinents: The Constituents of the Variscan and Alpine Collisional Orogens. *Tectonophysics*, vol. 365, no 1–4, pp. 7–22.
- Rebeshchenkova I. (2015) Frajbergskaya gornaya akademiya i gornyj kadetskij korpus: ih mesto i rol' v zhizni i deyatel'nosti A. Fon Gumbol'dta [Mining Academy of Freiberg and Mining Cadet Corps: Their Place and Role in the Life and Activities of A. von Humboldt]. *Journal of Mining Institute*, vol. 216, pp. 138–146.
- Schlögel K. (2003) *Im Raume lesen wir die Zeit: Über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik*, München: Hanser.
- Schroer M. (2013) *Räume, Orte, Grenzen: Auf dem Weg zu einer Soziologie des Raums*, Berlin: Suhrkamp.
- Shevkun E. (2015) *Istorija gornogo dela* [History of Mining: Textbook], Habarovsk: Izd. Tihookean gos. un-ta.
- Simmel G. (1903) Soziologie des Raumes. *Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich*, vol. 1, no 27, pp. 27–71.
- Steinecke A. (2011) *Themenwelten im Tourismus: Marktstrukturen — Marketing-Management — Trends*, Berlin: Walter de Gruyter.
- Stephan E., Constantine S., Wildschut T. (2012) Mental Travel into the Past: Differentiating Recollections of Nostalgic, Ordinary, and Positive Events. *European Journal of Social Psychology*, vol. 42, no 3, pp. 290–298.
- Stocker K. (2012) The Time Machine in Our Mind. *Cognitive Science*, vol. 36, no 3, pp. 385–420.
- Suddendorf T., Donna R. Corballis A., Corballis M. C. (2009) Mental Time Travel and the Shaping of the Human Mind. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, vol. 364, pp. 1317–1324.
- Vedernikov V. (2012) *Kabinetnaja cvetnaja metallurgija Sibiri v 18–pervoj polovine 19 v.* [Cabinet Non-ferrous Metallurgy of Siberia in the 18th–first half of the 19th Century], Barnaul: Izd-vo Altajskogo gosuniversiteta.
- Weigel S. (2002) Zum “topographical turn”: Kartographie, Topographie und Raumkonzepte in den Kulturwissenschaften. *KulturPoetik*, vol. 2, no 2, pp. 151–165.
- Weizsäcker C. F. von (1986) *Aufbau der Physik*, München: Carl Hanser.
- Wohlleben P. (2015) *Das geheime Leben der Bäume: was sie fühlen, wie sie kommunizieren-die Entdeckung einer verborgenen Welt*, München: Der Hörverlag.
- Wood M. (2001) *In the Footsteps of Alexander the Great: A Journey from Greece to Asia*, Berkeley: University of California Press.
- Zeuske M. (2017) Alexander von Humboldt, die Sklavereien in den Amerikas und das Tagebuch Havanna 1804. Available at: <https://edition-humboldt.de/reisetagebuecher/text.xql?id=H0012105&l=de> (accessed 14 June 2021).

Экономика качеств трансграничного рынка: шоп-туризм как перформативная практика*

Татьяна Журавская

Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник,
Институт экономических исследований ДВО РАН
Доцент Школы экономики и менеджмента, Дальневосточный федеральный университет
Адрес: ул. Тихоокеанская, д. 153, г. Хабаровск, Российская Федерация 680042
E-mail: wellsby@mai.ru

Наталья Рыжова

Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Департамента Азиатских исследований,
Университет Палацкого в Оломоуце
Заведующая лабораторией Института экономических исследований ДВО РАН
Адрес: ул. Крижковского, 512/10, г. Оломоуц, Чешская Республика 77147
E-mail: n.p.ryzhova@gmail.com

В статье обсуждается перформативность шоп-туризма на российско-китайской границе в терминах экономики качеств М. Каллона и соавторов. Кризис 2014 года нарушил паритет рубля и юаня, что изменило вектор приграничного туризма в противоположную сторону. Авторы показывают, как наблюдение жителями российского приграничного Благовещенска за покупками китайских туристов, сопоставление этого повседневного «здесь и сейчас» знания со знаниями, накопленными за время функционирования трансграничного локального рынка, перформатируют восприятие своего социального времени, отправляя его «в прошлое». Использование языка экономики качеств позволяет расширить применение этой концепции на другой тип рынка — рынок покупателя, а также позволяет задать вопрос о динамике власти вслед за утверждением о природе динамики рынка. Статья состоит из трех основных разделов: теоретического обзора использования концепции перформативности в исследованиях туризма и выборе языка описания для данного эмпирического случая; описания «китайского рынка» и практик торговли до кризиса 2014 года; осмысления посткризисных изменений и процессов (пере)квалификации благ. Эмпирические материалы получены авторами в ходе длительных исследований в «городах-близнецах» Благовещенск и Хэйхэ, расположенных на двух берегах реки Амур, преимущественно посредством наблюдения и интервью.

Ключевые слова: шоп-туризм, перформативность, экономика качеств, (пере)квалификация благ, социальное время, множественное пространство, «китайский рынок», российско-китайское приграничье

Период постсоветских трансформаций 1990-х годов характеризовался стремительным развитием торговли, в особенности — появлением на месте колхозных рынков «толкучек» и «барахолки», а затем и вовсе не оборудованных для торгов-

* Исследование поддержано РФФИ 19-010-00540 «Миграционные политики, инфраструктура и экстралегальное миграционное поведение на восточных границах России»

The study is supported by RFBR 19-010-00540 «Migration policies, infrastructure and extra-legal migration behavior on the eastern borders of Russia».

Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

ли открытых рынков («базаров») (Радаев, 2007). Этот процесс протекал на всем постсоветском пространстве и сыграл ключевую роль в развитии постсоциалистической экономики и транснациональных связей (Hüwelmeier, 2013). Спецификой российского Дальнего Востока стало появление этнически маркированных базаров — «китайских рынков»¹. Быстрое развитие торговли казалось *логичным* следствием дефицита и открытия границ: жители приграничных регионов устремились за товарами в Польшу, Турцию, Финляндию, Китай... «Челноки» обеспечивали приток импортных товаров, а базары стали логистическими центрами для «внутренних» перекупщиков (Яковлев и др., 2006). Туристический рынок отреагировал на это предложением «шоп-туров», потребителями которых стали, безусловно, не только новые предприниматели. Преимущество оказалось на стороне туроператоров и их агентов в приграничных регионах, а по ту сторону границы сформировалась соответствующая инфраструктура (см., например: Симутина, Рыжова, 2007; Гурова, 2012; Bar-Kolelis, Wiskulski, 2012). Особенность этого типа туров — изменение роли шопинга в туристической поездке, когда именно покупки как таковые являются целью, а осмотр достопримечательностей и потребление иных туристических благ представляется второстепенным (World Tourism Organization, 2014).

Для российского туриста на границе с Китаем шоп-туры в приграничные населенные пункты и «китайские рынки» стали, с одной стороны, видимым эффектом происходящих трансформаций, с другой — не только путешествием в пространстве, но и движением по условной шкале социального времени. Китайское приграничье как «заграница наоборот» не вписывалась в практику заграничных поездок прошлого (учитывая все особенности и доступность), «культурный шок» бывших советских граждан определялся не «высокими потребительскими стандартами», как в случае с регламентированными поездками в капиталистические страны (Лысикова, 2011; Шевырин, 2009), а бедностью и «убогостью» быта социалистического «младшего брата». «Культурный шок» у жителей российского приграничья вызывали и торговцы быстро растущих «китайских» базаров, создававшие некоторую сложность в соотнесении себя с этим явлением, в выработке моделей поведения (Дятлов, Кузнецов, 2004). Когда модели устоялись, а стереотипы сложились, они надолго стали частью восприятия себя, страны, «Китая» и «китайцев»: вера в свое превосходство как представителей «великой державы» не иссякла не только в 1990-е, но и в 2000-е, когда изменения по ту сторону границы уже невозможно было игнорировать. Пока кризис 2014-го вдруг не изменил направление турпотока, пока в шоп-туры вдруг не поехали в Россию туристы из Поднебесной...

Конечно, рост числа туристов из Китая характерен не только для приграничных российских регионов, что исследователи связывают с подъемом в экономике и повышением уровня жизни в этой стране. Как отмечает Чен (Chan, 2008), вос-

1. Чтобы избежать терминологической путаницы, в тексте словосочетание «китайский рынок» взято в кавычки и используется для обозначения мест торговли — открытых рынков или базаров. Во всех иных случаях под словом «рынок» подразумевается более общее понятие.

приятие китайских туристов было во многом стереотипно: «деревенщина», «хулиганы», «слишком бедные, чтобы оставить чаевые» (его собственное исследование как раз опровергает это, показывая разнообразие практик в зависимости от дестинации). В последнее время появились работы иного толка, отмечающие стремление туристов к люксовым покупкам и высококлассным отелям, что с ростом турпотока, а значит, и доходов принимающих локальностей, свидетельствует о сдвиге в восприятии (например: Hung, Ren, Qius, 2021). В основном поведение туристов из Китая пока представляет интерес для управленцев в сферах, обслуживающих туристов. Такие работы сфокусированы прежде всего на необходимости адаптации локального предложения к запросам этой категории туристов (например: Truong, King, 2009; Agrusa, Kim, Wang, 2011; Chan, Hsu, Baum, 2015; Рубцова, 2019). Мы, как жители приграничного города, годами наблюдавшие разнообразие трансграничных практик, также не смогли обойти стороной заметный слом повседневности. Однако в этой работе мы обращаемся не столько к потребительским практикам туристов из Китая, сколько обсуждаем то, как простой факт наблюдения жителями российского приграничного города за покупками китайцев, сопоставление этого повседневного «здесь и сейчас» знания со знаниями, накопленными за время функционирования трансграничного локального рынка, а также со знаниями о рыночной экономике «выплывает» их, россиян, из одной глобальной сети и влетает в другую. Иными словами, почему жители приграничного города, долгое время совершавшие шоп-туры и при этом путешествующие к китайским соседям «как в прошлое», вдруг осознали, что в прошлом оказались они сами.

Перформативная сила туризма и экономическое знание

Туризм как путешествие не только в пространстве, но и во времени осмысливается исследователями довольно часто. И хотя шоп-туризм отодвигает на второй план привычные туристские практики вроде посещения музеев и ресторанов или экскурсий в тематическую деревню, он все же также может быть рассмотрен через эти две категории. Очевидно, что стоит говорить о множественности социально-го времени туристического пространства, о разных темпоральностях туристов и мест (см.: Рыжова, Журавская, 2021). Понятие пространства множественно, что рассматривается в исследованиях туризма, в частности, через призму концепции перформативности. Идею о перформативности в общественных науках ввел в оборот еще в середине прошлого века Дж. Остин, который обратил внимание на то, что некоторые языковые конструкции работают не для описания, а для производства действия. Концепт теоретически развивается в работах Дж. Батлер, М. Фуко, М. Каллона и многих других, попыток его эмпирического приложения в социологии и антропологии — великое множество. Но в исследованиях туризма этот подход стал применяться относительно недавно (Cohen, Cohen, 2012). Как и почему туризм перформатирует социальное время и пространство как самих туристов, так и резидентов дестинации?

Классически туризм как путешествие из «современного», «модерного» пространства преимущественно западной страны в «традиционное», «дикое» пространство (из «метрополии» в «колонию») стали рассматривать в 1970-х годах (MacCannell, 1973; 1976). Во-первых, продолжением эволюционистского взгляда туриста являются как экопутешествия (как к чистому «архетипу»), так и путешествия в «будущее» индустриальных городов (Ferraris, 2014; Salazar, Graburn, 2014). Во-вторых, туризм предполагает перемещение к более аутентичной жизни в «другом месте», что означает выпадение из привычной темпоральности, побег из здесь и сейчас (Salazar, Zhang, 2013). В-третьих, это представление о (не)стабильности туристских мест во времени. Так, те места, которые «цепляются» за свою историческую значимость, меняются медленнее, целые города становятся музеями, и даже целые страны стремятся сохранить образ «старых» и «традиционных» (Di Giovine, 2014).

В рамках перформативного подхода туристические объекты рассматриваются как продукты публичных актов, тем самым отрицается их независимость и стабильная идентичность, равно как и людей (Butler, 1990; Bell, 2008). Это позволило проблематизировать притягательность конкретных мест для туристов, переосмыслить их «онтологию»: дестинация есть сложная взаимосвязь мест, объектов и людей, которые объединяются для выполнения определенных действий (Hannam, Sheller, Urry, 2006). У пространства есть перформативные качества, которые лучше всего видны в «узлах пространства» (в качестве таковых могут представляться достопримечательности), в свою очередь, конкретные «исполнения» выражают свою собственную пространственность, а не просто находятся в пространстве. Взаимосвязанные представления самих участников создают пространства и одновременно их переопределяют (Gregson, Rose, 2000). Образцовой работой в этом ключе можно считать исследование Эденсора (Edensor, 1997), в котором представлен анализ отношений между посетителями и Тадж-Махалом как символическим местом. Автор показывает, что туристические пространства строятся таким образом, чтобы политические, духовные, культурные или национальные идентичности могли быть в них представлены и выражены. Взгляды туристов, таким образом, встраиваются в воображаемую глобальную географию, а туристские практики позволяют увидеть то, как пространство перформатируется и перемещается. Повторение маршрутов и путешествие «по следам», празднование карнавала и проживание в отеле, за окнами которого проходит ритуал сожжения умерших, — все это превращает дестинации и достопримечательности в «осадочные скопления» (узлы) повторяющихся перформативных действий (Cohen, Cohen, 2012).

Как мы отмечали выше, в шоп-туре потребление привычных туристических благ является лишь приятным дополнением к основной цели поездки, ее необязательной частью. А потому для осмысления наблюдаемых нами изменений мы обратились к концепции М. Каллона о перформативности *экономического* знания (хотя туризм явно связан с экономикой услуг, тем не менее в таком ключе исследователями не осмысляется). Концепция, обсуждение которой началось с публи-

кации введения к «Законам рынка» в 1998 году (Callon, 1998), встретила резкую критику со стороны антропологов и экономистов (дополнив критику ANT со стороны социологов), поскольку представляла из себя атаку на фундаментальные допущения этих наук. Одна из ключевых посылок Каллона — *homo economicus* существует, а потому вместо критики стоит обратиться к позитивной стороне изучения его поведения. Это не могло обрадовать экономических антропологов, каждый раз доказывающих неуниверсальность модели и культурную специфику рациональности в хозяйственных практиках (см. об этом спор с Д. Миллером в «European Newsletter for Economic Sociology» в 2005 году), — реальные рынки сопротивляются экономическим моделям. Экономистов же не обрадовала другая сторона: утверждение о том, что экономическое знание перформативно, подрывает амбиции экономики быть похожей на естественные науки, утверждая стихийность и естественность рыночных процессов (Brisset, 2016). Это означает, что «реальные» рынки производят сами экономисты через их моделирование и описание. Тем не менее, оставляя в стороне этот спор, необходимо признать эвристический потенциал концепции Каллона, давший толчок новым объяснениям в экономико-социологических исследованиях.

Свою аргументацию Каллон строит, анализируя переплетение отношений в сетях, состоящих из актантов — людей и не-людей (вещей). Сеть и широкое распределение (то есть большое количество связываемых на время актантов) абсолютно необходимы для перформативности, иначе знания не могут распространяться. Распределенность не позволяет локализовать источник действия — все происходит как бы само собой; действие становится коллективным феноменом (Каллон, 2015). Идея распределенных и связываемых в сети актантов позволяет объяснить сплетенность современных глобальных и локальных процессов, функционирование рынков, перенос экономических моделей из научных трактатов в повседневную реальность. С точки зрения Каллона, рыночные модели — не абстракции, а технические приемы, позволяющие совершить сделку (Callon, Law, 2005), и значит, «расплести», разделить взаимодействующих актантов. Так, например, Н. Ссорин-Чайков использует эти идеи, чтобы вместо набившей оскомину антропологической дискуссии (это рынок или дар?) показать, что в одной локальности и в одной сделке может одновременно присутствовать и рыночный обмен, и дарообмен, и дань (Ссорин-Чайков, 2012). Использование техники Каллона позволяет, расплетая актантов и их взаимодействия, показать, что одновременно может быть важным и то, и другое, и третье (в целом оптика распределенного калькулятивно-устройства помогает преодолеть дихотомию «чистого расчета» и «чистого суждения» в определении ценности (Callon, Muniesa, 2005)).

Исследователям, работавшим с предложенной рамкой, долгое время приходилось доказывать состоятельность, указывая раз за разом на перформативную силу экономического знания. Таким образом, они не выходили за рамки социологии науки (Юдин, 2008; Cochoy, Giraudeau, McFall, 2010), которая требует в конечном итоге разделения двух миров — науки об экономике и реальной экономики. Лишь

сравнительно недавно исследователи обратились к другим вопросам, например, к тому, как знания формируют «диких экономистов», способных производить перформативы в реальных экономических практиках (напр., Ссорин, 2012), или к обсуждению точек пересечения с политическим (см., напр.: Vol. 3 (2) 2010 года *Journal of Cultural Economy*). Дискуссия, таким образом, развивается вокруг того, в какой степени экономика может быть описана на языке теории перформативности, или, иными словами, где границы перформативности экономического знания (Aspers, 2007; Brisset, 2016).

Одна из таких попыток — концепция «экономики качеств» (Каллон, Меадель, Рабехарисоа, 2008), в основе которой лежит теория монополистической конкуренции Э. Чамберлина. Чамберлин доказывал, что растущая дифференциация продуктов ведет к тому, что каждый продавец становится монополистом в своей собственной нише, а созданные различия позволяют избежать ценовой конкуренции. И хотя монополистическая конкуренция, преодолевшая разрыв между монополией и конкуренцией, в свое время не произвела должного эффекта в экономической науке (опубликована в: Chamberlin, 1961), для профессионалов рынка «отстраивание» от конкурентов приобрело особое значение в момент перехода к экономике услуг. Так, с появлением концепции позиционирования товара Райса и Траута в маркетинге произошла своего рода революция (Ries, Trout, 1981) — для успеха на рынке больше не нужно производить уникальный товар, главное, убедить потребителя в его уникальности!

Отталкиваясь от идеи о создании различий, Каллон и соавторы утверждают, что «организация рынков становится коллективной проблемой» (Каллон, Меадель, Рабехарисоа, 2008: 63), где продукт является переменной, «фазой никогда не кончающегося процесса» (Там же: 64), и именно (пере)квалификация товара составляет истинную суть динамики рынков. Экономика качеств введена в противовес «экономике блага», поскольку идея блага, по мнению авторов, является статичной, тогда как реальные акторы постоянно заняты квалификацией-переквалификацией, позволяющими сингуляризовать благо и связать с ним тех, кто его потребляет (либо разрушить эту связь). Привязанность к благу потребителей происходит через погружение в рутины, движимые социотехническим калькулятивным устройством (Callon, Muniesa, 2005), — «они покупают блага, качества которых им знакомы» (Каллон, Меадель, Рабехарисоа, 2008: 75). Наоборот, через процессы квалификации благ, объективирующие, стабилизирующие и упорядочивающие его качества, (пере)квалифицируются и другие акторы: с приобретением блага мы приобретаем «репутацию и доброе имя продавца» (Там же: 67).

В данной работе мы используем концепцию перформативности экономики и систему различий экономики качеств для осмысления процесса (пере)квалификации себя жителями приграничного Благовещенска и описания того, как повседневное знание перформатирует социальное время и пространство.

Методы и данные

Эмпирические материалы², использованные в данном тексте, были собраны авторами в ходе длительных исследований в «городах-близнецах» Благовещенск и Хэйхэ, расположенных на двух берегах реки Амур, преимущественно методом наблюдения и интервью. Оба автора проживали более 15 лет в Благовещенске, осуществляя включенное наблюдение на «китайских рынках», принимали участие в доставке товаров через границу, проводили интервью как с участниками российско-китайских бизнесов, так и с жителями приграничья. Наблюдения за трансграничными практиками торговли и шоп-туризмом в названных локальностях были частью нескольких исследовательских проектов (мы используем эти материалы для описания ситуации до указанных событий), исследование с данных теоретических позиций осуществлено в 2014–2015 годах.

Помимо включенного наблюдения мы проверили 20 полуструктурированных и неструктурированных интервью с покупателями «китайских рынков», управляющими магазинами и работниками торговых залов в Благовещенске об изменении практик торговли (для работников торговли были разработаны однотипные гайды, включающие специфические блоки в соответствии с категорией товаров и компетенцией информантов). Включенное наблюдение в 2014–2015 годах помимо прочего состояло в фиксации повседневных разговоров по интересующей авторов теме в общественных местах (автобусные остановки, магазины, бассейн и т. п.). Собранные материалы были проанализированы методами категоризации значений и интерпретации смысла с применением выбранной концептуальной схемы.

Квалификация рынка, себя и «китайцев»

В конце 1980-х годов первые российские туристы из приграничного российского Благовещенска отправляются в соседний китайский город Хэйхэ. Трансграничный шопинг этого времени сложно сравнить с тем, что был в Польше. Однако в условиях тотального дефицита любой отличающийся продукт (будь то бусы из речного жемчуга или собачья шуба с бесконечно осыпающимся мехом) становится предметом желанного обмена (на сковороду или военную шинель) и непременно, хотя и не очень привычного торга (Рыжова, 2003). Спустя 10 лет, в конце 1990-х, российские и китайские туристы, а также присоединившиеся или выделившиеся «челноки» уже активно пересекают Амур. Количество китайских товаров, пригодных для шопинга, значительно расширяется, чего нельзя сказать о качестве — шубы из козы или норки продолжают сыпаться, одежда рваться после первой стирки.

2. Эмпирические материалы были использованы авторами в более ранних работах, например в: Дятлов, Григоричев, 2015.

«Китайский рынок»³ в Благовещенске (впрочем, как и в других дальневосточных городах) — место, где «китайцы» торгуют «китайскими» товарами. Ассортимент такого базара довольно широк: от обуви и игрушек до телевизоров и рыбацких снастей. Основную же часть торгуемых здесь товаров составляют одежда и обувь, через отношение к которым квалифицируются как место, так и покупатели: на «китайском рынке» одеваться «позорно», «немодно» и «неумно», а заявления типа «Я не одеваюсь у китайцев!» стало одним из социальных маркеров. Озвученные информантами причины — есть более удобные для покупки места с низкими ценами и в целом более понятными условиями покупки. Однако вопреки ожиданиям, найти тех, кто отказался от таких покупок (часто это описывается как этап потребительской карьеры), оказалось довольно сложно. При этом покупка требуют «оправдания», вот несколько характерных практик:

— не сообщать о том, что вещь куплена на базаре, ссылаясь на покупки в магазинах с похожим качеством товаров (например, «In city» или «Oggy»), покупки в которых, как и полученная на распродаже выгода, наоборот, предмет хвастовства и проявления потребительской смекалки, везения;

— использование особой интонации — «Да купил у китайцев...», т. е. не где-нибудь в хорошем месте, а «у китайцев»: «Спрашиваешь: „Где купил?“ — „Да у китайцев...“ Даже не знаю, как это передать словами, эту интонацию. Как будто не где-то там в каком-то там месте. Если спросишь, где ты купил, он скажет: „В «Остине»“. Нормальная интонация. А тут — „Да у китайцев...“ Как будто просто так забежал, что-то купил и убежал. Типа, я туда специально не ходил. Вроде долго не собирался покупать, денег много тратить не собирался. Так, зашел, купил и ушел» (жен., 28 лет);

— приписывание покупке особых свойств — это действительно очень дешево, а качество у вещи неплохое: «Я бы не хотела покупать сапоги у китайцев. Я бы сказала, что они из натуральной кожи и в них ноги не потеют. Я бы все равно придумала, никому бы не сказала, потому что это дешевле, конечно» (жен., 37 лет);

— поход на базар «за компанию» (как вариант, с родителями или с бабушкой) и необдуманная покупка «на ходу».

Главная тема, к которой обратились в описаниях, это качество товаров — именно низкое качество товаров в смысле ценовых ожиданий, а не страна происхождения, является основным отказом от покупок: «Я думаю, что это идет еще с 90-х годов, когда на рынках продавалась всякая ерунда. Когда все скатывалось, все рвалось на ходу, все ломалось, все воняло непонятно чем. Люди ведь вначале многие покупали у китайцев. Вырастая, взрослея, меньше и меньше желания вообще сталкиваться с такими проблемами. И кажется, что я уже, наверное, заработал себе на то, чтобы покупать качественные вещи и не ходить, не позориться в закатанных колготках. Я думаю, что это идет оттуда. Что в определенный момент

3. Несмотря на то что официально большинство «китайских рынков» перестали существовать, фактически произошла лишь смена вывески, но не самого формата (см. об этом: Журавская, 2012). Поэтому в тексте мы используем «рынок» вместо официального названия площадок «торговый центр».

вот этим вот качеством плохим они просто отбили аппетит к своей продукции у очень многих людей» (муж., 33 года).

Первое, от чего отказались (как озвучено — из соображений безопасности) — детские игрушки и бытовая техника. Затем идут относительно дорогие товары (например, зимняя обувь и одежда), поскольку на базаре нет возможности получить уже привычные потребительские гарантии. Зато легкие шлепанцы или надувные круги, мишура, кухонные полотенца и прочие «почти одноразовые» вещи часто и являются целью посещения. Соответственно, одна из стратегий «оправдания» — утверждение об улучшении *качества* товаров. По мнению таких информантов, низкое качество — просто стереотип, потому что все китайские товары и так некачественные, а в обычных магазинах и торговых центрах товары оттуда же. Рассказывали истории и о том, что на «китайском рынке» есть отделы, где продают фабричные вещи или что-то с юга Китая, и что продает их какой-то знакомый китаец. При этом такие вещи сравнимы с товарами в магазинах, в том числе и фирменных, а цены ниже (и снова — это удача и умный выбор). Мифом об улучшении этой характеристики товаров активно пользуются продавцы: как заверение о более высоком качестве продаваемого товара нередко можно услышать аргументы типа «Фабрика!», «Фирма!». Но покупатели им верят редко, предпочитая определять характеристики товара, основываясь на собственных ощущениях, визуальном и тактильном восприятии.

Отказ от покупок и «оправдательные» коннотации в описаниях, таким образом, связаны не только с осязаемыми, материальными причинами (отсутствием потребительских гарантий, неприятной атмосферой, языковым барьером и пр.), но и сформированным за прошедшие годы образом «китайского рынка» как места для «бедных». Хотя большую часть ассортимента составляют одежда и обувь, информанты редко упоминали об их покупке. Чаще говорили о том, что покупают то, чему нет дешевых эквивалентов в магазинах: например, товары для отдыха, чемоданы и дорожные сумки. Постоянные покупатели знают, что товар с «китайского рынка» не может стоить дорого. Практики торга устойчивы и применяются всеми: вначале нужно высказать претензии к качеству и сомнения в происхождении товара («фабричное» или кустарное производство?), затем предложить цену в 3–4 раза меньшую, чем первоначальная, затем можно демонстративно и пренебрежительно удалиться. Как правило, все это действие заканчивалось тем, что уже отвернувшегося и удаляющегося представителя «великой страны» догоняет «одумавшийся» торговец и уступает товар по цене в 2–2,5 раза меньшей, чем первоначальная. Это срабатывает раз за разом, позволяя российским туристам и покупателям «китайского рынка» на российской стороне самоутверждаться и укреплять веру в то, что торговля китайцам нужна гораздо больше, что это вроде услуги для бедного и голодного «брата».

Главный озвученный мотив выбора в пользу «китайского рынка» — желание сэкономить, поскольку за ним прочно закрепилась репутация места, где продают самые *дешевые* товары. Однако и для таких покупателей представление о низком

качестве товаров вплетено в существующие практики и их описание, вот две характерные и представленные как рациональный и осознанный выбор стратегии:

1) Покупка того, что не представляет особой ценности, «временного» или «одноразового» товара. Покупатель находится в стесненных обстоятельствах: например, изменение погоды не совпадает с запланированными затратами, и тогда курточка или зимние сапоги могут быть куплены за небольшие деньги, чтобы потом, когда «появятся деньги», купить уже то, что действительно нужно: «Захожу иногда, присматриваю что-то. Все зависит от финансового положения на данный момент: если есть деньги, то пойду в большие торговые центры, ну а если нет, то на рынок» (жен., 26 лет). Это же касается покупки, например, зонта или наушников, одежды для особого случая, т. е. того, что можно быстро заменить, что не используется постоянно или не планируется к бережному и долгому употреблению: «Последний раз была год назад с родителями, не по своим интересам. Я купила кимоно для дома, потому что удобно в использовании и стоит дешево. Честно говорю! Я предпочитаю текстиль домашний, естественно, другой: турецкий или «Пеликан», но мне жалко портить в приготовлении еды или уборке дома. И я покупаю эти кимоно-разлетаики. И у них вид такой, и не жалко потом выкинуть, если что. Родители покупают пуховики очень часто у китайцев. У мамы есть шуба, у мамы есть хорошее пальто российское, но вот что касается пуховиков — мама, родственники, они берут у китайцев» (жен., 39 лет).

2) «Экономия на масштабе» при больших единовременных затратах (сборы в школу, покупки к праздникам). Здесь покупателями движет желание сэкономить, в том числе и как возможность сбить цену, поскольку покупка нескольких вещей одновременно — хорошее основание для торга.

Граница весьма условна — можно покупать много малоценных товаров, что, в общем, и снижает затраты: «Мы покупаем ёлочные игрушки каждый год, потому что у нас мама любит всё дизайнерское, чтобы стилизовано всё. Ей не надо каждый год одно и то же, и она покупает очень много игрушек разнообразной формы, бантики, всякую ерунду, которая нам не нужна в общем-то. Они могут полежать еще годик, но потом они выбрасываются и не жалко их как-то. Поэтому там покупаем» (жен., 25 лет).

Еще одна особенность — отсутствие постоянных розничных покупателей, или клиентизации, в терминах К. Гирца (Гирц, 2009) (хотя есть исключение — особые отделы, где продают «фабричные вещи»): можно быть постоянным покупателем центра, но не продавца. Редко что-то покупается сразу, обычной практикой является полное обследование всех интересующих отделов с целью сравнения цен и сговорчивости продавца. Альтернативный вариант — купить первое, что понравилось, не задумываясь, «за компанию», стремясь быстрее покинуть неприятное место⁴. Сингуляризация покупаемых там товаров происходит в режиме реально-

4. Однако клиентские отношения (по Гирцу) необходимы в случае мелкооптовых закупок, когда покупатели являются внутренними «челноками» из области или владельцами мелких магазинов в городе.

го времени, в процессе динамической (пере)квалификации в процессе специфического торга, который явно отличается от хрестоматийных примеров торга как конституирующего признака базара и одного из механизмов выживания в условиях тотальной асимметрии информации (см. об этом: Бродель, 1988; Хилл, 2004). Покупаемую вещь осматривают, прощупывают, обнюхивают и даже пробуют на вкус, демонстрируя пренебрежение и «профессионализм» или же, наоборот, всячески демонстрируя незаинтересованность в покупке. Хотя усвоенные знания уже не всегда срабатывают: китайский торговец на снижение цены в два раза может ответить «здесь магазин» и прекратить торг.

«Китайский рынок» и отталкивает, и притягивает одновременно. Здесь перестает работать эффект марки или страны-производителя, а всем товарам приписываются одинаковые свойства — низкое качество и небольшая цена. Иногда даже суматоха и атмосфера действуют по-разному, а навязчивость и «прилипчивость» продавцов выглядят как гостеприимство. Кто-то даже жалеет (тем самым квалифицирует) продавцов: «Мне даже страшно рядом стоять, когда она [сестра] торгуется, если честно. Мне просто неприятно, я не люблю. Мне почему-то жалко китайцев, что они там стоят, зарабатывают себе таким образом на хлеб. Я понимаю, что в нормальном магазине шапочка та же продалась бы в три раза дороже, а он ее отдает по очень-очень маленькой цене» (жен., 27 лет).

Так «китайский рынок» в полном смысле предстает узлом перформативных актов, местом, где «китайцы» работают «китайцами», где каждый покупатель раз за разом разыгрывает свою роль представителя «большого» и «малого брата». Таким образом, частью социотехнического калькулятивного устройства трансграничного рынка являются и товары, и покупатели, и усвоенные знания о месте России в глобальном геополитическом контексте.

Переквалификация себя

Конец 2014 года... кризис, шок и паника. За курсом американской валюты следят и те, чья деятельность как-то зависит от нее, и те, кому этот показатель обычно безразличен. Ежедневные объявления курсов валют похожи на сводки с фронта: люди подсчитывают, калькулируют свои потери и с замиранием сердца готовятся к следующему дню. Многие начинают вести себя иррационально, на пике кризиса скупая иностранные валюты и представляя себя инвестором, создают «валютные корзины». У жителей приграничного города не последнюю роль в этой корзине занимает китайский юань. Конечно, курс рубля по отношению к китайской валюте также резко падает: люди платят вместо 4,5 руб. за юань до 11,5. При этом есть огромное различие между тем, как устанавливаются курсы юаня и доллара по отношению к рублю. Курс китайской валюты рассчитывается через кросс-курс, но это — гораздо худший ориентир, и поэтому возникает почва для спекуляций вне формальных банковских институтов. На фоне этих изменений резко заметным становится шопинг китайских туристов в приграничный Благовещенск. Ки-

тайские туристы и раньше делали здесь покупки, популярными были прежде всего продукты питания российского производства — шоколад и конфеты, мясные и рыбные деликатесы, водка. Покупали и товары более дорогие, такие как золотые ювелирные украшения, самоцветы, лекарственные препараты и косметику, в составе которых — дальневосточные дикоросы или продукты животных сибирского леса. Однако местные власти и предприниматели вряд ли рассматривали сегмент туристов из КНР как заслуживающий внимания и развития именно в таком качестве. В программах по развитию туризма в Приамурье⁵ такого пункта, как «шоп-туризм», в принципе не существовало, поскольку объемы покупок и поток «настоящих туристов» были незначительными.

Эти две темы — «курс доллара/покупать ли валюту» и «китайцы, скупающие всё» стали в эти дни для наших земляков основными: в бассейне и на автобусной остановке, в магазине и кинотеатре, в налоговой инспекции и больнице простые люди так или иначе возвращались к этим навязчивым сюжетам. Посещение магазинов туристами из Китая и раньше входило в развлекательную программу, но заключалось, скорее, в созерцании, опыте ознакомления, а не в реальных и тем более многочисленных покупках. Собственно, шопинг и сейчас — часть развлекательной программы, просто программа стала доступной многим. Показательны в этом смысле детские туристические группы, которые организованно приезжают в большие магазины и «как ураган» проносятся по ним. «Они берут с полок все подряд, выбирая лишь по красочной упаковке, хватают запрещенные к продаже детям алкоголь, кладут в тележки кулинарный жир» (продавец, сеть продуктовых магазинов). Все это выглядит как аттракцион, ранее недоступный «обычным» туристам из Поднебесной. «Необычность» наблюдаемого поведения стала причиной сопротивления: благовещенцы далеко не сразу приняли происходящие на их глазах изменения. В повседневных объяснениях они продолжали «цепляться» за привычную рациональность, не желая мириться с новым знанием. Так запустился процесс перекалфикации сначала «китайцев» через наблюдаемые практики шоп-туризма и изменения в облике города, ассортимента магазинов, а затем — себя и своего места в глобальном мире.

Для осмысления происходящего потребовались «рациональные» объяснения: «неожиданные» закупки муки и растительного масла осенью 2014 года продавцы объяснили потребностями местных ресторанов китайской кухни. Интерес обывателей подтолкнул журналистов к публикации экспертных мнений, связывающих китайские покупки с «паритетом покупательской способности валют»:

Изменения курса рубля по отношению к другим валютам имеет отложенное влияние на цены, — объяснила финансовый эксперт Е. Н. — Получается парадоксальная ситуация на рынке, когда в переводе на иностранную валюту

5. Последняя такая подпрограмма вошла в состав государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» в 2013 году. Подпрограмма предусматривает в качестве основной меры развитие туристско-рекреационного кластера «Амур» со строительством инфраструктурных объектов.

товар в России стоит дешевле, чем в других странах. Например, брендовая кофта условно стоит 100 евро во Франции или 800 юаней в Китае, в России еще месяц назад ее цена составляла 5 тысяч рублей. Сегодня для иностранцев эта же кофта как будто стоит 50 евро или 400 юаней с учетом двукратного падения курса отечественной валюты. Пока продавцы иностранных товаров не поспевают переписывать ценники, иностранцам выгодно совершать покупки в нашей стране. У экономистов для этого есть термин «паритет покупательской способности валюты», так вот, временно соотношение валют, исходя из цен на аналогичные товары в сравниваемых странах, нарушено⁶.

Нельзя сказать, что эта информация была как-то особо непонятна жителям провинциального российского городка. За последние 25 лет глобальные экономические знания уже были усвоены и присвоены. Однако они не сразу трансформировались в признание того, что хорошо знакомые и бедные соседи могут вдруг позволить себе то, что ты позволить едва ли можешь. Поэтому в конце 2014 года стали активно обсуждать, что «китайцы», которые пришли за шубами и ювелирными украшениями, за элитной парфюмерией и алкоголем, что это вовсе не *привычные китайцы*, работающие на базаре или обучающиеся в провинциальном вузе. По общему согласию, в Благовещенск приехали более богатые, чем основная часть местного населения, туристы, появились новые бизнесмены, покупающие товары в России на заказ. У этих «новых» китайцев даже и разрез глаз оказался «другим», не говоря о манерах, одежде и привычках.

Конечно, было очень желательным, чтобы мифический «новый» покупатель видел в своем соседе не вдруг обедневшего «аристократа», но равного или даже в чем-то превосходящего его «владельца товара». Самым очевидным коллективным знанием стал хорошо знакомый дискурс о качестве товаров, продаваемых по разную сторону границы. Оказалось, что даже глобальные производители и торговые сети хорошо понимают, что товар, производимый для продажи в Китае, должен быть не таким, как товар, производимый для россиян. «Откуда вы знаете, что качество нашей косметики лучше? — Я вижу по ним, их ведь я косметикой не пользуюсь. Если они это покупают, значит, она чем-то на уровень лучше, чем у них» (замдиректора сетевого магазина бытовой химии и косметики).

Отличаться должно все — и состав, и упаковка, и дизайн: и картон для коробочек хуже, и буквы расплываются. Парфюмерия отличается по концентрации: «первый розлив» ориентирован на Европу и США, второй — на Россию и Восточную Европу, третий — на Азию. В азиатские страны, в том числе и в Китай, идет наименее концентрированный, а потому и более дешевый продукт. «Очевидность» такого распределения «силы» между странами и регионами мира превращается в «очевидность» знаний о качестве товаров. Не удивительно, что и «натуральная» российская косметика оказывается очень ценной. «Чистая линия» или «Черный жемчуг», стоявшие на полках пониже, «переезжают» на более высокие полки и на-

6. Китайские туристы скупают в Благовещенске айфоны, золотые украшения и вино // Амурская правда. 19.12.2014. URL: <https://www.ampravda.ru/2014/12/19/053969.html>

чинают активнее привлекать и местных жителей. Так происходит перекалфикация привычных товаров, их ценность и качество подвергаются сомнению, сами товары встраиваются в новые сети отношений. Процессы сингуляризации благ запускаются заново, сами товары перестают быть стабильными, сталкиваясь с непривычными требованиями «новых китайцев».

Качеством упаковки и сырья, однако, трудно объяснить продажи бытовой техники, произведенной или собранной в России из комплектующих и запчастей китайского производства. Здесь также всплывает привычная рациональность в непривычном контексте: «Мы не стараемся обмануть покупателя и продать что-то любой ценой, зная, что турист скорее всего не будет возвращаться за обменом» (директор сетевого магазина бытовой техники, российский оператор). Кроме того, на полки в Благовещенске не выставляется бракованный товар, потому что его не «собирают в подвале», не делается различий между туристами и местным населением и в предоставлении гарантий, выдаче чеков и прочих потребительских благах, которые не всегда были доступны при покупках по ту сторону границы или на «китайском рынке». Во всем этом читалась попытка сохранить знания о социальных ролях, задержаться в странах «второго», а не скатиться к «третьему» эшелону, остаться не торговцем, а представителем цивилизованного формата торговли. И тем не менее, как же производится новое знание? Что меняется? И главное, как именно это происходит?

Как бы ни рационализировали обыватели (продавцы или российские покупатели) поведение покупателей китайских, собственники магазинов на новый спрос отреагировали очень быстро. Поскольку туристы стали составлять значимый сегмент благовещенского рынка, изменились практики торговли. Интересно, что адаптация к новому явлению пошла по известному для «народной торговли» сценарию: приграничный Благовещенск сам стал базаром, полем действия «диких» экономистов.

Самые очевидные изменения коснулись вывесок и рекламы. Ранее стороннему наблюдателю бросалось в глаза, что Хэйхэ, в отличие от Благовещенска, пестрит русскоязычными вывесками (см. о «базарном пиджине»: Григоричев, Гузей, 2017). Теперь для крупных благовещенских магазинов электроники, золота, меха вывески на китайском стали обычной практикой. Одна из благовещенских сетей разместила в китайском приграничном городе рекламный ролик не просто на китайском, но с моделью азиатской внешности. Начал изменяться ассортимент в соответствии со структурой спроса. Как отмечают продавцы, в продуктовых магазинах появилось больше шоколада и прочих сладостей, колбас и мясных деликатесов местного производства, в магазинах бытовой химии — отбеливающая косметика и солнцезащитные средства, в ювелирных — янтарь, гранат и прочие самоцветы.

Более значимой оказалась проблема языкового барьера. Если раньше желание говорить по-русски наблюдалось по большей части со стороны китайских продавцов, то теперь эту необходимость почувствовали и продавцы в благовещенских магазинах. Объясняться с туристами крайне сложно, невозможно убедить, на-

пример, в том, что товар неизвестной им марки не хуже того, который они ищут. Туристы приезжают с распечатками фотографий, показывают их в планшете или телефоне, общаются через электронный переводчик, с помощью жестов и рисунков. О товарах и местах покупок они узнают от друзей и знакомых, им разрешено делать фото товаров, которые тут же кому-то пересылаются, сопровождая пересылку аудиосообщениями и звонками. Сарафанное радио, как и раньше, стало лучшим средством коммуникации, поскольку большинство других средств недоступны для иностранцев, не знающих языка принимающей страны: «Недавно один китаец купил у нас 5 фильтров для воды. На следующий день пришел другой, с фотографией такого фильтра и купил еще 5. Так в течение нескольких дней к нам пришло человек 6–7, и они скупили все фильтры» (продавец-консультант).

В более сложных случаях, например, там, где продают электронику, как в Хэйхэ, так и на «китайских рынках» в Благовещенске, появились продавцы, владеющие языком. «Китайцы в этом плане не похожи на наших покупателей. Русские часто стараются показать, что они и сами знают, как всё работает. А китайцы всё подробно расспрашивают. Как то работает, как это, что это за кнопка и т. д.» (продавец-консультант).

В ход пошли и неформальные практики, такие как вознаграждение для гида или любого, кто приведет туристическую группу в магазин. Это прежде всего касается более мелких магазинов ювелирных изделий и меховых товаров. Такие «помогаи» в свое время были очень распространены в Хэйхэ, когда туристический поток там начал иссякать, они предлагали свои услуги прямо на улицах, приставая к прохожим с вопросами: «Шубу надо? Баню?» Кроме того, продавцы часто собирают заказ, т. е. ищут подходящий товар в других магазинах сети, например, как раньше китайские торговцы искали размер, цвет и необходимое количество товаров в соседних отделах. Повседневные знания о кросс-граничном шопинге и мифы о качестве переносят в свои практики и сами туристы. Так, одна из покупательниц отказывалась покупать коробку крема до тех пор, пока сотрудники не наклеили на каждый тюбик штрих-код магазина — дабы быть уверенной в том, что товар не является подделкой.

Нашлось место и давно усвоенным практикам торга, правда, они изменились. Сами продавцы и владельцы магазинов считают главным своим оружием в борьбе за клиента скидки, о них потенциальным покупателям сообщают заранее. Считается, что скидки очень любят сами китайцы, которые первое время пытались в магазинах торговаться. Попытки торговаться сбивали с толку, это практика базарная, подневольный продавец в магазине, в отличие от «хозяина», позволить себе снижать цену не может. Вот и нашли практике торга эквивалент, т. е. в принципе российские продавцы тоже готовы пойти на уступки.

Но если новый феномен и знания изменили действия и практики, происходит ли что-то с социальными ролями? Как мы уже подчеркивали выше, идет постоянный внутренний «торг» за место в сконструированной иерархии — «большой брат» соглашается, что «малый» вырос и может занять место равного. В разговоре

о китайских туристах теперь подчеркивают, что они «очень приличные», без корысти, без обмана, «обычные люди», говорят четко и спокойно, «как будто они всегда здесь жили». Перекупщиков, покупающих товары для перепродажи в Китае или под заказ (например, при торговле через интернет), сравнивают с собой, вспоминая свой опыт групповой поездки в качестве «фонаря» или «кирпича»: «Приходят группами, наверное, потому, что нельзя на таможне большие партии. Как раньше мы делали, покупали и разбирали партии на несколько человек — такие же, как мы» (работник магазина, бывший «челнок»).

Если вдруг «равному» оказывается мало места, если он в чем-то превосходит потеснившегося соседа, появляется раздражение. «Брали перед Новым годом своим японскую дорожную туалетную бумагу. И вот мы с товароведом разговаривали и предполагали, что они поедут в какую-то свою деревню и там каждому по такому рулону подарят. Потому что так не понятно, зачем она им нужна» (продавец, сеть продуктовых магазинов). Иными словами, предположить, что небогатые китайцы, иногда одетые «как простые рабочие», могут покупать такие товары для собственного использования, непросто. Не понятно, почему они стали покупать йогурты и прочие молочные продукты, которые, видимо, «даже не едят».

В конце ноября 2015 года в сети парфюмерии и косметики «Л'Этуаль» случилась распродажа — скидка 50% на весь ассортимент в течение недели. О скидках постоянных клиентов известили заранее, разослав СМС и электронные письма с приглашениями. Наверняка акция прошла на ура по всей стране, но в благовещенских магазинах уже на второй день распродажи покупателей ждал неприятный сюрприз: опустевшие полки Dior, Chanel, Maybellin, L'Oreal, Max Factor... Как выяснилось, полки опустели еще до конца первого рабочего дня, и хотя последние три марки рассчитаны на средний сегмент, первые две все же относятся к люксовой категории товара. Продавцы в залах только плечами пожимали на расспросы покупателей и говорили, что сами не ожидали такого ажиотажа, что скупил все наши соседи... Для благовещенцев все это стало свидетельством изменения уровня жизни в Китае, осознанием того, что китайцы — это не бедный голодный народ, а богатые туристы, жители более успешной страны, которая вообще-то уже не первый год является первой экономикой мира. Чего не скажешь о России. После 2014 года китайцы смогли позволить себе покупать более качественные товары, приобретать известные и дорогие бренды, элитные товары вроде мехов и самоцветов, видимо, там «что-то с компартией их», как выразилась одна из наших информанток.

Заключение

Итак, «китайские рынки» по обе стороны границы в дальневосточных городах стали узлами перформативных практик, где сплелись воедино представления жителей приграничных городов о себе, курсах валют, экономике и политической мощи соседней страны. Шоп-туры в Китай и посещение «китайских рынков»

в Благовещенске было путешествием в особое пространство прошлого, в аутентичное пространство «отсталого соседа». Смена вектора приграничного шопинга изменила это восприятие, перевернув условную геополитическую иерархию. До сих пор посещение базара требовало особых интонаций, рационализирующих объяснений, а практики поиска товаров, торга и определения качества были удивительно устойчивы и специфичны именно для этого места. В 2014-м «покупатели» превратились в «торговцев», «младший брат» подрос, а Благовещенск сам стал «базаром».

Усвоение этого знания жителями провинциального города было болезненным, но неизбежным. Как неизбежным казался и нарастающий и все более заметный поток китайских туристов, непохожих на торговцев с базара. Вслед за переосмыслением роли китайских туристов, приехавших с целью шопинга российских товаров, произошла и переквалификация «китайских» товаров в ожиданиях о соотношении цены и качества (качество все еще низкое, но дешево это стоить уже не может), а практики торга на «китайских рынках» стали более осторожными. Продавец на возражение «я за такие деньги и в магазине могу купить» может ответить «здесь тоже магазин», и не побежать вовсе за представителем «великой страны». Рост цен, не сопровождаемый улучшением качества товаров, парадоксальным образом только укрепил представление о «китайском рынке» как о «месте для бедных», но покупки с той стороны границы стали цениться как более статусные. В свою очередь, в российских магазинах появились недоступные для российских покупателей практики: некоторые товары подорожали, а система скидок стала более разнообразной и при этом неявной. В магазинах, популярных у шоп-туристов из Китая, «кричащих» ценников с предложениями о скидках, как правило, нет. О них договариваются в процессе покупок. Так места стали не тем, чем были до кризиса, ценность Благовещенска как туристической дестинации не была очевидна ни для жителей, ни для властей, движущей силой стали сами туристы. Знание о курсах валют и представления о качестве товаров изменило пространство, не изменив место.

В данной работе система различий экономики качеств позволила нам, с одной стороны, сделать методологическое расширение применительно к исследованиям туризма в части описания создания множественного туристического пространства во времени, вплетая в этот процесс повседневные практики, рутины резидентов дестинации, с другой — протестировать сам язык описания концепции применительно к практикам «диких экономистов» и повседневного знания о функционировании трансграничного рынка в целом (и туристического в частности). В исследованиях туризма это показывает, как экономическое знание, накопленное туристами и местными жителями, вплетенное в восприятие себя и другого, перформатирует социальное время и пространство.

Ключевая посылка Чембрелена в его концепции монополистической конкуренции, с которой начинает построение Каллон и соавторы, это наличие конкуренции между продавцами, которое и заставляет их быть ключевыми акторами в сети

квалификации качеств. Продавцы стремятся «отстроиться» от конкурентов, сделать свое предложение уникальным (хотя, конечно, контролировать, каким станет сингулярное благо для покупателя, невозможно), что и составляет суть динамической природы рынков. Однако мы показали, что и покупатель способен запускать процесс переквалификации, фактически создавая новое поле конкуренции (в этой картине мы не так пассивны и ведомы, как часто можно слышать от критиков капитализма). Иными словами, динамика рынка с иной диспозицией власти может иметь такую же природу. А потому мы задаемся вопросом — действительно ли конкуренция продавцов так необходима для запуска процессов квалификации благ? Если шире, то насколько (пере)квалификация универсальна для разных типов рынка? Скажем, для тех, где спрос неэластичен? Знание о трансграничном рынке «диких экономистов» в конечном итоге уравнило динамику рынка (что еще раз заставляет вспомнить вопросы о влиянии экономической науки и о ее границе с «реальной экономикой»). А может, правы недавние критики Каллона, утверждая, что экономические теории потому хороши, что описывают реальность, а не формируют ее.

Наш случай добавляет также аргумент в пользу связи политического и экономического. Очевидно, что распределенное калькулятивное устройство политически не нейтрально, политическое знание также есть часть этого устройства. Само пространство сетей людей и вещей не является нейтральным, определяя то, кем быть и в каких отношениях состоять вплетенным в нее акторам. Вопрос, который мы здесь задаем, скорее, методологический: если это так, то может ли экономика качеств объяснить динамику власти?

Литература

- Бродель Ф.* (1988). Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV–XVIII вв. Т. 2: Игры обмена. М.: Прогресс.
- Гириц К.* (2009). Базарная экономика: информация и поиск в крестьянском маркетинге // Экономическая социология. Т. 10. № 2. С. 54–62.
- Григоричев К. В., Гузей Я. С.* (2017). Язык «этнических» рынков: базар как пиджин и ситуация границы // Вестник РУДН. Серия: Лингвистика. Т. 21. № 3. С. 530–556.
- Гурова О. Ю.* (2012). Почему петербуржцы отправляются за покупками в Финляндию? Исследование трансграничного шоппинга // Экономическая социология. Т. 13. № 1. С. 18–37.
- Дятлов В. И., Григоричев К. В.* (ред.). (2015). Этнические рынки в России: пространство торгова и место встречи. Иркутск: ИГУ.
- Дятлов В. И., Кузнецов Р. Э.* (2004). «Шанхай» в центре Иркутска: экология китайского рынка // Экономическая социология. Т. 5. № 4. С. 56–71.
- Журавская Т. Н.* (2012). «Китайский» торговый центр vs. «китайский» рынок: что изменилось со времени запрета на торговлю иностранцев на розничных рын-

- ках (на примере Амурской области) // *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз.* № 4. С. 104–123.
- Каллон М. (2015). Некоторые элементы социологии перевода: одомашнивание морских гребешков и рыбаков залива Сен-Бриё // *Социология власти.* № 1. С. 196–231.
- Каллон М., Меадель С., Рабехарисоа В. (2008). Экономика качеств // *Журнал социологии и социальной антропологии.* Т. XI. № 4. С. 59–87.
- Лысикова О. В. (2011). Туризм как освоение пространства-времени: мобильность коллективной памяти // *Теория и практика общественного развития.* № 7. С. 95–100.
- Радаев В. В. (2007). *Захват российских территорий: новая конкурентная ситуация в розничной торговле.* М.: Изд. дом ГУ ВШЭ.
- Рубцова Н. В. (2019). Иностранцы туристы на Байкале: изменение портрета потребителей туристических услуг под воздействием геополитического кризиса // *Маркетинг в России и за рубежом.* № 1. С. 48–53.
- Рыжова Н. П. (2003). Трансграничный рынок в Благовещенске: формирование новой реальности деловыми сетями «челноков» // *Экономическая социология.* Т. 4. № 5. С. 54–71.
- Рыжова Н. П., Журавская Т. Н. (2021). Время и пространство в современных исследованиях туризма // *Социологическое обозрение.* Т. 20. № 2. С. 000–000.
- Симутина Н. Л., Рыжова Н. П. (2007). Экономические и социальные взаимодействия на трансграничном пространстве Благовещенск–Хэйхэ // *Вестник ДВО РАН.* № 5. С. 130–144.
- Скорин-Чайков Н. В. (2012). Медвежья шкура и макароны: о социальной жизни вещей в сибирском совхозе и перформативности различий дара и товара // *Экономическая социология.* Т. 12. № 2. С. 59–81.
- Хилл П. (2004). Рынки как места торговли // *Итуэлл Дж., Милгейт М., Ньюмен П.* (ред.). *Экономическая теория.* М.: ИНФРА-М. С. 517–524.
- Шевырин С. А. (2009). Поведение туристов за пределами СССР было скромным. Однако такие туристы, как... URL: <https://clck.ru/Posvj> (дата обращения: 10.03.2020).
- Юдин Г. Б. (2008). Перформативность в действии: экономика качеств М. Коллона как парадигма социологического анализа рынков // *Журнал социологии и социальной антропологии.* Т. XI. № 4. С. 47–58.
- Яковлев А., Голикова В., Капралова Н. (2006). Открытые рынки и «челночная» торговля в российской экономике: вчера, сегодня, завтра (по материалам эмпирических исследований 2001–2005 гг.). Препринт WP4/2006/05. М.: ГУ ВШЭ.
- Agrusa J., Kim S. S., Wang K.-Ch. (2011). Mainland Chinese Tourists to Hawaii: Their Characteristics and Preferences // *Journal of Travel and Tourism Marketing.* Vol. 28. № 3. P. 261–278.
- Aspers P. (2007). Theory, Reality, and Performativity in Markets // *American Journal of Economics and Sociology.* Vol. 66. № 2. P. 379–398.

- Bar-Kolelis D., Wiskulski T.* (2012). Cross-Border Shopping at Polish Borders: Tri-City and the Russian Tourists // *GeoJournal of Tourism and Geosited*. Vol. 9. № 1. P. 43–51.
- Bell E.* (2008). *Theories of Performance*. London: Sage.
- Brisset N.* (2016). Economics is not Always Performative: Some Limits for Performativity // *Journal of Economic Methodology*. Vol. 23. № 2. P. 160–184.
- Butler J.* (1990) *Gender Trouble*. London: Routledge.
- Callon M.* (1998). Introduction // *Callon M.* (ed.). *The Laws of the Markets*. London: Blackwell. P. 1–57.
- Callon M., Law J.* (2005). On Qualculation, Agency, and Otherness // *Environment and Planning D: Society and Space*. Vol. 23. № 5. P. 717–733.
- Callon M., Muniesa F.* (2005). Economic Markets as Calculative Collective Devices // *Organization Studies*. Vol. 26. № 8. P. 1229–1250.
- Chamberlin E.* (1961). The Origin and Early Development of Monopolistic Competition Theory // *Quarterly Journal of Economics*. Vol. 75. № 4. P. 515–543.
- Chan A., Hsu C. H. C., Baum T.* (2015). The Impact of Tour Service Performance on Tourist Satisfaction and Behavioral Intentions: A Study of Chinese Tourists in Hong Kong // *Journal of Travel and Tourism Marketing*. Vol. 32. № 1–2. P. 18–33.
- Chan Yuk Wah* (2008). Disorganized Tourism Space: Chinese Tourists in an Age of Asian Tourism // *Winter T., Teo P., Chang T. C.* (eds.). *Asia on Tour: Exploring the Rise of Asian Tourism*. London: Routledge. P. 67–77.
- Cohen E., Cohen S. A.* (2012). Current Sociological Theories and Issues in Tourism // *Annals of Tourism Research*. Vol. 39. № 4. P. 2177–2202.
- Cochoy F., Giraudeau M., McFall L.* (2010). Performativity, Economics and Politics: An Overview // *Journal of Cultural Economy*. Vol. 3. № 2. P. 139–146.
- Di Giovine M. A.* (2014). The Imaginaire Dialectic and the Refashioning of Pietrelcina // *Salazar N. B., Graburn N. H. H.* (eds.). *Tourism Imaginaries*. New York: Berghahn Books. P. 147–171.
- Edensor T.* (1997). *Tourists at the Taj: Performance and Meaning at a Symbolic Site*. London: Routledge.
- Ferraris F.* (2014). Temporal Fragmentation: Cambodian Tales // *Salazar N. B., Graburn N. H. H.* (eds.). *Tourism Imaginaries*. New York: Berghahn Books. P. 172–193.
- Gregson N., Rose G.* (2000). Taking Butler Elsewhere: Performativities, Spatialities and Subjectivities // *Environment and Planning D: Society and Space*. Vol. 18. № 4. P. 433–452.
- Hannam K., Sheller M., Urry J.* (2006). Editorial: Mobilities, Immobilities, Moorings // *Mobilities*. Vol. 1. № 1. P. 1–22.
- Hung K., Ren L., Qiuc H.* (2021) Luxury Shopping Abroad: What do Chinese Tourists Look for? // *Tourism Management*. Vol. 82. P. 104–182.
- MacCannell D.* (1973). Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings // *American Journal of Sociology*. Vol. 79. № 3. P. 589–603.
- MacCannell D.* (1976). *The Tourist: A New Theory of the Leisure Class*. New York: Schocken Books.

- Hüwelmeier G.* (2013). Postsocialist Bazaars: Diversity, Solidarity, and Conflict in the Marketplace // *Laboratorium*. Vol. 5. № 1. P. 52–72.
- Ries A., Trout J.* (1981). *Positioning: The Battle for your Mind*. New York: McGraw-Hill.
- Salazar N. B., Zhang Y.* (2013). Seasonal Lifestyle Tourism: The Case of Chinese Elites // *Annals of Tourism Research*. Vol. 39. № 4. P. 2177–2202.
- Salazar N. B., Graburn N. H. H.* (2014) Introduction: Toward an Anthropology of Tourism Imaginaries // *Salazar N. B., Graburn N. H. H.* (eds.). *Tourism Imaginaries*. New York: Berghahn Books. P. 1–28.
- Truong Th.-H., King B.* (2009). Evaluation of Satisfaction Levels among Chinese Tourists in Vietnam // *International Journal of Tourism Research*. Vol. 11. P. 521–535.
- World Tourism Organization (2014). *Global Report on Shopping Tourism*. Madrid: UN-WTO.

The Economy of Qualities in a Cross-Border Market: Shopping Tourism as a Performative Practice

Tatiana N. Zhuravskaia

Candidate of Sociological Sciences, Senior Research Fellow, Economic Research Institute of FEB RAS
Assistant Professor, School of Economics and Management, Far Eastern Federal University,
Address: Tikhookeanskaya str., 53, Khabarovsk, Russian Federation 680042
E-mail: wellshy@mail.ru

Natalia P. Ryzhova

Doctor of Economical Sciences, Key and Excellent Research Fellow, Department of Asian Studies, Palacky University in Olomouc
Head of Laboratory, Economic Research Institute of FEB RAS
Address: Křížkovského 511/8, Olomouc, Czech Republic 77900
E-mail: n.p.ryzhova@gmail.com

The article discusses the performativity of shopping tourism on the Russian-Chinese border using the terminology of M. Callon's and his co-authors' economy of qualities. The 2014 crisis has changed the parity of the ruble and the yuan, and has also changed the vector of cross-border tourism in the opposite direction. The authors show how observation of the residents of Blagoveshchensk regarding the purchases of Chinese tourists performs the perception of their social time and sends them "into the past". They compared their everyday "here and now" knowledge with the knowledge accumulated during the operation of the cross-border local market. The usage of the language of the economy of qualities allows for the expansion of the boundaries of this concept for another type of market, that of the buyer's market. We also ask about the dynamics of power in the wake of the assertion about the nature of market dynamics. The article consists of three main sections. The first section is a theoretical overview of the use of the concept of performativity in tourism research and the choice of the descriptive language for this empirical case. In the second section, we describe the "Chinese market" and trade practices before the 2014 crisis. The third section contains a reflection on the post-crisis changes and the processes of (re)qualification of goods and themselves. Empirical materials were gathered by

the authors in the course of long-term studies in the twin-cities of Blagoveshchensk and Heikhe located on two banks of the Amur River, mainly through observation and interviews.

Keywords: shopping tourism, performativity, economy of qualities, (re)qualification of goods, social time, multiple space, "Chinese market", Russian-Chinese borderland

References

- Agrusa J., Kim S. S., Wang K.-Ch. (2011) Mainland Chinese Tourists to Hawaii: Their Characteristics and Preferences. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, vol. 28, no 3, pp. 261–278.
- Aspers P. (2007) Theory, Reality, and Performativity in Markets. *American Journal of Economics and Sociology*, vol. 66, no 2, pp. 379–398.
- Bar-Kolelis D., Wiskulski T. (2012) Cross-Border Shopping at Polish Borders: Tri-City and the Russian Tourists. *GeoJournal of Tourism and Geosited*, vol. 1, no 9, pp. 43–51.
- Bell E. (2008) *Theories of Performance*, London: Sage.
- Brisset N. (2016) Economics is not Always Performative: Some Limits for Performativity. *Journal of Economic Methodology*, vol. 23, no 2, pp. 160–184.
- Brodel F. (1988) *Material'naya civilizatsiya, ekonomika i kapitalizm: XV-XVIII vv. T. 2: Igrы obmena* [Material Civilization, Economy and Capitalism: 15th–18th Centuries, Vol. 2: Games of Exchange], Moscow: Progress.
- Butler J. (1990) *Gender Trouble*, London: Routledge.
- Callon M. (1998) Introduction. *The Laws of the Markets* (ed. M. Callon), London: Blackwell, pp. 1–57.
- Callon M. (2015) Nekotorye elementy sociologii perevoda: odomashnivanje morskih grebeshkov i rybakov zaliva Sen-Brijo [Some Elements of the Sociology of Translation: Domestication of Sea Scallops and Fishermen of the Bay of Saint-Brieuc]. *Sociology of Power*, vol. 1, no 27, pp. 196–231.
- Callon M., Law J. (2005) On Qualculation, Agency, and Otherness. *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 23, no 5, pp. 717–733.
- Callon M., Muniesa F. (2005) Economic Markets as Calculative Collective Devices. *Organization Studies*, vol. 26, no 8, pp. 1229–1250.
- Callon M., Meadel S., Rabeharisoa V. (2008) Ekonomika kachestv [Economics of Qualities]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 11, no 4, pp. 59–87.
- Chamberlin E. (1961) The Origin and Early Development of Monopolistic Competition Theory. *Quarterly Journal of Economics*, vol. 75, no 4, pp. 515–543.
- Chan A., Hsu C. H. C., Baum T. (2015) The Impact of Tour Service Performance on Tourist Satisfaction and Behavioral Intentions: A Study of Chinese Tourists in Hong Kong. *Journal of Travel and Tourism Marketing*, vol. 32, no 1–2, pp. 18–33.
- Chan Yuk Wah (2008) Disorganized Tourism Space: Chinese Tourists in an Age of Asian Tourism. *Asia on Tour: Exploring the Rise of Asian Tourism* (eds. T. Winter, P. Teo, T. C. Chang), London: Routledge, pp. 67–77.
- Cohen E., Cohen S.A. (2012) Current Sociological Theories and Issues in Tourism. *Annals of Tourism Research*, vol. 39, no 4, pp. 2177–2202.
- Cochoy F., Giraudeau M., McFall L. (2010) Performativity, Economics and Politics: An Overview. *Journal of Cultural Economy*, vol. 3, no 2, pp. 139–146.
- Di Giovine M. A. (2014) The Imaginaire Dialectic and the Refashioning of Pietrelcina. *Tourism Imaginaries* (eds. N. B. Salazar, N. H. H. Graburn), New York: Berghahn Books, pp. 147–171.
- Dyatlov V., Grigorichev K. (eds.) (2015) *Etnicheskie rynki v Rossii: prostranstvo torga i mesto vstrechi* [Ethnic Marketplaces in Russia: Bargaining Space and Meeting Place], Irkutsk: IGU.
- Dyatlov V., Kuznetsov R. (2004) "Shanhaj" v centre Irkutsk: ekologiya kitajskogo rynka ["Shanghai: in the Center of Irkutsk: Ecology of the Chinese Marketplace]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 5, no 4, pp. 56–71.
- Edensor T. (1997) *Tourists at the Taj: Performance and Meaning at a Symbolic Site*, London: Routledge.
- Ferraris F. (2014) Temporal Fragmentation: Cambodian Tales. *Tourism Imaginaries* (eds. N. B. Salazar, N. H. H. Graburn), New York: Berghahn Books, pp. 172–193.

- Girc C. (2009) Bazarnaya ekonomika: informaciya i poisk v krest'yanskom marketing [Bazaar Economy: Information and Search in Peasant Marketing]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 10, no 2, pp. 54–62.
- Gregson N., Rose G. (2000) Taking Butler Elsewhere: Performativities, Spatialities and Subjectivities. *Environment and Planning D: Society and Space*, vol. 18, no 4, pp. 433–452.
- Grigorichev K., Guzei Y. (2017) Jazyk "etnicheskikh" rynkov: bazar kak pidzhin i situaciya granicy [Language of "Ethnic" Marketplaces: Bazaar as a Pidgin and the Situation of the Border]. *Russian Journal of Linguistics*, vol. 21, no 3, pp. 530–556.
- Gurova O. (2012) Pochemu peterburzhcy otpravlyajutsya za pokupkami v Finlyandiju? Issledovanie transgranichnogo shoppinga [Why Petersburgers Go Shopping in Finland? A Study of Cross-Border Shopping]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 13, no 1, pp. 18–37.
- Hill P. (2004) Rynki kak mesta torgo vli [Markets as Places of Trade]. *Ekonomicheskaya teoriya* [Economic Theory] (eds. J. Eatwell, M. Milgate, P. Newman), Moscow: INFRA-M, pp. 517–524.
- Hung K., Ren L., Qiu H. (2021) Luxury Shopping Abroad: What do Chinese Tourists Look for? *Tourism Management*, vol. 82, pp. 104–182.
- Yakovlev A., Golikova V., Kapralova N. (2006) Otkrytye rynki i "chelnochnaya: torgovlya v rossijskoj ekonomike: vchera, segodnya, zavtra (po materialam empiricheskikh issledovanij 2001–2005 gg.) [Open-air Markets and Shuttle Trade in Russian Economy: Yesterday, Today, Tomorrow (Based on Empirical Research of 2001–2005)]. Preprint WP4/2006/05, Moscow: HSE.
- Yudin G. (2008) Performativnost' v dejstvii: ekonomika kachestv M. Kollona kak paradigma sociologicheskogo analiza rynkov [Performativity in Action: The Economics of Qualities by M. Callon as a Paradigm of Sociological Analysis of Markets]. *Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 11, no 4, pp. 47–58.
- Hannam K., Sheller M., Urry J. (2006) Editorial: Mobilities, Immobilities, Moorings. *Mobilities*, vol. 1, no 1, pp. 1–22.
- Lysikova O. (2011). Turizm kak osvoenie prostranstva-vremeni: mobil'nost' kollektivnoj pamjati [Tourism as the Development of Space-Time: The Mobility of Collective Memory]. *Theory and Practice of Social Development*, no 7, pp. 95–100.
- MacCannell D. (1973) Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings. *American Journal of Sociology*, vol. 79, no 3, pp. 589–603.
- MacCannell D. (1976) *The Tourist: A New Theory of the Leisure Class*, New York: Schocken Books.
- Hüwelmeier G. (2013) Postsocialist Bazaars: Diversity, Solidarity, and Conflict in the Marketplace. *Laboratorium*, vol. 5, no 1, pp. 52–72.
- Radaev V. (2007) *Zahvat rossijskikh territorij: novaya konkurentnaya situaciya v roznichnoj torgovle* [The Capture of Russian Territories: A New Competitive Situation in Retail Trade], Moscow: HSE.
- Ries A., Trout J. (1981) *Positioning: The Battle for Your Mind*, New York: McGraw-Hill.
- Rubtsova N. (2019) Inostrannye turisty na Bajkale: izmenenie portreta potrebitelej turisticheskikh uslug pod vozdejstviem geopoliticheskogo krizisa [Foreign Tourists in Baikal: Changing the Portrait of Consumers of Tourist Services under the Influence of Geopolitical Crisis]. *Journal of Marketing in Russia and Abroad*, no 1, pp. 48–53.
- Ryzhova N. (2003) Transgranichnyj rynek v Blagoveshenske: formirovanie novoj real'nosti delovymi setyami "chelnokov" [Transboundary Market in Blagoveshchensk: The Creation of a New Reality by Business Networks of "Shuttles"]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 4, no 5, pp. 54–71.
- Salazar N. B., Zhang Y. (2013) Seasonal Lifestyle Tourism: The Case of Chinese Elites. *Annals of Tourism Research*, vol. 39, no 4, pp. 2177–2202.
- Salazar N. B., Graburn N. H. H. (2014) Introduction: Toward an Anthropology of Tourism Imaginaries. *Tourism Imaginaries* (eds. N. B. Salazar, N. H. H. Graburn), New York: Berghahn Books, pp. 1–28.
- Shevyrin S. (2009) Povedenie turistov za predelami SSSR bylo skromnym. Odnako takie turisty kak... [The Behavior of Tourists Outside the USSR was Modest. However, Such Tourists as...]. Available at: <https://clck.ru/Posvj> (accessed 10 March 2020).
- Simutina N., Ryzhova N. (2007) Ekonomicheskie i social'nye vzaimodejstviya na transgranichnom prostranstve Blagoveshensk-Hjejhje [Economic and Social Interaction in the Blagoveshchensk-Heihe Cross-Border Space]. *Vestnik of the Far East Branch of the Russian Academy of Sciences*, vol. 5, no 135, pp. 130–144.

- Ssorin-Chaikov N. (2012) Medvezh'ya shkura i makarony: o social'noj zhizni veshhej v sibirskom sovhoze i performativnosti razlichij dara i tovara [Bear Skin and Macaroni: On the Social Life of Things in the Siberian State Farm and Performativity of Differences between Gift and Commodity]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 12, no 2, pp. 59–81.
- Truong Th.-H., King B. (2009). Evaluation of Satisfaction Levels among Chinese Tourists in Vietnam. *International Journal of Tourism Research*, vol. 11, pp. 521–535.
- World Tourism Organization. (2014) *Global Report on Shopping Tourism*, Madrid: UNWTO.
- Zhuravskaia T. (2012) "Kitajskij" trgovyj centr vs. "kitajskij" rynek: chto izmenilos' so vremeni zapreta na trgovlju inostrancev na roznichnyh rynkah (na primere Amurskoj oblasti) ["Chinese" Trading Center vs. "Chinese" Marketplace: What Has Changed Since the Ban on Foreigners' Trade in Retail Marketplaces (on the Example of the Amur Region)]. *Politeia*, no 4, pp. 104–123.

Ordinary, Adequate, and Crazy: Reconsidering the “Pyramid” Metaphor for Mass-participation Sports

Andrey S. Adelfinsky

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Bauman Moscow State Technical University
Address: Baumanskaya 2-ya str., 5, Moscow, Russian Federation 105005
E-mail: adelfi@mail.ru

The article critically examines the “pyramid” metaphor for mass-participation sports. It focuses on the heterogeneity of intra-group structure and motives among adult amateurs participating in open races in running, triathlon, etc. The study is based on comparative participant observation at Russian and European mass-sports events and semi-formalized interviews. We describe the lifestyle and motives of non-elite athletes. Mostly they participate “*for fit, for fun, for challenge, for socialization*”, defined as key motives. Participation in races is essential for healthy lifestyle. However, the motive “*for health*” is peripheral. We noted a latent motive of “*to win, to be ahead of others*”. It reflects the very nature of sports, but creates a “loser’s problem” subverting participation. We show how skill-level and a balance between key and latent motives constitute three strata among non-elite athletes. We define these strata as “*Ordinary*”, “*Adequate*” and “*Crazy*” and demonstrate how the motivation difference produces hidden controversies among them. Our theoretical interpretation is based on Norbert Elias’s concept of civilizing process and Konrad Lorenz’s comparative anthropology. We outline two normative sports models. For the Expressive model, the key motives “*fit, fun, challenge, socialization*” are socially approved, but for the *Traditional-competitive* or *Top-achievements* model, only the latent motive of “*to win*” looks legitimate. We believe that mass-participation sports emerged due to modern recognition of the Expressive model as a new social norm, while the *Competitive* model hinders its development. Rejecting the “pyramid” metaphor in sports, we propose an “iceberg” metaphor wherein these models co-exist through different social roles.

Keywords: mass-participation sports, running, triathlon, cycling, sports for all, sports pyramid, civilizing process, social norms, sociology of sports, trickle-down effect, elite sport

Why do They Run?

The past decade was marked by a new wave of a fitness-boom, the second of the last half-century. In the 2010s, this second wave became particularly intense in Russia. Many adults who were far away from sports in the recent past suddenly found a passion for participating in mass-events such as distance running, triathlon, road cycling, Nordic skiing, open-water swimming, etc. Watching these massive races, the present-day observer has the right to ask the same questions as Hunter S. Thompson did in the 1980s: “Why do these buggers run? What kind of sick instinct, stroked by countless hours of brutal training, would cause intelligent people to get up at 4 in the morning and stagger through the

streets for 26 ball-busting miles in a race that less than a dozen of them have any chance of winning?” (1983).

A number of studies done in the West have already answered the question of the social structure of mass-participation sports, and about the motives of adults to engage in these activities. Quantitative, qualitative, and ethnographic methods were used. However, the number of such works in Russia is extremely small; they mostly refer to the first wave of the fitness boom of the 1980s. Thus, for Russian scholarly discourse, our research, including its early versions (2013, 2018: Ch. 4), is perhaps the first contemporary attempt to ask these questions. Another feature of the work is its cross-cultural character. Empirical data, i.e., observations and interviews, were collected at both Russian and European mass-events. In theoretical terms, the paper contributes to the critical debates around the sports “pyramid” metaphor. Originally attributed to Coubertin, this metaphor is still an influential concept that normatively describes the social order in modern sports. Thus, the purpose of this paper is to reconsider the “pyramid” metaphor for mass-participation sports through the study of intra-group structure and the motives of non-elite competitors. We propose a new vision, mostly inspired by the Leicester school of sports sociology and the evolutionary anthropology approach.

This paper is structured as follows. A critical controversy about the sports “pyramid” metaphor is presented at the beginning. Next, we clarify the explored phenomenon of mass-competitions. It is followed by the review of literature on intra-group structure and participation motives among adult non-elite amateurs. Then, in accordance with this internal logic, we present our own results divided into two parts, *voiced* and *latent*. In the final discussion, we return to the critical debate on the “pyramid” metaphor and on the choosing of a relevant model for grassroots sports.

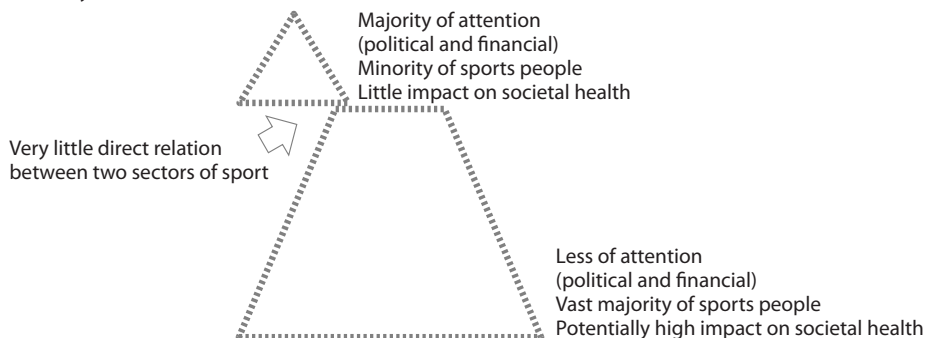
Critical Discourse on the Sports Pyramid

The “pyramid” metaphor represents the general organization of sports as a hierarchical system, where competitions and athletes are ranked by skill level, and where only the best, the so-called *elite*, are at the top. In the same time, *mass-* or *grassroots-*sports are seen as a “pyramid” foundation for which elite sports supposedly perform an “inspiring” function. This view is deeply rooted in sports politics. For instance, the Russian President Dmitry Medvedev stated that “The development of top-performance sports automatically leads to the progress of physical fitness, merely to the fact that people become healthier” (2008). It seems that his statement is based on Pierre de Coubertin long-standing “pyramid” thesis of “For one hundred to be engaged in physical culture, fifty must be engaged in sport. For fifty to do sport, twenty must specialize. For twenty to specialize, five must be capable of amazing feats” (1913)¹.

1. The original in French: “Pour que cent se livrent à la culture physique, il faut que cinquante fassent du sport. Pour que cinquante fassent du sport, il faut que vingt se spécialisent. Pour que vingt se spécialisent, il faut que cinq soient capables de prouesses étonnantes”.

The Pyramid of Sport

(Kirkeby, 2007)



A new round of discussions concerning the sports pyramid metaphor has arisen in the context of the London 2012 Olympics. The contribution to stimulating grassroots sports participation was declared to be part of its future legacy. However, a number of studies do not prove the case (De Bosscher, Sotiriadou, Van Bottenburg, 2013; Weed et al., 2015; Seguí-Urbaneja et al., 2020). The thesis of the elite’s “inspiring” function has been ironically defined as an “evangelical myth” (Grix, Carmichael, 2012). The metaphor of the “pyramid’s displaced top” has been proposed, which demonstrates the gap between the top and the bottom in terms of funding, motivation, and the content of sports practices (Andreff, Dutoya, Montel, 2009; Kirkeby, 2009). The debate has a long and still ongoing history (Gleyse et al., 2001; Payne et al., 2003; De Cocq et al., 2018; De Rycke et al., 2021; Castellanos-García et al., 2021; etc.).

Critical understanding of this issue is almost absent from contemporary Russian authors, with a few exceptions. (Adelfinsky, 2013, 2020; Stolyarov, 2019). What is being studied are mainly factors and barriers to a so-called healthy lifestyle. (Zybunovskaya, Podkida, 2011; Roshchina, Gremchenko, 2016; Zasimova, Loktev, 2016; Makshanchikov, 2020, etc.). Meanwhile, works of the 1980s–2000s are quite complementary to the foreign discussion. The contradictions between segments of the “sport pyramid” were actively discussed as a part of the general debate of the problems of the Russian sports industry. These contradictions had already emerged in the Soviet period. As a result of the “Olympic U-turn” of sports policy in the USSR during the 1940s–1960s, more and more resources (financial, infrastructural, and human) were increasingly concentrating in the elite segment to the detriment of grassroots sporting activities.

The antagonistic relationship between these segments of the “sport pyramid” has been described by a number of experts and researchers, such as Petr Vinogradov, Alexander Vlasov, Yuri Vlasov, Anatoly Isaev, Lev Matveev, Oleg Milstein, and others (Adelfinsky, 2018: Ch. 1). They noted the discrepancy between the goal declared by the Soviet sport industry (“to develop a healthy lifestyle”) and its actual tasks. By the early 1980s, grassroots sports were seen only as a supplier of human resources for “top achievements.”

According to Vlasov, “the physical education at school does not produce any effect”, and the system of sports organization is such that “everything, the formation of sports sections even in the smallest cities, is brought to the solution of the main task: top achievements, gold medals” (1989). The motivation system of grassroots sports has been reduced to “top-achievements mania” in the spirit of the slogan “From the ‘Fit for Labor and Defense’ badge to an Olympic medal”. Matveev considered this approach as demagogic, anti-human, and deceptive (1999). There were objections to the normative goal-setting and even to the basic parts of the Sports industry abbreviation (in Russian it is designated as *Physical Culture and Sports*, abbreviated as FKIS). Within the framework of critical interpretations, *physical culture* was understood not as an individual activity, but as a collective effort of the whole of society. In terms of governance, it was proposed to divide sports into two segments, those of the *Elite* (highest achievements, professional, the “big sport”), and *Mass* (sport for all, grassroots, ordinary, or omnibus) ones. Accordingly, following Klaus Heinemann, we can talk of two sport models (in the sense of motives for participation), those of *Traditional-competitive* or *Top-achievements* (where the motive is to win, to defeat an opponent, to set a record, with a tendency to “*Lombardian ethic*” etc.), and *Expressive* (where the motive is a pleasure of the process itself). Thus, our paper continues the discussion on the “pyramid” division with a focus on individual motives for participation.

Clarifying the Object

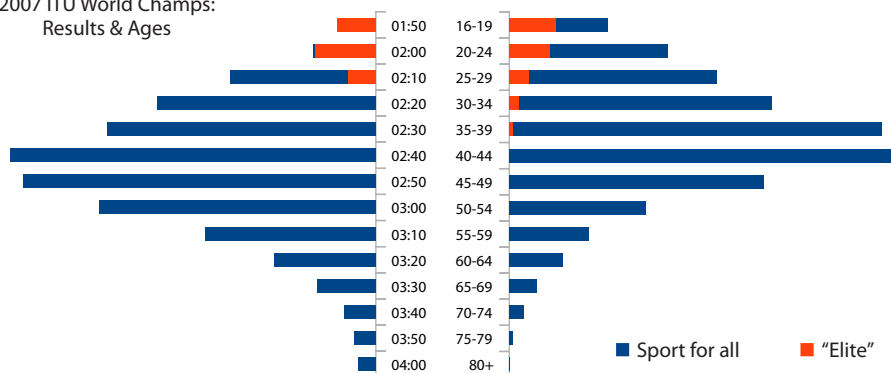
The notion of sport in our paper is quite concrete. This is the phenomenon of open competitions in distance running, triathlon, road and cross-country cycling, xc-skiing, open water swimming, and similar sports disciplines. Typical examples of mass-events are running marathons (Berlin, Paris, London, Moscow, etc.), international triathlons (the ITU series, Challenge, Ironman, etc.), xc-ski marathons (the WorldLoppet series), etc. According to the official results, such races are attended by participants from 16 to 85 years of age and older. The distribution of athletes by age is similar to a bell-shaped curve, where the peak is around 40 years, the most numerous groups are 35–39 and 40–44 years, and about 2/3 of the total athletes are from 30 to 49 years. The distribution by finish-times reveals a heterogeneous skill level. Participants include both elite athletes and people of very modest abilities. For example, in running marathons, the highest finish density is observed approximately in 4 hours, the last runners finish within 6 hours, practically walking, while elite athletes set the time of about 2 hours.

The described phenomenon of mass-participation races obviously does not fit into the stereotypical schemes of the “hierarchical sport pyramid” and “physical fitness for health’ sake”. Firstly, these races are open to the participation of everyone, without selection by skill and age. Most of the competing athletes are ordinary non-elite amateurs, and people of middle age and average physical abilities. Their participation in mass-competitions is a form of leisure, not a profession or its prospect. Races of the fastest elite athletes are not an end in themselves or a separate event. They are integrated into major events only

as a part of the event. As we have demonstrated by an example of the ITU international triathlon circuit, the “pyramid” of elite races turned out to be only a very small surface part of an “iceberg” of mass participation (Adelfinsky, 2013).

The “iceberg” of triathlon

2007 ITU World Champs:
Results & Ages



Secondly, it is difficult to consider participation in such competitions as “physical fitness for health’s sake”. Doctors do not recommend to sign up for multi-day cycling races, mountain trails, ski marathons, to swim across the Dnieper or the Bosphorus, or to run 42.195 km and warm up before this with a 180-kilometer bike ride. However, according to official results, regular participation in such events is precisely the leisure time of a modern 40-year-old “fitness enthusiast”. Moreover, participants in such races are in fact people with a healthy lifestyle, since the very ability to complete the long distance is a fitness test. The importance of sports competitions for mass health is very well known (Semashko, 1927; Manzhosov, 1986; Uglov, 2001). At the same time, this raises the question of personal motives to participate in these mass-events.

“Suffer — and Nothing Else!”

The social structure’s heterogeneity and the divergence of participation motives were already noted in early essays on mass-races. As Thompson wrote on the Honolulu running event, there are “two distinct groups here, two entirely different marathons.” He discerned between the *Racers* (elite) and the rest of the *Runners* (1981). Our review of papers on lifestyles and motivations for mass-sport participation is based on works of the Leicester school of sociology. Its founders, Norbert Elias and Eric Dunning, considered sport in the general context of the civilizing process. Modern sport was understood as a tool of the “quest for excitement” and the release of spontaneous emotional affects (biological by nature). Moreover, it was a tool highly significant in the conditions of permanent self-control and cultural limitations characteristic for modern societies (1986). This interpretation is very close to the views of ethology in the spirit of Konrad Lorenz. For

instance, some interpretations define his social reflection as comparative anthropology (Andryushina, 2016). This approach is also supported by biologists (see Zhukov, 2013), but if ethologists emphasize biological foundations of social behavior, Elias focuses on their cultural modification. He emphasized the diversity of accepted norms of decency in different eras, societies, and social groups.

The distance-running phenomenon has been studied by the Leicester School sociologist Stuart L. Smith. According to his works, the core of the practice is not those people who run for health or for charity, and definitely not those who start for prizes, victories, and “fast seconds”. Smith identified three groups, those of the *Athletes*, *Runners*, and *Joggers*. The *Athletes* refer to a very small group of sportsmen who have the potential to win a race, or at least to perform well (i.e., the *Elite*). *Joggers* are another minor group, but they really run for health, physical fitness, etc. These two groups are considered to be peripheral for the practice of running. The core of the practice is *Runners*. They constitute the majority of participants at the races, although having no real chance of winning. However, their training and passion for running is clearly stronger than recommended for good fitness. In fact, “Exercise for health does not require running over 40 miles a week and competing over thirteen at the weekend”, Smith notes (1998). For runners, there may be some element of competition with familiar faces (those they regularly meet at local races) and the idea of “their own best time”. However, these points are not decisive. Smith writes about “a question of ‘surviving’ the distance” as a shared value in the running community. In his opinion, contemporary distance running is a form of self-respect for middle-class men on the “wrong side of thirty”. Smith emphasizes that most runners feel what they perceive to be respect and admiration from those not involved in the practice. The reason for this is that endurance running is a demonstration of physical qualities traditionally associated with masculinity (2000). Compared to non-runners, the runners “can continue to ‘win’ simply through continued participation. They need not even be particularly good at it” (1998). Another figurational sociologist described Canadian triathletes in the way very similar to British runners. They are a group of like-minded people whose core values are physical and emotional effort and the pleasure of overcoming (Atkinson, 2008).

Similar formulations are also found in the works of researchers associated with other schools. The main motivation for American cross-country triathletes was the opportunity to test their strength in competition with nature, themselves, and other people. Pleasure, enjoyment, and passion are indicated as key values (Case, Branch, 2001). For participants of the Canadian multi-day cycling marathon, the most significant motives were the challenging format, the opportunity to have fun, the thrilling experiences; the slightly-less significant motives were to improve athletic abilities, to take part in a journey and in something unusual, to communicate with like-minded people, and the least important motives were to win prizes, or to contribute to charity (Getz, McConnell, 2011). There are lot of new studies of runners and triathletes, but their general idea is the same (Lamont, Kennelly, 2012; Kruger et al., 2014; Poczta, Malchrowicz-Moško, 2020; Ogles, Masters, 2003; Shipway et al., 2013; Hindley, 2020; etc.). For instance, Van Bottenberg et al. argue

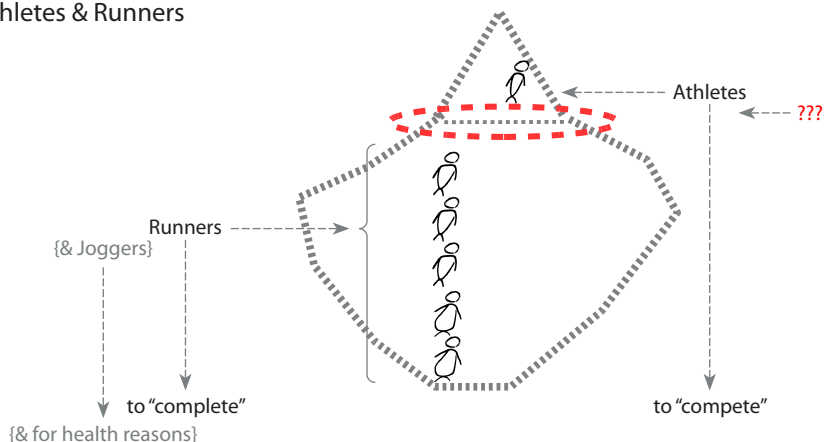
that modern runners participate to “complete” rather than “compete,” seeing sport as a challenge rather than a victory (2010). This correlates with Smith’s concept.

The similar emphasis on the challenge and extreme excitement is contained in the essays of Russian authors describing their participatory experience. For example, sports journalist Andrey Kondrashov talks about his first short triathlon: “It was not easy to decide on the first participation . . . I was stopped by some fear of overcoming a new, unknown frontier.” This author is one of pioneers of the Soviet triathlon; in those years, he was a 24-year-old scientist, and was a sub-elite xc-skier in his early youth. His story is about the early 1980s, when this sport was a novelty even for Western Europeans. He wrote that “The whole run can be summed up briefly: ‘Suffer, and nothing else!’ You move as if on autopilot. You ask yourself: ‘What’s the point of this nightmarish self-torture?’ But your mind just cannot be strained to respond. However, there is no more delightful moment in a triathlon than the heavenly minutes after the finish line.” In general, he describes his experience as exciting and unique: “Whoever wants to come across the moment of highest bliss, must ‘do’ a triathlon!” at least once (1995). Another author, top-manager Anatoly Shakhmatov, in those years a 42-year-old sports functionary who was a sub-elite swimmer in his youth, having had resumed training after a period of inactivity and alcohol addiction, said “Having learned about triathlon, . . . from the very beginning I started thinking about the Iron distance. I was attracted by this formula for its seeming inaccessibility, just as a climber is attracted to new mountain peaks.” He describes his impressions of the conquest as “Being somewhere in the middle of the running distance, I began to abstract myself, forgetting who am I, where and why was I rushing? . . . After the finish, lying on the gym floor (everyone was lying!), for the first 15–20 minutes the body rejected any attempts to think and move . . . Then it was already possible to rise up, sit down and even make eyes at young girls . . . with the feeling of being ‘iron’” (1993).

These authors’ results are generally very similar, but they also outline a certain general type of the ordinary amateur. The Japanese writer Haruki Murakami looks like he is probably the typical representative. At the age of 33, he quit smoking and started running. Subsequently, he published a collection of essays about his passion for distance running and triathlons. Murakami completed over 20 marathons with the best result of “three hours twenty-something minutes.” This time is above-average, but with no chance to win, even in his age group. The feeling is of “surviving the distance” which he formulates as follows: “Say you’re running and you start to think ‘Man this hurts, I can’t take it anymore.’ The hurt part is an unavoidable reality, but whether or not you can stand any more is up to the runner himself. This pretty much sums up the most important aspect of marathon running” (2008).

These citations allow us to construct the second ideal type as opposed to an elite athlete with his desire to win. This new type is an ordinary athlete with his “victory through participation only” and “a question of surviving”. However, the question arises. Are these ideal motives really shared by all non-elite athletes? In particular, Smith mentions the narrow layer of “masters” or “veterans”, emphasizing that none of them appeared in his sample. Our field observations reveal this question more fully.

The gap between Athletes & Runners



Research Design and Methods

Our research of inner-structure and motives in grassroots sports is based on qualitative methods. First of all, this is a long-term participant observation as a non-elite athlete in cyclic kinds of sports. These are mostly distance running and the triathlon, sometimes cross-country and road cycling, swimming, etc. The feature of our observation is that its objects were athletes participating in both domestic and foreign mass-races. The Russian block of observations was collected mainly in 2003–2012, before the second wave of fitness boom. During this period, the author, being an avid sports promoter, contributed to the revival of the non-elite triathlon in Russia. This process provided him with countless personal communications - in total, over two hundred - with adult amateurs in various related sports, and gave him rich observation material. The Western Block is based on unstructured interviews with participants of European open massive races, collected in 2007–2019. We interviewed non-elite amateur athletes 30–49 years of age, with over 3 years of racing experience, and involved in a number of cyclic activities (which is typical for triathletes). They were English-speaking Western Europeans, participants in international triathlons of standard and long distances, the multi-stage road cycling Tour Trans-Alp, and some local running races in the cities of Alanya, Augsburg, Geneva, Klagenfurt, Otepaa, Tartu, Roth, Nice, etc. The free interview contained two main questions asked during “equal to equal” dialogs, usually at pre- and post-race parties. The first one was “Why do you participate?”, and the second, asked in a free form, with a request to clarify the motivation of “the desire to win, to defeat the opponent, to achieve high results.” There are more than 50 such short interviews. Quotes from Western non-elite athletes are marked with {wA}. Quotes of Russian non-elite amateurs and “veterans” are marked with {sA}. For Russian sports subcultures other than distance running and the triathlon, disciplines are indicated directly: athletics, water-polo, soccer, swimming, Nordic skiing,

and cross country and road cycling. Now, let's move on to presenting our results, starting with generalized answers to the first question: "Why do you participate?"

The Voiced Motivation: *Fit, Fun, Challenge, Socialization*

"For the challenge" was the most frequent response given by respondents at long distances. In endurance races, distance itself is a particular challenge. Reaching the finish line at multi-day cycling races, ultramarathons, or long triathlons are difficult tasks by itself. It takes 10–14 hours to overcome the iron-distance triathlon. A multi-day cycling race means 5–7 hours daily riding for a whole week. A classic running marathon takes only 3–5 hours, but its last quarter is not as comfortable as the previous ones. A response from {aW} was "It's a heavy thing on its own. Anyone can try it for himself and check it." Most of respondents describe their motives for participating in iron distance triathlons and multi-day races in similar formulations. Again, from another {aW}: "When I found out for the first time, I didn't believe it. I decided to try, and started with a smaller format."

"For fun" is an often-heard answer. We can describe this "fun" in more detail. A couple of hours earlier, the respondent barely runs the distance. His face is twisted in a grimace of pain, from his lips flies: "Fuck", "Damn", "Oh my God", "No more", etc. When asked to associate the answer "fun" with his external appearance at the race, he explains the meaning of what was said by {aW}: "At first you work hard, then you endure it, by the end it's very hard. But after the finish there is a feeling of joy." Competitions are viewed as an opportunity to feel the thrill of races, to experience extreme excitement, to build a frame of reference. Comments range from {aW}'s: "Someone breathes on your back from behind, someone's back looms in front – an important stimulus."; {wA}: "You can never do it yourself."; {wA}: "Large crowd, feeling of excitement."; {wA}: "It's boring without events, there are no vivid emotions."; {wA}: "Just run is pointless, need some coordinates."; and {wA}: "10 km race is like a cup of a good wine. Life becomes easier." At the same time, competition, as it is, requires intense physical efforts at the maximum of the athlete's capacity, that is, good sportsmanship. The athlete acts as his own body controller; {wA} says "If you do not balk, you're acting unsportsmanlike.", and {wA}: "You're kidding yourself."

"For socialization", etc., this common answer highlights another significant aspect of mass-participation sports events. That is the situation of "shared experience", and of the emergence and maintenance of new social ties. This is possible both through regular participation within the system of geographically localized events, but also when traveling outside.

"For fit" is understood and revealed in the general context of dialogs not as an abstraction, but as a compliance with a certain internal scale and is associated with the time result. There is an idea of "one's best time", to which non-elite sportsmen refer when discussing race goals or results, including "To pass steadily in speed", "Not to drop to walking", "To run K kilometers out of M minutes". However, these criteria are purely individual.

“For health” was voiced on rare occasions as the main motive. It is important to emphasize that due to further conversation or observations, this answer could be interpreted differently. One {wA} stated that “After the end of my sports career I stopped practicing. Then I came across serious health problems. The doctor prescribed regular physical activity, at least an hour a day. I had to get involved again.” The same respondent at the same time finds himself in a different situation. An accidental error in race results; as a consequence, he is not awarded by a podium place. He starts actively defending his right to win, demands a correction of the mistake, a new award ceremony. His reaction testifies to the importance of other motives. Another respondent {wA} said that “Due to inactivity, I had a pinched nerve, until blackout. I was scared, I started physical activity.” At the same time, he participates in competitions, because for him, “It makes some sense; it motivates you, you start preparing, some kind of plan arises.” After the race, he talks about the contest in detail with his occasional rivals at a distance, although he finishes in the tail-end of the official results.

The above motives were voiced in similar formulations, in different combinations, and enumeration orders. However, the emphasis on the different motives of particular individuals obviously changes as their “sports career” progress. For example, a newcomer at a multi-day cycling race retrospectively explains his motives; {wA} explained that “Initially I started running just to get in shape, but one by one, and I became a regular weekend warrior. So now I am here.” Another example, an experienced non-elite triathlete {wA} talks about the reasons for participating in his next iron distance: “The first time it was really a challenge. Then: to repeat, and run faster. Then I gave up this senseless idea... Now this is probably tourism, socialization, lifestyle . . . But the race itself is still a test.” Moreover, it is not only males who talk about challenge and excitement. In an interview, to the question: “Why . . .” we received a comprehensive answer from a woman with a traditional gender identity, “For the same reason you do . . .”

Sport as Goal-Setting

Let’s sum up the sub-total. First, the factor of goal-setting is the essential importance for an ordinary amateur, as well as for an elite athlete. The modern system of open-participation events allows these ordinary amateurs to build their own “line-ups” of goals and their own “eligibility” criteria. However, the “career” guidelines of ordinary amateurs under this system differ from those of elite athletes. In distance running, the marathon is considered to be a significant peak for conquest. In the triathlon, a kind of participation “peak” is the “Iron” distance, where the marathon is only the final segment. For cycling, these are multi-day races. In general, the career “line” of an ordinary athlete does not look like “from the ‘Fit for Labor and Defense’ badge to the Olympic medal”, but rather like from 5 km runs to marathons, Iron distance triathlons, and multi-day races. The process of career “growth” develops gradually, taking four to five years, or sometimes more. Regular participation usually begins with short 5–10 km distances. Then amateurs participate in half marathons. Over time, they try themselves in marathons, triathlons, and

ultra- and multi-day races. Not everyone strives to reach the top of this “career”, limiting themselves to a feasible level. We heard comments from athletes like {wA}: “I tried half-Iron, but I can’t pull up more now.”, or {wA}: “From time to time I run half marathons, the rest is not my format.”, and {wA}: “I believe that Iron is the reasonable limit. Ultra-distances are no longer a sport, but a mockery.” According to official results, there is another clear pattern: the longer the distance, the lower the number of female participants. For example, in triathlons, women are about 1/3 of all participants at sprint distances (where an average finish time is ~1.5 hours), about 1/5 at standards (~3 hours), and half (~6 hours), and only 1/10 at “Iron” (~12 hours). It seems that some commensurate goals are being chosen.

Secondly, we can talk about sports participation as a specific form of pleasure, as well as about the gradual formation of light addiction over the course of many years of racing and training. Endurance exercises, as well as risk and racing excitement during competition, induces a kind of endogenous “euphoria”. Even having achieved the intended goals, this ordinary athlete does not quit a sporty lifestyle. The situation of participation becomes a routine turning into a habit.

Thirdly, regular participation of the same people in mass-sports events implies the emergence of new social groups. Based on common hobbies, the new networks and opportunities for socializing emerge. A key feature of these mass-events is that they are held on off-days, and there is open access to everyone without selection by skill. The substitute for the races is group and personal training. Note that “group membership” still implies an “admission ticket”. There are entry fees and training fees. Moreover, the minimum and sufficient “condition for membership” is the race itself. A personal line in official results acts as a fixation of the race completion, that is, its independent confirmation.

The lifestyle of an ordinary amateur implies an involvement in competitive activity and the training process with varying degrees of regularity. Some amateurs can practice only one sport, such as running. In case of amateur triathletes, the competitive activity may involve participation in a wide range of cyclic endurance events. It is not only the triathlon, but primarily distance running, road cycling, open-water swimming, cross-country skiing, etc. Another remarkable fact should be pointed out: not all amateurs participating in triathlons consider themselves as triathletes. Many define themselves as active leisure fans, or universal athletes, or as persons engaged in some other sports in the past, or specifically as cyclists, swimmers, runners, skiers, mountain bikers, etc. This is what allows us to generalize our observations. Considering the problem of motivation, we believe that we can talk about an ordinary athlete, that is, a 40-year-old (+/-10) runner, skier, cyclist, swimmer, or triathlete, as a certain ideal type.

The races play a central role in the planning of the training process. Some athletes may directly talk about preparing for something specific; {aW} said “It’s raining outside, I wouldn’t run just like that, but since a [month] later I will participate in the [race] . . .” You can often hear this formula in the subjunctive mood, as when {wA} told us that “We need to apply for something serious [an ‘Iron’, a ‘half’, a marathon, at least an ‘olympic distance’], something it will make sense to prepare for.” These athletes usually

select a significant race or a combination of races in a season. Then, they get ready by regular participation in trainings and less-important races. Net-time costs for sports in this case can be 3–10 hours per week. The everyday sports routine of amateurs is usually a combination of training and racing in certain types of competitions. As a rule, it has a pronounced seasonality. There is a typical participation schedule; running and cycling from spring to autumn, triathlon and swimming in summer, and cross-country skiing in winter (for Northern countries).

“Competition every weekend” is a regularity of racing, and is a characteristic case rather than a figure of speech. In terms of casual leisure, it is similar to the well-known formula “every Friday we meet at the bar”. When describing their schedule, they may say, as {wA} does, that “Every week [something] is held around, I try to participate”. The norm looks like 20–25 various races per year. Some really “bring the score” up to 50 events per year, and these are 30–50-years old adults who have usual, non-sport jobs. However, the “participation menu” is individual. Specific set of races depends on physical fitness and current plans. Prepared middle-pack runners are really capable of starting 10–15 km and even 21 km races every week. Beginners are advised to “mature” for a half marathon for a couple of seasons of regular participation.

The foregoing supplements the thesis about the sports game as an effective way to engage in physical activity and as a means of forming a healthy lifestyle, while challenging the efficacy of an abstract “care for fitness”. Let’s turn to the second part which contains the most valuable details of observations, and where we emphasize the difference between the ideal motives and the real attitudes of non-elite athletes.

Latent Motivation and Strata: *Ordinary, Adequate, and Crazy*

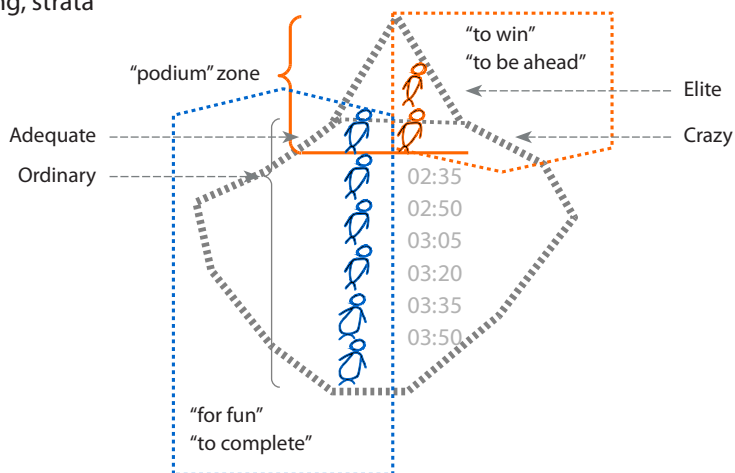
Ambivalence is the most interesting phenomenon of field observations. We believe that the space of an ordinary participant’s inner emotions is more complicated than a simple reduction to *fit, fun, challenge, and socialization*. It is necessary to talk about several, often contradictory, motives acting simultaneously and with varying degrees of intensity. We single out two of them, pointing to the key contradiction. The main set, which characterizes the practice core, is the motives of *socialization, challenge, passing, extreme excitements, entertainment, etc.* Another latent motive is traditionally mentioned, the superiority over the opponent, that is, “*to win*”, “*to be ahead*”, the situation of ranking in the race and according to its results, “*the problem of losing*”.

This duality is perfectly reflected in the essay by Gennady Shvets, a sports journalist and writer, a sub-elite athlete in his youth, and a Russian Olympic Committee spokesman in the 2000s. Inspired by distance running in the 1980s (at the same time and the same age as Murakami), this Russian journalist actively shared with Soviet readers his experiences of conquering marathons, triathlons and multi-day races. Shvets wrote that “Even the girls overtook me . . . the figure of the penultimate runner flashes ahead... he is not an athlete at all and has never really been, unlike me. I can feel how the half-forgotten fighting chromosome begins to move inside me: I should finish at least before the last

one. No, I shouldn't, just the last. Be the last one, but be alive" (2008). The same duality is seen in the case of the "elite-veteran" Shakhmatov. In the process of running, he "began to abstract and forget . . . where and why I was in a hurry", seeing at the same time "that all the rivals around . . . roll their eyes back from fatigue and take a step . . . I understood that they were worse off; it "warmed me up", and I imperceptibly added speed" (1993).

The contradiction between the motives combined with the final ranking forms three conditional strata inside the practice. These are *Ordinary*, *Adequate*, and *Crazy* athletes (not counting the *Elite* stratum). These strata can be identified by participant observation as well as during interviews, according to reaction to the questions: "How important is your ranking place to you?", and "People say that the main goal is just the finish line, but is that so?" It is important to clarify that the practice of mass-participation races entails the publication of official results indicating times and places for all athletes. Moreover, the ranking is done not only in absolute male and female categories, but usually also in sex-age groups with 5-year increments (M/F 16–19, 20–24, 25–29, 30–34, 35–39, 40–44, . . . 80–84, 85–89, etc.). That is, it is often done with the award ceremony for the first three places in each category.

Motives, ranking, strata



The "Ordinary" (mid-packers, averages, or mid-levels) are non-elite amateurs who regularly take part in mass-participation events, but do not win the races even in their own age-groups, and calmly accept the "fact of losing". They constitute the bulk of participants, or the core of the practice (they are the *Runners* in Smith's and Thompson's terms). They perceive the competitive process as a means of entertainment, regardless of its results. The very fact of participation has its own value, along with *fit*, *fun*, *challenge*, and *socialization*. During permanent participation in races, the "ordinary" regularly intersect with specific persons, perceiving them as rivals. Meanwhile, the rival for them is rather the fellow who helps them to reveal their potential in full. The results of rivalry do

not really matter for the status within the group. For instance, {wA} says that “Abilities are different, opportunities are different, age is different, how can we compare?”; another {wA} realizes that “Three hundredth, five hundredth, you are not the first anyway.”, and still another {wA} responds that “After the U-turn, the leaders are running towards me. I think: wow, how fast? But when I turn around, there is an even bigger crowd behind.”

Formally, the “bottom” (in terms of speed) section of participants consists of two categories. There are the *beginners* who may be worried about their lack of skill, and the *experienced people* (most of them) who do not demonstrate such anxieties. Usually an explanation for their modest results is obvious, being age or some injuries. For example, a {wA} says “Twenty years ago I was much faster, but circumstances did not allow me to do it. Now I just want to put a tick.”; another {wA} explains that “I’m already competing with myself”, while {wA} says that “Others are lying on the couch, while I’m still moving.” Those for whom this race format is their current limit of possibilities do not express their feelings about losing. Tears and a genuine expression of joy (the subject does not realize that he/she is being watched) are all easy to see in the final kilometers of long distances, especially in the triathlon. Similar experiences were noted by other observers, such as “I’m going to get in there. For me. I’m just about dead last. No one is watching me. No one cares. But I’m gonna do it for me” (Taormina 2010).

Symbolic status (if one can speak of it within the ordinary community) is determined through the participation experience and its duration. When meeting new people, they are more likely to be interested in “Did you participate in [something specific]?”, “Where have you been, what’s interesting there?” and “Who are you?”. The question of “What is your time?” is asked, but is not the first question.

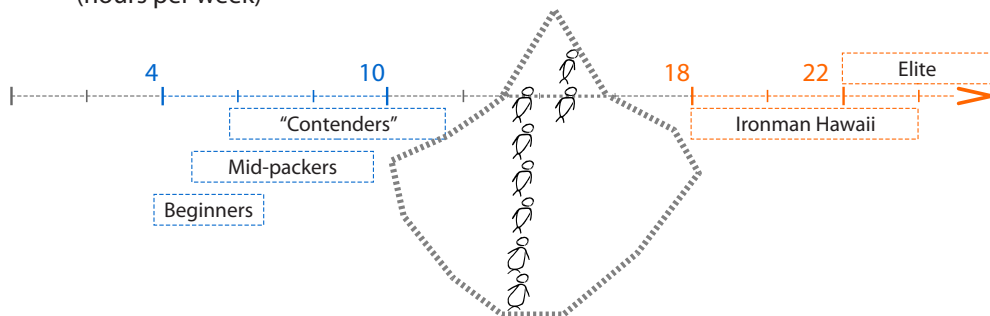
The “Crazy” (or “Obsessed”, “eternal sub-elite”, “over-amateurs”, “bruised by podium”, “jocks”, “elite underachievers”, “water-pumping-station’s champs”, etc.) are non-elite amateurs who periodically win competitions in their relevant age-groups and show prestigious results, while directly or indirectly declaring their motives (victory, podium, top-results, etc.). It will not be superfluous to note that these are athletically talented people, well-trained, and often with a background in sub- or elite sports. This is reflected in a {wA}’s answer that “These are the athletes aka “Wanna be’s”, “I want to be the best”. They have the motivation, dedication, cool equipment . . . they look fast. But they just don’t have the natural talent to be the best! They are the “obsessed” athletes . . . who train hard, want to win, but end up finishing in the middle of the field [if in the elite category]. They are the ones hanging around the elite trying to fit in, showing off their cool gear but ultimately aren’t in the fastest group.”

At the same time, the “Crazies” treat the “Ordinary” ones with some arrogance, considering the value of sport as participation to be the invention of those “offended by podium”; a {wA} reflects that “Yes, I know all this: just a finish, blah blah blah. But I train hard; go to the goal, looking forward to success. Of course, it’s easier for someone to say: just a finish.” The size of this stratum is not very significant. Based on our observations, it can be estimated as 7% for a typical, large Western triathlon. The notable exception will be *Ironman Hawaii*, the WTC World Championship. “If you take a typical triathlon, then

everything will be exactly like this: 90% just want to have a good time, just a finish,” says one of the experts we interviewed (the director of large mass-competitions), and continues to say that “But there is only one start where the situation is reversed, the Ironman Hawaii.” Ironically, this race, which at the dawn of the triathlon gave birth to the very “ethos” of a long distance, today has become a counter-example. The selective application principle turns the non-elite amateur triathletes attending this event into de-facto professionals.

The latent antipathy of these strata is quite obvious. For example, the attitude of the “Ordinary” towards the subculture of qualification for the Ironman Hawaii is rather negative. A {wA} says that “Qualifying for Ironman Championship, training 20 hours a week, etc. — these guys make me a little nauseous. Adventure racing has a healthier environment”; another {wA} states that “There are crazy people who are focused on their results, training, nutrition, sport plans. These themes are imposed on others. They turn a simple group trip into a competition. But you should ignore such people and enjoy your day”, while another {wA} responds that “Yes, I’m not cool, I haven’t been to Hawaii, I didn’t even try. Yes, maybe I’m just for finish. But I have a good job, enough time for my family, unlike many cool ones.” A similar opinion is expressed by writer Martin Dugard when he writes that “The “cult of me” that permeates Kona during Ironman week . . . To say that it was more than a little off-putting would be an understatement.” He noted: “I know that there are Ironman triathletes out there who balance work, family and training. [But] I haven’t met any of them... I love the sport, but the culture surrounding it makes me squeamish . . . I can’t see myself training 20–30 hours a week” (2008). Albeit unintentionally, we were lucky enough to see something like this. In 2019, we were looking for respondents at the *Ironman 70.3 World Championship* on the eve of event, which is just the second and the last WTC race, which is not open to all and is based on the selection among non-elite triathletes. There was an unexpected result; women actively agreed to be interviewed, but a number of men refused because of their busy schedule (sic). Moreover, ordinary “non-selective” triathletes in this region were as sociable as in others. Ordinary athletes usually enter into dialogs willingly, leave their contact information in case of new questions, and the bounce rate is close to zero.

Triathletes & Time for sports
(hours per week)



The antipathy of strata can be identified through participatory observation and group discussions, for example, during a long climb on a stage of a multi-day cycling race among a small group of riders who didn't know each other before the race. These are mainly men in a middle of the peloton, far away from the podium zone. The conversation begins with a discussion about uniforms because two riders wear jerseys of triathlon clubs. Then, it turns out that almost all of the group members have the experience of a triathlon. A lively exchange of impressions begins, as in who participated, where the competition was held, how it was there, etc. The only female in the group (claiming a podium in her category) says she was selected for Hawaii twice. All suddenly fall silent, showing a reluctance to continue the chatter. Silence hangs in the air. After a pause, the female starts making excuses; "If you are a girl, it's easy to do, especially in my group. I have time to train, I work as a coach. I have a daughter." The group answers her that "Ok, great. You are cool, we are losers!" [with a smile], and "Don't quarrel, let's talk about soccer?" The conversation continued, but on a different theme.

The "Adequate" are those non-elite amateurs who also occasionally hit the podium in their age categories and show prestigious results, although they share the opinions and values of the "ordinary" group in the context of conversations. They describe the podium's proximity as a danger rather than as a desired happiness. Comments range from a {wA} saying "This thought — won, lost — must be driven out as far as possible.", while another {wA} opines that "It's clear that you can insist, start training and get everyone out . . . but what's the point? They'll give you plastic bullshit, and that's all." The expression "to be driven out" can be explained as recognition of the symbolic status of a "champion". Moreover, this status does not have a high value within the community itself, and is very expensive in terms of time-costs. Rather, it has an external value (for those persons who are not involved in the practice, and to the beginners who have not yet understood it).

Unethical behavior is clearly associated with the symbolic status of a "champion" and is characteristic of highly-trained amateurs. The number of anonymous confessions of doping is twice as high among the participants of the Ironman triathlon in Frankfurt (19.8%) than among similar races in Regensburg (10.3%) and Wiesbaden (9.7%) (Dietz et al., 2013). The obvious reason is its status. The Frankfurt race is positioned by the WTC as the *European Ironman Championship*. There are some other forms of fraud, such as distance shortening, external "aerodynamic assistance" during cycling (where drafting is banned), as well as technical doping (mini-electric motors that give a small, but significant increase in power for victory). It is important to emphasize that these facts are rare. They are difficult to control in mass-races among non-elite amateurs.

The Specifics of Russian Observations

Domestic materials of Russian participant observations are more vivid for describing the latent antagonism of strata. Unlike in the West, the Russian fitness boom in the 1990s passed through a severe recession for economic reasons. The non-elite segment was accordingly smaller. The tradition of awarding by age-groups, combined with small

numbers of participants, created the “permanent winners” and shaped the “Crazies” as a counterculture in a whole non-elite adult segment (so called *masters* or *veterans*). If not taking distance running and triathlon into account, it was typical for Russian veteran sports in the 2000s. Non-elite events are often organized around the *Top-achievements* or *Traditional-competitive* model of sport in the spirit of the Olympic Games. This discourages “Ordinary” sportsmen from further participation. There are many examples. We recorded {sA} saying “When I finished among the last ones, I heard: “We have to get rid of people like these”. To be honest, it hurts a lot.”; from {XC-cycling}: “They overtake us in a lap with shouts: “Get out, get away.” It was very unpleasant, you feel superfluous.”; from {Road cycling}: “We were only a couple of minutes behind the group, but the finish line was already closed for us. Why participate at all if we are not considered as humans?”; from {Road cycling}: “The feeling is that all this is for those who fight for prizes – but we ourselves are superfluous, for a makeweight, to collect money on fees. Why do participate again?”; from {Nordic skiing}: “The race on March 8, Women’s Day. Lip service: “Gifts for all women.” In practice: The organizers don’t care about last participants, no any solemnity or attention; “a gift” is an unattended box of mimosa flowers; like “take it yourself”. It’s a shame.”; and from {Swimming}: “I was there once; I don’t want to do it again. It looks as if they make you feel that you are a loser.”

The “Adequate” ones, in turn, refer to the “Crazies” with a fair amount of irony. They treat them as people who cannot find the boundary between hobby and everyday life; they are seen as those who did not grow up, did not realize themselves in top-sports or even in life, and now are trying to realize their ambitions in mass-sports. It is the “Adequate” ones that speak most vividly and with many details about the “Crazies”. Everything is done behind their backs, on the condition of anonymity. At the same time, the “Crazies” consider the “Adequate” ones as a part of their own group. Representatives of different domestic subcultures of veteran sports have similar statements, such as from {Athletics}: “I look at these people and think: What is it? Is this compensation for a failed career, for a small apartment, for a modest salary?”; from {Swimming}: “We have two groups. Some are party-goers and convivialists, others are elite underachievers. For the first group, the main thing is just to get together, to talk, and to drink. The latter ones went crazy about medals and sport achievements. Once they did not succeed in top sports, now they compensate for it at “water-pumping stations’ championships”. That’s what they’re living for.”; from {Swimming}: “Look, they write: “So-and-so made a gift to his club. He won two medals at international competitions . . .” Well, what a gift? It was an ordinary small-town event, but they talk about it as if it were the Olympics.”; from {Athletics}: At Masters European Championships: “It was very funny to look at our Russians masters. Especially those who are not yet veterans by age, and have not been realized in top-sport . . . But nevertheless, their ambitions, the seriousness of their training, this is “to win”, their demeanor! And at the same time there are foreigners, Finns, Swedes, who are much more relaxed. Of course, I don’t tell them all these things to their faces, because you can ruin the relationship”; and from {Athletics}: “I would like the principle to be: ‘If you come yourself, then bring a comrade’. But our veterans are different. They think:

‘I will bring a friend, and he suddenly wins. And what then? Am I not a champion any longer?’”

It is easy to hear the discussion of the “Crazies” by the “Adequates” outside the initiated dialog, just during a simple observation. For instance, from {Waterpolo}: “Listen, this Namesake is so cool! He doesn’t know how to lose at all! He argues with the referee, and grabs the opponent’s asses under water, and the team does not suit him, and the players are not well distributed. He’s so funny, why don’t we let him come more often?”, and from {Soccer}: “The contrast [at the veteran tournament] is striking: our Russians are staking all. While Italians and Germans are considerably more relaxed: they came for fun, everything is fine for them, sincere smiles on their faces. Although their playing skills are the same.” Some notes of the “Adequate” ones are induced by the contrast between two or more practices in which they are involved. We recorded responses from {Swimming}: “In my age group I am constantly on the podium, but there are almost no one of those who take 4th–5th–6th places and below. They come, but almost do not remain. It’s amazing to be compared to triathlon and running”, and from {Road cycling}: “It’s a pity that I got injured and can’t run anymore. There is a much healthier atmosphere on the runs than in veteran’s cycling. People are nicer, less show-off.”

Another one observation from the 2000s is that both strata, the “Crazies” and the “Adequates”, are severely critical when active elite athletes (usually from the “2nd division”) apply to non-elite categories. They consider this practice to be utterly unethical, since sport is a source of income for the elite, while it is a leisure hobby for veterans.

The subculture serves as a carrier for external social norms, provoking or adapting individual behavior. For example, {sA} says that “If I would have swum 1.5 km in 20 minutes, I probably would not have found a triathlon for myself. But with my modest speed, I didn’t fit into their swim-gang.”, while {Swimming} states that “Now you need to go 200 meters faster than in 2 minutes to show something. This is awful, a lot of time has to be spent; probably, they are all doped. [And what then, do you want to do all this?] I don’t, but it’s uncomfortable to be superfluous, I would like to look decent.” The rigidity of the previously-learned social norm is noteworthy when the environment changes. The second wave of the fitness boom has been actively rising in Russia for the last fifteen years. Accordingly, since 2012, a trend has emerged to provide paid services for a growing audience of non-elite amateurs by ex-, sub-, and elite athletes. It is interesting that Elite and “Crazy” sportsmen who are actively involved in the providing of coaching services for the “Ordinary” ones remain the carriers of the *Top-achievements* norm. The hidden arrogance is quite obvious here; a {sA} notes that “I am looking [at the client]: everything looks aesthetically awful; all the same, nothing really will turn out, well, it’s stupid, he is just wasting time”, while {sA} says that “They call their clients behind their backs the *bonnets*. [Why?] Because clients are *boobies*, *teapots*, *dummies*.” Another {sA} explains that “We are training *loaves* now. [What?] Well, age-groupers, amateurs”, and another {sA} notices that “I am surprised: coaches earn their living on it, they must be customer-friendly. But they work as if their client is despised, and it’s being felt. Like, “why do you need this, you don’t show anything anyway””.

Discussing the Above

We believe that the best interpretation of the described phenomena can be given if it is based on the thesis of the evolutionary origin of social behavior in combination with the civilizational approach of Norbert Elias. It presupposes behavioral modification through the transformation of socio-cultural norms. Let's return to our two sport models, the *Expressive* (where the goal is to enjoy the sports game itself), and the *Top-achievements* (where the goal is to win, to be ahead, to set a record, etc.). These two models of sport, in our opinion, imply two sets of logic of its understanding, the *Intuitive* and the *Reflexive*. The *Intuitive* is simpler and operates in terms of "win-or-lose", "follow the leader", or "friend-or-foe". This intuitive logic from the standpoint of biology and evolutionary anthropology is nothing more than an innate behavioral program. It is characteristic of *Homo sapiens*, our ancestors, and present-day distant relatives. Friend-or-foe identification and solidarity with one's own fellows, the process of ranking, and following the leader are all important elements of animal social behavior, including humans. The rank allows to instantly build a hierarchy of subordination, and to start joint actions without a long process of deliberation. The so-called *management pyramid*, the *hierarchy*, is not at all the achievement of present-day effective managers. It is just the innate heritage of evolutionary process, that is, an intuitive knowledge.

The "pyramid" metaphor, an often-cited representation of social order in sports, is outlined by Pierre de Coubertin in the six lines passage of the note of a page-and-a-half length, where he wrote "For one hundred to be engaged in physical culture, fifty must be engaged in sport . . . twenty must specialize . . . five must be capable of amazing feats." The argument takes only one line: "Any serious practitioner knows and feels this" (1913).² We believe that Coubertin's insight comes from intuitive knowledge, and appeals to it. Regarding the necessity of sports, we believe that everything is correct. Rivalry creates the goal for meaningless activity; it is a means of extreme efforts at the individual level. As a result, it produces positive effects. However, the "naturalness" of a "pyramid" does not mean its perfection. The problems are the lack of growth inside the hierarchy and a fixed unambiguous ranking. Sport, unfortunately, generates such a fixed ranking due to the biological inequality of abilities. The position of the upper classes in the community is honorable and pleasant, the middle level is acceptable to the majority, and the position of the lower layers is dishonorable and unpleasant. We believe that an important humanist task is the breaking of an unambiguous ranking through its reassessment. We need a society without the bottom, a society consisting of many subgroups, and a situation where an individual simultaneously belongs to different hierarchies at different statuses.

"Athlete, spectator, does it really matter . . ."; these roles are mixed for Pierre Bourdieu, who raises the question of acquiring a taste for sports (1993). However, in our case, these roles collide. Umberto Eco uses the allegory of *sports* and *sports beyond the line*, opposing them to each other. His *sports* is an amateur one that a person does for himself (sport-as-participation). *Sport below the line* is an elite (professional) sport that is gener-

2. The original in French: "N'importe quel praticien sérieux sait et sent cela."

ated by *sport squared*: “others play, I watch” (sport-as-spectacle) (1998). A similar thought was expressed by John Hobson, who quite subtly compared sports with the difference between military actions observed from a front-line trench and from the rear. He writes about the gradually emerging brotherhood among the belligerent soldiers and about the implacable jingoism of those in the rear (1902), (where the short meaning of jingoism is that the loudest call for war is usually heard from those who will never go to it).

Sport for the jingo-spectator is a game of victory for one’s *own fellows*, an association with one’s *own players* and, of course, *a demand for victory*. The ranking is unambiguous: it is *friend or foe*, or *won or lost*. Through self-assertion, when one’s *own fellows* (who are their own “*avatar*”) are winning, the viewer objectively feels better. Moreover, dictating the rules of a game on the field, the jingo-spectator crowds out the actual participant who wins nothing and is unattractive.

Sport for the player is an ultimate effort to fight an opponent, forces of nature, or circumstances. Ranking matters, but victory through a cultural imperative can be interpreted quite loosely, as your result, your achievement, victory over distance, and over yourself. As one of our respondents, {wA}, said, “I can’t do anything with my opponent, but I’ll do my best!”

An *expressive* model of sports solves the “pyramid” problem and highlights the reflexive logic of its understanding. This logic is more complicated than the intuitive one and implies the following chain of reasoning. Rivalry as a means of extreme efforts → positive effects of extreme efforts → inequality of abilities in a social group → emerging ranking as a problem of crowding out losers → solution of the problem through the re-evaluation of ranking in a new imperative (an external social norm). We believe that the very phenomenon of modern mass-participation sports emerged only due to the gradual recognition of the *Expressive* model as a new social norm. Thompson’s view of “Why do these buggers run?” (1983) reflects his rejection of mass-sport from the standpoint of the old norm. We emphasize that what really matters is not the ranking after the game but the social assessment of its results. The imperative of *challenge* and its feasible criterion creates a goal for everyone. Through this imperative, the lower layers of hierarchy rise above those who are outside the practice. The ranking maxims within the group of those involved are thus pushed into the background. The situation is different in the case of the *win-lose* imperative: the *challenge* maxim is devalued. The sportsman is forced out into the stands or onto the coach’s bench. The imperative of *top-achievement* is even more negative: in this case, the ranking acquires a universal, almost totalitarian character.

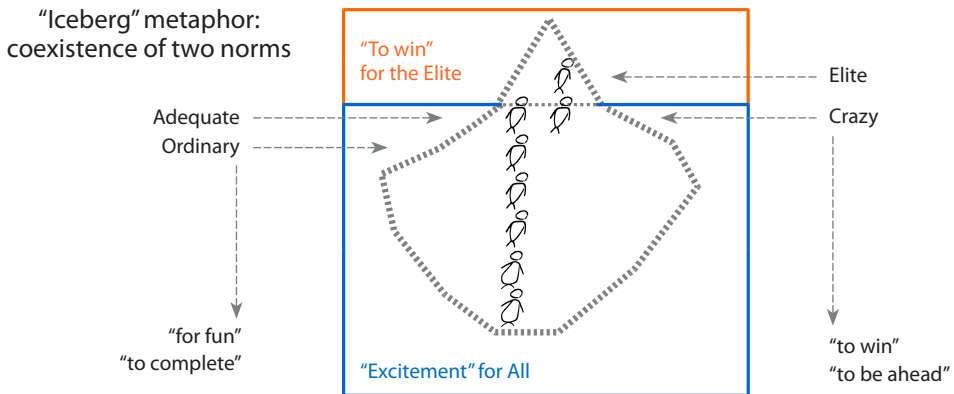
In Conclusion: Practical Implications

Let’s return to the “pyramid” metaphor and the contradictions between the two segments of sport. We believe that an obstacle for the grassroots segment’s development is not an elite sport by itself. Top-achievement sport is inevitable, since striving to be ahead of the others is inherent to human nature. The main problem is the application of the *Top-achievements* norms of the elite level (the demands to win, to show the best result, or to

set a record) to the grassroots level. As a consequence, the exclusion of a large number of ordinary sports participants takes place. The task of competition organizers, therefore, is to introduce an alternative social norm: the game convention of contests, indifference to results, the acceptability of losing, and the interpretation of “winning” outside the ranking. This allows us to build and maintain a subculture focused on formally-non-winning ordinary athletes that can be called an *Expressive* social norm for sports.

A similar model is implemented de facto within the mass-participation endurance competitions that exist today. Their organizers and the bulk of participants consider, first of all, the fact of completing the distance as an achievement, and the race itself as a challenge for the competitors. The motive of challenge and excitement (but not achieving a high result) is positioned and perceived as a normative ideal. Within this system of values, the rival is considered as rather a fellow; the in-game competition allows you to reveal yourself in full, to do your best. As a result, victory does not mean anything and the loser does not forfeit his status, since both rivals showed stamina and courage, and making every effort during the contest. Here we are talking of situational temporary rivalry in the conventions of a sports game.

The expressive model is realized through a number of rules, conventions, and rituals that are typical for such competitions today. In particular, these are an open-race entry without selection by skill or age, democratic time limits, the age-groups ranking separated from an elite one, and the tradition of giving everyone “care tokens” like commemorative medals and gifts, etc. All of this literally mixes up linear rankings. In particular, almost all 70–80-year-old sportsmen are usually honored as podium-winners (since there are so few of them), although they formally cross the finish line among the last. A successful tool is the unity of practice combined with the separation of two normative roles, those of the elite (professional) and the age-group (ordinary) sportsmen. It allows for the application of the norm of gaming conventions for the bulk of non-elite amateurs and to require high results only from the elite. The result is the domination of the *Expressive* model with which the *Traditionally-competitive one* can quite easily coexist within some clear framework.



Summing up, instead of the “pyramid” metaphor for mass-sports, we suggest using the “iceberg” metaphor. Its managerial meaning is an allegory of a single body in two environments (models), where the normative role changes at their border. The phenomenon of the “Crazies” is a dropout from the prescribed ethics, which is characteristic of the boundary layer. Here we see the obvious “trickle-down effect” of elite sports. The opportunity to win the symbolic status of “champion” provokes a denial of gaming conventions. Payment for this will be the time that the “Crazy” sportsman has to spend; his behavior can become a counter-example. However, the phenomenon itself is inevitable. This leads to the idea of futile attempts to find some “pure amateur sport”, somehow delineating it from the elite (or professional) one in terms of different competition systems. Cutting off the above-water “iceberg” part, we will only force it to bring a new “pyramid” to the surface. However, we agree with the opinion expressed earlier: the metaphor of the “sport pyramid” is dysfunctional, and that the time has come for it to recede into the past.

References

- Adelfinsky A. (2013) Piramida ili aysberg? O razlichnykh modelyakh sporta i ikh ekonomicheskoye posledstviyakh [A Pyramid or an Iceberg? Various Sports Models and their Economic Implications]. *Logos*, no 5, pp. 139–158. (In Russian)
- Adelfinsky A. (2018) *Nazlo rekordam: opyt issledovaniya massovogo sporta* [Despite the Records: An Inquiry into Mass Participation Sports], Moscow: Delo. (In Russian)
- Adelfinsky A. (2020). Creating a Hero . . . Laughing at Clowns? Representations of Sports and Fitness in Soviet Fiction Films after the Olympic U-Turn in Politics. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 4, pp. 108–136.
- Andreff W., Dutoya J., Montel J. (2009) Le modèle européen de financement du sport: quels risques? *Revue Juridique et Economique du Sport*, pp. 75–85.
- Andryushina L. (2016) *Sravnitel'naya antropologiya Konrada Lorentsa: metodologicheskiye strategii* [Comparative Anthropology of Konrad Lorenz: Methodological Strategies] (PhD Dissertation). Kursk. (In Russian)
- Atkinson M. (2008) Triathlon, Suffering and Exciting Significance, *Leisure Studies*, vol. 27, no 2, pp. 165–180.
- Bourdieu P. (1993) How Can One be a Sports Fan? *Cultural Studies: A Reader* (ed. S. Dunning), London: Routledge, pp. 339–360.
- Case R., Branch J. D. (2001) Event Marketing: An Examination of Selected Demographic and Psychographic Data of Participants Competing in the World's Foremost Off-Road Triathlon Event. *International Sports Journal*, vol. 5, no 1, pp. 118–127.
- Castellanos-García P., Kokolakis T., Shibli S., Downward P., Bingham J. (2021) Membership of English Sport Clubs: A Dynamic Panel Data Analysis of the Trickle-Down Effect. *International Journal of Sport Policy and Politics*, vol. 13, no 1, pp. 105–122.
- Coubertin P. (1913) Une campagne contre l'athlète spécialisé. *Revue Olympique*, no 91, p. 114.

- De Bosscher V., Sotiriadou P., Van Bottenburg M. (2013) Scrutinizing the Sport Pyramid Metaphor: An Examination of the Relationship between Elite Success and Mass Participation in Flanders. *International Journal of Sport Policy*, vol. 5, no 3, pp. 319–339.
- De Cocq S., De Bosscher V., Derom I., De Rycke J. (2018) Elite Sport and Sport for All: An Epistemological Paradox. *Managing Sport in a Changing Europe: Book of Abstracts*, European Association for Sport Management, pp. 283–284.
- De Rycke J., De Bosscher V., Funahashi H. (2021) The Cure or the Cause? Public Opinions of Elite Sports' Societal Benefits and Harms. *Sport in Society*, vol. 24, no 7, pp. 1070–1092.
- Dietz P., Ulrich R., Dalaker R., Striegel H., Franke A. G., Lieb K., Simon P. (2013) Associations between Physical and Cognitive Doping: A Cross-Sectional Study in 2.997 Triathletes. *PLoS One*, vol. 8, no 11, art. e78702.
- Dugard M. (2008) Iron Week. Available at: <http://www.martindugard.com/blog/2008/10/iron-week.html> (accessed 25 November 2008).
- Eco U. (1998) *Faith in Fakes: Travels in Hyperreality*, London: Vintage.
- Elias N., Dunning E. (1986) *Quest for Excitement: Sport and Leisure in the Civilizing Process*, Oxford: Blackwell.
- Getz D., McConnell A. (2010) Serious Sport Tourism and Event Travel Careers. *Journal of Sport Management*, vol. 25, no 4, pp. 326–338.
- Gleyse J., Jorand D., Garcia C. (2001) Mystique de “gauche” et mystique de “droite” en pédagogie sportive en France sous la Troisième république. *Stadion*, no 27, pp. 125–137.
- Grix J., Carmichael F. (2012) Why do Governments Invest in Elite Sport? A Polemic. *International Journal of Sport Policy and Politics*, vol. 4, no 1, pp. 73–90.
- Heinemann K. (1998) *Einführung in die Soziologie des Sports*, Schorndorf: Hofmann.
- Hindley D. (2020) “More Than Just a Run in the Park”: An Exploration of Parkrun as a Shared Leisure Space. *Leisure Sciences*, vol. 42, no 1, pp. 85–105.
- Hobson J.A. (1902) *Imperialism: A Study*, New York: Pott & Co.
- Kirkeby M. (2007) The Pyramid Sport Model: A False Representation of Reality. Available at: <http://www.isca-web.org/english/library/articles/thepyramidsportmodel> (accessed 15 June 2021).
- Kirkeby M. (2009) The Pyramid is History! The Real Challenges and Conflicts between Grass-Roots and Top Sport. Available at: https://www.playthegame.org/uploads/media/Mogens_Kirkeby_-_The_pyramid_is_history.pdf (accessed 15 June 2021).
- Kondrashov A. (1995) Paradoksy triatlona [Paradoxes of Triathlon]. *Fizkultura i sport*, no 9, pp. 28–29. (In Russian)
- Kruger M., Myburgh E., Saayman M. (2014) A Motivation-Based Typology of Triathletes. *South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation*, vol. 36, no 3, pp. 117–134.
- Lamont M., Kennelly M. (2012) A Qualitative Exploration of Participant Motives Among Committed Amateur Triathletes. *Leisure Sciences*, vol. 34, no 3, pp. 236–255.
- Makshanchikov K. (2020) Russians' Spending on Sports: Econometric Analysis on Levada-Center Data. *Applied Econometrics*, vol. 60, pp. 115–138.

- Manzhosov V. (1986) Lyzhi — v byt naroda! [Skiing — to Everyday Life of the People!]. *Lyzhny sport*, no 2, pp. 3–6. (In Russian)
- Matveyev L. (1999) Sport dlya vseh i sport ne dlya vseh [Sport for All and Sport not for All]. *Sport for All*, no 1–2, p. 15. (In Russian)
- Medvedev D. (2008) Nashi sportsmeny pokazhut sebya na Olimpiade! [Our Athletes will Show Themselves at the Olympics!]. *Komsomolskaya pravda*, May 22. (In Russian)
- Murakami H. (2008) *What I Talk about When I Talk about Running*, New York: Alfred A. Knopf.
- Nikolaidis P. T., Heller J., Knechtle B. (2017) The Russians are the Fastest in Marathon Cross-Country Skiing: The “Engadin Ski Marathon”. *BioMed Research International*, vol. 2017, art. 9821757. Available at: <https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/9821757/> (accessed 15 June 2021).
- Ogles B. M., Masters K. S. (2003) A Typology of Marathon Runners Based on Cluster Analysis of Motivations. *Journal of Sport Behavior*, vol. 26, no 1, pp. 69–85.
- Payne W., Reynolds M., Brown S., Fleming A. (2003) Sports Role Models and Their Impact on Participation in Physical Activity: A Literature Review, School of Human Movement and Sport Sciences, University of Ballarat.
- Petrudin Y., Chataeva O., Bagatirova A. (2016) Kak mozhno byt' futbol'noy bole'shchitsey? [How to Be a Female Football Fan?]. *Public Administration*, no 54, pp. 5–38. (In Russian)
- Poczta J., Malchrowicz-Moško E. (2020) Mass Triathlon Participation as a Human Need to Set the Goals and Cross the Borders: How to Understand the Triathlete? *Olimpianos: Journal of Olympic Studies*, no 4, pp. 244–254.
- Roshchina Y., Gremchenko E. (2016) Faktory sklonnosti k zdorovomu obrazu zhizni. [Factors of Propensity to a Healthy Lifestyle]. *RLMS-HSE Bulletin, Issue 6*, Moscow: HSE, pp. 118–163. (In Russian)
- Seguí-Urbaneja J., Inglés E., Alcaraz S., De Bosscher V. (2020) Sport Pyramid Metaphor: Trickle Down and Up Effect in Spain. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, vol. 77, no 20, pp. 1–20.
- Semashko H.A. (1927) Desyat' let sovetsoy fizkul'tury [Ten Years of Soviet Physical Education]. *Teoriya i praktika fizicheskoy kultury*, no 5, pp. 5–9. (In Russian)
- Shakhmatov A. (1994) *Triatlon — pervaya popytka* [Triathlon, the First Attempt], Moscow: Prize. (In Russian)
- Shipway R., Holloway I., Jones I. (2013) Organisations, Practices, Actors, and Events: Exploring Inside the Distance Running Social World. *International Review for the Sociology of Sport*, vol. 48, no 3, pp. 259–276.
- Shvets G. (2008) Sneg v Sakhare [Snow in the Sahara]. *Russky pioner*, no 2. (In Russian)
- Sleamaker R., Browning R. (1996) *Serious Training for Endurance Athletes*, Leeds: Human Kinetics
- Smith S. L. (1994) *Reclaiming Masculinity: A Sociological Study of Running Repairs* (Ph.D. Dissertation), University of Leicester.

- Smith S. L. (1998) Athletes, Runners, and Joggers: Participant-Group Dynamics in a Sport of “Individuals”. *Sociology of Sport Journal*, vol. 15, no 2, pp. 174–192.
- Smith S. L. (2000) British Nonelite Road Running and Masculinity: A Case of “Running Repairs”? *Men and Masculinities*, vol. 3, no 2, pp. 187–208.
- Stolyarov V. (2019) The Failure of the Humanistic Mission of Olympism and Humanistic Sport Movement as a Global Problem of the Modern World. *Vek globalisatii*, no 2, pp. 97–110.
- Taormina S. (2010) Top Tri Talk 2009. Available at: https://www.slowtwitch.com/Features/Top_Tri_Talk_2009__1158.html (accessed 15 June 2021).
- Thompson H. S. (1983) *The Curse of Lono*, Toronto: Bantam Books.
- Uglov F. (2001) *Cheloveku malo veka* [Man is not a Century Old], Moscow, Science. (In Russian)
- Van Bottenburg M., Scheerder J., Hover P. (2010) Don't Miss the Next Boat: Europe's Opportunities and Challenges in the Second Wave of Running. *New Studies in Athletics*, vol. 25, no 3, pp.125–143.
- Vlasov Y. (1988) Zachem nam nuzhen sport? [Why do We Need Sports?]. *Sovetskaya kultura*, April 23, p. 8. (In Russian)
- Weed M., Coren E., Coren E., Fiore eta. (2015) The Olympic Games and Raising Sport Participation: A Systematic Review of Evidence and an Interrogation of Policy for a Demonstration Effect. *European Sport Management Quarterly*, vol. 15, no 2, pp. 195–226.
- Zasimova L., Loktev D. (2016) Zanyatiya sportom — udel bogatykh? (Empiricheskiy analiz zanyatiy sportom v Rossii) [Sports for the Rich? (Empirical Investigation of Participation in Sport in Russia)]. *HSE Economic Journal*, vol. 20, no 3, pp. 471–499. (In Russian)
- Zhukov D. (2013) *Stoi, kto vedet? Biologiyapovedeni-ya cheloveka i drugikh zverei* [Stop! Who's Ruling? The Biology of Humans' and Other Animals' Behavior], Moscow: Alpina Non-Fiction. (In Russian)
- Zibunovskaya N., Pokida A. (2011) Svobodnoye vremya i dosug kak usloviya formirovaniya zdorovogo obraza zhizni rossiyskogo naseleniya [Spare Time and Leisure as a Conditions of Russian Population's Healthy Life-Style Development]. *Izvestiya of Saratov University. Series "Sociology. Politology"*, vol. 11, no 2, pp. 37–41. (In Russian)

Ординарные, адекватные, недобегавшие: пересматривая метафору «пирамиды» для массовых видов спорта

Андрей Адельфинский

Кандидат экономических наук, доцент, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана

Адрес: 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1, Москва, Российская Федерация 105005

E-mail: adelfi@mail.ru

Статья критически экзаменует метафору «пирамиды» для феномена массового партиципаторного спорта. В фокусе исследования — неоднородность внутригрупповой структуры и мотивов среди взрослых не-элитных любителей, участников массовых стартов по дистанционному бегу, триатлону, вело- и лыжным марафонам, заплывам и пр. Эмпирическую основу исследования составили материалы сравнительного включённого наблюдения на российских и европейских массовых соревнованиях и полуформализованные интервью. Очерчены стиль жизни и характерные мотивы не-элитных атлетов. Большинство участвует ради вызова, ради развлечения, дабы быть в форме, ради общения и пр.; что определяется как ключевые мотивы. Утверждается, что соревнования играют важную роль для регулярных занятий спортом и для вовлечения в здоровый образ жизни. Мотив же ради здоровья является побочным. Отмечен латентный мотив: выиграть, опередить соперника, быть не последним и пр. Он составляет саму природу спортивной игры, но порождает проблему проигрыша, отталкивающую от участия. Показано, как уровень мастерства и баланс между ключевым и латентным мотивами формирует три страты среди не-элитных атлетов. Ординарные и адекватные атлеты признают значимым ключевые мотивы, а недобегавшие — латентный. Продемонстрированы скрытые антагонизмы между стратами. Теоретическая интерпретация основана на концепции цивилизационного процесса Норберта Элиаса и сравнительной антропологии Конрада Лоренца. Мы обсуждаем две нормативных модели спорта. Для экспрессивной модели ключевые мотивы (ради развлечения и др.) являются социально-одобряемыми. Но для рекордистской легитимен лишь латентный мотив выиграть. Мы полагаем, что феномен партиципаторного спорта сложился благодаря признанию экспрессивной модели как социальной нормы. А рекордистская модель препятствует развитию массового спорта. Отказываясь от метафоры «пирамиды» спорта, мы предлагаем метафору «айсберга», где модели сосуществуют через разные социальные роли.

Ключевые слова: цивилизационный процесс, массовый спорт, спорт для всех, бег, триатлон, велоспорт, социальные нормы, социология спорта, эффект просачивания, элитный спорт

Борьба с дискриминацией или реполитизация спорта? Специфика восприятия движения Black Lives Matter в онлайн-сообществах спортивных болельщиков*

Евгений Сальников

Доктор философских наук, доцент, начальник кафедры социально-философских дисциплин,
Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова
Адрес: ул. Игнатова, д. 2, г. Орел, Российская Федерация 302027
E-mail: esalnikov2005@yandex.ru

Инна Сальникова

Старший преподаватель кафедры сервиса, Орловский государственный университет
имени И. С. Тургенева
Адрес: ул. Комсомольская, д. 95, г. Орел, Российская Федерация 302018
E-mail: inna-salnikova@yandex.ru

В начале XXI века новой формой политизации спорта оказалась радикальная трактовка расовой дискриминации, предложенная в рамках Критической расовой теории (CRT). Наиболее ярким воплощением ее идеологии и практики стало движение BLM, акции которого поддержали целый ряд спортсменов и спортивных организаций, что вызвало неоднозначную реакцию в сообществах болельщиков. Авторы указывают на существующие исследования фанатской среды, в которых анализируется специфика восприятия болельщиками BLM-акций в сфере спорта. Также они обнаруживают неизученное до сих пор дискурсивное поле в виде комментариев отечественных болельщиков на форумах агентств спортивных новостей. Авторы предполагают, что изучение онлайн-комментариев к новостям об участии или неучастии российских спортсменов в BLM-акциях позволит выявить имплицитные установки и смысловые рамки восприятия российскими любителями спорта новой трактовки расовой проблемы в спорте. Уже в ходе сбора и предварительного изучения материала ими зафиксирована пестрота оценок BLM-акций в спорте: часть российских болельщиков поддерживает спортсменов в их борьбе с дискриминацией, часть же категорически не принимает их позицию. По мнению исследователей, здесь на обыденном уровне признается иллюзорная природа BLM. Специфика социального измерения расизма, на которой настаивает CRT, отечественными болельщиками в подавляющем большинстве не понимается, и потому BLM-акции предстают для них внешними для спорта феноменами, имеющими прежде всего политическое измерение. Отдельного внимания заслуживает выявленный авторами у сообщества российских болельщиков паттерн восприятия России как особого пространства, в котором в силу истории, морально-нравственных характеристик населения и специфичной ментальности дискриминационные практики в целом нехарактерны и борьба с ними неактуальна. Данная топика может стать перспективным полем будущих исследований.

Ключевые слова: Black Lives Matter, Критическая расовая теория, расизм, дискриминация, протестные движения, спорт, болельщики

* Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

Социологические исследования расизма в спорте

Расовый аспект спорта становится предметом научных исследований еще в первой половине XX века. Для данного периода характерны представления о спорте как пространстве, в котором заметнее всего проявляются расовые различия. В специализированных журналах «Volk und Rasse», «Die Rasse» давались псевдонаучные обоснования зависимости результатов спортсменов от расовой принадлежности, дискутировалось расовое различие белых и чернокожих спортсменов. Классической для этого подхода работой считается монографическое исследование Л. Тиралы «Спорт и раса» (Tirala, 1936). Сразу следует подчеркнуть, что большинство работ национал-социалистических антропологов носили не столько научный, сколько публицистический характер (Alkmeyer, Bröskamp, 1996).

После Второй мировой войны происходит кардинальная смена ценностных ориентиров исследований, и спорт начинает рассматриваться в качестве института, не столько проявляющего, сколько, напротив, стирающего расовые и этнические границы. При этом с 1960-х годов в американской, а немного позднее в британской социологии набирают силу исследования дискриминационных и сегрегационных практик в спорте (Edwards, 1969, 1973; McPherson, 1974, 1977; Talamini, Page, 1973; Birrel, 1989). Было установлено, что несмотря на массовое присутствие черных атлетов в большинстве видов спорта, особенно в игровых дисциплинах, таких как американский футбол и баскетбол, они подвергаются дискриминации по интеллектуальному признаку (Coakley, 1994; Loy, McElvogue, 1971). Так, лишь в исключительных случаях представители черной расы становились тренерами, менеджерами или спортивными чиновниками высокого уровня. При этом исследователи подвергли критическому анализу устойчивые стереотипы о том, что чернокожие атлеты занимают ведущие позиции в ряде спортивных дисциплин (прежде всего в спринте) исключительно благодаря природным особенностям без учета социальных условий, способствовавших этим результатам (Cashmore, 1982; Jarvie, 1991; Wiggins, 1986). В 1980–1990-х годах была написана серия работ по проблеме сексизма и расизма в отношении чернокожих спортсменов (Sloan, 1981; Smith, 1992). В начале XXI века исследования скрытых и неявных инструментов расизма в спорте получили дальнейшее развитие (Bruening, 2005; Carrington, 2013; Nylton, 2018).

С последней трети XX века отдельным предметом в исследованиях спорта становятся болельщики. Значительный вклад в данное направление внесли такие социальные теоретики, как У. Эко (Эко, 2009), П. Бурдьё (Бурдьё, 2009), Г. Пильц (Пильц, 2009). В целом ряде работ по отдельным видам спорта была раскрыта специфика культурных и поведенческих практик данной социальной группы, в том числе и в проекции расизма (Armstrong, 1998; Brown, 2007).

Отдельного внимания заслуживает исследование расизма в среде английских футбольных фанатов, проведенное Дж. Клиландом (Cleland, 2014). Эмпирической базой для него стали онлайн-форумы и социальные сети болельщиков. Аналогич-

ные исследования на базе специализированных интернет-ресурсов проводились и американскими социологами, изучавшими расизм в среде фанатов баскетбола и иных видов спорта (Love, Hughey, 2015; Love, Gonzalez-Sobrino, Hughey, 2017; Sanderson, Frederick, Stocz, 2016). В результате был выявлен значительный масштаб расовой дискриминации в виртуальной среде общения спортивных болельщиков, что позволило обосновать использование термина «кибер-расизм» для обозначения взглядов части фанатов (Lewis, Gantz, 2019).

Отличительной чертой новейших социологических исследований расизма в спорте вообще и в среде болельщиков в частности стала их опора на положения Критической расовой теории (Critical Race Theory, CRT). К числу базовых принципов CRT следует отнести идеи Ч. Харриса (Harris, 1993), рассматривавшего расу не в качестве биологической характеристики, но как разновидность социальной собственности. Для него принадлежность к белой расе являлась социально значимым благом и формировала преимущественный капитал, определявший положение и проекцию возможностей в системе социальных отношений, что впоследствии получило правовую защиту.

Согласно представлениям сторонников CRT, принадлежность к белой расе служит не только фактором идентификации, но одновременно идеологией и устойчивой формой социального поведения (Chennault, 1998). По их мнению, обладавшие властью европейцы внедрили в систему общественных институтов свои культурные обычаи, политические практики, религиозные верования и стратегии интеллектуальной деятельности в качестве фундамента американской демократии. Расизм трактуется здесь как дискриминационная практика, основанная на расе, которая понимается не как биологически фиксируемое отличие, препятствующее доступу к социальным благам, но как форма собственности определенных социальных групп, скрыто закрепленная в социальных институтах и общественном сознании (Harris, 1993; Feagin, 2006; Feagin, 2013).

Для сторонников данного подхода вся предшествующая борьба с дискриминацией сводилась к тому, чтобы представители не-белой расы получили возможность вести образ жизни белого человека. На их взгляд, в результате дискриминация была не устранена, а, напротив, еще в большей мере легализована и интегрирована в социальную среду, сформировав основу для идентификационной модели, идеологии и формы социального поведения по образу белой расы. Поэтому акции, легитимированные CRT, направлены не на получение права «быть белым», а на разрушение самой дискриминационной модели социальных отношений, делающей социальное пространство собственностью европеоидной расы. Для BLM-активистов политическая система государства есть воплощение расизма, а потому протест направлен на разрушение сложившейся системы дискриминации, в том числе и в спорте (Faust, 2019).

Применение положений CRT к спорту позволило ее сторонникам утверждать об обнаружении новых дискриминационных практик. К. Хилтон в целом ряде своих работ представил бессознательно реализуемые практики построения мира

спорта по образцам поведения, свойственным белой расе. Теперь речь шла уже не столько о недостаточном количестве, например, чернокожих тренеров или менеджеров, но о том, что занимать данные посты могут только те, кто воспринимает образцы социального поведения белой расы (Hylton, 2009; Hylton, 2010; Hylton, Long, 2015). В рамках подобных представлений сама тренерская среда «представляет собой пространство, в котором расовые, этнические и гендерные диспропорции создают устойчивые структуры властных отношений, в которых новую силу приобретают практики дискриминации или предоставления благ» (Rankin-Wright, 2016: 357).

Исследования различных аспектов спорта с теоретических позиций CRT проводились и рядом других социологов (Carrington, 2010; Hawkins, 2017). На основе именно этих подходов в ряде работ анализируются практики движения Black Lives Matter в спорте (Hylton, 2020). Позитивное влияние протестных акций на преодоление дискриминационных практик в южноафриканском крикете рассматривали Д. Маралак и Л. Сворт (Swart, Maralack, 2020). BLM-активизм американских спортсменов и его отражение в средствах массовой информации исследовали Д. Бойкофф и Б. Каррингтон (Boykoff, Carrington, 2020). Поддержку Д. Леброном и в целом ситуацию с BLM-акциями в баскетболе изучали Д. Кумбс и Д. Кассило (Coombs, Cassilo, 2017).

Работа Кристи Оширо и ее соавторов

Отдельный интерес в рамках данной темы представляет исследование американских социологов К. Оширо, А. Уимса и Дж. Сингера (Oshiro et al., 2020), изучавших конкретно отношение болельщиков к акциям BLM в спорте и в целом к поддержке спортсменами новых форм борьбы с расовой дискриминацией. Эмпирическую базу их исследования составили сообщения, размещенные пользователями на сайте команды по американскому футболу Texas A&M Aggies, играющей в Западном дивизионе Юго-восточной конференции Национальной ассоциации студенческого спорта (National Collegiate Athletic Association, NCAA) и интегрированной с Техасским университетом A&M (Texas A&M University, TAMU).

Данный проект американских социологов предполагал изучение скрытых форм и механизмов расовой дискриминации, о которых идет речь в CRT. Гипотеза исследовательской группы под руководством Кристи Оширо состояла в том, что изучение отношения болельщиков к спортсменам, поддерживающим BLM и участвующим в акциях непосредственно во время соревнований, позволит выявить бессознательно присутствующие в обществе установки и смысловые рамки восприятия ситуации, которые задают ее прочтение в дискриминационном ключе, монополизируя образ жизни представителей белой расы в качестве единственно правильного. Объектом исследования американских ученых стали комментарии на сайте TexAgs.com, в которых болельщики обсуждали поддержку игроками команды акций движения Black Lives Matter и социальный активизм бывших и дей-

ствующих членов клуба. Базовым методом исследования был контент-анализ комментариев болельщиков. Реконструкция содержания высказываний позволила социологам систематизировать отношение фанатов к поведению спортсменов. Временные рамки анализа простирались с января 2017 по январь 2018 года.

Непосредственными поводами к комментариям послужили выступления президента США Дональда Трампа и ряда официальных лиц Национальной футбольной лиги (NFL) в отношении коленопреклоненного выражения протеста, ответная акция спортсменов-активистов BLM «Выбери свою сторону в воскресенье»¹ и ряд других событий, в которых приняли участие бывшие или действующие игроки Texas Aggies: М. Бенетт, М. Эванс, М. Гарретт, В. Миллер (Ibid.: 8).

В ходе проведенного анализа Оширо и ее соавторы разработали типологию отношения болельщиков к BLM-активизму спортсменов. Во-первых, речь идет об *оценочном отношении*, когда одна часть болельщиков поддержала протестные акции, солидаризуясь с действиями спортсменов, другая же их часть оценила подобные действия негативно, указывая на их неприемлемость. В этом случае, как правило, происходила персонализация акций BLM с их соотнесением с личностями отдельных спортсменов: «хорошие Aggies» vs. «плохие Aggies» (Good/True Aggie Versus Bad Aggie Dichotomy в терминологии К. Оширо) (Ibid.: 10).

Вторым выявленным типом отношений болельщиков к BLM-активизму стала *интерпретация поведения* спортсменов в широком социальном контексте, когда фанаты уже не просто оценивают, а осмысливают события и действия спортсменов. Здесь сохранялась персонализация, но исчезала категоричность и полярность оценок. Оширо именует данный вариант «глупые/заблудшие овцы» (Dumb/Misguided Sheep). В этом случае участники протестных акций предстают жертвами дезинформации и обмана, которых использовали другие люди в своих интересах (Ibid.: 12).

Наконец, в третьем варианте общественного восприятия BLM-активизма спортсменов происходит *криминализация участников* — они описываются как Thug (бандиты, головорезы). В этом случае разрывается связь спорта и BLM и движение против расовой дискриминации трактуется исключительно как преступное сообщество. Хотя в самих акциях спортсменов прямого насилия нет, но болельщики видят в них именно противоправную природу, скрытый бандитизм, разбой и беспорядки. Примыкая к ним, спортсмены становятся такими же преступниками (Ibid.: 13).

Признавая несомненную научную ценность полученных американскими социологами результатов, мы все же позволим себе критику избыточной теоретизации общественной практики, имеющей место в исследовании Оширо и ее соавторов. На наш взгляд, трактовка неприятия акций BLM частью болельщиков как следствие неприятия ими фундаментальных положений CRT, скорее, выражает идеологическую индоктринацию той части академического сообщества, к которой

1. В ее рамках целый ряд игроков NFL публично преклонили колени в знак несогласия с тем, что президент Трамп назвал спортсменов-активистов «сукиными детьми».

принадлежат авторы исследования. Определенные их выводы видятся нам несколько поспешными и не вполне обоснованными. Например, такие как указание на взаимосвязь оценочного отношения (Good/True Aggie vs. Bad Aggie) с принятием или неприятием трактовки расы в духе CRT, или же утверждение о том, что «принадлежность к белой расе как идентичность, идеология и институт составляла социальный капитал пользователей онлайн-сообщества болельщиков и применялась в отношении спортсменов, протестующих против расовой дискриминации» (Ibid.: 18).

При этом представляется, что в методологическом отношении исследование Оширо имеет более широкое поле приложения, чем простое подтверждение верности CRT. Анализ комментариев членов онлайн-сообществ болельщиков позволяет не только интерпретировать отношение фанатов к концептуальным положениям Критической расовой теории, но и выявить смысловые установки в понимании движений типа BLM вообще, в том числе и посредством постановки вопроса о политическом измерении самой борьбы с расовой дискриминацией в современном спорте. Данная методология может быть также использована в исследованиях компаративистского характера с целью изучения особенностей отношения болельщиков разных стран к акциям типа BLM, специфики политизации расовой проблемы в современном спорте, отношения к политическому активизму спортсменов непосредственно в ходе соревнований и т. д. Для получения ответов на эти вопросы американские социологи разработали вполне удачную методику анализа онлайн-комментариев любителей спорта.

Российские спортивные болельщики как перспективное поле исследований

В последнее время появились первые исследования среды спортивных болельщиков, проведенные отечественными социологами. Интересный анализ спорта как медиафеномена и среды телевизионных болельщиков сделала В. Зверева (Зверева, 2006). Попытку объяснения отдельных сторон культуры болельщиков через экзистенциальное поле азарта предложил А. Секацкий (Секацкий, 2013). Подробный анализ футбольного фанатизма как объекта изучения социальных наук осуществила Е. Глориозова (Глориозова, 2018). Реконструкцию процесса радикализации украинских футбольных болельщиков представил О. Кильдюшов (Кильдюшов, 2014), который обращался и к анализу субкультуры спортивных фанатов в целом (Кильдюшов, 2011).

При этом в отечественной социологии тема Black Lives Matter в спорте еще не получила отдельного рассмотрения. В ряде работ, затрагивающих феномен BLM, протестные акции трактуются преимущественно как «расовые бунты и погромы» (Резникова, Внуковская, 2020: 177) или как «расовые беспорядки» (Покудов, 2020: 75), представляются «вихревыми социокультурными явлениями, порождаемыми отсутствием здравого смысла, рационального восприятия реальности, а также

подменной национальной идеи идеологическими теориями» (Резникова, Внуковская, 2020: 177). Стоит ли говорить, что такое упрощение сильно ограничивает исследовательскую перспективу.

При этом перенос подхода, разработанного Кристи Оширо с соавторами, на реалии нашей страны требует определенной спецификации методологии. Так, применительно к российскому спорту мы не имеем возможности выбрать в качестве эмпирической базы сообщество болельщиков отдельной студенческой команды, локализованное на ее собственном интернет-форуме. Как и сам студенческий спорт, так и среда его болельщиков, включая их активность на официальных сайтах команд, не достигли в нашей стране того уровня институционализации, чтобы стать отдельным предметом изучения. Однако это затруднение не кажется нам решающим. Центральным объектом в методологии К. Оширо выступали реакции на поддержку спортсменами акций BLM. В российских реалиях для ответа на вопрос, как воспринимаются BLM-акции российскими болельщиками, вполне допустимо изучить методами контент- и дискурс-анализа комментарии болельщиков, например, на сайтах агрегаторов новостей спорта.

По аналогии с американским исследованием можно предположить, что изучение онлайн-комментариев к новостям об участии или неучастии российских спортсменов в BLM-акциях позволит выявить имплицитные установки и смысловые рамки восприятия отечественными болельщиками новой трактовки расовой проблемы в спорте. При этом не обязательно разделять априорное подозрение в кибер-расизме в адрес фанатов со стороны американских социологов в духе концептуальных положений CRT, чтобы выяснить наиболее типичные паттерны прочтения BLM-акций и отношения к спортсменам, в них участвующим. Интерес здесь могут представлять два аспекта: 1) как оценивается участие спортсменов в BLM-акциях при проведении соревнований и 2) как болельщики понимают сущность этих акций, т. е. как они воспринимают предлагаемую BLM-трактовку расовой проблемы в спорте, в чем видят причины появления и распространения BLM-акций в спорте.

В качестве эмпирической базы могут использоваться комментарии, оставленные к сообщениям наиболее крупных российских спортивных новостных агентств, посвященным тематике BLM в спорте. Так, нами были выявлены релевантные массивы материала на следующих интернет-ресурсах: Sports.ru, Championat.com, Sport-express, Sportbox.ru. По нашим подсчетам, в 2020 году данные агентства разместили девять статей об участии российских спортсменов в BLM-акциях. Пять из них предлагали вниманию ситуацию, возникшую на матче группового этапа Лиги чемпионов по футболу УЕФА между ФК «Краснодар» и ФК «Челси» 28 октября 2020 года, когда все футболисты лондонского клуба перед началом встречи склонили колено в знак солидарности с BLM, а из состава ФК «Краснодар» акцию поддержало лишь несколько человек (Sportbox.ru, 2020; Спорт-Экспресс, 2020а, 2020б; Sports.ru, 2020а, 2020б). Помимо этого кейса новостные агентства размещали также сообщения об особой позиции российского пилота «Формулы-1» В. Пе-

трома по вопросу поддержки BLM-движения в автоспорте (Чемпионат, 2020), об инициативе переименования вашингтонской команды Национальной футбольной лиги США «Вашингтон Редскинз» (Sports.ru, 2020в) и акции российского вратаря клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» А. Георгиева в поддержку BLM (Sports.ru, 2020г). В совокупности данные материалы получили по состоянию на 27 ноября 2020 года 927 комментариев.

Интуитивно заранее понятно, что практически любое явление может получить три основных вида оценки: позитивную, негативную и нейтральную. При сборе релевантного материала мы также ожидаемо зафиксировали все три оценочные позиции, которые могут стать предметом анализа отношения отечественных болельщиков к BLM-акциям в спорте. На наш взгляд, исследовательский интерес здесь представляет не столько сам факт этих различающихся оценок, сколько прояснение причин того или иного восприятия данного спортивно-политического феномена. И хотя окончательные выводы возможны уже после проведения соответствующих исследований, на уровне агрегации данных становится понятной примерная структура отношения среды российских фанатов к рассматриваемому феномену:

1) *Негативная оценка* в большинстве реплик определяется отсылкой к низким моральным и интеллектуальным качествам личности самих спортсменов — участников BLM-акций. Здесь работает следующая схема: их невозможно уважать, так как они не являются настоящими спортсменами в силу не спортивных, а личностных качеств. Как выразился один из комментаторов, это люди «с душком» или даже «клоуны».

2) *Положительная оценка* в большинстве случаев указывает не столько на личностные качества спортсменов, сколько на солидарность самого респондента с борьбой с расизмом. Выражая эту позицию, авторы сообщений больше говорили об очищении самого спорта, нежели характеризовали нравственный профиль отдельных спортсменов.

3) *Нейтральная оценка* означает признание болельщиками права спортсменов на выражение любого мнения — как поддерживать BLM, так и отказаться от этого. При этом участие или неучастие в подобных мероприятиях ничего не говорило для них о личности спортсмена. (Не)участие спортсмена в BLM-акциях в ходе спортивных мероприятий не трактуется здесь как выбор между добром и злом, моральным или аморальным поведением, но рассматривается как вполне допустимая вариация, о которой болельщик рассуждает этически отстраненно.

В целом категоричная оценка действий самих спортсменов как однозначно негативных или позитивных встречается не столь часто. При этом количество комментариев, отрицательно оценивающих привнесение расовой проблематики в спорт в формате BLM-акций, преобладает над положительными. Наиболее распространенной является нейтральная в оценочном плане позиция.

Чтобы продемонстрировать обнаруженное нами перспективное поле исследований, приведем в качестве иллюстрации несколько характерных цитат из числа комментариев (пунктуация и орфография сохранены).

Негативная оценка:

Плацкарт Вагонч: *Аплодирую стоя тем игрокам Краснодар, которые отказались участвовать в этом фарсе. Может быть еще бутсы целовать всем темнокожим перед каждой игрой?*

Вrn: *Я лично каждого игрока, кто встанет на колено перестану уважать как человека, и каждый клуб, в котором есть такие игроки. Может для них это ничего не стоит. Ну хорошо, пусть играют для нигеров. Я без апл проживу. И не плохо, между прочим).*

Aroslavcs: *Хэмилтон никогда в один ряд с Шумахером не встанет. Человек «с душком» на это не способен. Как спортсмен может и да, а так он скорее как Плющенко... главное, чтобы нос не вырос к старости.*

Позитивная оценка:

Тагуша: *АПЛ всегда славилась своей бескомпромиссностью в борьбе с расизмом. Молодцы.*

Сергей Иовлев: *Приятно, что русские помогают другим народам бороться против полицейского насилия и полицейского расового произвола. Может быть хоть где-то люди перестанут умирать от необоснованного полицейского насилия.*

Просту: *Если цитата Петрова верная, то он расист и гомофоб. ФИА с Хэмилтоном отлично без его мнения разберутся. А сам Хэмилтон все верно сказал, оценил цитату. А сама цитата как раз правильно передаёт смысл того, что скрепный мозг Петрова родил.*

Нейтральная оценка:

muller92: *Мне кажется, что сми зря раскручивают эту тему ибо ни Виталий ни Льюис ничего плохого не сказали, а просто выразили своё мнение. Высказывание разных мнений это нормально. ПС. Виталий высказал нормальное мнение по проблематике, Льюис корректно ответил исходя из приведённых журналистом слов.*

Выход из группы: *Когда Колин Каперник вставал на колено, это можно было воспринимать как его призыв к борьбе за чьи-то права (в его стране, то*

есть США). Когда это делает, например, Харри Магуайр, это воспринимается, скорее, как уход от проблем. Поэтому для российских (строго говоря — неамериканских) спортсменов не копировать чужое поведение, не понимая всей его подоплеку, и не вставать на колено, - это и есть наиболее разумное и уважительное поведение.

Сочка: Может быть я и не прав, но поведение игроков Краснодара, как раз проявление демократии и свободы выбора. Кто-то захотел встать на колено, потому что считает это нужным, кто-то нет, по своим причинам. Никто никого не травит за действия, которые они совершают согласно их морали.

При этом заметно, что подавляющее большинство российских болельщиков не признает объективного существования в спорте «скрытых механизмов расовой дискриминации». Крайне редко говорится, что движение BLM действительно возникло в ситуации высокого уровня в качестве обоснованного ответа на дискриминационные отношения в обществе и конкретно в спорте. В комментариях же значительной части болельщиков проблематика BLM объясняется не дискриминацией, а деградацией интеллектуального состояния спортсменов и общества в целом. Чаще всего болельщики воспринимают BLM-трактовку расового вопроса как нечто неразумное, неестественное, бессмысленное. Здесь показательны часто применяемые к движению BLM эпитеты «маразм» и «бред»:

Артем Галкин: Это полный абсурд и смех. Что теперь цвет черный начнут называть не белый. Уж что-то а название клубов и эмблемы последнее, что имеет отношение к расизму. Просто клоуны, те кто поддерживают это движение и считает, что всюду расизм.

Timrumit: Бред!!! Это какое-то безумие! Из-за какого-то закоронелого темнокожего рецидивиста - настоящего насильника и преступника сделали идола. Пипец, Америка сошла с ума! Да уж не повезло старине Трампу...

сНикерс: Ну и бред. В чем цель, забыть свою историю? Да и логика непонятна, краснокожие под запретом что ли? Или нельзя указывать людям на их принадлежность, потому что это кого-то может оскорбить? Тогда надо запретить и упоминание цвета волос, глаз. Запретить упоминать о наличии волос вообще (это может причинить боль лысеющим), упоминать о строении тела (это может причинить боль людям с избытком или недостатком веса), величину роста (это может причинить боль невысоким или чрезмерно высоким). Даже говорить о ком-то что он красивый, нельзя. Ведь это может причинить боль тем, кто некрасив.

Распространенным логическим приемом для демонстрации глупости, неадекватности идей, лозунгов и акций движения ВЛМ часто является сведение к абсурду. По мысли многих болельщиков, дальнейшая борьба сторонников ВЛМ против дискриминации в спорте должна принять гротескные, откровенно смехотворные формы:

ШлепНога-Танцуй Ботинок: Вратарей черных не будет! Это унижительно и расизм, когда черных загоняют в «рамки»! Доставайте свои белые не толерантные мячи из сетки сами!

Dmitry Nikolaenko: Гол черного засчитывать, а белого нет))

zran: Гол черного считать за два. Хватит это терпеть!

Наряду с объяснениями ВЛМ-акций в качестве проявления тупости и интеллектуальной деградации человека в современном мире, распространенным вариантом интерпретации новой трактовки расовой дискриминации являются конспирологические теории. В этом случае борьба с расовой дискриминацией и деятельность ВЛМ, в том числе и в спорте, объясняются особенностями политической ситуации в Америке и действиями отдельных политических акторов (левацкие группировки, Демократическая партия США и т. д.):

Законопослушный Гражданин: Слушайте, админы и кто там у вас еще... может хватить уже разгонять истерию. Эта клоунада яйца выеденного не стоит. Демократы понимая, что после скандала с Байденом их шансы на выборах равны нулю пошли ва-банк используя заурядную историю, которых каждый день десятки, если не сотни. А пипл (который в подавляющем большинстве своем) три книги на тысячу человек прочитал (букварь «вторая» и «синяя») x@в@ет эту л@буду. Свободу Анжеле Дэвис(с))

Либо же причинами объявляются действия «темных» политических сил:

Manchot: Демонстрация того, как легко превратить сообщество по отдельности вроде бы вменяемых и разумных людей в легко манипулируемую массу, которой надо только дать команду «фас». Причем это не зависит ни от уровня благосостояния, ни даже от образования и интеллекта испытуемых! Это же потрясающе! Я аплодирую стоя тем, кто за этим стоит. Они смогли раскрыть такие стороны психологии личности, о которых лично я даже не догадывался. Очень познавательно. Позволяет посмотреть на окружающий мир совсем другими глазами.

Также комментаторы пытаются выявить скрытые мотивы тех или иных спортсменов, поддерживающих ВЛМ. Болельщики утверждают, что спортсмен действу-

ет либо по принуждению (окружающей среды или команды/ее руководства), либо с целью приобретения каких-либо выгод от своего участия в борьбе с дискриминацией. В конечном итоге акции в любом случае оказываются не реальной борьбой с неравенством, а фикцией, фейком.

Павел Адов: мне кажется, контракт выбивает) если его после этого обменяют — будет скандал — НИР не поддерживают черных и вообще они там расисты)

Пользователь заблокирован: Лизнул конечно. Лицемерие конечно как в Америке принято. Этот юноша понятия не имел о кинге. Ему подсказали как это сделать для хайпа и поднятия рейтингов. Он спросил художника гуннарсона что мне прикольного нарисовать и тот посоветовал Кинга. И пошла. Но американские лохи схавали

Фокс≄: Думаю плевать ему и на черных и на Кинга в частности. Хайпануть решил.

Уникальность России в отношении проблемы расовой дискриминации и движения BLM объясняется многими болельщиками преимущественно путем отсылки к различию в интеллектуальном и культурном развитии населения нашей страны с западным миром. По мнению значительной части сообщества болельщиков, ментальные особенности повлияли на историю нашей страны, предопределив в ней иные социальные отношения, в рамках которых дискриминационные практики отсутствовали или имели место в заведомо меньших масштабах. В результате такого подхода проблематика расовой дискриминации в трактовке CRT и деятельность BLM оказывается абсолютно чужда России.

Александр Краснов: На колени встали скорее всего не Россияне а иностранцы играющие за Краснодар. Это их выбор. Мы неграм ни чего не должны, кто их угнетал пусть и становятся. Только эти умники должны вернуть все то, что награбили в своих бывших колониях а потом становиться на колени.

Кавабунга шреддоголовый: Почему в России вообще должны вестись на эту чушь? В СССР обучалось столько иностранцев из африканских стран, что нас вообще это не должно колыхать. Это «прогрессивная» Европа там направила дел, так что это их геморрой.

Николай Решетняк: На колени встают потомки тех, кто поддерживал суд Линча. На колени встают потомки тех кто вывозил их стран африканского континента жителей, взятых под силой оружия или проданных своими племенными вождями в плен торговцам живым товаром, ещё этот бизнес у просвещённых англичан, французов, немцев назывался торговлей чёрным деревом. Вот теперь все белые жители Соединённых Штатов Америки про-

сят прощения у чёрных жителей, потомков тех несчастных чёрных африканцев у кого хватило сил, в законопаченных трюмах морских судов для перевозки рабов, доплыть до, как недавно бывший президент Обама назвал, благословенного места на Земле. Так с какого богу должны русские люди становиться на колени, русские что покупали чёрных как дрова или силой оружия загоняли их в свои корабли и завозили их в Россию. В России был с незапамятных времён один чёрный парень, Александр Сергеевич Пушкин, вот перед его памятником действительно преклоняют колено, а всё остальное от лукавого. А русским то за что на колени вставать? Мы негров не гнобили. Нам извиняться не за что. Пусть кто накосячил — тот и просит прощения.

Объясняя особое положение России в отношении ВЛМ-движения, болельщики выделяют ряд факторов. Прежде всего это наличие у нее и русских исключительных моральных качеств, среди которых приоритетное значение имеет гордость, самоуважение. Также отмечается более высокий интеллектуальный уровень, позволяющий русскому человеку понимать политический подтекст происходящих в спорте событий и обладать истинными, объективными знаниями об истории не только своей страны, но и других государств.

Денис Козлов: Хоть бы один написал, что русским не присущ расизм, поскольку Россия многонациональная, Россия не занималась продажей рабов, так что у негров к русским не может быть претензий. Еще раз доказывает, что Задорнов во всем был прав: «ну тупые»

Александр Краснов: Англо-саксонские псы, вас негры и арабы давно поставили на колени. А мы РУССКИЕ. И как правильно заметил В.Р. Соловьев, мы стоим на колени только перед богом.

KVU1950: Русские встают на колени только перед Богом и знаменем Отчества!

При этом нельзя сказать, что онлайн-сообщество российских болельщиков понимает расизм в исключительно узком смысле как «дискриминацию негров». Напротив, вопрос о дискриминации неоднократно рассматривался в обсуждениях в широком аспекте с отсылкой, например, к крепостному праву или советскому прошлому. Однако при этом паттерн «Россия вне расизма» оставался крайне устойчивым.

Зима: Большевики наделали много страшных вещей в СССР, но за некоторые им можно сказать спасибо. Они дали все гражданские права женщинам и полностью искоренили расизм на территории страны. Так что все виды дискриминаций искоренены у нас уже более ста лет назад. Если западные

«демократии» только-только доросли до общества равноправия, это их проблема. Пусть стоят на коленях и вымаливают прощения за свои грехи. Мы им можем посочувствовать, что их общество ещё не доросло до реального равноправия, но попытки поставить нас на колени мы воспринимаем как проявление высокомерия и втягивание нас в собственные разборки, к которым мы не имеем никакого отношения.

Сергей Степанов: Опять истории не знают и сравнивают крепостничество в Восточной Европе и рабство. У нас крепостные иные были богаче своего помещика и т. д.

Трактовка ВЛМ как явления, свойственного исключительно отдельным странам в силу их исторического развития, современного состояния общества и происходящих политических процессов, исключает признание болельщиками объективности присутствия в современном спорте практик расовой дискриминации. Ограничиваясь до-теоретическим пониманием политической природы ВЛМ-акций в спорте, болельщики воспринимают их как внешние для спорта процессы и явления, привносимые в него, а не порождаемые им.

Подобная позиция является доминирующей, но все же не единственной. Хотя большинство болельщиков и убеждены в несовместимости идейных построений и проблематики движения с российскими реалиями, отдельные любители спорта в своих комментариях признают адекватность ВЛМ-акций в силу наличия скрытых механизмов расовой дискриминации:

Гол в девятину: Не думаю, что кому-то из народов вообще могут понравиться клюквенные названия, типа Вашингтон Матрешкас и Балалайкас, тем более когда их используют не русские, а какие-то чужаки ради своего бизнеса. И уж тем более чтобы кто-то на полном серьезе говорил «как круто они пиарят нашу культуру». Можно конечно соорудить из себя дурака и сказать «а чо такова балалайка просто инструмент», как это делали 20 лет владельцы Редскинс. Но мы то будем знать, что это глупая раздражающая клюква, как Лев Андропов из Армагеддона. Не сказать, что это оскорбительно, вряд ли. Просто глупо и не особо уместно, кого-то даже будет раздражать такое название, если себя на место индейцев поставить.

Leon Nazarian: Интересно как отнеслись бы люди в россии к таким названиям команд как Питерская Русня, Саранские Мокшане, Москальские Хачи?))))

В единичных случаях ВЛМ-акции в спорте оправдываются указанием на дискриминационные практики не столько расового, сколько национального характера, свойственные, по мнению респондентов, всем обществам, в том числе и российскому.

СКЕПТИК: Ну вот если подумать, представляете в России была бы аналогичная история с рабством, сегрегацией, охотой на коренных сибиряков на пример и допустим «узкоглазые иркутяне»! Довольно оскорбительно, Он самый: Посмешище — это забывать, как живет коренное население богатых нефтью регионов в твоей стране. Почему нет квоты на актеров-хантов на Мосфильме? Кто компенсирует причиненный ущерб мансям?

Сравнивая собранные данные с восприятием американскими болельщиками VLM-акций в спорте, мы можем предварительно отметить как общие, так и отличительные черты. *Во-первых*, в среде болельщиков отсутствует единство в оценке данного явления. Часть поддерживает спортсменов в борьбе с дискриминацией в спорте, часть же оценивает действия спортсменов негативно.

Во-вторых, достаточно близки паттерны восприятия движения VLM болельщиками двух стран как результата внешних манипуляций. Именно так можно интерпретировать блок ответов, выделенный К. Оширо под наименованием «заблудшие овцы», и схожую трактовку российскими болельщиками борьбы VLM с расовой дискриминацией как элемента «маразматического общества». Здесь на обыденном уровне признается иллюзорная природа VLM, отсутствие объективных причин для подобного рода акций, за исключением политических.

В-третьих, отличительной чертой восприятия отечественными болельщиками VLM-акций в спорте является господствующая в данной среде убежденность в том, что подобного рода идеи и практики неприменимы к России. Особое положение России определяется сложным набором моральных и интеллектуальных качеств, свойственных русскому человеку и определяющих специфику отечественной истории, в которой отсутствуют дискриминационные практики, подобные западным. Комментарии, в которых утверждается общность дискриминационных механизмов независимо от государств и народов, остаются в меньшинстве. Господствует бинарная логика, в рамках которой Россия противопоставляется Западу. При этом расовый вопрос в спорте оказывается возможным исключительно в политическом аспекте, что лишь подтверждает неприменимость идей и практик VLM к России.

В целом для сегмента онлайн-среды российских болельщиков не характерно признание реальности механизмов расовой дискриминации в спорте в том смысле, о котором говорится в рамках концептуальных построений CRT. За исключением единичной отсылки к гипотетически оскорбительным наименованиям спортивных команд «Питерская Русня» или «Москальские хачи», болельщики, даже поддерживающие VLM-акции, не приводят примеры скрытых механизмов расового господства или угнетения в отечественном спорте. Специфика социального измерения расизма, на которой настаивает CRT, отечественными болельщиками в подавляющем большинстве не понимается, и потому VLM-акции предстают внешними для спорта феноменами, имеющими прежде всего политическое измерение.

Заключение

В начале XXI века процесс политизации спорта претерпевает свою значимую трансформацию. Через применение положений Критической расовой теории, трактующей расу в качестве социального капитала, в спорт привносятся практики, камуфлирующие политизацию под борьбу с дискриминацией. Расовые ограничения в спорте, которые преодолевались на протяжении второй половины XX века путем минимизации политического измерения спортивных состязаний, воспроизводятся в практиках движения Black Lives Matter в виде жесткой идеологической схемы, напрямую не вытекающей из реалий самого современного спорта.

В этой ситуации дискурсивной неопределенности значительный интерес представляют исследования отношения спортивного сообщества и прежде всего болельщиков к привносимой в спорт новой интерпретации проблематики расовой дискриминации. Собранные нами данные могут стать предметом социологического анализа отношения российских болельщиков к BLM-акциям в спорте, в том числе опираясь на методологические подходы, разработанные в ряде работ зарубежных социологов. Предварительно же мы можем уже сейчас констатировать, что в среде отечественных фанатов данное явление воспринимается неоднозначно. Существует определенный сегмент любителей спорта, которые позитивно воспринимают и поддерживают BLM-акции в спорте, хотя и среди них не обнаруживается четкого признания и принятия тех моделей расовой дискриминации, о которых идет речь в концептуальных построениях теоретиков CRT. Не говоря уже о тех, кто оценивает данный феномен нейтрально или тем более негативно. В этой среде преобладающим является представление об иллюзорной, политикоманипулятивной природе как самой идеологии, так и конкретных акций BLM.

Отдельного внимания заслуживает выявленный у сообщества российских болельщиков паттерн восприятия России как особого пространства, для которого данная проблематика просто неактуальна. Фиксация этого устойчивого топоса сама по себе открывает широкое поле для дальнейших исследований характеристик «уникальности» российского спорта, в том числе и в политическом отношении. Радикальная политизация спорта на расовой почве ожидаемо порождает ответную «патриотическую» политизацию, параметры которой еще предстоит изучить в последующих исследованиях.

Литература

- Бурдые П. (2009). Как можно быть спортивным болельщиком / Пер. с англ. А. Смирнова // Логос. № 6. С. 99–113.
- Глориозова Е. (2018). Футбольный фанатизм как объект изучения социальных наук // Социология власти. Т. 30. № 2. С. 24–39.
- Зверева В. (2006). Телевизионный спорт // Логос. № 3. С. 63–75.

- Кильдюшов О. В. (2011). Больше, чем футбол: спортивные фанаты в роли гражданского общества // Вопросы национализма. № 5. С. 49–62.
- Кильдюшов О. В. (2014). Идеино-политические и жизненно-стилевые ориентации футбольных фанатов Юго-Востока Украины // Проблемы национальной стратегии. № 6. С. 89–99.
- Пильц Г. А. (2009). Футбол — это наша жизнь: перемены и процессы дифференциации культуры футбольных фанатов // Логос. № 6. С. 115–133.
- Покудов З. В. (2020). Барак Обама и расовый фактор в американской политике: движение «Жизни чёрных имеют значение» // США & Канада: экономика, политика, культура. Т. 50. № 9. С. 71–81.
- Резникова А. В., Внуковская А. В. (2020). Лозунг «Black Lives Matter» как лингвистический фактор эскалации расовой ненависти и сегрегации по национальному признаку в контексте правового нигилизма // Философия права. № 3. С. 177–181.
- Секацкий А. (2013). Стихия азарта: первое погружение // Логос. № 5. С. 241–263.
- Спорт-Экспресс (2020а). «Позор русским». Британцы недовольны тем, что игроки «Краснодара» не встали на колено. URL: <https://www.sport-express.ru/football/champions-league/news/pozor-russkim-britancy-nedovolny-tem-chto-igroki-krasnodara-ne-vstali-na-koleno-1723905/> (дата доступа: 24.12.2020).
- Спорт-Экспресс (2020б). В УЕФА прокомментировали отказ футболистов «Краснодара» встать на колено в матче с «Челси». URL: <https://www.sport-express.ru/football/champions-league/news/v-uefa-prokommentirovali-otkaz-futbolistov-krasnodara-vstat-na-koleno-v-matche-s-chelsi-1723943/> (дата доступа: 24.12.2020).
- Чемпионат (2020). Хэмилтон раскритиковал первого российского пилота Ф-1. Петрову нельзя иметь своё мнение? URL: <https://www.championat.com/auto/article-4168879-ljuis-hemilton-nedovolen-chto-vitalija-petrova-naznachili-stjuardom-gran-pri-portugalii-f-1.html> (дата доступа: 24.12.2020).
- Эко У. (2009). Болтовня о спорте / Пер. с англ. Д. Аронсона // Логос. № 6. С. 188–193.
- Sportbox.ru (2020). В УЕФА отреагировали на отказ игроков «Краснодара» участвовать в акции Black Lives Matter. URL: https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Liga_Chempionov/spbnews_NI1262168_V_UJeFA_otreagirovali_na_otkaz_igrokov_Krasnodara_uchastvovat_v_akkcii_Black_Lives_Matter (дата доступа: 24.12.2020).
- Sports.ru (2020а). История о том, как All lives don't matter на примере матча «Челси» с «Краснодаром». URL: <https://www.sports.ru/tribuna/blogs/hochukakolkok/2849014.html> (дата доступа: 24.12.2020).
- Sports.ru (2020б). Daily Mail наехала на «Краснодар» за неактивную поддержку BLM, но за клуб вступились английские болельщики и УЕФА. URL: <https://www.sports.ru/tribuna/blogs/greatness/2848868.html> (дата доступа: 24.12.2020).
- Sports.ru (2020а). В США давно воюют со словом «Редскинз» («Краснокожие») в названии клуба. Под давлением Black Lives Matter команда согласилась переименоваться. URL: <https://www.sports.ru/tribuna/blogs/greatness/2798148.html> (дата доступа: 24.12.2020).

- Sports.ru (2020). Русский вратарь «Рейнджерс» поддержал Black Lives Matter: сделал маску с Мартином Лютером Кингом, чтобы помочь детям. URL: <https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nhlforyou/2813314.html> (дата доступа: 24.12.2020).
- Alkmeyer T., Bröskamp B.* (1996). Strangerhood and Racism in Sport // *Sport Science Review*. Vol. 5. № 2. P. 30–52.
- Armstrong G.* (1998). *Football Hooligans: Knowing the Score*. Oxford: Berg.
- Birrel S.* (1989). Racial Relations Theories and Sport: Suggestions for a More Critical Analysis // *Sociology of Sport Journal*. № 6. P. 212–227.
- Boykoff J., Carrington B.* (2020). Sporting Dissent: Colin Kaepernick, NFL Activism, and Media Framing Contests // *International Review for the Sociology of Sport*. Vol. 55. № 7. P. 829–849.
- Brown S.* (ed.) (2007). *Football Fans around the World: From Supporters to Fanatics*. Abingdon: Routledge.
- Bruening J. E.* (2005). Gender and Racial Analysis in Sport; Are All the Women White and All the Blacks Men? // *Quest*. Vol. 57. № 3. P. 20.
- Carrington B.* (2010). *Race, Sport and Politics: The Sporting Black Diaspora*. London: Sage.
- Carrington B.* (2013). The Critical Sociology of Race and Sport: The First 50 Years // *Annual Review of Sociology*. Vol. 39. P. 379–398.
- Cashmore E.* (1982). *Black Sportsmen*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Chennault R. E.* (1998). Giving Whiteness a Black eye: An interview with Michael Eric Dyson // *Kincheloe J. L., Steinberg S. R., Rodriguez N. M., Chennault R. E.* (Eds.). *White Reign: Deploying Whiteness in America*. Chicago: St. Martin's Press. P. 299–328.
- Cleland J.* (2014). Racism, Football Fans, and Online Message Boards: How Social Media has Added a New Dimension to Racist Discourse in English Football // *Journal of Sport and Social Issues*. Vol. 38. № 5. P. 415–431.
- Coakley J.* (1994). *Sport in Society*. St. Louis: Times Mirror/Mosby.
- Coombs D. S., Cassilo D.* (2017). Athletes and/or Activists: LeBron James and Black Lives Matter // *Journal of Sport and Social Issues*. Vol. 41. № 5. P. 425–444.
- Edwards H.* (1969). *The Revolt of the Black Athletes*. New York: Free Press;
- Edwards H.* (1973). *Sociology of Sport*. Homewood: Dorsey Press.
- Faust A., Johnson D., Guignard Z., Adechoubou S., Harlos C., Fennelly M., Castañeda E.* (2019). Black Lives Matter and the Movement for Black Lives // *Tilly Ch., Castañeda E., Wood L.* (eds.). *Social Movements, 1768–2018*. London: Routledge. P. 240–253.
- Feagin J. R.* (2006). *Systemic Racism: A Theory of Oppression*. New York: Routledge.
- Feagin J. R.* (2013). *The White Racial Frame: Centuries of Racial Framing and Counter-Framing*. New York: Routledge.
- Harris C. I.* (1993). Whiteness as Property // *Harvard Law Review*. Vol. 106. P. 1707–1791.
- Hawkins B. J., Carter-francique A. R., Cooper J. N.* (2017). *Critical Race Theory: Black Athletic Sporting Experience in the United States*. London: Palgrave Macmillan.
- Hylton K.* (2009). «Race» and Sport: Critical Race Theory. London: Routledge.

- Hylton K. (2010). How a Turn to Critical Race Theory Can Contribute to Our Understanding of «Race», Racism and Anti-Racism in Sport: Interrogating Boundaries of «Race» and Ethnicity in Sport // *International Review of Sociology of Sport*. Vol. 45. № 3. P. 335–354.
- Hylton K. (2018). *Contesting Race and Sport: Shaming the Colour Line*. London: Routledge.
- Hylton K. (2020). Black Lives Matter in sport...? // *Equality, Diversity and Inclusion*. Vol. 41. № 3. P. 38–56.
- Hylton K., Long J. (2015). Confronting «Race» and Policy: How Can You Research Something You Say Does Not Exist? // *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*. Vol. 8. № 2. P. 202–208.
- Jarvie G. (Ed.) (1991). *Sport, Racism and Ethnicity*. London: Farmer Press.
- Lewis N., Gantz W. (2019). An Online Dimension of Sports Fanship: Fan Activity on NFL Team-Sponsored Web Sites // *Journal of Global Sport Management*. Vol. 3. № 4. P. 257–270.
- Love A., Hughey M. W. (2015). Out of Bounds? Racial Discourse on College Basketball Message Boards // *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 38. № 6. P. 877–893.
- Love A., Gonzalez-Sobrinho B., Hughey M. W. (2017). Excessive Celebration? The Racialization of Recruiting Commitments on College Football Internet Message Boards // *Sociology of Sport Journal*. Vol. 34. № 3. P. 235–247.
- Loy J. W., McElvogue J. F. (1971). Racial Segregation in American Sport // *Albonico R., Pfister-Binz K.* (eds.). *Soziologie des Sports*. Basel: Birkhauser. P. 113–127.
- McPherson B. D. (1974). Minority Group Involvement in Sport: The Black Athlete // *Exercise and Sport Reviews*. № 2. P. 71–102.
- McPherson B. D. (1977). The Black Athlete: An Overview and Analysis // *Landers D. P.* (ed.). *Social Problems in Athletics*. Chicago: University of Illinois Press. P. 122–150.
- Oshiro K., Weems A., Singer J. (2020). Cyber Racism Towards Black Athletes: A Critical Race Analyse of TexAgs.com Online Brand Communication // *Communication and Sport*. № 23. P. 76–92.
- Rankin-Wright A., Hylton K., Norman L. (2016). Of-Colour Landscape: Framing Race Equality in Sport Coaching // *Sociology of Sport*. № 33. P. 357–368.
- Sanderson J., Frederick E., Stocz M. (2016). When Athlete Activism Clashes with Group Values: Social Identity Threat Management via Social Media // *Mass Communication and Society*. Vol. 19. № 3. P. 301–322.
- Sloan T., Oglesby C., Alexander C. Frank N. (1981). *Black Women in Sport*. Reston: AAHPERD.
- Smith Y. R. (1992). Women of Color in Society and Sport // *Quest*. № 44. P. 228–250.
- Swart K., Maralack D. (2020). Black Lives Matter: Perspectives from South African Cricket // *Sport and Society*. № 3. P. 1–16.
- Talamini J. T., Page C. H. (1973). *Sport and Society: An anthology*. Boston: Little Brown.
- Tirala L. G. (1936). *Sport und Rasse*. Frankfurt am Main: H. Bechhold.

Wiggins D. K. (1986). From Plantation to Playing Fields: Historical Writings on the Black Athlete in American Sport // *Research Quarterly for Exercise and Sport*. № 57. P. 101–116.

Combating Discrimination or Repoliticizing Sports? The Specifics of the Perception of Black Lives Matter in Sports-Fans Online Communities

Evgeny Salnikov

Doctor of Philosophical Sciences, Associate Professor, Chief of the Chair of Social-Philosophical Disciplines, Orel Law Institute of the Ministerium of the Interior
Address: Ignatova Str., 2, Orel, Russian Federation 302027
E-mail: esalnikov2005@yandex.ru

Inna Salnikova

Lector, Department of Service, Orel State University named after I.S. Turgenev
Address: Komsomolskaya Str., 95, Orel, Russian Federation 302018
E-mail: inna-salnikova@yandex.ru

This article is devoted to the study of the transformation of the processes of the politicization of sports. The authors show that the development of modern states naturally included sports in the system of power relations both at the domestic and foreign policy levels. At the beginning of the 21st century, a new form of this process was a kind of interpretation of racial discrimination, proposed in the framework of critical racial theory. The most striking embodiment of the ideology and practice of critical race theory was the BLM movement, whose actions were supported by a number of athletes and sports organizations causing a mixed reaction in the fan community. Based on both domestic and Western studies of the attitude of sports fans, we attempted to analyze the specifics of the perception of BLM actions of Russian fans in sports. The empirical basis of the study was the comments of fans on the forums of sports news agencies in 2020. The research hypothesis was based on the assumption that the study of online comments on the news about the participation or non-participation of Russian athletes in BLM events will reveal the unconscious attitudes and semantic framework for the perception of domestic sports fans of a new interpretation of the racial problem in sports. As a result of the analysis, there was a lack of unity in the assessment of BLM-shares in sports. Some fans support athletes in the fight against discrimination in sports, while some evaluate the actions of athletes negatively, and categorically do not accept their position. Here, on a mundane level, the illusory nature of BLM is recognized. The specifics of the social dimension of racism, which CRT insists on, are not understood by domestic fans; BLM actions appear to be an external phenomena in sports, primarily having a political dimension. Special attention should be paid to the pattern of Russia as a special space; because of the moral characteristics of the population and its specific mentality, discriminatory practices are historically generally uncharacteristic, and the fight against these discriminatory practices is irrelevant in the Russian fan community.

Keywords: Black Lives Matter, Critical Race Theory, racism, discrimination, protest movements, sport, sport fans

References

- Alkmeyer T., Bröskamp B. (1996) Strangerhood and Racism in Sport. *Sport Science Review*, vol. 5, no 2, pp. 30–52.
- Armstrong G. (1998) *Football Hooligans: Knowing the Score*, Oxford: Berg.
- Birrel S. (1989) Racial Relations Theories and Sport: Suggestions for a More Critical Analysis. *Sociology of Sport Journal*, no 6, pp. 212–227.
- Bourdieu P. (2009) Kak možno byt' sportivnym bolet'shnikom [How Can You Be a Sports Fan]. *Logos*, no 6, pp. 99–113.
- Boykoff J., Carrington B. (2020) Sporting Dissent: Colin Kaepernick, NFL Activism, and Media Framing Contests. *International Review for the Sociology of Sport*, vol. 55, no 7, pp. 829–849.
- Brown S. (ed.) (2007) *Football Fans around the World: From Supporters to Fanatics*, Abingdon: Routledge.
- Bruening J.E. (2005) Gender and Racial Analysis in Sport; Are All the Women White and All the Blacks Men? *Quest*, vol. 57, no 3, p. 20.
- Carrington B. (2010) *Race, Sport and Politics: The Sporting Black Diaspora*, London: Sage.
- Carrington B. (2013) The Critical Sociology of Race and Sport: The First 50 Years. *Annual Review of Sociology*, vol. 39, pp. 379–398.
- Cashmore E. (1982) *Black Sportsmen*, London: Routledge & Kegan Paul.
- Championat (2020). Hamilton raskritikoval pervogo rossijskogo pilota F-1. Petrovu nel'zja imet' svoje mnenie? [Hamilton Criticized the First Russian Pilot of the F-1. Petrov Cannot have an Opinion?]. Available at: <https://www.championat.com/auto/article-4168879-ljuis-hemilton-nedovoln-cto-vitalija-petrova-naznachili-stjuardom-gran-pri-portugalii-f-1.html> (accessed 24 December 2020).
- Chennault R. E. (1998) Giving Whiteness a Black eye: An interview with Michael Eric Dyson. *White Reign: Deploying Whiteness in America* (eds. J. L. Kincheloe, S. R. Steinberg, N. M. Rodriguez, R. E. Chennault), Chicago: St. Martin's Press, pp. 299–328.
- Cleland J. (2014) Racism, Football Fans, and Online Message Boards: How Social Media has Added a New Dimension to Racist Discourse in English Football. *Journal of Sport and Social Issues*, vol. 38, no 5, pp. 415–431.
- Coakley J. (1994) *Sport in Society*, St. Louis: Times Mirror/Mosby.
- Coombs D. S., Cassilo D. (2017) Athletes and/or Activists: LeBron James and Black Lives Matter. *Journal of Sport and Social Issues*, vol. 41, no 5, pp. 425–444.
- Eco U. (2009) Boltovnja o sporte [Chatter about Sports]. *Logos*, no 6, pp. 188–193.
- Edwards H. (1969) *The Revolt of the Black Athletes*, New York: Free Press;
- Edwards H. (1973) *Sociology of Sport*, Homewood: Dorsey Press.
- Faust A., Johnson D., Guignard Z., Adechoubou S., Harlos C., Fennelly M., Castañeda E. (2019) Black Lives Matter and the Movement for Black Lives. *Social Movements, 1768–2018* (eds. Ch. Tilly, E. Castañeda, L. Wood), London: Routledge, pp. 240–253.
- Feagin J. R. (2006) *Systemic Racism: A Theory of Oppression*, New York: Routledge.
- Feagin J. R. (2013) *The White Racial Frame: Centuries of Racial Framing and Counter-Framing*, New York: Routledge.
- Gloriozova E. (2018) Futbol'nyj fanatizm kak ob'ekt izuchenija social'nyh nauk. [Football Fans as an Object of Social Science Study]. *Sociology of Power*, vol. 30, no 2, pp. 24–39.
- Harris C. I. (1993) Whiteness as Property. *Harvard Law Review*, vol. 106, pp. 1707–1791.
- Hawkins B. J., Carter-francique A.R., Cooper J. N. (2017) *Critical Race Theory: Black Athletic Sporting Experience in the United States*, London: Palgrave Macmillan.
- Hylton K. (2009) *"Race" and Sport: Critical Race Theory*, New York: Routledge.
- Hylton K. (2010) How a Turn to Critical Race Theory Can Contribute to Our Understanding of "Race", Racism and Anti-Racism in Sport: Interrogating Boundaries of "Race" and Ethnicity in Sport. *International Review for the Sociology of Sport*, vol. 45, no 3, pp. 335–354.
- Hylton K. (2018) *Contesting Race and Sport: Shaming the Colour Line*, London: Routledge.
- Hylton K. (2020) Black Lives Matter in sport...? *Equality, Diversity and Inclusion*, vol. 3, no 41, pp. 38–56.

- Hylton K., Long J. (2015) Confronting "Race" and Policy: 'How Can You Research Something You Say Does Not Exist?' *Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events*, vol. 8, no 2, pp. 202–208.
- Jarvie G. (ed.) (1991) *Sport, Racism and Ethnicity*, London: Farmer Press.
- Kildushov O. (2011) Bol'she, chem futbol. Sportivnye fanaty v roli grazhdanskogo obshchestva [More than Football. Sports Fans in the Role of Civil Society]. *Questions of Nationalism*, no 5, pp. 49–62.
- Kildushov O. (2014) Idejno-politicheskie i zhiznenno-stilevye orientacii futbol'nyh fanatov Jugo-Vostoka Ukrainy [Ideological-Political and Life-Style Orientations of Football Fans in the South-East of Ukraine]. *Problems of the National Strategy*, no 6, pp. 89–99.
- Lewis N., Gantz W. (2019) An Online Dimension of Sports Fanship: Fan Activity on NFL Team-Sponsored Web Sites. *Journal of Global Sport Management*, vol. 4, no 3, pp. 257–270.
- Love A., Gonzalez-Sobrino B., Hughey M. W. (2017). Excessive Celebration? The Racialization of Recruiting Commitments on College Football Internet Message Boards. *Sociology of Sport Journal*, vol. 34, no 3, pp. 235–247.
- Love A., Hughey M. W. (2015) Out of Bounds? Racial Discourse on College Basketball Message Boards. *Ethnic and Racial Studies*, vol. 38, no 6, pp. 877–893.
- Loy J. W., McElvogue J. F. (1971) Racial Segregation in American Sport. *Soziologie des Sports* (eds. R. Albonico, K. Pfinster-Binz), Basel: Birkhauser, pp. 113–127.
- McPherson B. D. (1974) Minority Group Involvement in Sport: The Black Athlete. *Exercise and Sport Reviews*, vol. 2, pp. 71–102.
- McPherson B. D. (1977) The Black Athlete: An Overview and Analysis. *Social Problems in Athletics* (ed. D. P. Landers), Chicago: University of Illinois Press, pp. 122–150.
- Oshiro K., Weems A., Singer J. (2020) Cyber Racism Towards Black Athletes: A Critical Race Analyse of TexAgs.com Online Brand Communication. *Communication and Sport*, vol. 23, pp. 76–92.
- Pilts G. (2009) Futbol — jeto nasha zhizn': peremeny i processy differenciacii kul'tury futbol'nyh fanatov [Football is Our Life: Changes and Processes of Differentiation of the Culture of Football Fans]. *Logos*, no 6, pp. 115–133.
- Pokudov Z. (2020) Barak Obama i rasovyj faktor v amerikanskoj politike: dvizhenie "Zhizni chjornyh imejut znachenie" [Barack Obama and Issues of Race in American Politics: The Black Lives Matter Movement]. *USA & Canada: Economics, Politics, Culture*, vol. 50, no 9, pp. 71–81.
- Rankin-Wright A., Hylton K., Norman L. (2016) Of-Colour Landscape: Framing Race Equality in Sport Coaching. *Sociology of Sport*, vol. 33, pp. 357–368.
- Reznikova A. Njukovskaya A. (2020) Lozung "Black Lives Matter" kak lingvisticheskij faktor jeskalacii rasovoj nenavisti i segregacii po nacional'nomu priznaku v kontekste pravovogo nigilizma. [The Slogan "Black Lives Matter" as a Linguistic Factor of Escalation of Racial Hatred and Segregation Based on Nationality in the Context of Legal Nihilism]. *Philosophy of Law*, no 3, pp. 177–181.
- Sanderson J., Frederick E., Stocz M. (2016) When Athlete Activism Clashes with Group Values: Social Identity Threat Management via Social Media. *Mass Communication and Society*, vol. 19, no 3, pp. 301–322.
- Sekatsky A. (2013) Stihija azarta: pervoe pogruzhenie [The Element of Excitement: The First Dive]. *Logos*, no 5, pp. 241–263.
- Sloan T., Oglesby C., Alexander C., Frank N. (1981) *Black Women in Sport*, Reston: AAHPERD.
- Smith Y. R. (1992) Women of Color in Society and Sport. *Quest*, vol. 44, pp. 228–250.
- Sport-Express (2020) "Pozor russkim". Britancy nedovol'ny tem, chto igroki «Krasnodara» ne vstali na koleno ["Shame on Russians". The British are Dissatisfied with the Fact that the Players of "Krasnodar" did not Take a Knee]. Available at: <https://www.sport-express.ru/football/champions-league/news/pozor-russkim-britancy-nedovolny-tem-chto-igroki-krasnodara-ne-vstali-na-koleno-1723905/> (accessed 24 December 2020)
- Sport-Express (2020) V UEFA prokomentirovali otkaz futbolistov "Krasnodara" vstat' na koleno v matche s "Chelsi" [UEFA Commented on the Refusal of the Players of "Krasnodar" to Take a Knee in the Match with "Chelsea"]. Available at: <https://www.sport-express.ru/football/champions-league/news/v-uefa-prokomentirovali-otkaz-futbolistov-krasnodara-vstat-na-koleno-v-matche-s-chelsi-1723943/> (accessed 24 December 2020).
- Sportbox (2020) V UEFA otreagirovali na otkaz igrokov "Krasnodara" uchastvovat' v akcii Black Lives Matter [UEFA Reacted to the Refusal of the Players of "Krasnodar" to Participate in the

- Action of Black Lives Matter]. Available at: https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Liga_Chempionov/spbnews_N1262168_V_UJeFA_otreagirovali_na_otkaz_igrokov_Krasnodara_uchastvovat_v_akcii_Black_Lives_Matter (accessed 24 December 2020).
- Sports.ru (2020) Daily Mail naehala na «Krasnodar» za neaktivnuju podderzhku BLM, no za klub vstupilis' anglijskie bolel'shhiki i UEFA [The Daily Mail Attacked Krasnodar for not Actively Supporting the BLM, but the English Fans and UEFA Stood Up for the Club]. Available at: <https://www.sports.ru/tribuna/blogs/greatness/2848868.html> (accessed 24 December 2020)
- Sports.ru (2020) Istorija o tom, kak All lives don't matter na primere matcha "Chelsi" s "Krasnodarom" [The Story of How All Lives Don't Matter on the Example of the Match "Chelsea" with "Krasnodar"]. Available at: <https://www.sports.ru/tribuna/blogs/hochukakolkok/2849014.html> (accessed 24 December 2020).
- Sports.ru (2020) Russkij vratar' "Rejndzhers" podderzhal Black Lives Matter: sdela masku s Martinom Ljuterom Kingom, chtoby pomoch' detjam [The Russian Goalkeeper of the "Rangers" Supported Black Lives Matter: He Made a Mask with Martin Luther King to Help Children]. Available at: <https://www.sports.ru/tribuna/blogs/nhlforyou/2813314.html> (accessed 24 December 2020).
- Sports.ru (2020) V SShA davno vojuyut so slovom "Redskinz" ("Krasnokozhie") v nazvanii kluba. Pod davleniem Black Lives Matter komanda soglasilas' pereimenovat'sja [In the United States, They Have Long Been at War with the Word "Redskins" in the Name of the Club. Under Pressure from Black Lives Matter, the Team Agreed to Rename Itself]. Available at: <https://www.sports.ru/tribuna/blogs/greatness/2798148.html> (accessed 24 December 2020).
- Swart K., Maralack D. (2020) Black Lives Matter: Perspectives from South African Cricket. *Sport and Society*, vol. 3, pp. 1–16.
- Talamini J. T., Page C. H. (1973) *Sport and Society: An Anthology*, Boston: Little Brown.
- Tirala L. G. (1936) *Sport und Rasse*, Frankfurt am Main: H. Bechhold.
- Wiggins D. K. (1986) From Plantation to Playing Fields: Historical Writings on the Black Athlete in American Sport. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, vol. 57, pp. 101–116.
- Zvereva V. (2006) Televizionnyj sport [Television Sports]. *Logos*, no 3, pp. 63–75.

Эгалитаризм удачи: два направления критики

Дмитрий Серед

Магистр политических наук, независимый исследователь

Адрес: Проезд Березовой рощи, д. 10, г. Москва, Российская Федерация 125252

E-mail: dsereda886@gmail.com

Статья посвящена направлению в политической философии, получившему название «эгалитаризм удачи» (luck egalitarianism). Эгалитаристов удачи волнуют вопросы распределительной справедливости — их основная идея заключается в том, что люди не должны оказываться в невыгодном положении из-за факторов, на которые они не могут никак повлиять. Эту идею они выражают с помощью дихотомии слепой и добровольной удачи. Цель статьи — описать два основных направления критики, с которой сталкивается эгалитаризм удачи, и определить, какое из них представляет наиболее серьезный вызов для этого течения. Некоторые авторы критикуют эгалитаризм удачи с моральной точки зрения. Они считают, что он чрезмерно жесток по отношению к тем, кто пострадал в результате неудачного, но свободного выбора, унизителен по отношению к тем, кого признает заслуживающими помощи, а также противоречит нашим моральным интуициям относительно того, чего заслуживают представители социально необходимых, но сопряженных с риском профессий. Другая существенная для этого направления политической мысли проблема связана с метафизической критикой. Эгалитаристы удачи считают, что человек не несет ответственности не только за свое общественное положение, гендер, этническую принадлежность и т. д., но также и за таланты и способности. Возникает вопрос: существует ли вообще что-то, за что люди могут полноценно нести ответственность? Отвечая на этот вопрос, эгалитаризм удачи приходит к проблеме свободной воли и детерминизма. Эта проблема угрожает идентичности эгалитаризма удачи, так как если свободной воли не существует или если ее невозможно обнаружить, то ключевая для направления дихотомия слепой и добровольной удачи не имеет смысла. В статье демонстрируется, что именно второй тип критики представляет на данный момент наибольшую проблему для эгалитаризма удачи.

Ключевые слова: эгалитаризм удачи, теории справедливости, политическая философия, распределительная справедливость, Дворкин, случайность, ответственность, свобода воли

Сегодня дискуссии о распределении играют важную роль в экономике, политике, философии. В экономике это заметно по тому, как часто в последние годы появляются академические бестселлеры, посвященные исследованиям неравенства (Пикетти, 2016; Миланович, 2017; Atkinson, 2015). В политической сфере отношение к перераспределению становится одной из главных точек противостояния во многих демократических государствах — социалистические, социал-демократические и коммунистические партии выступают за активное перераспределение доходов от богатых к бедным, тогда как консервативные и праволиберальные партии воз-

ражают им¹. В философии же распределение обсуждается в контексте проблемы справедливости, интерес к которой был реанимирован Джоном Ролзом в 1971 году с помощью знаменитой работы «Теория справедливости». Можно без преувеличения сказать, что распределительная справедливость стала одной из главных тем для постролзианской политической философии.

В нормативных спорах, касающихся этой тематики, распространены две позиции: одни считают, что перераспределение — это важная государственная задача, необходимая, в частности, для поддержания справедливости и равенства, другие — что перераспределение несет с собой множество нежелательных побочных эффектов и зачастую несправедливо². Представители второй группы часто обращались к понятиям выбора и ответственности для того, чтобы доказать несправедливость перераспределения. Они утверждали, что люди должны отвечать за сделанный ими выбор, поэтому нечестно забирать средства у того, кто выиграл в экономическом отношении, и отдавать их проигравшему. Сторонники равенства обычно, напротив, возражали против обращения к понятию личной ответственности в дискуссиях о распределении.

Ситуация изменилась в последней четверти двадцатого века, когда Рональд Дворкин опубликовал свое знаменитое двухчастное эссе «Что такое равенство?» (Dworkin, 1989a, b). Этот текст дал начало направлению в политической философии, которое стало известно как «эгалитаризм удачи» (luck egalitarianism).

Его представители стремились обосновать эгалитаризм именно с помощью анализа ответственности и выбора. К нему относятся такие исследователи, как сам Дворкин (Dworkin, 1981b), Джеральд Коэн (Cohen, 1989), Ричард Арнсон (Arneson, 1989), Эрик Раковски (Rakowski, 2003), Кок-Чор Тан (Tan, 2012), Карл Найт (Knight, 2009) и другие.

Как замечает Дэвид Миллер (Miller, 2017), эгалитаризм удачи приобрел за последние десятилетия существенную популярность. Философы применяют его в совершенно разных областях, начиная с медицинской этики (Albertsen, 2016) и заканчивая теологией (Rosen, 2017). По мнению Карла Найта, эгалитаризм удачи стал «наиболее обсуждаемой постролзианской теорией распределительной справедливости» (Knight, 2013: 925). Разумеется, он столкнулся и с критикой. В ней заметны два основных направления. Можно сказать, что это два «фронта», на которых приходится воевать эгалитаристам удачи. Первое направление объединяет тех авторов, которые считают, что эгалитаризм удачи противоречит некоторым важным ценностным интуициям. Назовем это «моральной критикой». Второе направление объединяет авторов, которые считают, что эгалитаризм удачи проблематичным образом связан с определенными метафизическими положениями.

1. Яркой иллюстрацией этого разделения служит, к примеру, парламент Великобритании, места в котором десятилетиями делят между собой две партии — левая Лейбористская партия и правая Консервативная партия.

2. Классический пример первой позиции — это «Теория справедливости» Джона Ролза (Ролз, 2010), а второй — «Конституция свободы» Фридриха Хайека (Хайек, 2018).

Назовем это «метафизической критикой». Конечно, это пересекающиеся линии критики — один и тот же автор вполне может критиковать эгалитаризм удачи как с моральной, так и с метафизической точки зрения.

Задача этой статьи — описать, каково содержание этих двух направлений критики, и определить, какое из них представляет наиболее серьезный вызов для эгалитаризма удачи. Фраза «наиболее серьезный вызов» требует пояснения. Дискуссии об эгалитаризме удачи не завершены — на обоих фронтах бои все еще идут. Тем не менее на одном из них у эгалитаристов удачи получилось выстроить достаточно убедительную защиту, которая, если и не разбивает аргументы критиков в пух и прах, все же достаточно прочна для того, чтобы отвоевать право такой концепции на существование. Как представляется, на другом фронте такая защита не выстроена — он более уязвим. Именно эта уязвимость и подразумевается во фразе «представляет наиболее серьезный вызов».

Что такое эгалитаризм удачи?

Эгалитаризм удачи — это концепция распределительной справедливости, гласящая, что распределение благ должно быть чувствительно к выбору, добровольно совершаемому людьми в своей жизни, но нечувствительно к тем обстоятельствам, которые они выбирать неспособны. Если жизнь одного человека (или группы) становится хуже или лучше, чем жизнь других людей, в результате свободного выбора, то такое ухудшение (или улучшение) справедливо. Во всех остальных случаях распределение должно быть равным.

Для характеристики невыбранных обстоятельств эгалитаристы удачи используют термины «слепая удача» (good brute luck) и «слепая неудача» (bad brute luck). Слепым удаче и неудаче противопоставляются «добровольные» удача и неудача (good option luck/bad option luck). Человек, на которого упал метеорит — жертва слепой неудачи (bad brute luck). Человек, внезапно получивший наследство от родственника, которого он никогда не видел и о существовании которого не знал, — выгодополучатель слепой удачи (good brute luck). Выигрыш в тотализаторе — это добровольная удача (good option luck), проигрыш — добровольная неудача (bad option luck). Другими словами, термин «добровольная удача» (или «добровольная неудача») относится к ситуациям, в которых человек свободно совершает выбор, подразумевающий влияние случайности, а «слепая удача» (или «слепая неудача») — к тем, в которых человек становится жертвой или выгодополучателем случайности не по своей воле³.

3. Термин «luck» не поддается однозначному переводу на русский язык. Это случайность, имеющая положительные или отрицательные свойства. Она может быть как «good», так и «bad». В русском аналогичного термина, могущего иметь как позитивный, так и негативный «заряд», не существует, что создает значительные трудности при переводе. В этой статье «good luck» переводится как «удача», а «bad luck» как неудача. Однако время от времени эгалитаристы удачи используют «luck» без уточнений, таким образом, что подразумеваться может как «good luck», так и «bad luck». В таких случаях в данной статье используется термин «удача». То есть, как это ни странно, иногда «удача» может

Эгалитаристы удачи не видят проблемы в тех ситуациях, когда неравенство между людьми возникает в результате свободного выбора. Неравенство проблематично тогда, когда оно является результатом слепых удач и неудач. В таких ситуациях оно представляет повод для компенсационного перераспределения благ от более удачливых к менее удачливым. К слепой удаче относятся очень многие из важных для человеческой жизни факторов. Например, социально-экономический статус семьи, в которой человек рождается; его пол при рождении; его этническая принадлежность; его телесные особенности — скажем, инвалидность или, наоборот, чрезвычайная телесная развитость. Более того, факторами слепой удачи являются также таланты и способности, заложенные в человеке с рождения. Рональд Дворкин пишет: «Хотя навыки и отличны от физических недостатков [handicaps], разницу между ними можно понимать как разницу степени: можно сказать, что человек, не умеющий играть в баскетбол, как Уилт Чемберлен, рисовать, как Пьеро делла Франческо, или делать деньги, как Гарольд Генин, страдает от особенно часто встречающегося физического недостатка» (Dworkin, 1981b: 314–315).

Таким образом, с точки зрения эгалитаристов удачи, последняя бывает действительно добровольной не так уж часто, а значит, не так уж часто возникают поводы отклоняться от равенства. Отсюда следует и то, что эгалитаризм удачи — это концепция, допускающая очень обширное и интенсивное перераспределение благ.

Тем не менее эгалитаристы удачи все-таки считают, что ситуации, в которых человек совершает выбор свободно и несет за него ответственность, возможны. Этот момент важен, ведь без него разделение на слепую и добровольную удачу было бы бессмысленным. В этом отношении эгалитаризм удачи отличается — по крайней мере на теоретическом уровне — от более традиционных эгалитарных теорий распределительной справедливости, не делающих различия между теми, кто оказывается в невыгодном положении исключительно из-за внешних обстоятельств, и теми, кто пришел к этому в результате добровольных решений (см., например: Ролз, 2010: 276–277). Так, например, для Ричарда Арнсона существенная мотивация при разработке его концепции заключалась в стремлении подчеркнуть особое значение ответственности при решении вопроса о равенстве: «Когда я впервые прочитал «Теорию справедливости», меня удивило то, что основная норма распределительной справедливости требовала максимизации дохода и других базовых ресурсов для группы, включающей в себя Альфредов Дулиттлов⁴ этого мира. <...> Что-то с этим не так» было моей изначальной реакцией. Эгалитаризм удачи пробует развить эту мысль» (Arneson, 2001: 142).

подразумевать как, собственно, удачу, так и неудачу. Такое использование несколько противоречит языковой интуиции, но, похоже, этот термин невозможно перевести без потерь. Автор допускает, что в будущем могут возникнуть более удачные варианты перевода.

4. Альфред Дулиттл — персонаж пьесы «Пигмалион» Бернарда Шоу. Арнсон описывает его следующим образом: «...мудрец из рабочего класса и самопровозглашенный представитель недостойных бедных, дармоед, пытающийся продать сексуальные услуги своей дочери Генри Хиггинсу, когда замечает, что тот проявляет к ней интерес...».

Если говорить о практических рецептах, то эгалитаристы удачи ратуют за перераспределение экономических ресурсов и благ с помощью налогообложения. Интенсивность этого перераспределения может быть разной — так, Дворкин, судя по всему, выступает за более-менее традиционное государство благосостояния (Дворкин, 1998), а Коэн — за социалистическую экономику (Коэн, 2020: 117). Несмотря на процитированные выше слова Арнсона, на уровне практической реализации своих идей эгалитаристы удачи, судя по всему, озабочены прежде всего не наказанием «недостойных бедных», а борьбой с неравенством в целом (см.: Arneson, 1997). Разумеется, это в значительной мере связано с тем, что индивидуальные расследования того, является ли конкретный случай примером слепой или добровольной удачливости, невозможны на практике.

Если не считать вопроса о выборе оптимальной экономической системы, разногласия между эгалитаристами удачи в основном касаются деталей, которые со стороны могут показаться исключительно теоретическими, а иногда таковыми и являются. Например, они не соглашаются в том, где именно проводить границу между выбором и обстоятельствами, или в том, в чем именно следует измерять справедливость. Однако для этой статьи важно не то, о чем эгалитаристы удачи спорят, а то, в чем они соглашаются, а именно разделение на добровольную и слепую удачу и проблематичность последней с точки зрения справедливости.

Моральная критика эгалитаризма удачи

Одним из главных критиков эгалитаризма удачи стала Элизабет Андерсон. Именно она изобрела этот термин, объединив с его помощью в одну группу Дворкина, Коэна, Арнсона и других в своем эссе «В чем смысл равенства?» (Anderson, 1999). По мнению Андерсон, эгалитаристы удачи неправильно понимают сущность равенства. Оно состоит не в предоставлении компенсаций неудачникам, а в поддержании демократического характера общества. Именно в этом состоит суть распределительной политики — она должна гарантировать для каждого гражданина возможность равного политического участия. Это подразумевает устранение недемократических иерархий, угнетения, бедности. Что касается вопросов распределительной справедливости, то они, по мнению Андерсон, важны лишь в такой мере, в которой затрагивают политическое равенство граждан. Андерсон называет такое видение демократическим равенством (*democratic equality*) и противопоставляет его эгалитаризму удачи. Здесь мы не будем рассматривать то, какая из этих двух концепций более привлекательна в целом, равно как и то, насколько они в действительности противоречат друг другу — это слишком фундаментальная задача. Скорее нас интересуют некоторые из возражений Андерсон⁵, с помощью которых она стремится показать, что эгалитаризм удачи противоречит важным для

5. Возражения, приводимые Андерсон, достаточно многочисленны. В этой статье разбираются лишь те, что стали предметом наиболее оживленных дискуссий и явно воспринимаются многими авторами в качестве наиболее серьезных.

нас интуициям. Эти возражения остаются примером наиболее яркой моральной критики эгалитаризма удачи.

Первое возражение Андерсон заключается в том, что эгалитаризм удачи излишне жесток в отношении тех, кто стал жертвой собственного неудачного выбора, жертвой добровольной неудачи. Она пишет: «Представьте незастрахованного водителя, который по неосторожности совершает запрещенный поворот, что приводит к аварии. Свидетели звонят в полицию, сообщая о том, кто виноват, полиция передает информацию медикам. Приехав на место происшествия и узнав, что виноватый водитель не застрахован, они оставляют его умирать на обочине» (Anderson, 1999: 295)⁶.

На это возражение можно ответить разными способами. К некоторым версиям эгалитаризма удачи оно просто не применимо. Например, оно не применимо к версии Дворкина, хотя, упоминая, что водитель не застрахован, Андерсон целит именно в него. Дворкин проводит мысленный эксперимент (Dworkin, 1981b), отчасти схожий с «исходным положением» Ролза. Он предлагает представить гипотетическую ситуацию, в которой люди: а) рациональны; б) знают о том, какими талантами, способностями и телесными недостатками обладают; в) знают о том, какова структура распределения благ в обществе; г) не знают, какое место в этой структуре позволят им занять их таланты и способности; д) обладают одинаковым количеством валюты; е) обладают возможностью приобрести страховку от непопадания на определенный уровень распределения. Механизм страховки важен для него, так как представляет собой «связь между слепой и добровольной удачей» (Dworkin, 1981b). Если людям доступна такого рода страховка, то, хотя сами увечья и способности остаются вопросом слепой удачи, уровень достатка их обладателей становится вопросом добровольной удачи, так как мы можем свободно выбрать покупку страховки или отказ от нее. Дворкин предполагает, что в таком гипотетическом мире люди захотят купить страховку в том числе и от случаев крайней нужды, описанной в примере Андерсон.

Применяя эту схему к реальности, мы должны представить, сколько бы заплатил гипотетический среднестатистический человек за страховку от слепой неудачи, а дальше использовать эту информацию в качестве ориентира уже при реальном распределении. Таким образом, то, что водитель из примера Андерсон, по факту не застрахован — это, согласно Дворкину, не важно. Он все же имеет право на государственную помощь. Ресурсы, потраченные на эту помощь, — это выплата по гипотетической страховке от ситуаций такого рода.

Другую стратегию ответа на обвинение в жестокости использует Кок-Чор Тан (Tan, 2012: 119–126). Он говорит, что существуют различные области (domains) справедливости, и эгалитаризм удачи относится лишь к одной из них, а именно к *распределительной справедливости*. Экстремальные случаи, вроде того, который приводит в пример Андерсон, относятся к области *базовых нужд*⁷. Соображения

6. См. также: Scheffler 2003: 18–19.

7. Схожую стратегию см. в: Markovits, 2006.

распределительной справедливости, согласно Тану, становятся важны лишь тогда, когда базовые нужды удовлетворены. Поясним это следующим образом. Базовое требование справедливости — это требование того, чтобы человек имел *достаточно* благ для достойной жизни. Только тогда, когда это требование удовлетворено, мы можем говорить о том, сколько благ (сверх отметки «достаточно») у него должно остаться, а сколько должно быть распределено в пользу других — это и есть распределительная справедливость. Эгалитаризм удачи дает нам правила, руководящие распределением, но не правила, руководящие удовлетворением базовых нужд. Да, он выглядит неубедительно в применении к случаю с водителем, но это так, потому что он и не должен применяться к случаям такого рода.

Второе возражение Андерсон заключается в том, что эгалитаризм удачи унижен для граждан. Сосредоточенность эгалитаристов удачи на том, чтобы разделить людей на достойных и недостойных компенсации, логически ведет к тому, что правительство будет вынуждено создать орган, который Андерсон с долей издевки называет Государственной Комиссией по Равенству. Этот орган будет исследовать индивидуальные случаи неудач, решая, к какой неудаче — слепой или добровольной — они относятся. Как мы видели, по мнению Андерсон, вердикты такой комиссии будут немилосердны к жертвам добровольной неудачи, ведь те сами виноваты в том, что с ними случилось. По отношению же к жертвам слепой неудачи они будут униженны. Андерсон представляет себе, как бы выглядели решения такой комиссии: «Глупым и бесталанным: К сожалению, другие люди не видят ценности в вашем вкладе в производство. Ваши таланты слишком незначительны, чтобы иметь существенную рыночную ценность. Поэтому <...> мы, продуктивные люди, возместим вам ущерб, поделившись с вами тем, что мы произвели, благодаря нашим <...> крайне ценным способностям» (Anderson, 1999: 305).

Действительно, Государственная Комиссия вряд ли может показаться хоть кому-нибудь привлекательным институтом. Однако лишь немногие из версий эгалитаризма удачи предполагают создание такого органа⁸. Теория Дворкина, к примеру, не ведет ни к чему подобному. Индивидуалистические принципы ответственности важны для Дворкина на гипотетическом уровне рассмотрения. При переходе на уровень практический идея страховки конвертируется в распределительные меры, не носящие индивидуальный характер, а распространяющиеся на всех граждан. Согласно Ричарду Арнсону, его версия эгалитаризма удачи ведет к практическим выводам, которые практически не отличаются от рекомендаций Дворкина (Arneson, 1989: 87). Тем более сложно заподозрить в симпатиях к Государственной Комиссии демократического социалиста Коэна. Насколько убедительно обвинение Андерсон без обращения к образу этого пугающего учреждения?

Как верно замечает Дэвид Марковиц (Markovits, 2006: 281–282), «талант», а значит, и «бесталанность» — это для эгалитаристов удачи исключительно техниче-

8. С определенными оговорками можно сказать, что что-то подобное предлагается в Roemer, 1993.

ский термин, не подразумевающий никакого ценностного суждения о человеке. Талант — это, в формулировке Марковица, «плата, которую другие готовы отдать за то, чтобы пользоваться этими навыками». В этом смысле «талантливость» человека может заключаться в навыках, которые для нас часто не кажутся ценными. Так, Пэрис Хилтон обладает талантом, потому что ее способность эпатировать СМИ имеет высокую рыночную ценность. Указание на бесталанность в таком смысле не несет оскорбления.

Для того чтобы воспринимать его в качестве оскорбительного, мы должны заранее считать, что талант — это нечто имеющее положительную моральную ценность. Если талантливость — это, как настаивают эгалитаристы удачи, вопрос стечения обстоятельств, то быть лишенным таланта — это не более стыдно, чем пострадать от наводнения или удара молнии, а получать из-за бесталанности поддержку от государства не более стыдно, чем получать любой тип социальных выплат, широко распространенных в большинстве западных стран.

Наконец, третье возражение состоит в том, что если эгалитаризм удачи верен, то работники, занимающиеся рискованной, но социально необходимой деятельностью, не заслуживают компенсации за несчастные случаи на работе или заслуживают ее в меньшей мере, чем те, кто работает на не столь опасных работах (Anderson, 1999: 286–287)⁹. Возьмем, например, пожарного, пострадавшего при взрыве газа в доме, в котором он тушил пожар. Сам взрыв был слепой неудачей, но решение стать пожарным, то есть человеком, по определению берущим на себя риски, — это добровольный выбор. Значит, пожарный либо не заслуживает компенсации вообще, либо заслуживает ее в меньшей степени, чем, скажем, житель дома, пострадавший от того же взрыва. То же касается и врачей, которые добровольно идут работать с больными во время эпидемии. Более того, эта аргументация применима практически к любым поступкам, включающим в себя возможность самопожертвования. Ведь в таких ситуациях человек, как правило, свободно жертвует своим здоровьем или жизнью. Выходит, что эти люди заслуживают помощи не в большей степени, чем, скажем, пострадавшие от собственного выбора любители экстремальных видов спорта. Это и правда чрезвычайно контринтуитивный вывод, и если эгалитаризм удачи его подразумевает, то это может быть поводом отказать от такой концепции распределительной справедливости.

На это возражение можно ответить, сказав, что врачи и пожарные необходимы обществу именно для того, чтобы бороться с последствиями слепых неудач, а значит, мы не должны относить их выбор профессии к области добровольных удач и неудач. Это неубедительный ответ. Возражение заключалось именно в том, что эгалитаристы удачи, согласно их собственной классификации, не могут считать выбор опасной профессии вопросом слепой удачи. На это нельзя ответить, просто постулировав обратное, — это решение *ad hoc*.

9. Заметьте, что уточнения, предложенные Кок-Чор Таном, делают менее острым и это возражение.

Однако это не значит, что эгалитаристы удачи загнаны в угол. Другой, гораздо более убедительный ответ представляют Тэйсен и Альбертсен (Thaysen, Albertsen, 2016). Они указывают на то, что между пострадавшим любителем экстремально-го спорта и врачом, заразившимся во время лечения больных, есть существенная разница. Для того чтобы объяснить ее, они используют понятие «неблагоприятная ситуация» (disadvantage), по сути, имея в виду под этим любой урон, нанесенный неудачей. Представим любителя горных лыж, сломавшего позвоночник на рискованном спуске. Если бы он не решил съехать с этого спуска, то никто бы не пострадал — лыжник «создал» неблагоприятную ситуацию своими действиями. Так ли обстоит дело в случае врача? Если бы он не отправился лечить больных, то не пострадал бы он лично, но пострадали бы другие люди — те, которые оказались бы без его помощи. То есть врач не создает неблагоприятную ситуацию — она уже и так присутствует в виде эпидемии — но лишь «перенаправляет» ее от других людей в свою сторону. Есть разница между неблагоприятной ситуацией, которую человек создает, и неблагоприятной ситуацией, которую человек перенаправляет на себя. Тэйсен и Альбертсен предлагают модифицировать эгалитаризм удачи с помощью следующего принципа: «Распределение справедливо, если и только если позиции людей в отношении друг друга отражают их ответственность за создание благоприятных и неблагоприятных ситуаций» (Thaysen, Albertsen, 2016: 15). При таком уточнении эгалитаризм удачи не ведет к контринтуитивным выводам о работниках, занятых в опасных профессиях.

Таким образом, на все приведенные возражения у эгалитаризма удачи есть ответы. Они, безусловно, не бесспорны, но тем не менее дают возможность выстроить своеобразный «защитный пояс» теории, позволяющий оборонять те положения, которые составляют ядро этой разновидности эгалитаризма. Удастся ли эгалитаристам удачи столь же убедительно справиться с другой линией критики?

Метафизическая критика эгалитаризма удачи

Эгалитаристы всегда утверждали, что социальное положение не должно влиять на степень участия человека в политической жизни. Левые философы и политики утверждали также, что эти вещи не должны влиять и на устройство экономической структуры, включая распределение благ. Эгалитаристы удачи идут гораздо дальше, утверждая, что не только «социальная удача», но даже результаты «генетической лотереи» не должны иметь существенного значения. Этот радикальный шаг меняет очень многое. Таланты и способности обычно считаются очень важной частью человеческой личности. Если даже они определяются удачей, то возникает вопрос: есть ли хоть что-то, что ею не определяется? Такой ход рассуждения логически ведет к жесткому детерминизму (hard determinism), то есть к представлению о том, что все происходящее в мире предопределено предшествующими событиями, или по крайней мере к очень схожему с ним взгляду. Проблема в том, что, согласно жесткому детерминизму, свободных поступков не существует. То

есть если мы принимаем жесткий детерминизм, то задача обнаружения источника свободного выбора нереализуема, а значит, стремление эгалитаристов удачи отделить случаи, требующие компенсации, от случаев, ее не требующих, бессмысленно. Эту линию критики можно назвать «метафизической» (ее примеры см. в: Fleurbaey, 1995; Smilansky, 1997, а также в: Scheffler, 2003).

Арнсон пытается ответить на этот вызов, перенеся акцент с возможности выбора на возможность контроля: «Я могу контролировать нечто в собственном смысле слова, даже если я не ответственен за его причины, причины его причин и далее вплоть до начала времен» (Arneson, 2004: 10). Это уязвимый ответ. Вопрос не только и не столько в том, ответственен ли я за причины события, а в том, насколько я ответственен за степень контроля, на которую способен. Коэн признает, что эгалитаризм удачи проблематичен с метафизической точки зрения, но считает, что это «не повод следовать за аргументом туда, куда он ведет» (Cohen, 1989: 934). Сложность здесь в том, что он потенциально ведет к «самоуничтожению» эгалитаризма удачи. Если поступков, о которых мы с уверенностью можем сказать, что они свободны, просто не существует, то весь пафос этого направления оказывается лишним — эгалитаристы удачи в таком случае должны стать сторонниками полного равенства, не делающего различия между добровольной и слепой удачей. Они также могут просто отказаться от идеи построения политической концепции на основе понятий выбора и ответственности, ведь, вообще говоря, теория распределительной справедливости вполне может существовать и без них. Яркий пример тому — теория Ролза¹⁰. Оба варианта означают, что они перестают быть эгалитаристами удачи.

Некоторые авторы считают, что выход из этой ситуации предоставляет компатибилизм (Dworkin, 2011: 219–255), то есть позиция, согласно которой свобода воли возможна даже в полностью детерминированном мире. Для эгалитаристов удачи она привлекательна тем, что позволяет им принять потенциально детерминистские последствия своих взглядов, при этом не отказываясь от понятий свободного выбора и ответственности. В рамках этой статьи невозможно подробно изложить все тонкости дискуссии о компатибилизме, но какое-то описание дать все же необходимо, поэтому остановимся на двух классических концепциях, принадлежащих Гарри Франкфурту (Frankfurt, 1969) и Питеру Стросону (Стросон, 2020).

В статье «Альтернативные возможности и моральная ответственность» Франкфурт утверждал, что наш обыденный взгляд на моральную ответственность ошибочен. Мы привыкли считать, что действие агента свободно тогда, когда у него есть возможность поступить иначе. Франкфурт не согласен с этим. К примеру, мы можем представить «А», который хочет убить «Б». Есть также «В», который хочет, чтобы «А» убил «Б», но не знает, хочет ли этого сам «А». «В» принимает меры для того, чтобы принудить «А» к убийству «Б» в том случае, если «А» не решится на него сам. В итоге «А» убивает «Б» самостоятельно, не осознавая, что на самом деле

10. См.: Ролз, 2010: 97–98, а также уже упомянутый во введении к этой статье отрывок на стр. 276–277.

у него не было выбора этого не делать, так как «В» был готов принудить его к этому. У «А» в этом примере не было возможности поступить иначе. Тем не менее можем ли мы сказать, что убийство было совершенно несвободно? Подобное заключение кажется контринтуитивным. Франкфурт предлагает использовать в качестве критерия свободы не наличие возможности поступить иначе, но наличие желания поступать именно так, как ты поступаешь. Этот критерий связан с внутренним миром агента, а не с окружающими его обстоятельствами.

Концепция Стросона отличается. В своей знаменитой работе «Свобода и обида» он утверждает, что мы просто не способны смотреть на себя как на объекты, как на элементы цепей причин и следствий. Детерминизм — это противоестественный взгляд на самих себя, который невозможно долго удерживать. Концепции свободы и ответственности, которые мы используем в нашей обыденной жизни, зависят не от метафизических соображений, а от наших «реактивных установок», то есть от возникающих в межличностных отношениях типов отклика на действия других людей. Детерминизм может быть верен, но он не способен изменить наше представление о том, что агенты, с которыми мы взаимодействуем, действуют свободно — оно слишком глубоко укоренено в нашей деятельности.

Вполне возможно, что компатибилизм действительно объясняет характер наших представлений о свободе и ответственности. Но достаточно ли этого для того, чтобы избавить эгалитаризм удачи от необходимости беспокоиться о метафизике? Навряд ли, ведь свобода и ответственность, о которых говорят Франкфурт и Стросон, — это не те же самые свобода и ответственность, которые важны для эгалитаризма удачи (Van der Deijl, 2013: 28). Что это значит? Тут нам может помочь обращение к разделению на атрибутивную ответственность (*responsibility as attributability*) и субстанциальную ответственность (*substantial responsibility*), введенному Томасом Скэнлоном (Scanlon, 1998: 248–249). Человек ответственен атрибутивно, когда мы готовы признать, что он стал причиной определенного события, а также обвинить его в этом или, наоборот, похвалить. Человек ответственен субстанциально, когда помимо этого мы также считаем, что его действие возлагает на него некие обязательства. Атрибутивная ответственность не всегда подразумевает субстанциальную. Возьмем, к примеру, действия, совершаемые детьми. Мы, безусловно, склонны приписывать детям атрибутивную ответственность за них, хваля и ругая. Но, например, если ребенок совершает правонарушение, то наказание за него не столь серьезно, как в случае правонарушений взрослых, а иногда и отсутствует вовсе. Мы готовы признать, что дети несут атрибутивную ответственность, но не готовы целиком возлагать на них ответственность субстанциальную. Мы не реагируем на их проступки безразлично, но не хотим наказывать их строго, предполагая, что их персональные качества и физические способности еще недостаточно развиты, а значит, у них меньше возможностей для совершения правильного действия. Компатибилизм объясняет то, как мы приписываем атрибутивную ответственность, но вряд ли говорит нам что-то о субстанциальной ответственности, а именно она важна в случае эгалитаризма удачи. Представляется справед-

ливым вывод, к которому приходит Марк Флербэй: «Даже если концепция компатибилизма может дать основания для морального одобрения и неодобрения, нет уверенности в том, может ли она обосновать разницу в благополучии и преимуществах между людьми» (Fleurbaey, 1982: 40).

Конечно, эгалитаристы удачи могут встать и на сторону метафизического либертарианства, то есть представления о том, что мир не детерминирован и свобода воли существует. Но в таком случае у них возникают сложности с тем, как, собственно, понять, когда поступок свободен, ведь в область слепой удачи записано столь многое. Можно было бы сказать, что критерием оценки должны быть прилагаемые человеком усилия. Эту позицию вряд ли можно назвать убедительной (см.: Lippert-Rasmussen, 2005). Во-первых, даже если мы принимаем ее, отделение талантов и способностей от усилий навряд ли возможно. Как правило, чем больше у человека склонности и способности к определенной деятельности, тем больше он готов тратить силы на то, чтобы в ней развиваться, тем быстрее совершенствуются его изначальные способности, тем больше он готов прилагать усилия в дальнейшем и так далее. Во-вторых, почему мы вообще должны соглашаться с тем, что усилие определяется свободным выбором? То, насколько человек способен к совершению усилия, зависит от способности проявлять волю, и нет никакой гарантии того, что эта способность не обусловлена в значительной мере врожденными качествами мозга или социальными обстоятельствами.

Кок-Чор Тан утверждает, что эгалитаризму удачи достаточно «рабочих и социально приемлемых стандартов того, что считается личным выбором, а что нет» (Tan, 2012: 93), а значит, нет нужды зарываться в метафизические вопросы. Проблема в том, что взгляды эгалитаристов удачи далеки от социально приемлемых. Конечно, большинство людей скорее всего согласятся с тем, что принадлежность человека к общественному классу, а также статус семьи, в которой он рождается, случайны. Однако, как уже было сказано, эгалитаристы удачи идут гораздо дальше, и нет никакой уверенности в том, что их взгляды на таланты и способности разделяет большая часть общества (Scheffler, 2003: 23). Количественное исследование убеждений «простых людей» (то есть не-философов), проведенное Гойа-Точетто, Эколзом и Райтом (Tocchetto, Echols, Wright, 2016), говорит в пользу того, что эгалитаризм удачи действительно во многом расходится с обыденными представлениями: «Хотя простые люди [folk] считают неравенства, порожденные исключительно социальной удачей, незаслуженными и нечестными, того же нельзя сказать о тех неравенствах, которые являются результатом природной удачи» (Goya-Tocchetto, Echols, Wright, 2016: 1125).

Само по себе такое расхождение теоретического и общественного ничего не доказывает. Возможно, эгалитаристы удачи правы, а участники опросов ошибаются. Однако если исследование Гойа-Точетто, Эколза и Райта репрезентативно, то это говорит о том, что предложенное Кок-Чор Таном решение не работает — эгалитаристы удачи не могут избавиться от метафизических проблем, положившись

на «социально приемлемые стандарты», так как эти стандарты противоречат важной для эгалитаристов удаче идее о незаслуженности генетических преимуществ.

Заключение

Эгалитаризм удачи появился как попытка создать эгалитарную концепцию справедливости на основе понятий выбора и ответственности, которые зачастую использовались для обратной цели, то есть для обоснования неравенства. Рональд Дворкин, Джеральд Коэн, Ричард Арнсон и другие авторы строили свои теории вокруг дихотомии слепой и добровольной удачи. Неравенство, порожаемое слепой удачей, — это для эгалитаристов удачи повод к перераспределительным мерам, а вот в неравенстве, причины которого лежат в добровольной удаче, они (при определенных условиях, см. вторую часть статьи) не видят ничего предосудительного с точки зрения справедливости.

Эгалитаризм удачи столкнулся с множеством вызовов. У ряда авторов есть к нему претензии морального характера — они утверждают, что он чересчур жесток к жертвам добровольной неудачи, унизителен для наименее преуспевающих и несправедлив к тем, кто рискует своим благополучием ради других. Как мы видели, у эгалитаризма удачи есть ответы на эти возражения. Их убедительность можно обсуждать, и споры в этой области далеки от завершения, но даже если эгалитаризм удачи здесь не побеждает, то однозначно держит удар.

Более серьезными для него представляются не эти возражения, а указание на метафизические последствия определенных его положений. Эгалитаристы удачи утверждают, что способности и таланты человека относятся к факторам слепой удачи, а значит, человек не может нести за них ответственность и не должен находиться из-за них в худшем, чем другие, положении. Это опасный путь — если даже эти, столь существенные аспекты личности определяются генетической и социальной удачей, то возникают сомнения в том, возможно ли вообще определить, что является свободным действием. Если же мы не можем осмысленно говорить о свободном выборе, а значит, и о добровольной удаче, то весь проект оказывается под угрозой — бессмысленно разделение на обоснованное и необоснованное неравенство, ведь любое неравенство в своем корне имеет слепую удачу. Эгалитаризм удачи в таком случае должен стать просто «строгим эгалитаризмом» (*straight egalitarianism*), вообще не признающим никакой разницы в уровнях жизни людей. Это противоречит его изначальному пафосу. Метафизическая критика явно оказывается более неудобной для эгалитаризма удачи, чем моральная. Здесь представителям этого направления не удастся занять столь же убедительные позиции. Вероятно, отчасти это связано с тем, что метафизической проблематике пока уделялось меньше внимания, чем моральной.

Возможно, эгалитаристам удачи удастся изобрести аргументы, дающие убедительный ответ на упомянутые метафизические вопросы. Но что если нет? Что если через некоторое количество лет точка зрения, согласно которой в рамках

эгалитаризма удачи такой ответ невозможен, станет консенсусной? В таком случае эгалитаризм удачи не сможет выступать в качестве самостоятельной, полноценной теории распределительной справедливости. Однако это не будет означать, что работа, проделанная в рамках этого направления, была бессмысленной. Аргументы эгалитаристов удачи, говорящие о несправедливости влияния слепой удачи на распределение, все равно будут актуальны в качестве инструментов критики. Критики, направленной прежде всего против тех теорий, которые подразумевают *laissez-faire* подход к распределению ресурсов. Яркие примеры такой теории — это либертарианство и классический либерализм, недостаток которых, если говорить с эгалитаристской точки зрения, выражается также в том, что «распределение находится под влиянием совершенно неподходящих факторов, столь произвольных с моральной точки зрения» (Ролз, 2010: 75). Эгалитаризм удачи, как справедливо заметил Коэн (Cohen, 1989: 933), успешно обыгрывает такие теории на их собственном поле, демонстрируя с помощью их ключевых понятий, что большая часть неравенства восходит к факторам, которые никто не выбирал.

Литература

- Дворкин Р. (1998). Либерализм // *Макеева Л. Б. (ред.). Современный либерализм / Пер. с англ. Л. Б. Макеевой. М.: Дом интеллектуальной книги, Прогресс-Традиция. С. 44–76.*
- Коэн Д. (2020). Совместимы ли свобода и равенство? / Пер. с англ. Д. С. Середы. М.: Свободное марксистское издательство.
- Миланович Б. (2017). Глобальное неравенство: новый подход для эпохи глобализации / Пер. с англ. Д. Е. Шестакова М.: Изд-во Ин-та Гайдара.
- Нагель Т. (2008). Моральная удача / Пер. с англ. А. З. Черняка // *Логос. Т. 64. № 1. С. 174–187.*
- Пикетти Т. (2016). Капитал в XXI веке / Пер. с англ. А. А. Дунаева. М.: Ad Marginem.
- Ролз Д. (2010). Теория справедливости / Пер. с англ. В. В. Целищева. М.: ЛКИ.
- Строссон П. (2020). Свобода и обида / Пер. англ. Е. В. Логинова // *Финиковый компот. № 15. С. 204–221.*
- Хайек Ф. Х. (2018). Конституция свободы / Пер. с англ. Б. С. Пинскера. М.: Новое издательство.
- Albersten A. (2016). Drinking in the Last Chance Saloon: Luck Egalitarianism, Alcohol Consumption, and the Organ Transplant Waiting List // *Medicine, Health Care and Philosophy. Vol. 19. P. 325–338.*
- Anderson E. (1999). What is the Point of Equality? // *Ethics. Vol. 109. № 2. P. 287–337.*
- Arneson R. (1989). Equality and Equal Opportunity for Welfare // *Philosophical Studies. Vol. 56. № 1. P. 77–93.*
- Arneson R. (1997). Egalitarianism and the Undeserving Poor // *Journal of Political Philosophy. Vol. 5. № 4. P. 327–350.*

- Arneson R.* (2004). Luck Egalitarianism Interpreted and Defended // *Philosophical Topics*. Vol. 32. P. 1–20.
- Arneson J.* (2001). Luck Egalitarianism — A Primer // Knight C., Stemplowska Z. (eds.). *Responsibility and Distributive Justice*. Oxford: Oxford University Press. P. 24–50.
- Atkinson A.* (2015). *Inequality: What Can Be Done?* Cambridge: Harvard University Press.
- Cohen G. A.* (1989). On The Currency of Egalitarian Justice // *Ethics*. Vol. 99. № 4. P. 906–944.
- Dworkin R.* (1981a). What is Equality. Part 1: Equality of Welfare // *Philosophy & Public Affairs*. Vol. 10. № 3. P. 185–246.
- Dworkin R.* (1981b). What is Equality. Part 2: Equality of Resources // *Philosophy & Public Affairs*. Vol. 10. № 4. P. 283–345.
- Dworkin R.* (2011). *Justice for Hedgehogs*. Cambridge: The Belknap Press.
- Fleurbaey M.* (1995). Equal Opportunity or Equal Social Outcome // *Economics and Philosophy*. Vol. 25. № 1. P. 25–55.
- Frankfurt H. G.* (1969). Alternate Possibilities and Moral Responsibility // *The Journal of Philosophy*. Vol. 66. № 23. P. 829–839.
- Goya-Tocchetto D., Echols M., Wright J.* (2016). The Lottery of Life and Moral Desert: An Empirical Investigation // *Philosophical Psychology*. Vol. 29. № 8. P. 1112–1127.
- Knight C.* (2009). *Luck Egalitarianism: Equality, Responsibility and Justice*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Knight C.* (2013). Luck Egalitarianism // *Philosophy Compass*. Vol. 8. № 10. P. 924–934.
- Markovits D.* (2006). Luck Egalitarianism and Political Solidarity // *Theoretical Inquiries in Law*. № 9. P. 271–308.
- Miller D.* (2017). Justice. URL: <https://plato.stanford.edu/entries/justice/> (дата доступа: 31.08.2020).
- Rakowski R.* (2003). *Equal Justice*. Oxford: Clarendon Press.
- Roemer J.* (1993). A Pragmatic Theory of Responsibility for Egalitarian Planner // *Philosophy and Public Affairs*. Vol. 22. № 2. P. 146–166.
- Rosen S. D.* (2016). Luck Egalitarianism as Providence. // *International Journal of Philosophy and Theology*. Vol. 78. № 3. P. 301–325.
- Scanlon T. M.* (1998). *What We Owe to Each Other*. Cambridge: Harvard University Press.
- Scheffler S.* (2003). What is Egalitarianism? // *Philosophy and Public Affairs*. Vol. 31. № 1. P. 5–39.
- Smilansky S.* (1997). Egalitarian Justice and the Importance of Free Will Problem // *Philosophia* Vol. 25. № 1–4. P. 153–160.
- Thaysen J. D., Albertsen A.* (2017). When Bad Things Happen to Good People: Luck Egalitarianism and Costly Rescues // *Politics, Philosophy and Economics*. Vol. 16. № 1. P. 93–112.
- Tan K.-C.* (2012). *Justice, Institutions and Luck*. Oxford: Oxford University Press.

Van der Deijl W. (2013). The Metaphysical Case Against Luck Egalitarianism // Erasmus Student Journal of Philosophy. Vol. 3. № 1. P. 22–30.

Luck Egalitarianism: Two Lines of Critique

Dmitry S. Sereda

Master of Political Science, Independent Researcher

Address: Proezd Berezovoy Roshtchy, 10, Moscow, Russian Federation 125252

E-mail: dsereda886@gmail.com

This article is devoted to the stream in political philosophy which came to be known as “luck egalitarianism”. Luck egalitarians are concerned with the questions of distributive justice; their main idea is that no person should be worse-off due to factors which they are unable to influence. Luck egalitarians express this idea via the dichotomy of brute and option luck. The goal of the article is to describe two main lines of critique which luck egalitarianism encounters, and to assess which one is the most dangerous for this movement. Some authors criticize luck egalitarianism from a moral standpoint. They believe that it is overly cruel towards those who suffer due to unfortunate but free choices, humiliating towards those whom it deems to be worthy of help, and that it contradicts our moral intuitions concerning the question of what do people who engage in socially necessary, yet risky professions, deserve. Another important problem for this trend of political thought has to do with metaphysical criticism. Luck egalitarians claim that a person is not responsible not only for the status of her family, her gender, ethnicity, etc., but also for her talents and abilities. The question arises; is there anything for what a person can be genuinely responsible for? Thus, luck egalitarianism encounters the problem of determinism and free will. This problem threatens the identity of luck egalitarianism: if free will does not exist or if it cannot be identified, then the key dichotomy of brute and option luck is meaningless. The article demonstrates that it is the criticism of the second kind which currently poses the greatest problem for luck egalitarianism.

Keywords: luck egalitarianism, theories of justice, political philosophy, distributive justice, Dworkin, luck, responsibility, free will

References

- Albersten A. (2016) Drinking in the Last Chance Saloon: Luck Egalitarianism, Alcohol Consumption, and the Organ Transplant Waiting List. *Medicine, Health Care and Philosophy*, vol. 19, pp. 325–338.
- Anderson E. (1999) What is the Point of Equality? *Ethics*, vol. 109, no 2, pp. 287–337.
- Arneson R. (1989) Equality and Equal Opportunity for Welfare. *Philosophical Studies*, vol. 56, no 1, pp. 77–93.
- Arneson R. (1997) Egalitarianism and the Undeserving Poor. *Journal of Political Philosophy*, vol. 5, no 4, pp. 327–350.
- Arneson R. (2004) Luck Egalitarianism Interpreted and Defended. *Philosophical Topics*, vol. 32, pp. 1–20.
- Arneson J. (2001) Luck Egalitarianism — A Primer. *Responsibility and Distributive Justice* (eds. C. Knight, Z. Stemplowska), Oxford: Oxford University Press, pp. 24–50.
- Atkinson A. (2015) *Inequality: What Can Be Done?*, Cambridge, London: Harvard University Press.
- Cohen G. A. (1989) On the Currency of Egalitarian Justice. *Ethics*, vol. 99, no 4, pp. 906–944.
- Cohen G. (2020) *Sovmestimy li svoboda i ravenstvo?* [Are Freedom and Equality Compatible?], Moscow: Svobodnoe marksistskoe izdatel'stvo.

- Dworkin R. (1981) What is Equality, Part 1: Equality of Welfare. *Philosophy & Public Affairs*, vol. 10, no 3, pp. 185–246.
- Dworkin R. (1981) What is Equality, Part 2: Equality of Resources *Philosophy & Public Affairs*, vol. 10, no 4, pp. 283–345.
- Dworkin R. (1998) Liberalizm [Liberalism]. *Sovremennyy liberalizm* [Contemporary Liberalism] (ed. L. Makeeva), Moscow: Dom intellektualnoy knigi, Progress-Traditsiya, pp. 44–76.
- Dworkin R. (2011) *Justice for Hedgehogs*, Cambridge: The Belknap Press.
- Fleurbaey M. (1995) Equal Opportunity or Equal Social Outcome. *Economics and Philosophy*, vol. 25, no 1, pp. 25–55.
- Frankfurt H. G. (1969) Alternate Possibilities and Moral Responsibility. *Journal of Philosophy*, vol. 66, no 23, pp. 829–839.
- Hayek F. H. (2018) *Konstituciya svobody* [The Constitution of Liberty], Moscow: Novoe izdatelstvo.
- Knight C. (2009) *Luck Egalitarianism: Equality, Responsibility and Justice*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Knight C. (2013) Luck Egalitarianism. *Philosophy Compass*, vol. 8, no 10, pp. 924–934.
- Markovits D. (2006) Luck Egalitarianism and Political Solidarity. *Theoretical Inquiries in Law*, no 9, pp. 271–308.
- Milanovich B. (2017) *Global'noe neravenstvo: novyj podhod dlja jepohi globalizacii* [Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization], Moscow: Gaidar Institute Press.
- Miller D. (2017) Justice. Available at: <https://plato.stanford.edu/entries/justice/> (accessed 31 August 2020).
- Nagel T. (2008) Moral'naya udacha [Moral Luck]. *Logos*, no 1, pp. 174–187.
- Piketti T. (2016) *Kapital v XXI veke* [Capital in the Twenty-First Century], Moscow: Ad Marginem.
- Rakowski R. (2003) *Equal Justice*, Oxford: Clarendon Press.
- Rawls J. (2010) *Teoriya spravedlivosti* [A Theory of Justice], Moscow: LKI.
- Roemer J. (1993) A Pragmatic Theory of Responsibility for Egalitarian Planner. *Philosophy and Public Affairs*, vol. 22, no 2, pp. 146–166.
- Rosen S. D. (2016) Luck Egalitarianism as Providence. *International Journal of Philosophy and Theology*, vol. 78, no 3, pp. 301–325.
- Scanlon T. M. (1998) *What We Owe to Each Other*, Cambridge: Harvard University Press.
- Scheffler S. (2003) What is Egalitarianism? *Philosophy and Public Affairs*, vol. 31, no 1, pp. 5–39.
- Smilansky S. (1997) Egalitarian Justice and the Importance of Free Will Problem. *Philosophia*, vol. 25, no 1–4, pp. 153–160.
- Strawson P. (2020) Svoboda i obida [Freedom and Resentment]. *Finikovy kompot*, no 15, pp. 204–221.
- Thaysen J. D., Albertsen A. (2017) When Bad Things Happen to Good People: Luck Egalitarianism and Costly Rescues. *Politics, Philosophy and Economics*, vol. 16, no 1, pp. 93–112.
- Tan K.-C. (2012) *Justice, Institutions and Luck*, Oxford: Oxford University Press.
- Goya-Tocchetto D., Echols M., Wright J. (2016) The Lottery of Life and Moral Desert: An Empirical Investigation. *Philosophical Psychology*, vol. 29, no 8, pp. 1112–1127.
- Van der Deijl W. (2013) The Metaphysical Case Against Luck Egalitarianism. *Erasmus Student Journal of Philosophy*, vol. 3, no 1, pp. 22–30.

Социология как наука о действительности: логическое основоположение системы социологии

Введение *

Ханс Фрайер

Олег Кильдюшов
(перевод)

Научный сотрудник, Центр фундаментальной социологии,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: kildyushov@mail.ru

Центр фундаментальной социологии НИУ ВШЭ и издательство «Владимир Даль» (Санкт-Петербург) приступают к работе по переводу и изданию ключевого труда известного немецкого философа и социолога Ханса Фрайера «Социология как наука о действительности: логическое основоположение системы социологии» (1930). В начале 1920-х Фрайер, ставший первым профессором собственно социологии в Германии, выпустил несколько важных трудов по широкому кругу проблем социальной науки и политической философии. Представляемое здесь «Введение» к первой чисто социологической работе этого мыслителя носит характер программного манифеста, в котором формулируются базовые принципы понимания социологии и ее предмета как общественного и исторического феномена. По мнению автора, эта научная дисциплина возникает в обществе, которое отделяется от государства; теперь вместо очевидного и устойчивого порядка приходит ненадежное, непредсказуемое и проблематичное для самого себя общество. Таким образом, одновременно со становлением социологии появляется ее объект: гетерогенное «общество», ставшее автономным от государства и резко расходящееся с ним с точки зрения принципов образования социальной жизни. При этом спецификой европейской социологии является ее укорененность не только в истории, но и непосредственная содержательная связь с предшествующей философской традицией. Это позволяет Фрайеру поставить вопрос о философском основании социологии как научной системы. Здесь же он формулирует задачу определить формы этой системы и очертить ее основные линии. Отдельный интерес с точки зрения истории науки представляет структурное и методологическое сопоставление европейской социологии с американской версией дисциплины.

Ключевые слова: социология, действительность, система, Европа, философские основания, американская социология, культура

* Перевод выполнен по изданию: *Freyer H. (1930). Soziologie als Wirklichkeitswissenschaft: Logische Grundlegung des Systems der Soziologie. Leipzig, Berlin: B. G. Teubner. S. 1–12.*

Публикация подготовлена в рамках исследовательского проекта Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ «Этика солидарности и биополитика карантина: теоретические проблемы культурно-политических трансформаций в эпоху пандемий», реализуемого в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2021 году.

Идеи, которые разрабатываются в этой книге, порождены стремлением дать системе социологии философское основание. У тех, кто сегодня серьезно занимается социологией, такое желание есть и должно быть. Это не бегство от фактов к принципам, не возвращение социологии к ее философской предыстории, не уклонение от острых вопросов времени. Это обязательство неизбежно возникает у социологии перед самой собой, если она хочет превратиться из интересного «способа рассмотрения» или возможной «точки зрения» в полноценную науку.

Несомненно, что для научной социологии существует угроза утратить контакт с общественной действительностью. Но этой опасности не избежать, произвольно обрывая дискуссии о философских основаниях социологии, о форме ее системы, ее месте в пространстве наук и делая сальто в так называемые факты. Самая далекая от жизни социология часто практикуется именно теми социологами, которые решительно проделали подобное сальто. Имеется социальное настоящее, которое не только таит в себе проблемы, но и само является проблемой. Кажется, что оно должно мобилизовать всю мощь нашей мысли. Даже если из круга задач социологии можно временно исключить вопрос о том, что будет, остается вопрос о том, что есть, и уже он-то может полностью занять целую армию социологов. При этом академическая социология в значительной степени удовлетворяется тем, что распределяет виды человеческих отношений по рубрикам, каталогизирует типы социального поведения, формулирует структурные законы «группы в целом». Нынешние явления оказываются более предпочтительными в качестве примеров по чисто техническим причинам, и только из-за того, что они непосредственно доступны нашему наблюдению. Ведь социология — это точная систематическая дисциплина. Она анализирует, измеряет, сравнивает; она ищет элементы социальных взаимоотношений и их закономерности. Смыслополагание здесь исключено. Внутренняя связь, которая раньше была у социологии с историей и даже *horribile dictu* с философией истории, вредит ее систематическому характеру и уводит в спекуляции, поэтому эту связь нужно радикально разорвать. Этот неизбирательный эмпиризм, который легкомысленно ориентируется на идеал других систематических наук и превращает социологию в каталог общественных явлений, вероятно, и есть ее наиболее далекий от жизни момент, какой только можно сконструировать. Один из главных тезисов этой книги состоит в том, что социология, забывая исторический характер своего предмета и гонясь за идеалом абстрактной систематики, не только отказывается от всякого жизненного смысла, но и прямо уничтожает свой предмет. Но это означает, что необходимо возобновить и продолжить философское размышление о самой социологии, ее предмете и форме мышления. При правильном подходе такое рассуждение отнюдь не уводит социологию от общественной действительности. Скорее, оно является предпосылкой для того, чтобы социология ясно видела эту действительность и точно схватывала ее.

Мечта о том, что социология сможет преодолеть кризис эпохи через понимание того, что политика однажды станет прикладной социологией, как техника стала прикладной физикой, возникла в момент зарождения этой дисциплины.

Даже если только скромная частичка этой мечты станет действительностью, то это станет возможно лишь путем конструирования социологии в качестве науки с собственным принципом и по собственным правилам. Невозможно научно овладеть общественным миром, называя все явления, несущие в себе признаки общественного, иностранными словами и аккуратно упорядочивая их по типам. Прежде всего потому, что так вы никогда не обнаружите точку, из которой этот мир можно привести в движение. Будет чистой наивностью, просто неприемлемой в науке, полагаться на то, что родство предметов и их очевидная реальная взаимосвязь уже гарантируют единство науки о них. Естествознание также не заключается в том, чтобы инвентаризировать и классифицировать все, что является «природой». И история не заключается в том, чтобы фиксировать и упорядочивать все культурно значимые события. Только когда мы подходим к объекту с осознанной познавательной волей и с характерной, проясненной для себя познавательной установкой, знание о нем становится наукой. Каждый раз перед наукой встает чисто кантовский вопрос: «как возможно» естествознание, история, социология? Что, конечно, вовсе не говорит о том, что на этот кантовский вопрос нужно давать и кантовский ответ. Само собой разумеется, что научная работа не должна ждать, пока научно-теоретическое размышление придет к своему завершению. Одна из самых восхитительных тем всей истории науки — анализировать то, как перетекают друг в друга практическое индивидуальное исследование и методологическая дискуссия, наивное творчество и осознание принципов. Замечательно, когда решительный человек делает открытие, не спрашивая, как оно «возможно», и доказывает прочность фундамента тем, что его здание стоит. Отдельный исследователь суверенен в своей постановке вопросов и в своей процедуре. Но для науки принципиальное самосознание основы, на которой она покоится, — это не роскошь или необязательное добавление, а интегрирующая часть ее ответственного действия, условие ее системы и условие ее жизнеспособности.

Конечно, никому не возбраняется жаловаться на то, что социология все еще не вышла за рамки основоположений. Это несомненный признак того, что социология еще не нашла своего места в системе наук, а только ищет его. Но непозволительно просто отвергать эти научно-теоретические дискуссии как особую разновидность немецкой раздвоенности или немецкой нерешительности. Очевидные причины, лежащие не только в истории социологии, но и — как будет показано — в нынешнем состоянии всей системы наук, обуславливают то, что определение места социологии по-прежнему является проблемой. Необходимо показать, что вопрос о том, чем может и должна быть социология, глубоко затрагивает вопрос о сущности, разделении и призвании современных наук вообще. Как по-своему правильно считал Конт, социология не просто «протискивается» в готовую систему наук как последнее ее звено, которого до сих пор не хватало. Но она изменяет эту систему в целом, она революционизирует ее, она прямо-таки создает новый тип науки. И только после того, как эти более глубокие изменения будут осмыслены с точки зрения всех последствий, можно будет определить задачу и системную

форму социологии. Этим положением с множеством предпосылок обусловлено то, что предыдущая история социологии в значительной мере является историей самой проблемы социологии. Мы считаем ее разрешимой, но, конечно, не отрицая или пытаясь взять нахрапом, а посредством ее проработки. Таким образом, мы не отклоняемся от темы, а, наоборот, приближаемся к ней, не тормозим ее изучение, а развиваем его, продолжая философское рассуждение о социологии и, если нужно, доходя до самых принципиальных вопросов: о системе наук вообще, об их отношении к действительности, об их призвании.

В этой ситуации не сильно помогают попытки прервать дискуссии о социологии с помощью лозунгов типа: «Давайте станем как американцы! Мы уже примерно представляем, что такое общественная жизнь, так что ничто не мешает нам исследовать эти разнообразные и к тому же крайне интересные явления по всем правилам искусства. Только больше фактов, больше анкет, больше командной работы, и тогда быстро получим то, что нужно знать и что можно применять».

Подобные призывы обычно лишены всякого понимания особой познавательной задачи социологии и ее связи с общественной действительностью, образующей ее объект. В трогательном благоговении перед всем, что движется по конвейеру, путают социологическое познание с автомобилем. Конечно, по весьма веским причинам можно считать, что американские автомобили в настоящее время лучше наших, и отсюда выдвигать непосредственные требования к нашему производству. Но социология — это научное самосознание общественной действительности. Кроме того, с точки зрения состояния ее проблем и внутренней формы ее мышления она неизбежно определяется своей историей. По этим двум причинам для нашей социологии невозможно просто перенять в качестве нормы собственного развития конструктивные модели и способы производства, которые были сформированы в других местах и зарекомендовали себя там. Она ничего не выиграет, а только проиграет, если станет игнорировать условия своего существования и своей сущности и попытается принять чужой облик.

Разумеется, у немецкой социологии есть не только теоретический интерес к основательному ознакомлению с разносторонней, хорошо организованной, открытой для всех нынешних проблем социологией американцев; но она также может надеяться получить для себя значительную выгоду от духовного обмена и полемики с ней. Заслуга Андреаса Вальтера в том, что в поучительной, убедительно написанной книге¹ он дал немецким социологам обзор того, что свойственно сегодняшней американской социологии, чем она отличается от нашей и в чем она может быть для нас примером. Сотрудничество социологии с другими социальными науками, облегченное более удачной организацией факультетов, особенно тесные связи с социальной психологией, склонность и способность к «case studies», стремление к социологическому образованию социальных чиновников, богосло-

1. Х. Фрайер имеет в виду книгу, написанную А. Вальтером после поездки в США, во время которой тот изучал эмпирическую социологию Чикагской школы: *Walther A. (1927). Soziologie und Sozialwissenschaften in Amerika und ihre Bedeutung für die Pädagogik. Karlsruhe: G. Braun. — Прим. перев.*

вов и педагогов, вообще к «социализации профессий» — все это многообещающие тенденции и стимулы, к которым немецкие университеты должны отнестись с максимальным вниманием².

Даже для А. Вальтера американская социология сегодня является «наиболее консолидированным проявлением нашей науки». Даже для него она единственная — что достойно похвалы — преодолела стадию методологических дискуссий и приступила к подлинной работе. Но именно потому, что Вальтер настоящий знаток этих вещей, он совершенно ясно видит, что «американская социология является органическим продуктом определенной культуры и потому не может просто переноситься в другую культуру».

Если социология, как мы говорили ранее, представляет собой научное самознание общественной действительности, то она очевидно в совсем ином смысле и гораздо более тесно, чем другие духовные произведения, связана с культурой, к которой принадлежит. Она не просто — как любое научное достижение или произведение искусства — молча и бессознательно, физиогномически, несет в себе дух своей культуры. Ее понятия, вплоть до последнего, помимо прочего, нацелены на действительность определенного общественного порядка и должны быть таковы; ее категории и методы вырастают из реальных проблем определенного социального порядка на определенном этапе его развития, они и должны вырастать из них. Если наша социология энергично приступит к систематическому изучению нынешнего общества, в чем американская может служить нам формальным примером, то ей нужно быть готовой к тому, что «отвес», которым она тестирует свою действительность, будет на весьма значительный угол отклоняться от «отвеса» на других меридианах.

Хотя социальная структура Америки, конечно, не просто менее сложная, чем в европейских государствах, в ней к тому же отсутствуют некоторые элементы, которые здесь являются неизбежными. Даже социологически имеет значение, что в стране нет базальта и обветшалых замков. И есть другие, гораздо более осязаемые проблемы — вопросы иммиграции, расы, ассимиляции — которые оказываются в общей структуре прямо на месте исторически обусловленных и сложных европейских членений. Социологические понятия «класс», «пролетариат», «ремесло», «чиновничество» и даже «большой город», «крестьянство», «государство», применяемые и здесь, и там, несут сильно разнящиеся нюансы смыслов. Вернее, это вообще не та же самая система понятий, которая могла бы применяться здесь и там, просто давая в каждом случае иные содержательные результаты. Любая социология, серьезно подходящая к своей задаче быть конкретной наукой об общественной действительности, должна с самого начала осознавать, что ее понятия

2. Многие немецкие ученые, понимавшие социологию прежде всего как гуманитарную науку, скептически восприняли продвигаемые в книге Вальтера эмпирические методы американских коллег. Среди редких исключений — Фердинанд Тённис, поддержавший новые подходы. См.: *Waßner R.* (1988). *Andreas Walther und seine Stadtsoziologie zwischen 1927 und 1935 // Waßner R.* (Hrsg.). *Wege zum Sozialen: 90 Jahre Soziologie in Hamburg.* Opladen: Leske und Budrich. S. 69–84. — *Прим. перев.*

должны быть написаны на теле этой действительности, то есть быть исторически насыщенными. Даже ее абстрактнейшие категории должны быть хотя бы минимально исторически насыщенны. Общее устройство ее системы должно определяться этим требованием. Было бы несложно объяснить некоторые характерные особенности американских систем социологии, например, уход на второй план социальных образований по сравнению с социальными способами поведения и формами действия, и, наоборот, центральное положение таких понятий, как «настроение», «роль», «ситуация», «behavior-pattern» и т. д., сущностными чертами той социальной действительности, к которой эти понятия относятся. Эта действительность на самом деле в гораздо большей мере состоит из социальных установок, чем из социальных образований. Социология обязана сделать, таким образом, всю свою систему, вплоть до фундамента, адекватной внутреннему строению социальной действительности. Только так она может постигать, истолковывать, становиться жизненно значимой. Однако понимание того, что социология является «органическим продуктом определенной культуры и потому не может просто переноситься в другую культуру», еще только предстоит подтвердить посредством данных размышлений.

Проще привести доказательство того, что европейская социология в силу своей истории принуждается к совершенно определенным постановкам проблем, к совершенно определенным формам мышления; что она должна осознанно придерживаться этой траектории и только в ущерб себе может поменять ее на другую. Даже опираясь на это научно-историческое сознание, ни в коем случае нельзя отрицать, что отдельные достижения, которые первой осуществила американская социология, могут стать стимулом и образцом для подражания. Это лишь докажет, что европейская социология в силу своего исторического происхождения должна управлять собственным научным достоянием, исходя из собственных норм.

Американская социология, которая в лучшем случае восходит к 70-м годам XIX века, изначально находится под сильным влиянием Герберта Спенсера. Первые десятилетия ее развития — это история ее освобождения от Спенсера: от его метафизических идей, историко-философских построений, этнологических наклонностей, от его взгляда на общество как организм, а также от его либерализма. В полемике со Спенсером Уорд, Гиддингс и Смолл разработали эмпирический, направленный на настоящее, не биологически, а психологически ориентированный, активистский тип самостоятельной американской социологии.

Для европейской же социологии Спенсер — это эпигон; это завершение и почти отголосок первого периода, когда социология оторвалась от философских движений самого различного рода и превратилась в самостоятельную науку. Уже в этот первый период европейская социология постигает свою задачу совершенно ясно и, несмотря на многообразие формулировок, очень единообразно. Она строится как наука о классовом обществе высокого капитализма, как наука о структуре, происхождении, законах движения и тенденциях развития этого общественного порядка европейского настоящего. Философские противоречия между системами,

различия между естественнонаучной и гуманитарно-исторической социологией, между позитивистским и метафизическим подходами к познанию почти исчезают перед лицом этого единодушия по отношению к предмету. При этом все системы первой половины и середины века как во Франции, так и в Германии отчетливо осознают то, что общественный порядок, составляющий их конкретный объект, является совершенно новым фактом в истории человечества. Социология знает, что, появившись поздно, она не запаздывает; как было бы, если бы ее предмет давно существовал, но только до сих пор ускользал от внимания науки. Она знает, что возникает одновременно со своим объектом, а тот — одновременно с ней. По мере того, как в исторической действительности набирают силу общественные движения, независимые от государства и автономные относительно его развития, в царстве наук как бы созревает социологическое мышление. Это духовный коррелят буржуазных революций. Таким образом, соотношение общественного движения и государственного порядка собственно и есть основная тема классических систем европейской социологии. Государство — общество, это противопоставление вовсе не является лишь отзвуком гегелевской систематики. Оно обозначает духовное происхождение и неотъемлемую исходную проблему нашего социологического мышления.

Из этих исторических взаимосвязей сразу следуют известные трудности, в контексте которых должна была развиваться социология в Европе и в контексте которых она пребывает до настоящего времени. В то время как американская социология — в высшей степени колониальная — могла строиться как бы на пустом месте, без существенной философской предыстории, наша должна была выделять свою проблему из плотного сплетения наложенных друг на друга философских и научных постановок вопросов. Отсюда возникло то положение, которое часто (не совсем верно) описывалось следующим образом: социология как поздний ребенок должна «протискиваться» в сложившуюся систему наук; она должна смотреть, где еще можно найти предметы для ее исследовательского рвения, и потому всегда встречает обоснованные сомнения в том, существуют ли такие предметы вообще. Позже нужно будет показать, что это описание не точно характеризует существующее положение, а сильно упрощает его. Но уже сейчас получается вот что: постановка проблемы, вместе с которой возникает европейская социология, тем не менее самым сложным образом переплетается с постановкой проблем в других, более старых науках: науке о государстве, юриспруденции, экономической науке, истории, наконец во всех науках о культуре вообще. Предмет социологии — определенный общественный порядок, его становление, структура и тенденции развития — как бы перпендикулярен тому направлению, в котором обычно мыслится классификация гуманитарных наук. То, что она с самого начала должна заниматься особенно глубокими принципиальными вопросами, понятно и так.

Однако сложные исторические условия, в которых выросла европейская социология, теперь действительно обозначают не только бремя трудностей, но и приданое в виде содержания проблем и подходов к решению. Гегелевская диалектика

и позитивистская философия истории — две самые грандиозные идейные конструкции, с помощью которых до сих пор осмыслялся исторический мир — стоят у истоков европейской социологии, входят в ее первые системы и неотделимы от ее истории. Конечно, именно социология в своем дальнейшем развитии способствовала тому, что схематизм гегелевской системы и закона трех стадий Тюрго был сломлен или преодолен. Безусловно, в еще большей мере стоит задача очищения науки о структуре и законах движения общества от догматической метафизики, от несостоятельной спекуляции, от смутной веры в прогресс. Но если бы мы решили пожертвовать философским духом, вставшим на пути нашей социологии как обычное препятствие, и вместо него стали заклинать социологию, которая никогда не чувствовала и намека на этот дух, мы бы действительно продали наше первородство за чечевичную похлебку.

Ведь историко-философская масса идей, из которых возникает европейская социология, вовсе не оттеснила ее от собственного призвания — эмпирического исследования общественных состояний. Но она сформулировала ее задачу, поставила ее тему, сформировала ее предмет. Это общая мысль всех классических систем европейской социологии: нынешний общественный порядок — это историческая категория, он есть звено в цепи общественных образований, он содержит в себе усиливающиеся противоречия, а с точки зрения философии истории он есть отрицание, антитезис, который можно и нужно снять. Несмотря на различие формулировок и обоснований, это верно как для Сен-Симона и Конта, так и для Лоренца фон Штейна и Карла Маркса. В этом понимании и оценке нынешнего общества кроется вся великая динамика гегелевской философии истории, ее дальнейшее развитие в младогегельянском смысле, а с другой стороны — смелый рационализм позитивистского мышления об истории. Мы бы вернулись на 150 лет назад, если бы стали снова рассматривать буржуазный общественный порядок нашей культуры и эпохи как своего рода естественный порядок, а его частные феномены, не спрашивая об их историческом смысле, рассматривать как законы природы.

«Общество», познание которого европейская социология принимает как свое призвание, есть историческая величина, это поле уникальных необратимых движений и резких исторических решений. Говоря по-гегелевски: это «ступень» объективного духа. Говоря по сен-симонистски: это «критическая», а не «позитивная» эпоха в истории человечества. Это не означает ни того, что какая-либо конкретная философия истории должна сохраняться навсегда в качестве основания нашей социологии, ни того, что социология, получившая свои важнейшие стимулы от философии истории, должна навсегда оставаться связанной с ней. О том, как ее следует отделять от исторической науки и философии истории, нужно будет сказать более подробно. Но большая разница, сохранять ли богатое историческое содержание и философскую глубину, которым наша социология обязана своей родословной, или выбросить за борт как неудобное обременение. Ранние системы европейской социологии становятся ценными образцами для наших систем не из-за того, что они философски дедуцируют или философски переодевают свое

понятие общества, а скорее из-за того, что они с ответственной волей к познанию постигают действительность как свершающуюся историю. Их социология просто более притязательна, логически гораздо более ценна, а именно более конкретна, чем то, что сегодня представляется большинству желательным типом логически чистой социологии. Их социология не погибла, как иногда утверждается, вместе с крахом гегелевской системы или вместе с преодолением позитивизма, как и не была опровергнута Генрихом фон Трейчке. Конечно, ни один вопрос научной теории не может решаться ссылкой на исторические авторитеты. Сделать это может только систематическое размышление о сущности общественной действительности, о возможности ее познания и о положении социологии в системе наук. Так что только она сможет ответить и на вопрос, что в истории социологии является преодоленным этапом, что — тупиком, а что — энергичным подходом; где мы должны просто продолжать, а где — развивать глубже.

В качестве направляющей идеи (или, если угодно, в качестве постулата) за нашими научно-теоретическими соображениями стоит тезис: социология есть систематическая дисциплина в строгом смысле слова; существует система социологии. Опираясь на осмысление предметной структуры общественных фактов и логического своеобразия социологического познания, можно будет определить особую форму этой системы; и далее будет предпринята попытка прочертить ее основные линии.

Выдвигая тезис о системном характере социологии, мы в нашей книге (опять-таки с полным осознанием) противопоставляем наши идеи некоторым нынешним концепциям и направлениям социологии; в частности, тем, что хотят «возвысить» социологию до универсальной и специфически современной точки зрения, до главной точки зрения, до последней инстанции интерпретации, до критики всех остальных наук и способов мышления, то есть на самом деле лишить ее яркости. Одна из угроз для сегодняшней социологии, особенно в Германии, заключается в том, что она становится самой рассудительной, верой неверующих, нигилистической позицией. Превозносить ее как замену для утративших веру в философию так же ошибочно, как было ошибочно превозносить философию как замену для утративших религиозную веру. Против этих явно обусловленных временем стремлений мы выдвигаем тезис: социология есть наука о четко определенном и ограниченном объекте: общественной действительности, и она есть система в самом строгом смысле слова. Задачу помещения общественной действительности настоящего времени в научное сознание — если таковая будет признана центральной задачей социологии — следует обосновать как необходимое звено самой этой системы.

Sociology as a Science of Reality: A Logical Foundation for the System of Sociology

Hans Freyer

Oleg Kildyushov (translator)

Research Fellow, Centre for Fundamental Sociology, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: kildyushov@mail.ru

The Centre for Fundamental Sociology (HSE University, Moscow) and Vladimir Dal Publishing House (St. Petersburg) have initiated the Russian translation and publication of *Sociology as a Science of Reality: A Logical Foundation for the System of Sociology* (1930), a key work of the famous German philosopher and sociologist, Hans Freyer. In the early 1920s, Freyer, who became the first full professor of sociology in Germany, published several seminal works covering a wide range of topics in social science and political philosophy. The Introduction to the thinker's first work on sociology in its proper meaning, published here, has the characteristics of a program manifesto outlining the basic principles for comprehending the discipline and its subject matter as a social and historical phenomenon. Freyer argues that sociology as a scholarly discipline emerges in a society that is being detached from the state; now, instead of an obvious and stable order, an insecure, precarious and unpredictable society arises, becoming a problem for itself. Consequently, alongside the formation of sociology, its object emerges; it is a heterogeneous "society" that has gained autonomy from the state while sharply divergent from that same society regarding the principles of the organization of social life. Meanwhile, the distinctive feature of European sociology is not simply its embeddedness in history, but its immediate substantial connection with the preceding philosophical tradition. This enables Freyer to raise the question of the philosophical basis of sociology as a scientific system. He also formulates the task of defining the forms of this system and outlining its primary lines. The structural and methodological comparison between the European sociology version and the American version of the discipline is particularly interesting from the perspective of the academic history.

Keywords: sociology, reality, system, Europe, philosophical foundations, American sociology, culture

Философская травелогия как метод культурно-политических исследований*

КАРА-МУРЗА А. А. (2019) ИТАЛЬЯНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПЕТРА ЧААДАЕВА (1824–1825). М.: АКВИЛОН. 112 С. ISBN 978-5-906578-49-5

КАРА-МУРЗА А. А. (2020). СОРПЕНТО ВЛАДИМИРА СОЛОВЬЕВА (1876). М.: АКВИЛОН. 80 С. ISBN 978-5-906578-62-4

Ольга Жукова

Доктор философских наук, профессор, Школа философии и культурологии, факультет гуманитарных наук, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: logoscultura@yandex.ru

Настоящая статья посвящена новым книгам российского философа и политолога Алексея Кара-Мурзы. Автор многочисленных работ по философии российской истории и культуры, русской общественной мысли, он успешно работает в оригинальных жанрах философской травелогии и философского краеведения. В течение многих лет предметом научного интереса Алексея Кара-Мурзы выступают русско-европейские, русско-итальянские культурные взаимодействия. В новых монографиях исследуются политические обстоятельства, а также ключевые биографические сюжеты путешествий в Италию выдающихся русских мыслителей Петра Чаадаева (1824–1825) и Владимира Соловьева (1876). По мнению Алексея Кара-Мурзы, эти поездки во многом определили интеллектуальную идентичность русских авторов, духовный и философский горизонт их творчества. Кара-Мурза последовательно развивает значимый тезис об интеллектуальных взаимосвязях между Европой и Россией. Он интерпретирует диалог культур как историю творчества, а путешествие как особый способ философской рецепции культуры и творческой самоидентификации. В статье осуществляется критический анализ культурно-политических исследований в жанре философской травелогии Кара-Мурзы и разрабатываемого им метода, с помощью которого философ производит реконструкцию интеллектуального опыта русских мыслителей в контексте истории русской и европейской культуры.

Ключевые слова: философская травелогия, культурно-политические исследования, русская мысль, личность, философия истории и культуры, культурный миф, реконструкция

В 2019 и 2020 годах в издательстве «Аквилон» вышли две новых монографии российского философа, историка и политолога Алексея Алексеевича Кара-Мурзы, посвященные итальянским путешествиям Петра Чаадаева (1824–1825) (Кара-Мурза, 2019б) и Владимира Соловьева (1876) (Кара-Мурза, 2020б). Книги приурочены

* Статья подготовлена в ходе проведения исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

к памятным датам и, по замыслу автора, должны пополнить корпус современных исследований, в задачу которых входит разработка новых теоретических подходов к изучению творчества философов, оказавших огромное влияние на интеллектуальное и моральное самочувствие русского общества, на способ его понимания самого себя. Между путешествиями, о которых идет речь, более чем полвека. Это время — от восстания декабристов до разгара террористической охоты на Царя-освободителя — было исторически судьбоносным и определяющим для жизни Империи.

Для философа А. А. Кара-Мурзы, чьи работы на эту тему хорошо известны, обращение к данному периоду жизни русского общества и к событиям жизни выдающихся представителей отечественной интеллектуальной культуры — создателей историософских концепций, задающих метафизическую перспективу национальной истории, кажется объяснимым. Однако выбор сюжетов, связанных с путешествиями, демонстрирует необычный с точки зрения устоявшихся исследовательских подходов и практик ход. Алексей Кара-Мурза предлагает нам авторский опыт философской травелогии, дополняющий и обновляющий традиционные методы философско-исторических и культурно-политических исследований. Целью Кара-Мурзы является реинтерпретация интеллектуального наследия рассматриваемых философов, которая становится возможной благодаря детально документированному воссозданию обстоятельств путешествия, их логистического, топографического, эстетико-культурологического и собственно идейно-философского и политического сценария.

Начало работы в жанре философской травелогии было положено книгой А. А. Кара-Мурзы о швейцарском путешествии Николая Карамзина, вышедшей в год 250-летия со дня рождения главного русского историографа (Кара-Мурза, 2016г). На мой взгляд, эта оригинальная трансформация жанра травелога, который становится событийно-конструктивной основой для философского анализа идей, возникших под влиянием путешествия или во время его совершения, открывает новые возможности для философско-культурологических исследований. В рамках реконструкции событий путешествий русских мыслителей данный подход позволяет выдвинуть интересные и продуктивные соображения и гипотезы, уточняющие или даже изменяющие наши представления о характере творческого процесса и существе формулируемых философами концепций.

В анализе сочинений Кара-Мурзы, их жанрового своеобразия и применяемых исследовательских подходов я коснусь двух важных и, на мой взгляд, репрезентативных для текущего философского процесса моментов: с одной стороны, ситуации в философско-исторической области знания, с другой — способов авторской работы с наследием русской мысли в опоре на имеющуюся исследовательскую традицию и современные практики изучения русской культуры и истории.

Философия российской истории и культуры: современный дискурс

Важно отметить, что российский философский ландшафт продолжает видоизменяться на наших глазах. Эти изменения, как мне представляется, активно затрагивают области философско-исторического и культурфилософского знания, долгое время находившиеся под идеологическим контролем, и для которых «истмат» определял и теоретическое основание, и методологический инструментарий научного поиска. Ревизия советского философского наследия, осуществляемая отечественными и зарубежными авторами в последние три десятилетия, показала, что в идеологической борьбе наиболее пострадали русские исследования, включая собственно историю отечественной мысли, из которой были вымараны и отправлены под запрет целые пласты духовно-интеллектуального наследия¹. Связанные с историей русской мысли философия российской истории и философия русской культуры и вовсе оставались маргинализованными, находясь «под спудом» партийных политико-исторических схем².

Очевидно, за последние 30 лет произошли серьезные трансформации социогуманитарного знания в России. По этому поводу мне неоднократно приходилось принимать участие в дискуссиях и говорить о смене эпистемологических парадигм в российской философии (Жукова, 2012: 140–145, 2019: 22–23). Этот процесс отчетливо прослеживается в исследованиях по философии российской истории и русской культуры. По отмеченным выше причинам можно было бы ожидать высокую заинтересованность ученых в восстановлении преемственности российской интеллектуальной традиции, но говорить о сложении школ пока, видимо, рано. Они находятся в стадии кристаллизации научных направлений и в большей степени, с моей точки зрения, представлены достижениями отдельных исследователей. К таким флагманским направлениям я могу отнести опыт Кара-Мурзы. Текущий анализ состояния философии в России в ее различных институциональных формах показывает, что отечественные ученые, работающие в рамках русских исследований в Институте философии РАН, в университетах и научных центрах, тяготеют к многообразию тем и жанров философского дискурса, при этом их общей

1. Для реабилитации наследия отечественных мыслителей, помимо публикаций их сочинений, большое значение имела исследовательская серия «Философия России первой половины XX века» (гл. редактор Б. И. Пружинин). Репрезентативной работой, демонстрирующей взгляд зарубежных исследователей на русскую философскую традицию и ее развитие в постсоветской России, является книга Алиссы ДеБласио «Конец русской философии. Традиция и смена вех на пороге XXI века» (см.: DeBlasio, 2014).

2. Об этом в своем обстоятельном очерке, предворяющем первую постсоветскую антологию философии российской истории, писали Л. И. Новикова и И. Н. Сиземская. Ссылаясь на «Философскую энциклопедию», они привели исчерпывающее по своему идеологическому наполнению определение философии истории. Уместно его процитировать, чтобы понять эпистемологическую ситуацию в данной предметной области знания, которую российская философия преодолела за четверть века: «В системе современной марксистской философии философия истории не образует самостоятельной отрасли. Соответствующая проблематика разрабатывается преимущественно в рамках исторического материализма, который в известном смысле и есть марксистская философия истории» (см.: Новикова, Сиземская, 1996: 3).

задачей остается поиск адекватного языка описания для русской проблематики. Сохраняется понимание, что концептуальных и методологических средств для реконструкции наследия, создания критической истории русской мысли не хватает (Смит, 2013: 168–178).

Проделана огромная архивная и текстологическая работа по возвращению русской общественной и религиозной мысли в интеллектуальное пространство современной России (корпуса основных философских работ, публицистики, эпистолярного и мемориального наследия авторов XIX — первой половины XX века), однако подобрать «ключ» к жанровому многообразию текстов русской мысли с учетом ее ярко выраженного литературно-художественного, политико-публицистического и религиозного дискурсов по-прежнему непросто.

Не меньшую сложность представляют собой драматические, «травматизирующие» сюжеты собственной истории, требующие «расшивки» как политико-идеологических и экзистенциальных узлов общественной жизни, так и персональной судьбы участника событий. В эту работу, призванную выявить философские основания национально-исторического бытия, в начале 1990-х включились ряд российских авторов, и среди них Алексей Кара-Мурза, как один из ключевых ее участников. По актуальным вопросам социально-культурной и политической идентичности России, выбору пути ее исторического развития была открыта дискуссия, где российский исследователь занял позицию критического пересмотра существующих теорий исторического процесса и вплотную подошел к формулированию концепции цивилизационного развития, понимаемую им как проблема преодоления внутреннего варварства (см.: Ахиезер и др., 1993: 3–39; Панарин и др., 1994: 3–26).

За эти более чем четверть века работы Алексея Кара-Мурзы, демонстрировавшие запрос на обновление концептуальных положений и теоретических подходов к изучению политической и культурной истории России, составили фонд новой философской классики, определяя тематическое и проблемное поле исследований в широком спектре изучения российской либеральной традиции, истории общественной и религиозной мысли, интеллектуальной и культурной истории России и Европы (Кара-Мурза, 1995, 1999, 2018a).

Способ обсуждения и решения научных задач в рамках методологической перенастройки философско-исторического и культурфилософского знания, который предлагает Кара-Мурза, в целом отвечает общему процессу интернационализации российской философии с ее активным стремлением к диалогу с зарубежными школами и направлениями, к освоению актуальных исследовательских практик вне догматизирующей эпистемы социально-исторического знания. Обогащение философии истории подходами, разрабатываемыми в *intellectual history*, *memory studies*, *cultural studies* на стыке *political science*, позволяют российскому исследователю расширить объем и содержание устоявшихся философских понятий культуры, свободы, общества, социального порядка, личности, творчества, культурно-цивилизационной идентичности, произвести их авторскую концептуали-

зацию в процессе доказательства выдвигаемых гипотез (см.: Кара-Мурза, Жукова, 2011; Кара-Мурза, 2012).

Если посмотреть ретроспективно на творчество Кара-Мурзы, то настоящие подходы стали проявлять себя уже в работах, написанных в жанре интеллектуального портрета, который с начала 2000-х стал для ученого ведущим (Кара-Мурза, 2006, 2009, 2014б). Жанр интеллектуального портрета лежит в основе огромного проекта по истории русской либеральной мысли, который продолжался почти 15 лет. Речь, конечно, о задуманной и осуществленной Алексеем Кара-Мурзой энциклопедии российского либерализма «Российский либерализм: идеи и люди», третья, уже двухтомное, издание которой вышло в 2018 году (Кара-Мурза, 2018а).

Опыт реконструкции социально-политической истории России сквозь призму личностно-ориентированного подхода Кара-Мурза продолжает развивать в рассматриваемых монографиях о русских путешественниках-интеллектуалах. Его *эпистемологию* российской культурной и политической истории справедливо определить формулой: отечественная история — это история идей и людей, генерирующих данные идеи и воплощающих их в своей судьбе и судьбе страны (Кара-Мурза, 2010, 2016в). Речь идет об авторской, во многом лабораторной работе по поиску новых жанров философского дискурса. По мнению ученого, философские смыслы могут быть обнаружены не только в академических трактатах и системных трудах, но и в оригинальной эссеистике, мемуарных свидетельствах, иных источниках, где предмет исследования локализован событиями творчества, погруженными в биографический контекст. Такие исследования позволяют репрезентировать содержание интеллектуального опыта философов, писателей, художников, и, что особенно важно, реконструировать условия и характер зарождения философской или художественной идеи. Именно этот аспект становится центральным в новых книгах о Чаадаеве и Соловьеве, совершающих путешествия в Европу, в Италию.

Россия и Европа: интеллектуальная история как история творчества

В разножанровых исследованиях по русской истории, культуре и политике А. А. Кара-Мурза сосредотачивается, казалось бы, на традиционной для отечественной мысли теме цивилизационной идентичности России (Кара-Мурза, 2017, 2018в). В своих работах он следует историософской логике русских либеральных мыслителей второй половины XIX — XX века, рассматривавших ключевую для русского самосознания проблему сходства и различия России и Европы. Европейская культура в этом дискурсе понималась как *свое-другое* национальной культуры. Продолжая настоящую линию отечественной философии истории, Кара-Мурза развивает главный исследовательский сюжет, связанный с проблемой культурного универсализма, который он выявляет и устанавливает через смысловые взаимосвязи между Россией и Европой в диалоге идей и творческих сознаний выдающихся авторов культуры (Кара-Мурза, 2016б: 101–106). Через историю

творческих опытов — локальных прецедентов универсальной интеллектуальной истории, углубляющих и расширяющих семиосферу культуры, каждый раз перекрывающих ее образ и переустанавливающих ее смысл, он осуществляет *философскую реконструкцию* культурной истории России, подчеркивая включенность русской культуры в ансамбль европейских культур, специально рассматривая интеллектуальную связь России и Италии (Кара-Мурза, 2009: 50). Творчество русских мыслителей и писателей при этом предстает как констелляция образов, ассоциаций, идей, событий, топосов культуры, прочерчивающих интеллектуальную траекторию в их духовном опыте.

В своих исследованиях, междисциплинарных по характеру, ученый явно старается преодолеть ограниченность узкоспециализированных подходов. Читая статьи и книги Кара-Мурзы, приходишь к выводу, что без привязки к контексту зарождения, генезиса и развития мысли в творческой лаборатории личности философия истории, как абстрактная история идей и концепций, ему не очень интересна. Его исследовательские опыты нельзя в чистом виде назвать историей философии, литературоведением, источниковедением, текстологией. Кара-Мурза работает на стыке философии истории, философии и истории культуры, страноведения. Собственно, эти творческие поиски и привели его к созданию своеобразного синтетического жанра *«философского краеведения»* и близкого ему жанра *«философской травелогии»*.

В творческой лаборатории Кара-Мурзы, в его поиске новых подходов к прочтению культурной и политической истории России следует выделить итальянские штудии. Очерки о пребывании в старинных городах Италии многих знаменитых деятелей отечественной культуры XVIII–XX веков открывают для знатоков и любителей неизвестные страницы русской Италии. Книги Кара-Мурзы равно демонстрируют талант исследователя, который пишет интеллектуальную историю русской Европы, как и талант популяризатора и просветителя, виртуозно владеющего стилями научного и художественного изложения. Красноречивым является тот факт, что многочисленные российские туристы, посещающие Италию, используют книги профессора Алексея Кара-Мурзы о знаменитых русских в Риме, Венеции, Флоренции, Неаполе, Амальфи, Генуе как путеводители, чтобы прикоснуться к знаковым для каждого русского гоголевским местам в Риме, увидеть гостиницу в Вечном городе, где Тургенев создавал «Асю» и «Дворянское гнездо». Нашим соотечественникам интересно больше узнать о великом городе итальянского Возрождения, Флоренции, где в галерее Уффици Чаадаев беседовал со священником Куком, Достоевский писал «Идиота», Чайковский «Пиковую даму», посетить могилы Сергея Дягилева, Игоря Стравинского, Иосифа Бродского в Венеции, пережить неаполитанские приключения Владимира Соловьева и каприйские истории Максима Горького и Ивана Бунина...

И все же, чем объяснить интерес политолога и философа истории к темам вроде бы сугубо культурологическим? На мой взгляд, Алексей Кара-Мурза следует маршрутами своих героев — творцов русской культуры XVIII–XX веков, некогда

открывших культурное пространство Европы и создавших ее русскую ментальную карту, желая включить их в *новый канон культурной истории* России. Справедливо утверждать, что в книгах и статьях представлена важная авторская идея: актуальная интерпретация русской культуры в ее взаимодействии и смысловой взаимообусловленности с европейской культурой подчеркивает не прошлое ради прошлого, но прошлое как живую часть культурного опыта. Влияние Италии на творческое мировосприятие выдающихся представителей русской культуры, эстетический и духовный след, отразившийся в событии творчества, в создании произведения, — одна из прослеживаемых линий в общей задаче философской реконструкции интеллектуальной истории России как истории творчества. Подобно героям своих книг, Алексей Кара-Мурза совершает увлекательное путешествие в «страну святых чудес» — прекрасную Италию, которая становится символическим выражением Запада (Кара-Мурза, 2016а: 16–17).

Справедливо говорить, что путешествие русских интеллектуалов в Европу в дореволюционной России носило своего рода характер инициации. Трудно назвать стремление русских прикоснуться к памятникам и святыням западного мира просто путешествием, подразумевающим цели, как сегодня сказали бы, культурно-образовательного туризма. Путешествие в Европу — это самостоятельная и значимая часть жизни представителей русского образованного класса, которая сродни паломничеству, осуществляемому с духовно-эстетическими целями. Читая итальянские книги Алексея Кара-Мурзы, невозможно освободиться от ощущения, что история путешествий русских в эпоху Империи несет в себе черты утопического сознания человека Средневековья. Как и для средневекового сознания, перемещение в пространстве связано с изменением статуса — теперь не только духовно-нравственного, но и образовательного, профессионального, культурного. Можно согласиться с историком и философом русской культуры Ю. М. Лотманом, что путешествие имеет не только географический смысл — это перемещение в *символическом пространстве*, содержащее в себе «переход из одной локальной ситуации в другую» (Лотман, 2004: 301).

Следуя маршрутами своих героев, Кара-Мурза локализует творческие интенции авторов местом их возникновения, осуществляя впечатляющую реконструкцию жизни и творчества выдающихся творцов русской культуры, где прошлое заново воссоздается и философски переосмысливается исследователем. Показательно, что теория в таком типе исследований идет рука об руку с практикой. Так, в Институте философии РАН появился возглавляемый Алексеем Кара-Мурзой «Итальянский клуб». Его основу составили постоянные участники проектов, связанных с реконструкцией путешествий русских мыслителей, писателей, художников, общественных деятелей в Италию, проводимых ИФРАН при участии НИУ ВШЭ и итальянских партнеров — Флорентийского, Венецианского университетов, Университета г. Бари, Русского дома в Генуе, Русского дома в Риме, Центра культуры и истории Амальфи, Подворья Русской православной церкви в Бари.

В прошлом году пандемия нарушила эти планы, несколько подготовленных и уже имевших афиши мероприятий в Риме и Бари были отменены. Минувшей весной, в историческом месте, в Albergo Cesari, старинном отеле в центре Рима, где в марте 1825 года остановился Николай Иванович Тургенев и куда многократно для встречи с идейным лидером декабристов приходили Петр Яковлевич Чаадаев вместе с Михаилом Фотиевичем Митьковым, должна была состояться вторая часть международного симпозиума (первая прошла в Москве, в ИФРАН, зимой 2020 года), посвященного Николаю Тургеневу и Петру Чаадаеву. Об этой важнейшей встрече в Вечном городе повествует одна из глав новой книги о путешествии Чаадаева. В отеле планировала поселиться группа российских философов — организаторов и участников конференции, чтобы в аутентичном историческом месте провести научное мероприятие. Идея этой историко-культурной реконструкции, конечно, принадлежит автору проекта, Алексею Кара-Мурзе.

Не один год являясь постоянным соорганизатором итальянских экспедиций, привожу планировавшийся проект в качестве примера исследовательской методики А. А. Кара-Мурзы. Как ученого его привлекают биографические детали, связанные с местами создания тех или иных произведений русских философов и писателей в городах России и Европы. Предметные поля его исследований достаточно широкие, их можно определить как антропология путешествий, феноменология восприятия городов, дух и эстетика места, психология и феноменология творческой личности. Я бы могла подобный анализ событий, устанавливающий и интерпретирующий процесс зарождения и развития идеи или образа, воплощающегося в философский или художественный текст, назвать своеобразной *культурно-исторической герменевтикой*.

Несколько новых книг, посвященных путешествиям выдающихся русских мыслителей в Европу — Карамзина, Чаадаева и Вл. Соловьева, вышедших из-под пера Алексея Кара-Мурзы за недавнее время, ярко показывают этот путь методологического перевооружения философско-исторического знания, который представляет собой перспективный и репрезентативный для современного философского процесса опыт формирования новых подходов к постижению русской истории и культуры.

От метанарратива к локальной истории: к генезису «философского краеведения» и «философской травелогии»

Специально выделю, что в 2010-х годах интерес ученого сместился в область, обычно определяемую в западной традиции как *local history* и являющуюся одним из самостоятельных направлений, методологически и концептуально связанных с *intellectual history* и *area studies*. В авторской версии эти локальные культурно-исторические и биографические сюжеты получили название «философского краеведения». Используя метод, названный мною методом «интеллектуального топографирования российской истории» (подробнее см.: Zhukova, 2018), Кара-Мурза

осуществил ряд блестящих исследований. Среди них — восстановленная московская топография Н. А. Бердяева (Кара-Мурза, 2014а: 65–77), Ф. А. Степуна (Кара-Мурза, 2018б: 262–283), флорентийская В. В. Вейдле (Кара-Мурза, 2015: 45–52), римская И. С. Тургенева (Кара-Мурза, 2018г: 124–142), каприйская И. А. Бунина (Кара-Мурза, 2020а: 110–132). В ходе работы ему удалось выявить биографический контекст идей, возникающих в ряде ключевых текстов описываемых периодов, установить образно-символическую связь между философскими (художественно-эстетическими) концептами произведений и визуальной антропологией города.

Так, например, для важнейшей работы Бердяева «Дух и машина», вошедшей в сборник статей «Судьба России» (1914–1917) и раскрывающей его центральную культурно-философскую концепцию — оппозицию духа и материальной культуры как объективацию духа (в этом тексте Бердяев наиболее близок к шпенглеровской оппозиции органической культуры и технической цивилизации) — исследователем был установлен природно-культурный объект — дуб, вдохновивший Бердяева на подобные размышления. Этот дуб «Филимон» находится во дворе дома по Большому Власьевскому переулку, 14, куда выходили окна квартиры Бердяевых (№ 3), живших там с 1915 по 1922 год, до своего изгнания из России (Кара-Мурза, 2014а: 72)³.

В проведенном А. Кара-Мурзой исследовании показано, что написанию «Духа и машины» предшествовало два обстоятельства — активность Бердяева в разгар религиозно-философских дискуссий, спровоцированных Первой мировой войной, и его вынужденное домашнее затворничество вследствие полученной травмы. В 1915 году Бердяев, возвращаясь с очередного выступления, поскользнулся на тонком мартовском льду, сломал ногу и, ограниченный в движении, всю свою энергию направил на творческий процесс. Находясь дома, он вел нескончаемую полемику о духе русской и немецкой культуры с В. Розановым, В. Эрном, Вяч. Ивановым и обвинял своих оппонентов в привязанности к «омертвевшему преданию» славянофилов, компенсируя личные встречи эмоциональными разговорами по телефону (подробнее см.: Жукова, 2017: 547–551).

Залечивая свою травму и не имея возможности свободно перемещаться, Бердяев проводил время, наблюдая из окна за жизнью во внутреннем дворе дома, где росли дубы, и, когда это стало возможно, с помощью родных и друзей выходил туда на краткие прогулки. Старинные дубы (один из которых, «Филимон», жив и сегодня) возбудили воображение Бердяева, и свою философскую идею о примате духа над объективирующей его цивилизацией, о технике, разрывающей органическое единство духа и плоти, он персонифицировал, имея перед глазами образ дуба (Кара-Мурза, 2014а: 72–73). В этом, как казалось, хорошо известном бердяевском тексте, путем установления конкретных обстоятельств жизни и связанных

3. Дополню, что сама квартира, ее сегодняшний адрес был также уточнен автором «Бердяевской Москвы». Мне довелось участвовать в краеведческих походах А. Кара-Мурзы, в результате которых был установлен последний до эмиграции адрес Бердяева, где была написана его статья «Дух и машина».

с ними московских реалий быта и городской среды, открывается глубинный процесс творческого мышления гениального русского мыслителя, его способ *символизации* явлений окружающего мира и их философской концептуализации.

Данный пример техники «философского краеведения», применяемой Кара-Мурзой, весьма показателен. В такой кропотливой работе сказывается, конечно, вкус к прорисовке деталей, свойственный, скорее, знатокам местной истории. Действительно, этим методом исторического краеведения Кара-Мурза, историк по образованию, отлично владеет, избрав своей специализацией философскую Москву и русские топосы Италии. К краеведению иногда принято относиться как к любительской традиции, но если понимать краеведение шире, имея в виду *общественно значимую практику* по сохранению культурно-исторической памяти, то оно приобретает совсем иной статус в структуре гуманитарного знания. Неслучайно у истоков российского-советского краеведения стоит один из корифеев русской исторической школы — Иван Михайлович Гревс, строивший воспитание своих студентов на принципе непосредственного погружения в историческую среду обитания памятника — артефакта культуры, для чего совершал с учениками научно-образовательные экспедиции по пригородам Санкт-Петербурга и в любимую им Италию, предмет его профессионального интереса как историка-медиевиста (Гревс, 1903). Справедливо замечание Д. С. Лихачева, считавшего, что именно в краеведении открывается прошлое, происходит его очеловечивание и одухотворение — осуществляется важнейшая философская функция рецепции истории, ее духовно-нравственной и интеллектуальной рефлексии через включение в *память места*. «Когда мы узнаем, кто жил в том или ином доме, какая жизнь протекала в нем, что в нем было создано, дом этот для нас уже особый. Он наполняется духовным содержанием, преобразуется. Преобразуется и город, чью историю мы познаем. Преобразуется ландшафт, если мы знаем, какие события в нем происходили, какие битвы тут разыгрывались, чьи судьбы решались», — пишет он (Лихачев, 2006: 329).

Как мне представляется, за вниманием Кара-Мурзы к местной, локальной истории во многом стоит желание отойти от больших исторических нарративов, в создании которых очень часто возникает соблазн построения непротиворечивой схемы — стройной философской концепции. Это возвращает нас к началу разговора о ситуации в философии российской истории, преодолевающей наследие генерализующих идеологических подходов. Выскажу предположение, что очерки и эссе Кара-Мурзы о русских мыслителях, в которых акцент ставится на конкретные обстоятельства места и времени их жизни в статике (родной город) и динамике (путешествие) — это разрабатываемая историком и философом возможная методологическая альтернатива, осуществляемая им оригинальная исследовательская практика по *добыванию* новых фактов национальной истории и их толкованию.

Согласимся, что главным вопросом для каждого философа истории и культуры остается вопрос, *с чем он имеет дело?* Сошлюсь на Эрнста Кассирера, поставив-

шего его в «Опыте о человеке». Если прошлое ушло безвозвратно, что остается историку? «Все, что можно сделать, — рассуждает Кассирер, — это „вспомнить“ прошлое, т. е. дать ему новое, идеальное существование. Не эмпирическое наблюдение, а идеальное воссоздание, реконструкция — вот первый шаг в историческом знании» (Кассирер, 1998: 647; курсив мой. — О. Ж.). Если историк не может «проникнуть в формы прежней жизни», то какую реальность он изучает? Кассирер настаивает, что историк «должен считаться со своими источниками». Но что считать источником? «Источники, — пишет Кассирер, — не физические вещи в обычном смысле этого слова. Они заключают в себе новый и особый момент. Историк, так же как и физик, живет в материальном мире. Однако то, с чем он имеет дело, начиная исследование, — это не мир физических объектов, а символический универсум — мир символов. Мы должны научиться прежде всего понимать эти символы», — заключает философ (Кассирер, 1998: 647–648).

Возможна ли подобная материализация духа прошлого, к которому Кассирер призывает относиться не как к окаменевшим фактам, а как к живым формам, чтобы «собрать вместе все эти *dissecta membra*, разрозненные члены тела прошлого, синтезировать и отлить их в новую форму»? (Кассирер, 1998: 650). Такое извлечение прошлого из небытия и превращение его в новое знание о нем может быть осуществлено при соблюдении определенных исследовательских процедур и подходов. Кара-Мурза таким условием верификации прошлого считает детальную проработку личностной истории, которая, при помещении ее в общий историко-культурный контекст, дает нам наиболее четкую картину, совмещающую субъективный и объективный фокусы. Личностный фактор, работающий в культурной истории, смещает угол зрения Алексея Кара-Мурзы от генерализующего к индивидуализирующему, но при этом он стремится к особому рода объективности.

Философская тематизация травелога: опыты идеальной реконструкции

Такой подход позволил, на мой взгляд, в книге о путешествии Петра Чаадаева в Италию показать карту его маршрута как ментальную — как событие сознания и тех духовно-интеллектуальных изменений, которые лежат в основе его творческой эволюции как философа. Изменив первоначальному плану посетить только Германию, Англию и Францию, молодой Чаадаев проехал через четыре государства, расположенные на территории современной Италии (Сардинское королевство, Великое герцогство Тосканское, Папское государство и Ломбардо-Венецианское королевство, входившее в состав Австрийской империи), с наиболее продолжительными остановками во Флоренции и Риме.

События пребывания в этих уникальных городах Италии, а также скрупулезно восстановленный маршрут русского путешественника на основе скупых эпистолярных свидетельств самого Чаадаева в сопоставлении с другими источниками — прямыми и косвенными, дал существенный прирост знания не только о сценарии путешествия, посещенных городах и культурных памятниках (отлично зная тра-

диционные «перегоны» между главными точками назначения, Кара-Мурза безошибочно восстанавливает этот путь, хотя сам Чаадаев не всегда оставляет нам такие свидетельства), но и о размышлениях и направленности мысли Чаадаева от встречи с людьми и историческими местами. Так, включая в маршрут Алессандро, «столицу» пьемонтской революции 1821 года, Кара-Мурза реконструирует возможный ход мысли недавно вышедшего в отставку русского офицера Чаадаева, который именно здесь, в этом месте, мог быть вовлечен в кампанию по подавлению пьемонтского восстания, которую готов был развязать Александр I, «увлеченный идеями “Священного союза”» (Кара-Мурза, 2019б: 15–16).

Автору книги удастся убедить читателя, что именно во Флоренции и Риме у Чаадаева сложились основные положения его историософской концепции «Философических писем», как и само желание быть философом, на которое значительное влияние оказал методистский священник-миссионер Чарльз Кук, несколько часов проведенный в беседе с Чаадаевым в знаменитой лоджии второго этажа галереи Уффици 31 января 1825 года. Именно об этой встрече как о самом важном событии своей интеллектуальной жизни говорил сам Чаадаев (Там же: 21). В свете формирующейся у Чаадаева цели стать свободным философом более понятным становится и его возвращение в Россию в самый разгар расправы над декабристами, обезоружившее своим мужеством, как пишет Кара-Мурза, даже Николая I (Там же: 57).

Совмещение в книге этой личностной и объективно-исторической оптики, документированной и фактографированной (вплоть до аутентичных по времени иллюстраций городов, художественно-культурных и природных памятников, передающих для читателя визуальный опыт русского путешественника), дает особого рода эффект объективно полученного знания. Такого рода историческая объективность, основанная на сочетании фактов личностных и внешне-объективных, их концептуальном отборе, открывает возможность для *идеальной* (воображаемой, но достоверной) *реконструкции*, которую допускал и легитимировал Кассирер (Кассирер, 1998: 647).

Во многих своих работах А. Кара-Мурза работает как текстолог и герменевтик, рассматривая текст культуры с позиции его современников. При этом он имеет дело не только с фактом истории, но и с артефактом культуры — текстом — авторским высказыванием, разделенным с современным читателем временем. По словам Ю.М. Лотмана, задача исследователя здесь близка задаче дешифровщика. «Текст всегда кем-то и с какой-то целью создан, событие предстает в нем в зашифрованном виде, — полагает Лотман. — Историк предстоит прежде всего выступить в роли дешифровщика. Факт для него не исходная точка, а результат трудных усилий. Он сам создает факты, стремясь извлечь из текста внетекстовую реальность, из рассказа о событии — событие» (Лотман, 2004: 336).

Алексей Кара-Мурза в своих новых травелогах не только дешифрует, но и создает факты. Его усилие по добыванию факта сопряжено с их отбором. Исследователь тщательно работает с фактами, производит их селекцию, поскольку факт

важен не только сам по себе, но как *причина*, приводящая к некоторому социальному и личностно-творческому результату. По справедливому замечанию Кассирера, «факт становится исторически значимым, если он чреват последствиями» (Кассирер, 1998: 671). Об этом напоминает и Лотман. По его словам, «понятие „восстановить прошлое“ подразумевает выяснение фактов и установление связей между ними» (Лотман, 2004: 335).

Есть некоторый вызов в том, что именно автор этой цитаты — блестящий знаток русской культуры Юрий Лотман, становится заочным оппонентом для Алексея Кара-Мурзы в книге о швейцарском путешествии Н. М. Карамзина, упомянутой мною в самом начале. Книга строится на анализе ключевого текста русской культуры «Писем русского путешественника», где Кара-Мурза пересматривает концепцию Лотмана, изложенную им в фундаментальном труде «Сотворение Карамзина», и предлагает новое прочтение важнейшего сюжета русской культуры (Кара-Мурза, 2016г: 11). Он убедительно доказывает, что Карамзин оказался вынужденным путешественником — беглецом, отправленным Новиковым и кругом близких к нему людей в Европу, «подальше от глаз» императрицы Екатерины II в период усиливающихся гонений на масонов (Там же: 21).

По деталям текста самого Карамзина, ранее казавшимся исследователям второстепенными, и ряду других источников о пребывании Карамзина в швейцарских городах, выявленными также другими учеными, ему удастся оспорить концепцию Лотмана, что Карамзин, якобы исчезнувший из вида на некоторое время в Женеве, тайно ездил в Париж «смотреть» на революционные события. Лотман, увлеченный своей концепцией (Там же: 67–68), как будто бы переступает через выдвигаемое им требование тщательной селекции и сопоставления фактов. Кара-Мурза, напротив, этому требованию неукоснительно следует, доказывая, с опорой на текст «Писем русского путешественника», что в Женеве Карамзин пережил тяжелую душевную болезнь, объясняющую крайнюю скромность «женевских фрагментов» (Там же: 70).

В травелогах Кара-Мурзы, на мой взгляд, в чистом виде присутствует *философская мнемотехника* культурной истории, которая преодолевает ограниченность и коммуникативную замкнутость как классического краеведения, так и популярной травелогии⁴. Уместно здесь сказать, что «Русская Италиана» Алексея Кара-Мурзы — книги серии «Знаменитые русские о городах Италии», вышедшие

4. Пик читательской востребованности жанра травелога пришелся на первое десятилетие XXI в., причину чего следует искать в появившейся возможности россиян «инвестировать в себя и путешествовать по миру» (Казакова, 2016: 10). В этот период в издательстве «Независимой газеты» А. А. Кара-Мурза выпустил серию книг, героями которой стали знаменитые русские, путешествующие по великим городам Италии. В этом контексте отмечу, что травелог как путевой дневник и беллетризированный рассказ о путешествии — давно сформировавшийся жанр европейской и русской литературы, имеющий богатую традицию изучения за рубежом и в России (Милюгина, Строганов, 2013; Шёнле, 2004; Шпак, 2016: 261–262; Bohls, 2005; Demaqa, 2006). У современных исследователей внимание к данному направлению литературы устойчиво растет (Печерская (ред.), 2016: 18). Травелог рассматривается одновременно и как жанр нон-фикшн (Сорочан, 2011: 380), и как исторический нарратив (Русаков, Русакова, 2014: 14–20), и как форма повествования, расширяющая представления

в начале 2000-х, в немалой степени способствовали ренессансу жанра травелога, и почти через сто лет после выхода знаменитых «Образов Италии» Павла Муратова (1911–1912) напомнили русскому читателю о любви к этой стране с богатейшей культурной историей и красивейшей природой и восстановили тем самым преемственность с традицией путешествий русских интеллектуалов в колыбель европейской цивилизации и культуры.

В книгах о знаменитых русских в городах Италии, значительно расширенную версию которых А. А. Кара-Мурза опубликовал в Издательстве Ольги Морозовой почти через 15 лет, выражен интерес философа и историка к жанровой вариативности травелога, к его эффектному сочетанию разных техник наррации с использованием приемов художественной литературы и документального повествования. По мнению философа, приводимые им художественные, эпистолярные, мемуарные свидетельства составляют событие экзистенциального порядка, в основе которых лежит живой опыт знакомства и постижения истории, быта, общественных установлений, традиций и духовных практик итальянской культуры методом «включенного наблюдения». В Италии, как в зеркале «сказки о сохраненном времени» (Кара-Мурза, 2019а: 11), отражается русская культура, мысль героя о себе и жизни русского общества.

Новые исследования о Чаадаеве и Соловьеве пополняют антологию итальянских путешествий русских интеллектуалов и художников. Кара-Мурза заинтересовывает читателя сюжетной интригой травелога, открывающего «окно» во внутренний мир героя на фоне захватывающих воображение перипетий поездки. Определяя для читателя позицию «включенного наблюдателя», он создает впечатление 3D-реальности, позволяя следить за окружающим путешественника реалиями, как будто бы его глазами. Текст сопровождают иллюстрации, помогающие перемещать читателя во времени и пространстве и видеть на картинах, рисунках и фотографиях того времени то, что непосредственно наблюдал герой путешествия (или мог видеть, согласно идеальной реконструкции автора книги). Кара-Мурза стремится показать, помимо истории места и сюжета путешествий, опыт *восприятия места*, дать рассказ о том, «что и как» становится *событием жизни* молодых философов и обнаруживает себя уже как идея в их основных произведениях.

Развитием этой исследовательской интенции является книга о путешествии по югу Италии молодого Владимира Соловьева весной 1876 года. Свой замысел автор объясняет интересом к личности Соловьева и особенностям психологии его творчества. Он дает яркий интеллектуальный портрет двадцатидвухлетнего магистра философии Владимира Соловьева, который, отправившись в научную поездку с Лондон, оказался сначала в Египте, а потом на неаполитанском побережье, в Сорренто. В этом поэтичнейшем городе, уникальное сочетание природы и культуры которого воспел один из основателей русской пейзажной школы Сильвестр

человека о самом себе и своих знаниях о мире (Полонский, 2015: 207; Фортунатов, Фортунатов, Фортунатова, 2018: 215–223).

Щедрин, в отеле Cocomella, который существует и по сей день⁵, развернулась подлинная драма любви и болезни молодого философа. Именно здесь Соловьев на французском языке написал основные фрагменты религиозно-философского трактата «Sofia». Для исследователей творчества Соловьева этот текст все еще представляет собой некоторую загадку. Но очевидно, что положения, которые Соловьев попытался в нем сформулировать, предвосхищают и во многом определяют ключевые идеи его метафизики всеединства, являясь своеобразным проектом оригинальной религиозно-философской системы (Козырев, 1992: 152–170).

По характеру изложения исследование Кара-Мурзы напоминает, скорее, *расследование* обстоятельств написания этого трактата, которые были осложнены травмой, полученной Соловьевым при восхождении на Везувий. Основываясь на переписке Соловьева и многочисленных свидетельствах мемуаристов, Кара-Мурза восстанавливает ранее неизвестные исследователям детали жизни философа в Сорренто. Он показывает, что русский путешественник едва остался живым после падения с лошади на Везувии, и, получая помощь и участие своей соотечественницы, Надежды Ауэр, пережил смешанный опыт внезапного любовного чувства и интеллектуальной фантазии, повлиявший на философское содержание трактата «Sofia» (Кара-Мурза, 2020б: 24–32). Это проникновение в обстановку написания трактата, основные фрагменты которого были созданы в Сорренто, значительно проясняет психологический и интеллектуальный профиль личности Владимира Соловьева, визионерский способ его философствования и мысленный строй софиологической концепции.

В книге в полной мере воплощается жанровое своеобразие «философского травелога», где подход к истории как к культурному преданию, культурному мифу, создаваемому личностью, позволяет осуществить философскую рефлексию и *тематизировать*, или «кристаллизовать», как предпочитает говорить Алексей Кара-Мурза, философскую проблематику, извлекаемую из событий жизни и сублимируемых в тексты — произведения культуры, вдохновленные (спровоцированные) событиями путешествия.

Метод персонализации и локализации истории событиями творчества Алексея Кара-Мурзы делает возможным понимание характера новаций, вносимых творческой личностью в философские, художественные и литературные традиции русской и европейской культуры по отношению к предшествующим творческим опытам. Как мы видим, такой метод приносит свои научные плоды — дает приращение исторического знания и философского смысла в рамках традиции изучения ключевых фигур русской мысли — Чаадаева и Соловьева. Своеобразная индуктивная техника исследования, применяемая в философских травелогах Кара-Мурзой, восстанавливает внутреннюю логику событий творчества. Она нацелена на выявление психологической и интеллектуальной взаимосвязи творческого самосознания автора с влияющими на него артефактами культуры, символическими

5. Осенью 2015 года группа философов из ИФРАН и НИУ ВШЭ посетила соловьевские места в Сорренто в рамках программы международного симпозиума в г. Амальфи.

пространствами городов, образами русской и европейской культуры, впечатлениями от личных встреч и пережитых чувств.

Когда настоящая статья находилась в завершающей стадии подготовки, автор книг о русских мыслителях-путешественниках сообщил мне, что начал работу над очередной монографией в жанре философской травелогии, которая будет озаглавлена «Путешествия в Африку и Палестину Ильи Фондаминского (1923–1928)». Героем следующей книги Алексея Кара-Мурзы станет философ и революционер, бывший эсер, пересмотревший в эмиграции свои взгляды на русскую политику и религиозную культуру, принявший православие и погибший в Освенциме. Согласно гипотезе ученого, исследуемый сюжет поездки Фондаминского в Северную Африку и Палестину позволяет акцентировать внимание на историческо-философской концепции российского политика и философского публициста, оценить мировоззренческие изменения в умственном и моральном строе личности. Выбирая эту фигуру в качестве предмета изучения, Кара-Мурза продолжает развивать философский дискурс травелогии в рамках исследований российской интеллектуальной истории, и ставит перед собой взаимосвязанную задачу по реконструкции и одновременно критическому пересмотру имеющихся источников.

Метод «схватывания» и воссоздания исторического и идейного контекста по малоизвестным или слабовыявленным деталям биографического, текстологического, философского и культурологического содержания российский философ продолжает разрабатывать, предпочитая, по его словам, устанавливать «маленькую научную правду». Исследователь настаивает, что проблема нашего философского «незнания России», непонимания ее историко-культурных и политических процессов заключается в бесконечной трансляции «больших полуправд», в то время как важен добытый верифицированный факт, извлеченный из исторического «шума» и на первый взгляд иногда совершенно разрозненных, даже периферийных свидетельств. Это пусть небольшое, но подлинное научное открытие, найденный, реконструированный или, напротив, деконструированный факт (как в случае с поездкой Карамзина, когда мотивация путешествия оказывается совсем иной), на поверку, как мы можем видеть в его философских травелогах, не просто добавляет что-то к нашим представлениям об исследуемом предмете, но может менять видение проблемы в целом.

У исследователя есть четкое понимание о границах применимости используемого метода, что доказывает его эвристическую значимость и научную легитимность. Важно то, что результаты работы А. А. Кара-Мурзы в жанре философской травелогии дают ощутимый прирост знаний об обстоятельствах и содержании творчества русских мыслителей, уточняют биографическую канву жизни, позволяют пересмотреть устоявшиеся интерпретации их ключевых произведений и наследия в целом и, как следствие, что особо ценно для научной практики, открывают новую перспективу для российских историко-философских и культурно-политических исследований. Остается только добавить, что книги о путешествиях Чаадаева и Соловьева, помимо их научного значения, полностью соответствуют

задаче литературы нон-фикшн. Тексты философских травелогов Алексея Кара-Мурзы увлекательны, высокоинформативны и познавательны, поэтому у них всегда будут читатели — и знатоки, и любители.

Литература

- Ахиезер А. С., Васильев Л. В., Хорос В. Г., Чешков М. А., Сумский В. В., Кара-Мурза А. А., Седов Л. А., Матвеева С. Я., Фурман Д. Е., Панарин А. С., Рашковский Е. Б., Ядов В. А. (1993). Российская модернизация: проблемы и перспективы: материалы круглого стола // Вопросы философии. № 7. С. 3–39.
- Гревс И. М. (1903). Очерки флорентийской культуры 1903–1905. М.: Типо-литография Т-ва И. Н. Кушнеревъ и Ко.
- Жукова О. А. (2012). Философия в публичном пространстве // Философские науки. № 7. С. 140–145.
- Жукова О. А. (2017). Философия русской культуры: метафизическая перспектива человека и истории. М.: Согласие.
- Жукова О. А. (2019). Опыт о русской культуре: философия истории, литературы и искусства. М.: Согласие.
- Казакова Г. М. (2016). Нон-фикшн в современной книжной культуре // Вестник культуры и искусств. № 3. С. 7–12.
- Кара-Мурза А. А. (1995). «Новое варварство» как проблема российской цивилизации. М.: ИФРАН.
- Кара-Мурза А. А. (1999). Как возможна Россия? М.: Советский спорт.
- Кара-Мурза А. А. (2006). Интеллектуальные портреты: очерки о русских политических мыслителях XIX–XX вв. Вып. 1. М.: Институт философии РАН.
- Кара-Мурза А. А. (2009). Интеллектуальные портреты: очерки о русских мыслителях XIX–XX вв. Вып. 2. М.: Институт философии РАН.
- Кара-Мурза А. А. (2010). А. И. Герцен: в поисках русской личности // Вопросы философии. № 2. С. 86–92.
- Кара-Мурза А. А. (2012). Как идеи превращаются в идеологии: российский контекст // Философский журнал. № 2. С. 27–44.
- Кара-Мурза А. А. (2014а). Бердяевская Москва (опыт философского краеведения) // Философские науки. № 4. С. 65–77.
- Кара-Мурза А. А. (2014б). Интеллектуальные портреты: очерки о русских мыслителях XIX–XX вв. Вып. 3. М.: Институт философии РАН.
- Кара-Мурза А. А. (2015). Флоренция В. В. Вейдле (опыт философского краеведения) // Философские науки. № 7. С. 45–52.
- Кара-Мурза А. А. (2016а). Знаменитые русские о Флоренции. М.: Изд-во Ольги Морозовой.
- Кара-Мурза А. А. (2016б). Карамзин, Шаден и Геллерт: к истокам либерально-консервативного дискурса Н. М. Карамзина // Филология: научные исследования. № 1. С. 101–106.

- Кара-Мурза А. А.* (2016в). Тяжба о Карамзине: юбилейные заметки // Вопросы философии. № 12. С. 106–110.
- Кара-Мурза А. А.* (2016г). Швейцарские странствия Николая Карамзина (1789–1790). М.: Аквилон.
- Кара-Мурза А. А.* (2017). Россия как «Север». Метаморфозы Национальной идентичности в XVIII–XIX вв.: Г. Р. Державин // Философские науки. № 8. С. 121–134.
- Кара-Мурза А. А.* (ред.) (2018а). Российский либерализм: идеи и люди: В 2 т. 3-е изд. М.: Новое издательство.
- Кара-Мурза А. А.* (2018б). Москва «до» и «после» революции: социология родного города в сочинениях Федора Степуна // Социологическое обозрение. Т. 17. № 2. С. 262–283.
- Кара-Мурза А. А.* (2018в). Проблема «Россия и Европа» в эмигрантских трудах В. В. Вейдле // Философский журнал. Т. 11. № 4. С. 139–152.
- Кара-Мурза А. А.* (2018г). Рим Ивана Тургенева (1840) // Философские науки. № 7. С. 124–142.
- Кара-Мурза А. А.* (2019а). Знаменитые русские о Венеции. М.: Издательство Ольги Морозовой.
- Кара-Мурза А. А.* (2019б). Итальянское путешествие Петра Чаадаева (1824–1825). М.: Аквилон.
- Кара-Мурза А. А.* (2020а). Остров Капри Ивана Бунина // Философские науки. Т. 63. № 6. С. 110–132.
- Кара-Мурза А. А.* (2020б). Сорренто Владимира Соловьева (1876). М.: Аквилон.
- Кара-Мурза А. А., Жукова О. А.* (2011). Свобода и вера: христианский либерализм в российской политической культуре. М.: Институт философии РАН.
- Кассирер Э.* (1998). Избранное. Опыт о человеке. М.: Гардарики.
- Козырев А. П.* (1992). Парадоксы незавершенного трактата: к публикации перевода французской рукописи В. Соловьева «София» // Логос. № 2. С. 152–170.
- Лихачев Д. С.* (2006). Воспоминания. Раздумья. Работы разных лет: В 3 т. Т. 2. СПб.: АРС.
- Милюгина Е. Г., Строганов М. В.* (2013). Русская культура в зеркале путешествий. Тверь: Твер. гос. ун-т.
- Новикова Л. И., Сиземская И. Н.* (1996). Парадигма русской философии истории // Очерк русской философии истории. М.: ИФРАН. С. 3–107.
- Печерская Т. И., Константинова Н. В.* (ред.) (2016). Русский травелог XVIII–XX веков: маршруты, топосы, жанры и нарративы. Новосибирск: Изд-во НГПУ.
- Полонский А. В.* (2015). Травелог и его место в современной журналистике // Вестник ТвГУ. «Филология». № 1. С. 207–215.
- Панарин А. С., Новикова Л. И., Кара-Мурза А. А., Дилигенский Г. Г., Кульпин Э. С., Перламутров В. Л., Королев С. А., Пантин И. К.* (1994). Риск исторического выбора в России (материалы круглого стола) // Вопросы философии. № 5. С. 3–26.
- Русаков В. М., Русакова О. Ф.* (2014). Методология дискурс-исследования травелога // Дискурс ПИ. № 4. С. 14–20.

- Смит О.* (2013). К современным дискуссиям о специфике и развитии русской философской традиции // Соловьевские исследования. Вып. 1. Иваново. С. 168–178.
- Сорочан А.* (2011). Туда и обратно: новые исследования литературы путешествий и методология гуманитарной науки // Новое литературное обозрение. № 6. С. 379–402.
- Фортунатов Н. М., Фортунатов А. Н., Фортунатова В. А.* (2018). Русское путешествие как национальный миф и форма субъектности // *Philology and Culture*. № 4. С. 215–223.
- Шёнле А.* (2004). Подлинность и вымысел в авторском самосознании русской литературы путешествий. 1790–1840. СПб.: Академический проект.
- Шпак Г. В.* (2016). Травелог: поиск универсальной дефиниции: четыре стратегии репрезентации пространства // *Преподаватель XXI век*. № 2–3. С. 261–277.
- Bohls E.* (2005). *Travel Writing 1700–1830*. Oxford: Oxford University Press.
- DeBlasio A.* (2014). *The End of Russia Philosophy: Tradition and Transition at the Turn of the 21st Century*. London: Palgrave Macmillan.
- Demaray G.* (2006). *From Pilgrimage to History: The Renaissance and Global Historicism*. New York: AMS Press.
- Zhukova O.* (2018). The Locus of Creativity: Alexei Kara-Murza and His Intellectual Topography of Russian History // *Russian Studies in Philosophy*. Vol. 56. № 2. P. 73–87.

Philosophical Travelogy as a Cultural and Political Research Method

Olga A. Zhukova

DSc in Philosophy, Professor, School of Philosophy and Cultural Studies, Faculty of Humanities, National Research University Higher School of Economics

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: logoscultura@yandex.ru

This article is devoted to new books written by Alexey Kara-Murza, a Russian philosopher and political scientist. Kara-Murza is the author of numerous works on the philosophy of Russian history and culture and Russian social thought, successfully working in the original genres of philosophical travelogy and philosophical local history. Russian-European and Russian-Italian cultural interactions have been the subject of Alexey Kara-Murza's scientific interest for many years. The new monographs explore the political circumstances as well as the key biographical voyage plots to Italy of the outstanding Russian thinkers Pyotr Chaadaev (1824–1825), and Vladimir Solovyov (1876). According to Alexey Kara-Murza, these trips determined the intellectual identity of the two Russian authors as well as the spiritual and philosophical horizon of their work. Kara-Murza consistently develops a central thesis about the intellectual relationships between Europe and Russia. He interprets the dialogue of cultures as a story of creativity, and comprehends the journey as a special way of the philosophical reception of culture and creative self-identification. Kara-

Murza's cultural and political studies in his philosophical travelogue genre, as well as the method he developed which helped the philosopher reconstruct the intellectual experience of Russian thinkers in the context of the history of Russian and European culture, are critically analyzed in this article.

Keywords: philosophical travelogue, cultural and political studies, Russian thought, personality, philosophy of history and culture, cultural myth, reconstruction

References

- Akhiezer A., Vasiliev L., Khoros V., Cheshkov M., Sumsy V., Kara-Murza A., Sedov L., Matveeva S., Furman D., Panarin A., Rashkovsky E., Yadov V. (1993) Rossijskaya modernizaciya: problemy i perspektivy: materialy kruglogo stola [Russian Modernization: Problems and Prospects: Materials of the Round Table]. *Voprosy Filosofii*, no 7, pp. 3–39.
- Bohls E. (2005) *Travel Writing 1700–1830*, Oxford: Oxford University Press.
- Cassirer E. (1998) *Izbrannoe. Opyt o cheloveke* [Selected Works: The Essay on Man], Moscow: Gardariki.
- DeBlasio A. (2014) *The End of Russia Philosophy: Tradition and Transition at the Turn of the 21st Century*, London: Palgrave Macmillan.
- Demaray G. (2006) *From Pilgrimage to History: The Renaissance and Global Historicism*, New York: AMS Press.
- Fortunatov N., Fortunatov A., Fortunatova V. (2018) Russkoe puteshestvie kak nacional'nyj mif i forma sub'ektnosti [Russian Journey as a National Myth and a Form of Subjectivity]. *Philology and Culture*, no 4, pp. 215–223.
- Graves I. (1903) *Ocherki florentijskoj kul'tury 1903–1905* [Essays on Florentine Culture, 1903–1905], Moscow: I. N. Kushnerev & Co.
- Kazakova G. (2016) Non-fikshn v sovremennoj knizhnoj kul'ture [Non-fiction in Modern Book Culture]. *Bulletin of Culture and Arts*, no 3, pp. 7–12.
- Kara-Murza A. (1995) "Novoe varvarstvo" kak problema rossijskoj civilizacii ["New Barbarity" as a Problem of Russian Civilization], Moscow: Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences.
- Kara-Murza A. (1999) *Kak vozmozhna Rossiya?* [How Russia is Possible?], Moscow: Soviet sport.
- Kara-Murza A. (2006) *Intellektual'nye portrety: ocherki o russkikh politicheskikh myslitel'nykh XIX — XX vv. Vyp. 1* [Intellectual Portraits: Essays on Russian Political Thinkers of the 19th–20th Centuries, Issue 1], Moscow: Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences.
- Kara-Murza A. (2009) *Intellektual'nye portrety: ocherki o russkikh myslitel'nykh XIX — XX vv. Vyp. 2* [Intellectual Portraits: Essays on Russian Political Thinkers of the 19th–20th Centuries, Issue 2], Moscow: Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences.
- Kara-Murza A. (2010) A. I. Gercen: v poiskah russkoj lichnosti [A. I. Herzen: In Search of the Russian Personality]. *Voprosy Filosofii*, no 2, pp. 86–92.
- Kara-Murza A. (2012) *Kak idei prevrashchayutsya v ideologii: rossijskij kontekst* [How do Ideas Turn into Ideologies: The Russian Context]. *Philosophical Journal*, no 2, pp. 27–44.
- Kara-Murza A. (2014) *Berdyaevskaya Moskva (opyt filosofskogo kraevedeniya)* [Berdyayev Moscow (An Essay in Philosophical Local History)]. *Philosophical Sciences*, no 4, pp. 65–77.
- Kara-Murza A. (2014) *Intellektual'nye portrety: ocherki o russkikh myslitel'nykh XIX — XX vv. Vyp. 3* [Intellectual Portraits: Essays on Russian Political Thinkers of the 19th–20th Centuries, Issue 3], Moscow: Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences.
- Kara-Murza A. (2015) *Florenciya V.V. Vejdle (opyt filosofskogo kraevedeniya)* [Florence by V. Veidle] (An Essay in Philosophical Local History). *Philosophical Sciences*, no 7, pp. 45–52.
- Kara-Murza A. (2016) *Znamenitye russkie o Florencii* [Famous Russians about Florence], Moscow: Olga Morozova Publishing House.
- Kara-Murza A. (2016) *Karamzin, Shaden i Gellert. K istokam liberal'no-konservativnogo diskursa N. M. Karamzina* [Karamzin, Schaden, and Gellert: Toward the Origins of the Liberal-Conservative Discourse of N. M. Karamzin]. *Philology: Scientific Research*, no 1, pp. 101–106.

- Kara-Murza A. (2016) Tyazhba o Karamzine: yubilejnye zametki [The Karamzin Debate: Anniversary Notes]. *Problems of Philosophy*, no 12, pp. 106–110.
- Kara-Murza A. (2016) *Shvejcarskie stranstviya Nikolaya Karamzina (1789–1790)* [The Swiss Wanderings of Nikolai Karamzin (1789–1790)], Moscow: Aquilon.
- Kara-Murza A. (2017) Rossiya kak “Sever”: metamorfozy nacional’noj identichnosti v XVIII-XIX vv.: G. R. Derzhavin [Russia as the “North”: Metamorphoses of National Identity in the 18th–19th Centuries: G. R. Derzhavin]. *Philosophical Sciences*, no 8, pp. 121–134.
- Kara-Murza A. (ed.) (2018) *Rossijskij liberalizm: idei i lyudi* [Russian Liberalism: Ideas and People], Moscow: New Publishing House.
- Kara-Murza A. (2018) Moskva “do” i “posle” revolyucii: sociologiya rodnogo goroda v sochineniyah Fedora Stepuna [Moscow “before” and “after” the Revolution: The Sociology of the Native City in the Works of Fyodor Stepun]. *Russian Sociological Review*, vol. 17, no 2, pp. 262–283.
- Kara-Murza A. (2018) Problema “Rossiya i Evropa” v emigrantskikh trudah V. V. Vajdle [The problem of “Russia and Europe” in the Emigrant Works of V. V. Veidle]. *Philosophical Journal*, vol. 11, no 4, pp. 139–152.
- Kara-Murza A. (2018) Rim Ivana Turgeneva (1840) [Rome of Ivan Turgenev (1840)]. *Philosophical Sciences*, no 7, pp. 124–142.
- Kara-Murza A. (2019) *Znamenitye russkie o Venecii* [Famous Russians about Venice], Moscow: Olga Morozova Publishing House.
- Kara-Murza A. (2019) *Ital’janskoe puteshestvie Petra Chaadaeva (1824–1825)* [The Italian Journey of Peter Chaadaev (1824–1825)], Moscow: Aquilon.
- Kara-Murza A. (2020) Ostrov Kapri Ivana Bunina [Ivan Bunin’s Island of Capri]. *Philosophical Sciences*, vol. 63, no 6, pp. 110–132.
- Kara-Murza A. (2020) *Sorrento Vladimira Solov’eva (1876)* [Sorrento of Vladimir Solovyov (1876)], Moscow: Aquilon.
- Kara-Murza A., Zhukova O. (2011) *Svoboda i vera: hristianskij liberalizm v rossijskoj politicheskoj kul’ture* [Freedom and Faith: Christian Liberalism in Russian Political Culture], Moscow: Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences.
- Kozyrev A. (1992) Paradoksy nezavershennogo traktata: k publikacii perevoda francuzskoj rukopisi V. Solov’eva Sofiya [Paradoxes of an Unfinished Treatise: On the Publication of a Translation of French Manuscript of Sofia by V. Solovyov]. *Logos*, no 2, pp. 152–170.
- Likhachev D. (2006) *Vospominaniya. Razdum’ya. Raboty raznyh let. T. 2* [Memories, Thoughts, Works of Different Years, Vol. 2], Saint Petersburg: ARS.
- Milyugina E., Stroganov M. (2013) *Russkaya kul’tura v zerkale puteshestvij* [Russian Culture in the Mirror of Travel], Tver: Tver State University.
- Novikova L., Sizemskaya I. (1996) Paradigma russkoj filosofii istorii [The Paradigm of the Russian Philosophy of History]. *Ocherk russkoj filosofii istorii* [An Essay on Russian Philosophy of History], Moscow: Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, pp. 3–107.
- Pecherskaya T., Konstantinova N. (eds.) (2016) *Russkij travelog XVIII–XX vekov: marshruty, toposy, zhanry i narrativy* [Russian Travelogue of the 18th–20th Centuries: Routes, Topoi, Genres and Narratives], Novosibirsk: NSPU.
- Polonsky A. (2015) Travelog i ego mesto v sovremennoj zhurnalistike. [Travelogue and Its Place in Modern Journalism]. *Vestnik TVSU. Philology*, no 1, pp. 207–215.
- Panarin A., Novikova L., Kara-Murza A., Diligensky G., Kulpin E., Perlamutrov V., Korolev S., Pantin I. (1994) Risk istoricheskogo vybora v Rossii (materialy kruglogo stola) [Risk of the Historical Choice in Russia (Materials of the Round Table)]. *Voprosy Filosofii*, no 5, pp. 3–26.
- Rusakov V., Rusakova O. (2014) Metodologiya diskurs-issledovaniya traveloga [Methodology of Discourse Studies of Travelogue]. *Discourse PI*, no 4, pp. 14–20.
- Smith O. (2013) K sovremennym diskussiyam o specifike i razvitii russkoj filosofskoj tradicii [On the Modern Discussions about the Specifics and Development of the Russian Philosophical Tradition]. *Solov’evskie issledovaniya*, issue 1, pp. 168–178.
- Schenle A. (2004) *Podlinnost’ i vymysel v avtorskom samosoznanii russkoj literatury puteshestvij. 1790–1840* [Authenticity and Fiction in the Author’s Self-consciousness of Russian Travel Literature, 1790–1840], Saint Petersburg: Academic Project.

- Shpak G. (2016) Travelog: poisk universal'noj definicii: chetyre strategii reprezentacii prostranstva [Travelogue: The Search for a Universal Definition: Four Strategies for Space Representation]. *Prepodavatel XXI vek*, no 2–3, pp. 261–277.
- Sorochan A. (2011) Tuda i obratno: novye issledovaniya literatury puteshestvij i metodologiya gumanitarnoj nauki [Back and Forth: New Studies of Travel Literature and Methodology of Humanitarian Science]. *New Literary Observer*, no 6, pp. 379–402.
- Zhukova O. (2012) Filosofiya v publicnom prostranstve [Philosophy in the Public Space]. *Philosophical Sciences*, no 7, pp. 140–145.
- Zhukova O. (2017) Filosofiya russkoj kul'tury: metafizicheskaya perspektiva cheloveka i istorii [Philosophy of Russian Culture: Metaphysical Perspective of Man and History], Moscow: Soglasie.
- Zhukova O. (2018) The Locus of Creativity: Alexei Kara-Murza and His Intellectual Topography of Russian History. *Russian Studies in Philosophy*, vol. 56, no 2, pp. 73–87.
- Zhukova O. (2019) *Opyt o russkoj kul'ture: filosofiya istorii, literatury i iskusstva* [An Essay on Russian Culture: Philosophy of History, Literature and Art], Moscow: Soglasie.

«Перед революцией»: историографический ревизионизм и проблема События

МИЛЛЕР А. И., СОЛОВЬЕВ К. А. (РЕД.). (2021). РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ МЕЖДУ РЕФОРМАМИ И РЕВОЛЮЦИЯМИ, 1906–1916. М.: КВАДРИГА. 789 С. ISBN 978-5-91791-383-4

Игорь Кобылин

Доцент кафедры социально-гуманитарных наук,
Приволжский исследовательский медицинский университет
Старший научный сотрудник, Научно-исследовательская лаборатория
историко-культурных исследований, Школа актуальных гуманитарных исследований,
Институт общественных наук, Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Адрес: пл. Минина и Пожарского, д. 10/1, г. Нижний Новгород, Российская Федерация 603005
E-mail: kigor55@mail.ru

Уже название вводной статьи — «Российская империя между реформами и революциями — историографическая инерция и необходимость ревизионистского подхода», — написанной соредакторами рецензируемой коллективной монографии А. И. Миллером и К. А. Соловьевым, недвусмысленно говорит о главной задаче книги. Действительно, большинство глав этой объемной, чрезвычайно насыщенной и скрупулезной работы посвящены более или менее радикальному *пересмотру* устоявшихся историографических подходов к последнему десятилетию существования империи, завершившемуся революционными событиями 1917 года и крахом «старого порядка». В первую очередь ревизии подверглось представление о «закономерности» (если не «неизбежности») революции, характерное прежде всего для советской историографии. Тем самым книга вписывается вроде бы в общий тренд «контрреволюционной» ревизионистской литературы — в диапазоне от уже имеющего собственную историю перепрочтения событий и итогов Великой французской революции в духе Алена Коббэна и Франсуа Фюре до относительно недавних исследований в области истории науки, ставящих под сомнение «революционность» нововременной научной революции¹.

Однако внешнее сходство оказывается обманчивым: ревизионизм ревизионизму рознь. Стандартная ревизионистская стратегия направлена, как правило, на то, чтобы лишить событие революции его травматической «событийности» — нет, никакого разрыва с прошлым на самом деле не произошло, и речь — если не

1. «Наше понимание науки XVII века за последние годы сильно изменилось, и уже нельзя пользоваться термином „научная революция“ так же беспрепятственно, как и прежде. <...> Многие историки в наши дни не считают, что было какое-то отдельное обособленное событие, которому отводится конкретное время и место, и что его характеристики — характеристики единой революции» (Депар П., Шейтин С. [2015]. Научная революция как событие / Пер. с англ. А. Маркова. М.: НЛО. С. 318).

слишком доверять пафосным декларациям действующих лиц — должна идти не о Событии, а о событиях, каждое из которых контекстуально обусловлено.

Хорошей иллюстрацией здесь может послужить популярная книга Д. Ю. Бовыкина и А. В. Чудинова «Французская революция» (2020), подытоживающая поздний вклад российской исторической науки в ревизионистскую историографию падения *ancien régime*. Революция тут не просто не является закономерной и необходимой — она «рассеивается» как таковая, теряет свое сущностное ядро, распадаясь на серии относительно небольших сдвигов и мутаций. И никак нельзя определить, какой именно сдвиг оказался роковым. Вместо глобальных причин глобального исторического взрыва — последовательность точек бифуркации, «развилок», где совокупность неверных, по мнению авторов, решений приводит к углублению имеющихся конфликтов и общей эскалации насилия. Если бы аристократия была чуть более политически дальновидной и не противодействовала бы налоговой реформе, если бы юный Людовик XVI не отменил реформу Мопу, если бы Филипп Орлеанский и его масонское окружение менее активно влияли на общественное мнение через посредство продажных памфлетистов, если бы уже не очень юный Людовик не отвел войска из Парижа после «взятия Бастилии» и не принял бы во время посещения Ратуши от членов Постоянного комитета красную голубую кокарду, добавив к ней королевский белый цвет, если бы... — и так далее: вся история в книге строится как переход от одной «развилки» к другой. Революция как великий водораздел между феодальным абсолютизмом и демократической (и капиталистической) современностью — это не более чем символический, если не мифологический, конструкт: «...Хотя Революция зачастую воспринимается как радикальный разрыв с прошлым, она по многим направлениям продолжала, углубляла и даже усугубляла то, что было характерно для Старого порядка»².

Здесь не ставится вопрос, насколько продуктивен такой подход к истории Революции 1789 года — эта проблема требует отдельного большого обсуждения. В рамках же нашего разговора важно зафиксировать принципиальное отличие ревизионистского хода Бовыкина и Чудинова от того, что был предпринят авторами «Российской империи...». Чтобы «отвязать» изучаемый период от уже известного нам, но еще не известного жившим тогда людям катастрофического финала и тем самым попробовать посмотреть на исторический отрезок между 1905 годом и 1917-м вне привычной «телеологической» оптики, они вообще вынесли событие революции за пределы рассмотрения. «Предреволюционное» время перестало быть таковым в концептуальном смысле — теперь это не более чем хронологическая метка. Вместо «объективных тенденций», неотвратимо ведущих — несмотря на обреченное сопротивление господствующих классов — к революционной ситуации, историки сталкиваются со сложно структурированным «открытым целым» позднеимперской реальности, где переплеталось множество противоречивых «тенденций», предполагавших самые разные сценарии будущего.

2. Бовыкин Д., Чудинов А. (2020). Французская революция. М.: Альпина нон-фикшн. С. 436.

Понятно, что у редакторов/авторов монографии есть и собственные политико-идеологические ставки — критика откровенно ангажированных нарративов советского или, напротив, (бело)эмигрантского лагеря не избавляет от необходимости политического оценивания обнаружившихся в дореволюционном прошлом альтернатив. Открыто политическая позиция авторов не формулируется — это, наверное, и не нужно для сугубо научной работы — но некоторая общая политическая ориентация тем не менее прослеживается довольно четко. Это ориентация на неревolutionную модернизацию экономики и, соответственно, постепенную, эволюционную модернизацию общественных и политических отношений. И неудивительно, что особый интерес здесь вызывает фигура Столыпина — Миллер и Соловьев так, например, описывают его модернизационные усилия: «Они [стольпинские преобразования. — И. К.] — вопреки интеллектуальной традиции, привычкам мыслящей публики — вовлекали в модернизационные процессы большинство населения, придавая тем самым развитию новое ускорение. <...> Самый важный аспект стольпинской аграрной реформы — не землеустройство, не деятельность Крестьянского банка, не переселенческая политика... а возможность выбора, впервые предоставленная крестьянину» (с. 13–14).

Безусловно, у каждого из двадцати авторов — свой, отличный от других, взгляд на эту модернизацию, но в общем и целом «антиреволюционный консенсус» наличен: по отношению к революции здесь так часто употребляется термин «катастрофа», что никаких сомнений в авторской оценке этого события не остается³. При этом устанавливается своего рода констелляция между дореволюционным прошлым и актуальным «неревolutionным» настоящим. Со времен Вальтера Беньямина мы привыкли именно к революционным «схождениям времен» и «тигриным прыжкам в прошлое». Здесь же — если с некоторой долей условности реконструировать интенцию авторов — мы сталкиваемся с инверсией беняминовских тезисов: когда история долгое время существует в турбулентном режиме мессианской эскалации, особой ценностью наделяются (краткие) моменты, таящие возможность мирной эволюции внутри «пустого и гомогенного времени».

Конечно, можно спорить с такой установкой в целом или не соглашаться с отдельными положениями, но нельзя не признать ее правомочность. Однако и «композиционное» решение вынести революцию за скобки, и подчеркивание ее «катастрофичности» вкупе с «роковым» характером последствий производит странный эффект, едва ли планировавшийся авторами. Революция здесь не только не «рассеивается», но, напротив, «собирается» в Событие с большой буквы, в Событие «незаконное», немотивированное, неконтекстуализируемое, иными словами — в Событие *par excellence*. Но обо всем по порядку.

«Российская империя...» состоит из уже упоминавшегося введения и четырех больших разделов — «Политическая сфера», «Национальный вопрос», «Армия»

3. Конечно, революция объективно была катастрофой для Российской империи как государства, но слово «катастрофа» обладает настолько мощной экспрессивной силой, что его частое употребление как бы наделяет «катастрофичностью» революцию в принципе.

и «Наука, техника, экономика»⁴. Таким образом, масштабному историографическому пересмотру подверглись практически все аспекты жизни Российской империи, и результаты этого пересмотра действительно позволяют нам по-новому взглянуть на ее последнюю декаду.

Так, А. И. Миллер в статье «Национальный вопрос в империи Романовых после 1905 г. — методологические проблемы», открывающей соответствующий — «национальный» — раздел, ставит под сомнение привычное противопоставление наций-государств империям. Отталкиваясь от пионерской работы немецкого историка Юргена Остерхаммеля «Трансформация мира»⁵, убедительно показавшего, что в XIX веке национализирующиеся государства на окраинах одних — разваливающихся — империй развивались под опекой других — куда более могущественных, Миллер настаивает на том, что у России, несмотря на все трудности, была возможность сочетать имперский рост и национальное строительство. Причем это было бы движением в русле «доминирующей тенденции предвоенной Европы». В деле построения большой имперской нации Россия «несколько запаздывает... и не всегда столь же настойчива в этой политике, как Франция, Германия или, например, Венгрия после 1867 г. Однако в число „двоечников“ в классе строителей имперских наций Россия точно не входила» (с. 253).

В разделе, посвященном армии, особое внимание привлекает статья В. В. Лапина «Армия и флот России в 1906–1916 гг. Был ли развал вооруженных сил империи в 1917 г. заложен в предреволюционные годы?». Вопреки расхожему мнению Лапин доказывает, что не «брожения» в армии и проблемы на фронте привели к падению государства, а, напротив, «сначала рухнула политическая система, шатанию подверглись „устой государства“, и уже затем армия и флот перестали существовать как дееспособная машина организованного насилия, но перед этим они уже более года не были „царскими“» (с. 348).

Материалы раздела «Наука, техника, экономика» неоспоримо свидетельствуют о мощном экономическом росте империи. Согласно исследованию М. А. Давыдова, аграрная реформа Столыпина подорвала архаический патернализм крестьянского мира и открыла все возможности для мирного и одновременно чрезвычайно быстрого экономического развития «аграрного сектора», развития, основанного на массовой частной собственности крестьян и строго правовых форм регуляции отношений между ними. Эта реформа недвусмысленно показывает «возросший класс правительственной деятельности» (с. 451). Д. Л. Сапрыкин, написавший для монографии две обстоятельные статьи о российской промышленности, приходит к выводу, что промышленное развитие России вполне сопоставимо с аналогичным развитием Британии и Германии. Сталинский тезис о «полукOLONIALной»

4. Кроме того, поскольку монография представляет собой итоговый результат конференции, проходившей в Европейском университете в Санкт-Петербурге в мае 2017 года, в книгу включены и расшифровки секционных дискуссий.

5. *Osterhammel J.* (2014). *The Transformation of the World: A Global History of the Nineteenth Century*. Princeton: Princeton University Press.

зависимости дореволюционной экономики от западного капитала и, соответственно, об «иностранном засилье» в ней — не более чем идеологический миф, призванный подчеркнуть успехи советской индустриализации. Важно, что промышленные достижения империи стали возможны благодаря широкой — и постоянно развивавшейся — научно-технологической сети. «Трансфер технологий» шел в обе стороны — да, российские предприятия довольно часто приобретали патенты и оборудование (или даже инженерно-технические услуги) у таких крупных компаний, как Vickers, Krupp, Schneider; но был и обратный процесс: российские специалисты — и это тоже далеко не единичные случаи — в свою очередь оказывали технологические услуги ведущим зарубежным компаниям. Сапрыкин так резюмирует свои исследования: «Российская империя на протяжении по крайней мере двухсот лет (с XVIII в.) обладала одной из крупнейших в мире промышленных систем. Русская инженерная школа также была одной из старейших и сильнейших в мире. Наконец, сеть прикладных и промышленных исследований в Российской империи возникла раньше, чем в большинстве других стран, и была одной из наиболее крупных и активных в мире» (с. 485). В общем, судя по всему, короткое затишье между двумя революциями действительно оказывается эпохой расцвета — и полноценная банковская система успела сложиться к 1914 году (С. А. Саломатина), и медицина, несмотря на все проблемы с организацией здравоохранения (особенно в деревне), соответствовала мировому уровню (А. В. Мазаник), и географическая мобильность благодаря второму железнодорожному буму (1890–1907 гг.) возросла многократно (Ф. Б. Шенк).

Отдельно — и несколько более подробно — стоит рассмотреть раздел «Политическая сфера»: обычно именно политическая событийность и идеологические противостояния являются предметом особенно острых общественных дискуссий — а сегодня споры (о) «красных» и «белых» не только не утихают, но становятся, кажется, все более ожесточенными. Раздел открывают две статьи К. А. Соловьева, посвященные различным аспектам работы представительных учреждений и их взаимодействию с правительством. В первой из них Соловьев делает важное методологическое уточнение — вынесение за скобки революции 1917 года и всей последующей истории не должно означать для историка полного забвения ни того, ни другого. Изучая общественно-политические дискуссии 1905–1917 годов, нужно избежать соблазна принять в них участие, пользуясь бывшими тогда в ходу категориями и аргументами. От привилегии знания «того, что было после» не стоит отказываться, в то время как от «публицистических клише» эпохи отказаться не только можно, но и нужно — как бы ни хотелось «вжиться» в изучаемый период, аналитическая работа с ним предполагает применение и современного интеллектуального инструментария.

Более того, часто нынешние споры, продолжающие полемические схватки вековой давности, исходят, по определению Соловьева, из «ложной посылки». Так, например, не имеет смысла спорить о том, можно ли считать Россию после революции 1905 года конституционной монархией или нельзя — этот вопрос не за-

висит от личных вкусов и оценок. Статья 86 Основных государственных законов 23 апреля 1906 года недвусмысленно ограничивала власть императора, превращая тем самым Россию в самую настоящую конституционную монархию. Да, полномочий у Государственной думы было меньше, чем у парламентов Британии или Франции, но это отнюдь не делало ее чистой декорацией, лишь маскирующей самодержавный характер императорской власти. Российская конституционная модель, напоминая немецкую, была вполне жизнеспособна. Хотя император оставался подлинным сувереном, то есть мог выходить за границы права, накладывая вето на любой законодательный акт, прибегать к применению чрезвычайного-указного права, в реальности «нормой... оказывалось следование рутинным правилам законотворчества, подразумевавшим непосредственное участие представителей учреждений» (с. 25).

Описывая сложные взаимодействия между Государственной думой, Государственным советом, правительством и императором, Соловьев ставит под сомнение целый ряд устоявшихся представлений о работе этих инстанций власти. Так, вопреки распространенному мнению Государственный совет, состоявший из весьма компетентных чиновников и потому являвшийся квалифицированным экспертным сообществом, не был «агентом» правительства, призванным всячески тормозить работу Думы. Будучи, как пишет Соловьев, «трудным партнером» и для правительства, и для Думы, он довольно часто соглашался с законодательными инициативами последней.

Дума, несмотря на ограниченную сферу компетенции, была, с одной стороны, хорошей школой публичной политики, а с другой — важной площадкой для межпартийного сотрудничества в конкретной законотворческой деятельности. Причем обе эти — по видимости, противоположные — стороны были равно необходимы для становления в России нормальной парламентской политической жизни. Политическая риторика, приемы аргументативной полемики, ораторские уловки отрабатывались на пленарных заседаниях, рассчитанных на внимание журналистов и, соответственно, всей читающей публики. А вот думские комиссии, где требовались хорошее знание конкретных реалий, юридическая и экономическая квалификации, умение договариваться и идти на компромиссы, стали незаменимой платформой для того, чтобы научиться слушать друг друга и принимать консолидированные конструктивные решения: «В ходе комиссионной работы многие политические разногласия между фракциями часто сходили на нет. <...> Даже трудовики, представлявшие крайне левый фланг палаты, демонстрировали способность к конструктивной работе, к диалогу с непримиримыми соперниками, как могло казаться» (с. 34).

Во второй статье Соловьев подробно анализирует выборы, чью роль в формировании коллективных идентичностей подданных трудно переоценить; избирательные кампании и то, что сегодня называлось бы «выборными политическими технологиями». И вновь получившаяся картина довольно далека от привычной. Во-первых, при всех — очень существенных — ограничениях выборных прав,

определенные положениями о выборах (и 1905, и 1907 года) представительство можно считать достаточно демократическим. Соловьев отмечает, например, что нигде в Европе крестьяне не были представлены в законодательных учреждениях в таком большом количестве. Во-вторых, представление о том, что все выборы полностью контролировались властями, необходимо отставить — поначалу правительство вообще пустило избирательный процесс на самотек. Но даже когда стало ясно, что не стоит автоматически полагаться на лояльность крестьянства, предпринятые властями усилия (порой весьма энергичные⁶) оказались явно недостаточными: «...ни в одной из Дум так и не сложилось стабильного проправительственного большинства, зато порой формировалось оппозиционное» (с. 79). Поскольку правительство плохо представляло себе избирателей, а те, в свою очередь (особенно крестьяне), — слабо разбирались в политических процессах и институтах, результаты выборов всегда оставались непредсказуемыми.

К трудным, но мирным электоральным процессам оказались не готовы и партии, в массе своей сформированные на волне революционных событий 1905 года. Партиям посвящены три статьи коллективной монографии: Ф. А. Гайда написал о судьбе либеральных партий, А. А. Иванов — о русских правых, а П. Ю. Савельев — о социалистических партиях. К сожалению, формат рецензии не позволяет проследить все перипетии партийной политики, дотошно проанализированные в этих статьях. В качестве общего вывода, в той или иной степени касающегося большинства партий самых разных направлений, стоит процитировать следующий фрагмент из введения Миллера и Соловьева: «Вопреки многочисленным прогнозам и ожиданиям, революционная волна сошла на нет, а партии остались напоминанием о ней. Политическим объединениям приходилось искать *modus vivendi*. Для большинства из них это было невыносимое испытание... И все же это не было концом политической и даже партийной жизни. Она приняла иные формы. Сокращавшиеся в численности партийные организации, и прежде всего их лидеры, учились прагматизму, умению ставить и решать тактические задачи, искусству сотрудничества с правительственными учреждениями и общественными объединениями» (с. 10). В общем, несмотря на все трудности избирательного процесса и партийных постреволюционных трансформаций, публичная политика и — детально проанализированная в статье А. С. Тумановой — публичная сфера в целом имели в России неплохие перспективы для дальнейшего продуктивного развития.

Наконец, необходимо остановиться на еще одном существенном аспекте политической жизни — аспекте, затронутом в небольшой статье А. А. Тесли «Автоматизация: об одной из тенденций в интеллектуальной жизни последнего десяти-

6. В этом плане особенно показательны «выборные политтехнологии» будущего главы МВД, а на момент описываемых событий нижегородского губернатора Алексея Николаевича Хвостова: «Хвостов назначил выборы на 8 часов утра. При этом накануне дал указание полицмейстеру развести поутру мосты через Оку и занять все лодки до 10 часов утра. Тем самым была изолирована заречная часть Нижнего Новгорода, где преимущественно проживали рабочие. „Напрасно они метались по берегу и звали лодочников. В 10 часов стали появляться лодки, начали наводить мосты. Выборщики бросились в город, но оказалось поздно. Выборы уже были закончены...“» (с. 78).

тилетия Российской империи». Что за автономизация имеется здесь в виду? Тесля показывает, что в исследуемый период происходит зримая дифференциация интеллектуальной жизни: «единство мировоззрения», которому (анти)революционные активисты придавали такое большое значение, перестает быть безусловной ценностью. Определенные политические взгляды больше не находятся в неразрывной связи с якобы единственно соответствующими им философией и взглядами на искусство. «Культурный расцвет Российской империи последних полутора десятилетий ее существования имеет одной из своих сторон возрастание культурной, интеллектуальной сложности — то есть многомерность и одновременно частичную автономию разных сред, возможность взаимодействия между собой по конкретным основаниям (например, общности философских или художественных представлений), не предполагая единства в других» (с. 248). Важно, что здесь подразумевается своего рода «час прочитываемости» этой сложности — не любая эпоха может ее оценить: во времена борьбы полярных мобилизационных идеологий такая «многомерность» истолковывается — с обеих сторон — скорее как «декаданс», «упадок», ну или в лучшем случае — как «отклонение».

В общем и целом вывод из прочитанного очевиден — Россия отнюдь не катилась в «революционную бездну», как бы к этой «бездне» ни относиться — с восторгом или ужасом. Напротив, это была динамически развивающаяся (пусть неравномерно и «асинхронно») страна, где, конечно, ускоренная модернизация порождала новые конфликты, но ни один из этих конфликтов не вел с «железной необходимостью» к революции. Революционные события 1917 года — это плод «рокового» стечения конкретных обстоятельств, а не результат неумолимой работы «крота истории», медленно, но верно готовящего «революционную ситуацию». Наверное, другие историки, профессионально занимающиеся периодом 1905–1917 годов, оспорят какие-то отдельные положения монографии, предложат другие интерпретации изложенных здесь фактов или обнаружат новые архивные документы, которые поменяют наши представления о том или ином историческом эпизоде. «Российская империя...», безусловно, не столько закрывает тему, сколько начинает новый разговор о ней. Но даже если — не будучи специалистом-историком — согласиться с основными выводами монографии, возникает странное ощущение, что этот гимн «России, которую мы потеряли» звучит довольно тревожно. Действительно, поставить под сомнение закономерность революции означает одновременно поставить под сомнение и видимую надежность порядка, который вдруг неожиданно оборачивается революционным хаосом. Ревизионистский жест предполагает симметричный ответ: пробравшаяся на историческую сцену контингентность дестабилизирует ситуацию в целом. В терминах несколько подзабытой за модными разговорами о «нечеловеческих агентах» теории События Алена Бадью это можно описать так — любая, даже самая «надежная» с виду ситуация чревата внезапным образованием «событийного разреза», промельком «невозможной» возможности. И всегда может найтись (неучтенная) политическая сила, которая этой возможностью воспользуется, проявив достаточно упорства в вер-

ности открывшейся перспективе. И тогда событие превратится в Событие, а текущие конфликты — в сверхдетерминированный Конфликт. Неутрачивающая тревога охранителей, равно как и вечная надежда революционеров, более чем оправданы: «ситуация» никогда не станет настолько стабильной, чтобы полностью исключить «событийную» констелляцию обстоятельств. И «Российская империя...» это только подтверждает.

И последнее замечание — хотя последнее оно скорее по порядку изложения, чем по значимости затрагиваемой проблемы. Как и почти во всех случаях, когда в тексте очевидна сознательно устроенная переключка времен — нечто вроде ауэрбаховской «фигуры», связывающей различные исторические события, здесь не только настоящее позволяет заметить в прошлом то, что оно само в себе не замечало, но и наоборот, прошлое существенно проясняет настоящее. Это звучит как банальность, но слишком часто мы не распознаем в текущей политике реакцию — может быть и не всегда до конца осознанную в качестве таковой самим реагирующим — на преподанный историей урок. Поясняя смысл «фигуральной интерпретации», Ауэрбах писал, что она «устанавливает связь между двумя событиями... таким образом, что первое из них означает не только самое себя, но и второе, в то время как второе объемлет и исполняет первое»⁷. И мы видим, как крепнущее убеждение в «незакономерности» всякой революции заставляет нынешнюю власть (помнящую и о своих собственных революционных основаниях) постараться «исполнить» то, что не исполнила когда-то власть царская — как можно быстрее ликвидировать любое — пусть только едва намечившееся — «событийное» пополнение ситуации. Там, где посторонний наблюдатель видит лишь избыточный ответ на вроде бы ничтожный вызов, умудренному историческим опытом взгляду открывается невротичная истина сегодняшнего охранительства — даже незначительная «прореха» чревата катастрофическими последствиями. А поскольку и противоположная — «революционная» — сторона все меньше ссылается на законы истории и делает все большую ставку на счастливый случай, политика, кажется, вновь превращается в азартную игру *virtù* и *fortuna*. И все последствия этого рефлексивного превращения нам еще предстоит оценить.

7. Auerbach E. (1984). *Scenes from the Drama of European Literature*. Minneapolis: University of Minnesota Press. P. 53.

“Before the Revolution”: Historiographic Revisionism and the Problem of Event

Igor Kobylin

PhD, Associate Professor, Department of Social Sciences and Humanities, Privolzhsky Research Medical University (PRMU)

Senior Research Officer, Center for Studies in History and Culture, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Address: Minin and Pozharsky Sq., 10/1, Nizhny Novgorod, Russian Federation 603950

E-mail: kigor55@mail.ru

Book Review: *Alexei Miller, Kirill Solovyev* (eds.) *Rossijskaja imperija mezhdou reformami i revoljucijami, 1906–1916* [The Russian Empire between Reforms and Revolutions, 1906–1916] (Moscow: Kvadriga, 2021) (in Russian).

«Пост» сдал — «пост» принял

ТЕРБОРН Й. (2021). ОТ МАРКСИЗМА К ПОСТМАРКСИЗМУ? / ПЕР. С АНГЛ. Н. АФАНАСОВА ПОД РЕД. А. ПАВЛОВА. М.: ИЗД. ДОМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ. 256 С. ISBN 978-5-7598-2319-3

Эдуард Сафронов

Младший научный сотрудник, Институт философии РАН
Адрес: ул. Гончарная, д. 12, стр. 1, г. Москва, Российская Федерация 109240
E-mail: safronoveduard@gmail.com

Шведский социолог-(пост)марксист Йоран Терборн — знаковая фигура в мировой социологии. Русскоязычному читателю доступны некоторые работы исследователя, хотя у нас они и не получили такой широкой рецепции, как на Западе. Впервые Терборна опубликовали на русском языке еще в Советском Союзе в 1986 году, в переводе «Истории марксизма»¹ — многотомном собрании статей под редакцией британского историка-марксиста Эрика Хобсбаума. В 1999 году текст Терборна, ранее опубликованный в журнале «THESIS»², появился в сборнике «Теория общества»³, а через два года благодаря журналу «Социологическое обозрение» читатели вновь получили возможность ознакомиться с идеями социолога. Символично, что фигура Терборна появилась в первом же номере журнала, вышедшем в 2001 году. Социолог был представлен рефератом его статьи «Начало второго века социологии: времена рефлексивности, пространства идентичности и узлы знания» (который соседствовал с рефератами работ Бруно Латура, Джона Урри, Иммануила Валлерстайна и Ульриха Бека) и переводом статьи Терборна «Мультикультурные общества». Эта его статья вместе с другими важными работами, переведенными «Социологическим обозрением» в дальнейшем, стали частью имевшего большое значение для истории отечественной науки об обществе сборника «Социологическая теория: история, современность, перспективы», выпущенного в 2008 году Центром фундаментальной социологии⁴. Уже позже труд по переводу и публикации монографий автора взял на себя Издательский дом Высшей школы экономики, издав в 2015 году «Мир: руководство для начинающих», в 2020 году «Города власти» и в 2021 году «От марксизма к постмарксизму?». Известность и статус Терборна заметно повлияли на его карьерную траекторию. Шведский со-

1. Амбарцумова Е. А. (ред.). (1986). История марксизма. Т. 4: Марксизм сегодня. Вып. 1. М.: Прогресс.

2. Терборн Г. (1994). Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческая деятельность: объяснение в социологии и социальной науке // THESIS. № 4. С. 97–118.

3. Терборн Г. (1999). Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческое действие: объяснение в социологии и социальной науке // Филиппов А. Ф. (ред.) Теория общества. М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле.

4. Филиппов А. Ф. (ред.). (2008). Социологическая теория: история, современность, перспективы. СПб.: Владимир Даль.

циолог был профессором в нескольких европейских университетах, а в 2006 году его пригласили в Кембридж в качестве руководителя департамента социологии, тем самым он окончательно закрепил свой статус выдающегося современного интеллектуала.

Терборн впервые опубликовал «От марксизма к постмарксизму?» в 2008 году в знаменитом издательстве Verso. Ее основой стали три статьи, опубликованные в различных изданиях на протяжении десяти лет. Каждая из трех глав книги представляет собой отредактированную и дополненную статью (последняя посвящена непосредственно постмарксизму). Это, с одной стороны, показывает, что автор исследовал тему на протяжении долгого времени, но с другой — создает некоторые сложности, мешающие воспринимать книгу как единое целое. В предисловии автор пишет, что работа является попыткой сопоставления левой теории и политики нового тысячелетия с предшествующей эпохой (чему посвящена первая глава) и созданию панорамы современной левой мысли глобального Севера (вторая и третья главы) (с. 28). Уже в предисловии мы сталкиваемся с проблемой, которая сильно усложняет замысел «поместить «левое» в глобальный контекст» (с. 29), и ее проговаривает сам Терборн: в книге нет исследований левой мысли Юга — Китая, Индии, Африки и Южной Америки, не говоря уже о Востоке⁵. Принимая и понимая языковой барьер и ограничения во времени, на которые ссылается автор, мы все же не можем обойти стороной этот недостаток, тем более после ставки самого Терборна на «богатое наследие утонченной левой мысли на Юге, ведь будущее, вероятнее всего, будет определяться именно там» (с. 30).

Первая глава, в которой автор описывает новые параметры глобальной политики, действительно охватывает широкую географию, однако здесь возникает другая проблема, за 12 лет с момента публикации книги в мире кое-что изменилось. Это не значит, что наблюдения Терборна абсолютно нерелевантны, скорее речь о том, что читателю придется самостоятельно применить аналитические инструменты, предложенные автором, чтобы актуализировать его теорию в соответствии с изменившимся миром. Здесь следует четко оговорить то, что имплицитно содержится в сказанном выше, а также в самом названии монографии: эта книга написана радикальным социальным теоретиком. Это не значит, что политически не ангажированный читатель, или читатель диаметрально противоположных политических взглядов не найдет для себя ничего полезного в этой работе. Однако необходимо учитывать, что для Терборна эти размышления важны в первую очередь в вопросе определения траекторий нового политического порядка. Автор пишет, что политическая жизнь разворачивается и сворачивается в глобальном пространстве. И хотя «само пространство ничего не решает: имеют значение только

5. Осмыслению глобального Востока как ряда государств, исключенных на сегодняшний день из мировой академической дискуссии, посвящена значительная часть третьего номера журнала «Социологическое обозрение» за 2020 год. Например, программная статья географа Мартина Мюллера. Подробнее см.: Мюллер М. (2020). Разыскивая Глобальный Восток: мышление между Севером и Югом // Социологическое обозрение. Т. 19. № 3. С. 19–43.

акторы и их действия» (с. 31), но от его характеристик напрямую зависят векторы политического действия.

Поэтому Терборн предлагает и анализирует влияние пространства на ориентацию политических действий с трех точек зрения: социально-экономической, культурной и геополитической. Социально-экономическое влияние складывается из действий государства, рынков и социального структурирования (с. 34). Принимая за отправную точку конец 1970-х годов и двигаясь в сторону сегодняшнего дня, Терборн на конкретных примерах показывает, какие государственные формы остались успешными (в 2008 году), а какие не состоялись, как развивается капитал и откуда растут корни современной рыночной динамики, демонстрирует важные процессы в социальном структурировании. Часть, посвященная геополитике, представляет анализ текущего политического момента, то есть начала 2000-х. Как наименее концептуальные и наиболее описательные, эти части, спустя 20 лет с момента первой публикации (еще в виде статьи), очевидно устарели.

В то же время анализ социальной теории, основные положения которого красной нитью проходят через книгу, по-прежнему можно назвать актуальным. Во многом это работает благодаря тому, что Терборн не сводит исследование к рассмотрению конкретных артефактов и тенденций, а размышляет в широких категориях модернизма, антимодернизма и постмодернизма. Современность или модерн (автор использует оба термина «modernity» и «modern» как синонимы⁶) — важная категория для Терборна. Он соглашается, что на сегодняшний день нельзя дать современности такое определение, которое устроило бы всех. Но для себя и читателей он предлагает понимать модерн как темпоральную характеристику и как культуру, объявляющую «себя современной, в смысле поворота спиной к прошлому — старому, традиционному, *passé* — и направленности в будущее, как к достижимому новому горизонту» (с. 172). Ориентация на будущее, однако, не перечеркивает влияние прошлого. Модернизм, по мнению Терборна, является оптимальным культурным фундаментом для осмысленной критики. Просвещение с его принципом рациональности стало почвой для эффективной левой критической традиции.

Ситуация менялась с конца 1960-х до начала 1980-х. С одной стороны, искусство, в первую очередь архитектура, начало противостоять аскетизму высокого модернизма, с другой — у левых после провала 1968 года осталась лишь усталость. Постмодернизм стал продуктом слияния двух этих тенденций. Для Терборна это важнейшая точка расхождения со многими левыми интеллектуалами. Для него обширный корпус работ по осмыслению постмодерна, неразрывно связанный

6. В книге, как отмечает научный редактор перевода А. В. Павлов, «modernity» и «modern» переведены как «современность» и «модерн» (Павлов А. В. [2021]. Постмарксизм без знака вопроса: радикальная социальная теория Йорана Терборна // Терборн Й. От марксизма к постмарксизму? М.: Изд. дом Высшей школы экономики. С. 13). В последнее время в России термины «modernity» и «modern» все чаще стали переводить как «модерность». О том, почему это не самый удачный вариант перевода, см.: Павлов А. В. (2020). Приключения модернизма в марксизме Маршалла Бермана // Неприкосновенный запас. № 6. С. 241–243.

с левой мыслью (Фредрик Джеймисон, Дэвид Харви, Терри Иглтон, Алекс Калликос, Дуглас Келлнер, Перри Андерсон), — вредное и ложное направление теоретического развития, отнявшее у левых будущее. При этом Терборн не дискутирует с авторами, а скорее постулирует личную точку зрения. Он уделяет некоторое внимание Фредрику Джеймисону, говоря, что его «постмодернизм» не объясняет «поздний капитализм» после 1975 года. При этом «Состояние постмодерна» Дэвида Харви, несмотря на его политэкономическую ориентацию, в книге «От марксизма к постмарксизму?» вообще не упоминается. В этом вряд ли стоит искать злой умысел — видимо, Терборну было достаточно сделать ссылку на одну из самых влиятельных теорий постмодерна Фредрика Джеймисона. Харви же, в частности его книгу «Пространства надежды» (с. 190–191), социолог решил обсудить в контексте нового утопизма. Тем более постмодернизм «закончился» в 2002 году: здесь Терборн ссылается на знаменитую фразу теоретика постмодерна Линды Хатчеон (с. 180).

Концентрация левых исследователей на осмыслении и критике постмодернизма привела к тому, что модернизм, изначально близкий левой идеологии, извратили и присвоили неолбералы (с. 178). Он перестал быть синонимом будущей человеческой эмансипации, а стал синонимом эмансипации капитала от регулирования, ограничений и социальных обязательств. При этом в силу своей максимально несправедливой природы правый модернизм постоянно сталкивается с антимодернистской реакцией. С одной стороны, это критика «прогресса» и «роста». «Прогресс» попадает под удар со стороны защитников традиционных форм существования малых фермеров, ремесленников, племенных сообществ, урбанистическая критика концентрируется на защите городских пространств от коммерческой и промышленной застройки, которые также критикуются экологами, как и влияние постоянного «роста» на окружающую среду. А с другой — недовольство «рационализмом» и секуляризмом, которое выражается в подъеме религиозного фундаментализма в Индии и на Ближнем Востоке. Все эти реакции, по мнению Терборна, во-первых, иллюстрируют внутренний кризис правого модернизма, а во-вторых, указывают на пространство для активной левой политики. Но Терборн не ставит своей первостепенной задачей возврат левым модернистского нарратива, а указывает на то, что преодолением кризиса, вызванного постмодернизмом и правым модернизмом, станет поиск новых вариантов современности⁷. И здесь мы можем оправдать заголовок этой рецензии: Терборн отказывается от одного «пост» (постмодернизм), чтобы обратиться к другому «пост» (постмарксизм).

«Левые находятся в оборонительной позиции» (с. 99), — именно так Терборн резюмирует описание глобального политического пространства. Однако изменения, произошедшие после XX века, позволяют по-новому взглянуть на появляющиеся экономические и политические возможности. Ключом для этого должен

7. Павлов. Постмарксизм без знака вопроса. С. 12–14.

послужить транссоциализм как «перспектива социальных изменений, которые выходят за рамки стратегий и исторических институций социализма, за рамки фиксации внимания на рабочем классе и повестке рабочего движения, за рамки осмысления частной собственности и широкомасштабного коллективного планирования производства» (с. 103). Это позитивный левый проект, который, по мнению Терборна, «сохраняет фундаментальную марксистскую идею о том, что освобождение людей от эксплуатации, угнетения, дискриминации и неизбежной связи между привилегиями и страданиями может произойти только в результате восстания самих эксплуатируемых и обделенных» (с. 104). Что касается целей, то он должен в первую очередь сосредоточиться на социальной диалектике противоречий капитализма, например на классовом конфликте, который по-прежнему актуален, так как рост капитализма усиливает рабочий класс и позволяет ему добиваться новых уступок со стороны капитала (с. 104). Во вторую — на диалектике коллективной идентичности угнетаемых или дискриминируемых этнических групп. Если первые два пункта можно назвать ортодоксальными для марксизма, то в третьем Терборн уже предлагает обратить внимание на моральный дискурс прав человека. Четвертым в списке стоит ориентация на универсальное удовольствие, в частности, на необходимость вновь обозначить марксистскую досуговую и гедонистическую составляющую, тем самым уйдя от «революционного аскетизма». Этим Терборн закрывает первую задачу сопоставления левой политической практики и теории XX и XXI веков и переходит ко второй — панорамированию современной левой мысли и ее истоков.

Во второй главе Терборн проводит линию преемственности между критической традицией Франкфуртской школы и современным «постмарксистским» состоянием. Марксизм для Терборна всегда вскрывал диалектику современности. С одной стороны, марксизм критиковал эксплуатационную составляющую, а с другой — защищал эмансипаторную. Критическая его ориентация на протяжении XX века привела к кризису, но также дала инструменты сегодняшним социальным исследователям. Терборн спорит с историком-марксистом Перри Андерсоном, пытаясь опровергнуть взгляд последнего на «западный марксизм». У Андерсона «западный марксизм» был сосредоточен на проблематике эпистемологии и эстетики, а кроме того, был пропитан пессимизмом и излишней философичностью. Предлагая свой взгляд на марксизм в XX веке, Терборн пишет о социологическом содержании поздних работ Адорно, Хоркхаймера, Хабермаса, Сартра и других. При этом он указывает на то, что Андерсон ретроспективно создает некий канон, не рассматривая исследователей, которые не могут в него вписаться. И хотя Андерсон признает теоретические достижения и новации «западного марксизма», это для него все-таки пример и демонстрация того, что происходит с теорией в случае ее «отрыва от народа» и политико-экономических вопросов. Терборн же считает важным продемонстрировать, что «западный марксизм», по Андерсону, хоть и был наиболее заметным течением в свое время, но все же не был единственным, и масштаб его был куда шире, чем в описании британского историка. Кроме того,

там, где у Андерсона мы находим «выяснение отношений с этой традицией (как изучение ее, так и полный разрыв с ней)»⁸, у Терборна — исключительно преемственность и признание заслуг. «Западный марксизм» не только легитимировал марксизм в целом своей академичностью, избавив его от шлейфа маргинальности, но и смог освободить его от строгой привязки к эмпирической науке и политике, оставив креативность и бесконечные возможности в анализе проблем, тем самым дав ключ к возможному преодолению кризиса современных левых.

Третья глава, наконец, знакомит нас с тем, что сам Терборн понимает под «постмарксизмом». Он пишет: «Термин „постмарксизм“ здесь употребляется в широком смысле в отношении писателей с эксплицитно марксистским бэкграундом, недавние работы которых вышли за пределы марксистской проблематики и которые публично не афишируют приверженность марксизму» (с. 224). Несмотря на то что «постмарксизм» вынесен в заглавие книги, Терборна мало заботит более точное прояснение понятия или история этого течения левой мысли. Постмарксизм для автора — далеко не единственная категория, описывающая мысль современных левых интеллектуалов. Она, наравне с неомарксизмом, «гибкими левыми», постсоциализмом и другими эпитетами, является скорее динамичной описательной рамкой, при этом конкретный исследователь или мыслитель может быть отнесен сразу к нескольким позициям. Сам по себе «постмарксизм» не является оригинальным термином, предложенным Терборном. Впервые дискуссия по его поводу возникла в конце 1980-х, после публикации книги «Гегемония и социалистическая стратегия»⁹ Эрнесто Лаклау и Шанталь Муфф, в которой они представили свой проект преодоления кризиса марксизма, обозначив его как «постмарксистский». Книга вызвала широкий резонанс, британский политолог-марксист Норман Герас написал в *New Left Review* рецензию, в которой обвинил авторов в «мракобесии», «отсутствии скромности» и пришел к выводу, что если постмарксизм и существует, то в вакууме, а «Гегемония и социалистическая стратегия» — единственный труд в этой «интеллектуальной» традиции¹⁰. Лаклау и Муфф ответили ему там же спустя несколько номеров, объявив его статью доносом в форме памфлета¹¹. В дальнейшем к дискуссии подключился более сдержанный, но также критически настроенный греческий социолог Никос Музелис, в итоге превративший свою статью в главу одноименной книги¹². Так постмарксизм, несмотря на неприятие «ортодоксальным» крылом, занял свое место в левом дискурсе.

Вскоре, как и любое другое обозначение с приставкой «пост», «постмарксизм» стал пониматься в максимально широком контексте. В 2000 году вышла книга британского социального теоретика Стюарта Сима «Постмарксизм. Интеллек-

8. Андерсон П. (2016). Размышления о западном марксизме: на путях исторического материализма. М.: Common place. С. 133.

9. Laclau E., Mouffe C. (2014). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London; New York: Verso.

10. Geras N. (1987). Post-Marxism? // *New Left Review*. № 163. P. 40–82.

11. Laclau E., Mouffe C. (1987). Post-Marxism Without Apologies // *New Left Review*. № 166. P. 79–106.

12. Mouzelis N. P. (1990). *Post-Marxist Alternatives*. London: Palgrave Macmillan.

туальная история», в которой автор приравнивает постмарксизм к традиции скептического отношения к марксизму внутри самой теории и описывает его как полноценную интеллектуальную традицию, имеющую свои истоки и свою, идущую еще от Розы Люксембург генеалогию¹³. В 2006 году выходит книга «Ключевые мыслители от критической теории до постмарксизма», в которой политологи Саймон Торми и Жюль Тауншенд раскритиковали подход Сима, предложив рассматривать постмарксизм как реакцию на кризис, в котором очутился как «западный», так и «восточный» марксизм после 1968 года¹⁴. Йоран Терборн объединил оба подхода, показав, что в истоках постмарксизма лежит критическая теория Франкфуртской школы, но при этом реакция на кризис объединила многих авторов, окончательно утвердив это течение левой мысли. Как уже отмечалось, постмарксизм сам по себе мало интересует Терборна, его задача — показать, что левая мысль, несмотря на кризис, вызванный событиями после 1968 года, по-прежнему жива и способна адаптироваться к меняющимся условиям. Пусть она далеко не так эффективна и влиятельна, как раньше, но постмарксизм, неомарксизм, постсоциализм и другие ответвления радикальной социальной теории в начале XXI века сохраняют интеллектуальную преемственность с традицией и критический потенциал.

Кроме размышлений о постмарксизме в третьей главе Терборн показывает, что привело левых к текущей ситуации, размышляет о назначении социальной теории и картографирует состояние, в котором левая мысль оказалась к началу XXI века. Он выделяет ряд тем, в разработке которых левые продвинулись далеко вперед, например: европейский теологический поворот, американский левый футуризм, исследования сексуальности, политическая экономия. Большая часть главы посвящена именно презентации современной левой мысли. Терборн берет проблему и демонстрирует, как конкретные авторы над ней работают, коротко резюмируя содержание их основных текстов. Таким же образом он обходится и с «репертуаром позиций» сегодняшних левых. В заключительном параграфе автор подводит итоги, говоря о том, что (хотя кризис все еще не преодолен) левая мысль по-прежнему обладает потенциалом и объяснительной силой. При этом в качестве интеллектуальной позиции Терборн предлагает «дерзкое смирение» перед капиталом (с. 242).

Работу Терборна, несмотря на заглавие, вряд ли можно с полным правом назвать книгой о постмарксизме¹⁵. Как он сам признается: «Это взгляды человека из поколения 1960-х годов, который пишет о своих современниках, о своих товарищах или о бывших товарищах» (с. 240). Она скорее о потенциале марксизма

13. *Sim S.* (2000). *Post-Marxism: An Intellectual History*. London: Routledge.

14. *Torney S., Townshend J.* (2006). *Key Thinkers from Critical Theory to Post-Marxism*. London: SAGE Publications.

15. Более подробный анализ термина и работ автор, описываемых этим термином смотрите: *Павлов А. В.* (2021). Постмарксизм в социологии. Часть I // Социологические исследования. № 4. С. 74–84; *Павлов А. В.* (2021). Постмарксизм в социологии. Часть II // Социологические исследования. № 5. С. 129–138.

адаптироваться к быстро меняющимся условиям и о его способности пересобрать себя для обсуждения, а возможно, и решения проблем современности. Ключевые недостатки своей работы Терборн неоднократно отмечает сам: это чрезмерная концентрация на проблемах Севера, в частности условного «Запада», в сочетании с невозможностью в полной мере показать интеллектуальные достижения даже столь узкого сегмента левой мысли.

И все же третья глава дает читателю возможность ознакомиться с достаточно широким кругом исследовательских проблем и интеллектуальных течений современных левых. Попытка запечатлеть процесс в динамике всегда частично обречена на провал. Однако задача Терборна — не столько показать состояние дел в конкретный момент, сколько эксплицитно познакомить читателя с теми инструментами, которые позволят провести подобную операцию в любое время. И с этой задачей выдающийся социолог отлично справляется.

Поскольку книга стала наконец доступна на русском языке, в заключение скажем несколько слов про сам перевод. Даже если стилистические приемы автора кому-то покажутся не всегда удачными, эта проблема лежит, скорее, на совести самого Терборна, питающего страсть к тяжелым сложносочиненным конструкциям. Так что переводчику и редактору было определено непросто работать с текстом. В книге выверена вся терминология, а также упоминаемые Терборном источники. Более того, русское издание выгодно отличается от оригинала тем, что переводчик и научный редактор взяли на себя труд подготовить библиографию. Это должно помочь всем желающим освоить пока еще не слишком известную у нас проблематику постмарксизма, даже если в тексте Йорана Терборна мы не найдем всех ответов на интересующие нас вопросы.

From Postmodernism to Post-Marxism

Eduard Safronov

Junior Research Fellow, Department of Social Philosophy, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences

Address: Goncharnaya str., 12/1, Moscow, Russian Federation 109240

E-mail: safronoveduard@gmail.com

Book Review: *Göran Therborn*, *Ot marksizma k postmarksizmu?* [From Marxism to Post-Marxism?] (Moscow: HSE, 2021) (in Russian).

Как вывести человечество из зоны комфорта

KOLOZOVA K. (2020). CAPITALISM'S HOLOCAUST OF ANIMALS: A NON-MARXIST CRITIQUE OF CAPITAL, PHILOSOPHY AND PATRIARCHY. LONDON: BLOOMSBURY ACADEMIC. 166 P. ISBN 978-1-3501-0968-1

Максим Мирошниченко

Кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры биоэтики и международного медицинского права ЮНЕСКО, международный факультет, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова
Адрес: ул. Островитянова, д. 1, Москва, Российская Федерация 117997
E-mail: jaberwokky@gmail.com

If you ever get close to a human and human behaviour
Be ready, be ready to get confused and me and my here
after
There's definitely, definitely, definitely no logic to hu-
man behavior
But yet so, yet so irresistible and me and my fear can
And there is no map uncertain

Björk. Human Behaviour

Что может быть страшнее, чем циничное истребление животных в угоду человеческим потребностям? Этот скорее риторический вопрос не вменяет комплекс вины «привилегированному белому человеку», недавно в очередной «закэнселенному» экоактивисткой Гретой Тунберг. Скорее он возводит вопрошание к неуловимому событию, учреждающему социальность. Чтобы общество возникло, требуется жертва. А как считает профессор Института социально-гуманитарных наук Скопье Катерина Колозова в своей новой книге «Капиталистический холокост животных», этой неизбежной жертвой оказывается *животное*.

Содержание книги решительно отмечает предположения читателя о том, что кроется под провокационным названием и недвусмысленным изображением на обложке (конвейер птицефабрики). Читатель мог бы предположить, что перед ним — работа в русле постструктуралистских *animal studies* с разоблачением антропоцентризма и собственнического отношения человека к природе. Или что автор работы — активист-экозащитник, под видом актуальной теории продвигающий эссенциалистскую нью-эйдж-повестку «первозданной природы».

В каком-то смысле можно сказать, что книга говорит и об этом, если читатель хочет отыскать в ней чеканные тезисы о том, что нам следует делать с несправедливым отношением к «братьям нашим меньшим» (равно как и с уничижительным посылом такого наименования животных). Но в то же время интонация, взятая этой книгой, совсем иная. В ней не найти ни подробных описаний животноводческой индустрии, ни ужасов пищевой промышленности, ни тем более отождествления концлагерных узников и животных, идущих на убой в роли Других. Вместо

этого читатель обнаруживает работу, посвященную тщательному разбору философии как *Решения* о мире. Если быть более точным, Колозова пытается понять, почему философия нуждается в незаметной для нее «подпорке» в виде некоего имманентного Другого, которому можно было бы противопоставить ее концептуальные выкладки, и каким мог бы быть выход из этой ситуации.

Коперниканские клоны неприрученного Реального

Философия как парадигма теоретического мышления — это первая техника «одомашнивания» реальности, приведения ее к соразмерной человеку данности. Но создавая «одомашненный» мир, символическую «зону комфорта» для *homo sapiens*, философия производит избыточное онтологическое удвоение, надеясь на «податливость» реальности, удобно подстраивающейся под категории человеческого разума. Таким образом, она исходит из неустранимой двойственности любого акта познания: в точке соприкосновения «субъекта» и «мира» запускаются процессы обработки «объективных» чувственных данных «субъективным» аппаратом. Метафора переработки неупорядоченных ощущений в согласованный и логичный образ мира встречается в философии со времен Канта вплоть до лингвистического поворота и нейрокогнитивных исследований.

Порождающее философию Решение не является политически нейтральным и учреждает логику, воспроизводящую неравенство, иерархию, вражду и эксплуатацию. Собственно, именно этот *философский децизионизм* (р. 66) она и разоблачает, заимствуя некоторые аналитические и концептуальные приемы у создателя так называемой «нефилософии» Франсуа Ларюэля. В каком-то смысле можно сказать, что «Капиталистический холокост животных» — это попытка проникнуть в основания социальности и политического общежития, скрестив нефилософию, марксистскую политэкономию и постгуманизм. Стоит отметить, что работы Ларюэля, все еще малознакомые русскоязычному читателю¹, обрели популярность после того, как на них обратили внимание Жиль Делёз и Феликс Гваттари в сочинении «Что такое философия?». В одной из сносок² они подчеркнули, что нефилософия Ларюэля представляет собой одну из наиболее интересных попыток посмотреть на философию со стороны, вне ее собственного видения себя, своих целей и задач, не претендуя при этом на привилегированную метафилософскую позицию, а критикуя ее основополагающие решения. В последние десятилетия Ларюэль неожиданно породил достаточно богатую рецепцию в англоязычной литературе³, в первую очередь благодаря близости своей нигилистической позиции

1. Исключением можно считать выпуск журнала «Синий диван», целиком посвященный работе Ларюэля (Вып. 18: Нефилософия). В нем представлены как переводы фрагментов некоторых его работ, так и тексты отечественных и зарубежных исследователей нефилософии.

2. Делёз Ж., Гваттари Ф. (1998). Что такое философия? СПб.: Алетейя. С. 56.

3. Началом такого рода рецепции можно считать докторскую диссертацию Рэя Брасье, посвященную реконструкции нефилософии в контексте нейрофилософии, критической теории и пессимистического нигилизма: Brassier R. (2001). Alien Theory: The Decline of Materialism in the Name of Matter. PhD

спекулятивному реализму и его претензии переосмыслить «коперниканский переворот», совершенный трансцендентальной философией.

Что же не так с философией? Колозова обращается к понятию *клонирования*, введенному Ларюэлем в качестве иллюстрации работы «Решения». Философия делает своей темой не Реальное как таковое, а его клон, ведь природа безответна к попыткам человека «приручить» ее. Неприятие «конститутивной замкнутости» Реального (р. 61) заставляет мышление изобретать своеобразные техники преодоления этой безответности. Исходя из предпосылки наличия у Реального определенной познаваемой структуры, оно мимикрирует под него при помощи «трансцендентального материала» (понятий или знаков). Все происходящее в мире трактуется как имеющее определенную считываемую логику, которую можно описать и прояснить при помощи естественного языка и «вырастающего» из него категориального аппарата. Колозова часто ссылается на «Логико-философский трактат» Людвига Витгенштейна, который, по ее мнению, верно раскрыл процедуру отображения, масштабирования мира в языке, указав на необходимость выхода из философской концептуализации. Соответственно, философский мир с точки зрения нефилософии является *клоном* реального мира, возведенным в статус «истины бытия», в то время как реальный материальный мир остается глухим к попыткам его осмыслить и описать в философских понятиях (р. 6).

Так в представлении Колозовой выглядит работа философского мышления. Его кульминация — в постулировании субъектом объективного мира (р. 26). Мир неизбежно оказывается соотношенным с субъективным полюсом, изначальной и неизбежной точкой, «из» которой мир как таковой воспринимается. Итак, сколько бы философы ни подчеркивали объективность и независимость мира от субъективного восприятия, само его объективное существование оказывается конститутивно зависимым от восприятости, узнанности субъектом. Другими словами, бинарная оппозиция «субъект/объект» вовлекает обе категории во взаимозависимые отношения, удерживающие определенную асимметрию: мир объективен, но как мир всегда уже осмысленный и понятый он дан субъекту. Потому субъект оказывается мерой всех вещей, и изречение Протагора здесь приобретает особый иронический смысл.

Философия как выговаривание субъекта, или, так сказать, субъективная правда человеческого вида об окружающем его мире, основана на *амфиболии истины*

Thesis, University of Warwick. URL: <https://wrap.warwick.ac.uk/4034/> (дата доступа: 02.06.2021). Помимо этого, можно упомянуть следующие влиятельные работы: Brassier R. (2007). *Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction*. London: Palgrave Macmillan; Galloway A. R. (2014). *Laruelle: Against the Digital*. Minneapolis: University of Minnesota Press; Gangle R. (2013). *Francois Laruelle's Philosophies of Difference: A Critical Introduction and Guide*. Edinburgh: Edinburgh University Press; *Maoilearca J. Ó.* (2015). *All Thoughts are Equal: Laruelle and Nonhuman Philosophy*. Minneapolis: University of Minnesota Press. Помимо этого, опубликовано несколько сборников: Gangle R., Greve J. (eds.). (2017). *Superpositions: Laruelle and the Humanities*. London: Rowman & Littlefield, 2017; Mullarkey J. (ed.). (2012). *Laruelle and Non-Philosophy*. Edinburgh: Edinburgh University Press, а также спецвыпуск журнала «Angelaki» «A City of Heretics: François Laruelle's Non-Philosophy and Its Variants» (Vol. 19. № 2). Стоит также отметить журнал «Oraxiom», целиком посвященный нефилософии: *Oraxiom: A Journal of Non-Philosophy*. Vol. 1. № 1.

и реальности (р. 29–34). Истина, определяемая внутритеоретическими и практическими критериями, не имеет никакого отношения к реальности как таковой. Истина и реальность не коэкстенсивны: «Фантазия об охвате всей сферы реальности познанием и о том, как „истинное“ знание пронзит реальное, объяв и подчинив его своему авторитету вплоть до того, что реальное становится не чем иным, как образом познания, и полностью переносится в план трансценденции, является, как мы знаем, философской тенденцией» (р. 85).

Истина-клон стремится отобразить положение вещей в реальном мире, жертвуя ради этого достоверностью, в то время как мир всегда остается безответным. В философии реальность преобразуется в доступный человеку образ посредством работы «трансцендентального материала». Но как бы философское мышление ни стремилось постигнуть реальность, набрасывая на нее категориальные сети теоретических объяснений, мир остается глух и безответен. Как бы человек ни пытался опосредовать инстинктивный страх перед непознаваемым (р. 45), Реальное остается безразличным к его попыткам себя «приручить». Другими словами, стремление охватить мир мышлением ничего не изменяет в этом мире, и в этом смысле настрой нефилозофии полностью совпадает с таковым одиннадцатого тезиса Карла Маркса о Фейербахе: мы должны менять мир, а не пытаться объяснить его.

Капитализм как философия

Именно этот доведенный до предела критический настрой по отношению к философии Колозова перенимает у Ларюэля. В тексте очень сложно разграничить, где представлены ее собственные рассуждения, а где — пересказ или интерпретация Ларюэля. Ее версия нефилозофии начинается с констатации этой неудовлетворительности — чтобы не сказать *нищеты* — философии. В отличие от своего французского учителя, Колозова намеревается не просто изобличить философию. Ее не интересует и возведение новой метафизики «Всецелости», в которой не было бы места иллюзиям «субъекта» и «мира», рекурсивно порождающим дальнейшие фигурации философии. Ее цель — предложить альтернативную политэкономия, которая не отправлялась бы от жертвоприношения животного как универсального Другого человеческого мышления, чему целиком посвящена заключительная глава книги.

Сам по себе жест прощания с философией никак не нов. По сути, трансформации философского знания в XX–XXI вв. можно трактовать как следствия переосмысления его природы и статуса. От «лингвистической терапии» логического позитивизма и герменевтического дислоцирования как «местоблюстителя и интерпретатора» (Юрген Хабермас) до ее разоблачения как «плохой науки» (Патрисия и Пол Чёрчленды) философия испытывает девальвацию, сопряженную с постепенным ее вытеснением с пьедестала «царицы наук». Но в этот раз на философию возлагается вина за несправедливый социальный порядок, и ее не спасет укрытие в перипетиях добродушного культурно-исторического релятивиз-

ма «постмодернистов». Теперь она не сможет идентифицировать себя как один из множества словарей описания мира и человека в нем. Эту ситуацию не исправит ни реформа, ни покаяние, ни даже революция. «Первородный грех» философии состоит в том, что она основана на вере в мышление, способное узреть смысл и логику в окружающем мире.

Нефилософия разделяет с научным знанием установку на дескриптивность (р. 11). Нефилософия описывает, как мысль/субъект «одомашнивает» Реальное, при этом не стремясь к построению унифицирующей теории (р. 6). Описание генезиса философии производится через *дуализ* — рассмотрение взаимоотношений мысли и реальности не с точки зрения субъекта, а с точки зрения Реального, «в» и «из» которого субъект возникает (р. 5–13). Здесь можно отметить некоторое сходство с позицией Жильбера Симондона⁴, который подчеркивал онтологический примат индивидуации, т. е. становления индивида из материальной среды — который, впрочем, соответствует филогенетическому видению эволюционного становления живых существ в природе.

Таким образом, Реальное, или, проще говоря, физическая природа, становится «материальным ресурсом» для возведения самоподдерживающегося универсума чистого означивания. Чуждая всякому осмыслению природа приобретает в человеческих глазах смысл, с которым можно производить различные манипуляции при помощи знаков. Субъективная перспектива как структурная константа философии преобразует реальность, чтобы та *отражала* человеческую субъективность, утверждает Колозова, опираясь на работы Маркса (р. 26).

Так возникает тавтологический эгоцентрический универсум, нацеленный лишь на пустое самоудовлетворение в сериях означивания, что в конечном счете приводит к возникновению капитализма как квазифизической реализации философски сконструированного «мира», который противопоставляется «субъекту». Решение состоит в том, что трансцендентальное подчиняет себе Реальное, закладывая метафизическое основание для «универсума автоматов» и эксплуатации природы, животных и человека. Это значит, что структурные константы *субъективности*, отделяемой от материального тела, *капитализма*, трансцендирующего материю в производстве чистой стоимости, и *патриархата*, отвергающего человеческую животность (animality) или женственность, возникли из изначального философского решения: «Субъект/ивность — это самость (self) капитализма или капитализма как философии (и наоборот)» (р. 42).

4. Который, кстати, знаком русскоязычному читателю по переводу книги о животных: Симондон Ж. (2016). Два урока о животном и человеке. М.: Грюндриссе. Тем не менее в этой работе одного из ключевых философов техники современности не найти рассуждений об индивидуации, релевантных позиции Колозовой.

Всяк сверчок знай свой шесток? От формализации к фетишизации

Но кто живет «с изнанки» философского мышления? Кто скрывается в тени философского субъекта? Неужели Решение безальтернативно? Не размениваясь на традиционалистскую риторику «другого начала» и «конца метафизики», Колозова берется за задачу построения полноценной альтернативы философии, которая не основывалась бы на пренебрежительных жестах рассеечения Реального на «важное» и «не важное», «действительное» и «видимое». Понятно, что альтернативный концептуальный персонаж не может стать референтом философской категоризации, он должен жить согласно совсем иным правилам и закономерностям. В недавних концепциях часто встречается фигура нечеловека (inhuman), которую разные авторы трактуют по-разному. Это и «затененная» от «света разума» природа, и кибернетический машинный субъект, и бестелесный трансцендентальный аппарат мышления. Но все эти фигуры оказываются философскими, ведь они стремятся к некоей определенности, занятию определенного местоположения в онтологической разметке мира. По Колозовой, нет ничего более чуждого нефилософии, чем выстраивание целостной стройной доктрины, где «всякому сверчку» предписан свой метафизический «шесток» (р. 16). А потому для нефилософии они оказываются враждебными фигурами, оппортунистически ищущими означивания и человекоразмерного осмысления. Причем фигура животного, которая, казалось бы, должна стать центральной для этой работы, появляется скорее к концу книги и обозначается лишь пунктирно.

Причиной философского поиска целостности, упорядочиваемой субъектом или его эвфемизациями, согласно Колозовой, является *формализм*. Анализу генезиса формализма из практик посвящена вторая глава. Общим местом для многих представителей современной «континентальной» философии является акцент на том, что идея универсальной организации мышления, не замутненной брэнной материей, возникла после Канта. Своей предельной реализации она достигла в тезисе функционализма, согласно которому для определения мышления релевантны не материальные, содержательные аспекты его конкретной реализации, а функции и структуры, реализуемые им в контексте работы системы. Материальность не обязательно является одушевленной или органической: она может быть и синтетической, машинной, неся в себе все признаки жизни и познания. В платоновской философии «косная», «бессмысленная» материя наделяется смыслом разумом, который для своего успешного функционирования в материальности вовсе не нуждается⁵. Как следствие, уже современный аналитический функционализм выдвинул тезис *множественной реализуемости* мышления, который уравнивает различные материальные воплощения одной и той же системной организации, но

5. Детальный анализ философского понимания отношений разума и материи как патриархальных и гетеронормативных в контексте репродуктивной биомедицины (ЭКО, выращивание эмбрионов в пробирке, «мужская беременность») см. в: *Аристархова И.* (2017). Гостеприимство матрицы: философия, биомедицина, культура. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха.

всякий раз приходя к выводу, что «бессмысленный автомат преобразуется в автомат чистого смысла» (р. 150).

«Соматофобия» философии, ее отвращение к «животной» физиологии в человеке нуждается в терапевтической проработке, иначе та так и будет пытаться уничтожить физическое тело ради «вечного света разума». Неприязнь к физиологии, материальности приводит к слепой вере в полное истребление (holocaust) животной жизни, знаменующее победу чистого разума, в чем Колозова уличает философию от платонизма до ксенофеминизма и неорационализма:

«Чистая рациональность» — это философский фетиш *par excellence* по двум причинам: во-первых, физиологически predetermined когнитивная и физическая реальность преобразуется в самодостаточную трансцендентальную квази-«сущность», онтологизированную агентность, преследующую цель, направляемую *causa finalis* своей самореализации в разумном (intelligent) и рациональном универсуме, где производится уравнивание реального и истинного; во-вторых, метод исследования онтологизируется и превращается в субстанцию (превосходящую все остальные субстанции), и тем самым граница, которая отделяла, но также и связывала теологию и философию, восстанавливается и подтверждается (р. 56).

Последствия такой формализации вполне понятны: Колозова отсылает к избирательной гуманизации женщин (цис- и трансгендерных), небелых трудящихся, мигрантов и других *homines sacri* современного капитализма (р. 28). «Учитывая гуманность», т. е. признание субъекта «человеком лишь из вежливости» (man by courtesy only), является прямым следствием тотализации Решения и его экспансии во все сферы человеческой жизни.

При этом возможность назвать субъекта человеком напрямую зависит от его близости к «животному» состоянию. Человек — это тот, кто способен мыслить, говорить и объяснять основания своих действий. Дети, люди с инвалидностью или ментальными расстройствами, а также «вегетативные» пациенты, таким образом, остаются за пределами универсума философии — они лишены рациональности, поскольку лишены права говорить, обосновывать свои действия (р. 53). Стало быть, животное — это не конкретное живое существо, а негативная отправная точка, материал, инвестируемый в производство «чистой стоимости», сжигаемый и истребляемый не столько по экономическим, сколько по метафизическим причинам, в целях поддержания гомеостаза философии и капитализма как ее предельной реализации.

Стоит сказать, что этим жестом обращения к животному как Другому философского мышления Колозова реактуализирует работы своих предшественников — коллег по «континентальному» цеху. В частности, цитируемый ею Жак Деррида утверждает, что истребление животных конституирует философию и ее

концептуальные фигурации (р. 27)⁶. А Джорджо Агамбен, упоминаемый ею лишь вскользь (р. 110), напрямую утверждает, что человек производится «антропологической машиной» как антропоморфное животное, отрицающее свою животность⁷. Получается, что нефилософское осмысление неформализуемой материальности встраивается в ту же сюжетную линию, что и деконструктивистский и политико-теологический подходы к определению человека и животного⁸.

Нефилософский филогенез человечества, или Выход из трансцендентальной живодерни

Далее Колозова вполне в духе классического марксизма трактует теоретический формализм как производное практики. Но уже ясно, что ее не удовлетворит марксистский гуманизм, сетующий на отчуждение человека от своей природы в труде. Имманентный *praxis*, порождающий формальный, абстрактный «чистый разум» философии, осуществляет себя в некоей питательной среде, ускользящей от философской концептуализации. Обитатель этого своеобразного первичного бульона не может быть субъектом. По этой причине Другой философии должен быть способным к познанию или действию без самости, без субъективности или феноменологической перспективы «первого лица» (р. 64). Интересно, что этим Колозова, в сущности, повторяет идею «субъективизма без самости» (subjectivism without selfhood), развиваемую Рэем Брасье в 2010-е⁹. Причем и Колозова, и Брасье опираются на работы Карла Маркса, с той разницей, что Брасье интерпретирует их на языке аналитической философии, в частности — неопрагматизма Роберта Брэндома и других исследователей.

Как утверждает Колозова, в сердцевине философии просматривается некое «зияющее реальное» (*gaping real*), ускользящее от философизации и означивания (р. 3). Для того чтобы начать нефилософское осмысление этого «островка связности», она обращается к понятию *киборга* Донны Харауэй. Американская исследовательница предложила этот иронический концепт, чтобы указать на возможные стратегии эмансипации в условиях научно-технологической экспансии капитализма. Проще говоря, киборг — это гибрид животного и машины, не являющийся

6. Более подробно см.: Деррида Ж. (2019). Животное, которым я следовательно являюсь // Социология власти. Т. 31. № 3. С. 220–275.

7. См.: Агамбен Дж. (2012). Открытое: человек и животное. М.: РГГУ, в частности глава 7.

8. Подробное исследование фигуры животного как негативной антропологической модели в философии см. в работе Оксаны Тимофеевой, которая вышла в той же книжной серии, что и книга Колозовой: Тимофеева О. (2018). *The History of Animals: A Philosophy*. London: Bloomsbury Academic. На русском языке книга вышла годом ранее: Тимофеева О. (2017). *История животных*. М.: Новое литературное обозрение.

9. Репрезентативными здесь могут считаться две статьи Брасье: Brassier R. (2014). *Prometheanism and Its Critics* // Mackay R., Avanesian A. (eds.). #Accelerate: The Accelerationist Reader. Falmouth, Berlin: Urbanomic. P. 467–488; Brassier R. (2011). *The View from Nowhere* // *Identities: Journal for Politics, Gender and Culture*. Vol. 8. № 2. P. 7–23.

человеком в нормативно определяемых критериях классического гуманизма¹⁰. В свою очередь, у Колозовой киборг — это нефилософски понятый «нечеловек» (inhuman), он монструозен и не кульминирует в унификации конституирующих его элементов — машинного и животного. Именно это воздержание от синтеза, отказ потакать философской интенции смысла, связности и синтеза делает киборга привлекательным для нефилософской критики капитализма.

Киборг — не субъект. Его свободно пересобираемые технобиологические границы не позволяют ухватить его сетями философских понятий «человека», «животного», «машины». В версии Колозовой киборг фигурирует как диада животного/машины, не сводимая ни к паре дискретных элементов, ни к некоему эмерджентному образованию:

В сердцевине этого противоречивого, нелепого смешения животного и машины — дающего начало чему-то наподобие континуальности двух его составляющих, которые населяют единую реальность и подчинены единому определению в последней инстанции, — сохраняется некий остаток, ускользающий от осмысления. Мало того, он избегает и всякой телеологии — вроде человечества, трансцендирующего себя при помощи технологий, или преодолевающего свое отчуждение от природы посредством возвращения к ней как своей подлинной сущности. Гибрид телесности (physicality) и автомата, способный проявить себя как гибрид животного и машины, — есть тождество в последней инстанции человечества. Такое понимание человечества не является ни гуманистическим, ни антигуманистическим; оно негуманистическое (р. 12).

Негуманизм, который продолжает нефилософию, отслеживает, как киборгическая диада гуманизируется «трансцендентальным материалом», стремящимся поглотить Реальное, устранить физическое, преобразив его в целесообразную форму существования — «истину бытия», сопряженную с бытием познающего субъекта (р. 27–28). Теоретические следствия гипертрофированного субъективизма, по мнению Колозовой, были проработаны в постгуманизме. К примеру, она апеллирует к идее Дэвида Родена о том, что система, способная поддерживать свои когнитивные и метаболические процессы достаточно долгое время, может сгенерировать собственный солипсический мир, в который она будет «вобрана» без остатка¹¹. А это значит, что мир, раскрытый перед этой системой, будет абсолютно замкнут для внешнего наблюдателя.

Теоретики постгуманизма трактуют эту особенность поведения систем, открытую кибернетиками в 1970-е, в перспективе полного «изъятия» реальностей пост-

10. См.: *Харауэй Д.* (2017). Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х. М.: Ad Marginem.

11. *Roden D.* (2015). *Posthuman Life: Philosophy at the Edge of the Human*. London: Routledge. P. 105–123. См. также критический анализ онтологического разрыва постчеловеческих систем в концепции Родена: *Строкин П., Мирошниченко М.* (2019). Как жить по-постчеловечески // Новое литературное обозрение. Т. 158. № 4. С. 331–338.

человеческих систем из человеческой реальности¹². Уже сейчас мы сталкиваемся с этим, когда наблюдаем за работой искусственной нейронной сети: мы «скармливаем» ей данные, обучаем и получаем поведение, которое мы не можем объяснить. Даже в трансгуманизме, которому будто бы свойственно стремление преодолеть субъективизм, имплицитно предполагается онтология, где границы мира совпадают с границами субъекта. Именно по этой причине, как считает Колозова, любые этико-правовые и политические вопросы, связанные с современными технологиями, исподволь фреймируются через субъективизацию и вопрос наделения правами. К примеру, несмотря на то что роботы могут быть безразличными к юридическим вопросам, общественные и экспертные дискуссии настаивают на формулировке: «Нужно ли наделять ИИ правами человека?» (р. 105). Такая постановка вопроса возможна, если принять точку зрения перспективизма и принципиальной множественности воспринимаемых реальностей-*Umwelten*.

Что же Колозова готова предложить взамен? Выше уже говорилось, что взгляд нефилософии на человека полностью совпадает с научным. Собственно, вводя в рассмотрение фигуру киборга, Колозова показывает, что нефилософия может спасти мир, избавив его от проклятия субъективности. Как предлагал цитируемый ею Ларюэль, нужно не субъективировать универсум, а «беллетризировать» (*fictionalise*) и объективировать свои самости (р. 139). Нужно представлять мир не в пределах Решения, а нефилософски, научно, избегая субъективизма. Иными словами, новую политэкономия, которая не основывалась бы на жертве Другого, можно создать из перспективы «третьего лица», видящей мир и человека в нем как объекты среди других объектов. Здесь она отсылает к идее «родового бытия» (*Gattungswesen*) человечества у Маркса (р. 139), которую она трактует через филогенез человечества в большом, не упорядоченном мышлением мире (*vast out-there*) (р. 151). Отдельный вопрос можно поставить о корректности такого понимания марксовского учения о человеческой природе, хотя понятно, что элементы доктрины Маркса используются ею в подкрепление нефилософского видения становления человечества.

Переход к «третьему лицу» и картине Реального «с точки зрения» самого Реального совпадает с перспективой «доязыковой самости» (*prelingual self*) — нечеловека, неживотного, а точнее — нефилософски помысленного животного (р. 138). Нефилософия отказывается подчеркивать особенность и отличность животного от человека. Получается, что хайдеггеровская таксономия сущих в их отношении к миру (камень безмирен, животное скудомирно, человек живет в мире),

12. Имеется в виду тезис об эндогенном конструировании воспринимаемой реальности в теории аутопоэзиса чилийских биологов Умберто Матураны и Франсиско Варелы: *Maturana H., Varela F. J.* (1980). *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Dordrecht: D. Reidel. Аналогичные представления можно найти в концепциях Родена (*Roden D.* [2017]. *On Reason and Spectral Machines: Robert Brandom and Bounded Posthumanism* // *Braidotti R., Dolfijn R.* [eds.]. *Philosophy after Nature*. London: Rowman & Littlefield. P. 73–98), а также Лучаны Паризи (*Parisi L.* [2019]. *The Alien Subject of AI* // *Subjectivity*. Vol. 12. P. 27–48) и Резы Негарестани (*Negarestani R.* [2018]. *Intelligence and Spirit*. Cambridge: Urbanomic/Sequence Press. P. 405–507).

воспроизведенная также и в философской антропологии, избыточна. Животным не нужна новая онтология, которая наделила бы их особым статусом. По Колозовой, лучшее, что может сделать человек — оставить животное в покое, не пытаясь втискивать его в свои философские измышления. Такое позволение-быть не имеет ничего общего ни с банальным прекраснодушием «благоговения перед Жизнью», ни с амбивалентным признанием животных трудящимися, компаньонами человека в освоении земной среды (как это делает Харауэй¹³).

Опять же, философская концептуализация животного ошибочна в том, что соотносит животное и человека как разные стадии развития разума в природе, к тому же упуская то, что животное — это лишь часть киборгической диады «звещающего Реального». Но главная ошибка, которую стремится исправить Колозова, — то, что животное как Другой философии — это никогда не конкретное живое существо, это абстракция, животное вообще (the animal in general) (p. 146). Обобщенный образ животного вытесняет реальных животных, и в этом повинно стремление философии к универсализации и тотализации своих размышлений. Пустые абстракции удобны, ведь они и предоставляют ресурс и материал для воспроизводства капитализма на различных уровнях.

* * *

На этом размышления Колозовой неожиданно прерываются. Читатель, стремящийся найти ответы, остается в недоумении. О животном в книге говорится совсем немного ближе к концу книги, и непонятно, в каком же смысле здесь говорится о холокосте животных капитализмом. Как таковое животное — а точнее, его нефилософская истина киборгической диады — возникает как апофатическая модель Другого, позволяющая раскрыть и артикулировать слепое пятно философии. Но как с ним связана научно-технологическая экспансия человечества, и может ли выход из философии, инициируемый переосмыслением антропоморфной разметки «мира», помешать победоносному шествию капитализма?

Непонятым остается и другой элемент «позитивной программы» книги: что нового предлагает Колозова помимо осовремененной идеи родового бытия человека у Маркса? К тому же отождествление *Gattungswesen* и эволюционного филогенеза едва ли соответствует интенциям самого Маркса, у которого Колозова заимствует стремление «выйти из» (exit) философии. Безусловно, натурализация образа человека — занятие продуктивное и требующее глубоких познаний в современном естествознании, но «Капиталистический холокост животных» ограничивается лишь общим заявлением о перспективе «третьего лица» без дальнейшей конкретизации.

13. Сравнительно недавно ее лозунг «делай свое племя, а не детей!» (make kin not babies!) вызвал бурную реакцию среди американской общественности. См.: Харауэй Д. (2016). Антропоцен, Капиталоцен, Плантациоцен, Ктулцуцен: создание племени // Художественный журнал. № 99. URL: <http://moscowartmagazine.com/issue/39/article/771> (дата доступа: 02.06.2021).

Не идет ли нефилософия по тонкому льду, откровенно заявляя о совпадении своей «науки о человеке» с естественнонаучной картиной мира? Для многих уже стало почти банальным представление о науке как о сообщнице капитализма, обеспечивающей его инфраструктуру. Тогда в каком смысле можно говорить о совпадении точек зрения, при этом не дублируя позиции других постгуманистов (Брасье, Родена или Негарестани)? Возникает опасение: нуждается ли наука в нефилософии, дублирующей научный натурализм и материализм? Может быть, наука справится своими силами, ведь она, по выражению Хайдеггера, «не мыслит», а потому не ставит себе задачи уйти от Решения.

Наконец, сохраняется вопрос, на который книга не дает ответа: может ли нефилософия изменить мир, если она сама настаивает на безразличии Реального к попыткам постичь себя? Возможно, не следует относиться к работе слишком строго; вполне вероятно, что она воспроизводит тот же иронический настрой, что и Харауэй, желающая стать не богиней, а киборгом. Тогда Колозова могла бы сказать, что хотела бы быть ни животным, ни машиной, ни человеком, а философски немислимым тождеством в последней инстанции зияющего Реального.

How to Take Humanity Out of Comfort Zone

Maxim D. Miroshnichenko

C.Sc. (PhD) in Philosophy, Senior Lecturer, UNESCO Network Chair in Bioethics and International Medical Law, International Medical School, Pirogov Russian National Research Medical University
Address: Ostrovitjanova str., 1, Moscow, Russian Federation 117997
E-mail: jaberwokky@gmail.com

Book Review: *Katerina Kolozova*, *Capitalism's Holocaust of Animals: A Non-Marxist Critique of Capital, Philosophy and Patriarchy* (London: Bloomsbury Academic, 2020).